

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Николай Гаврилович Чернышевский Собрание сочинений в пяти томах Том 3. Литературная критика

Сочинения Пушкина

Сочинения Пушкина, приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков и проч. Издание П. В. Анненкова. Спб. 1855

Статья первая

Нетерпеливое ожидание, настоятельная потребность русской публики наконец удовлетворяется. Два первые тома нового издания творений великого нашего поэта явились в свет; остальные томы скоро последуют за ними.

Событиями, радостными для всех образованных людей русской земли, ознаменовано начало 1855 года: в одной столице — юбилей Московского университета, столь много участвовавшего в распространении просвещения, столь много содействовавшего развитию науки в России; в другой столице — достойное издание творений великого писателя, имевшего такое влияние на образование всей русской публики — какие торжества для русской науки и литературы!

Вполне понимая всю важность такого события, как издание сочинений Пушкина, спешим отдать о нем отчет публике.

Мы не будем говорить о значении Пушкина в истории нашего общественного развития и нашей литературы; не будем и рассматривать с эстетической точки зрения существенные качества его произведений. Насколько то возможно для настоящего времени, историческое значение Пушкина и художественное достоинство его творений уж оценено и публикою и критикою. Пройдут годы, прежде нежели другие литературные явления изменят настоящие понятия публики о поэте, который навсегда останется великим. Потому пройдут годы, прежде нежели критика будет в состоянии сказать о его творениях что-нибудь новое. Мы можем теперь только изучать личность и деятельность Пушкина на основании данных, представляемых новым изданием.

Мы не будем обращать внимания и на неизбежные недостатки нового издания. Мы можем говорить только о том, что дает нам издатель, и до какой степени удовлетворительно исполняет он то, что мог исполнить.

* * *

Итак, прежде всего скажем о системе и границах нового издания.

Основанием ему послужило посмертное издание «Сочинений Александра Пушкина» в 11 томах. Но это посмертное издание, как известно, было сделано небрежно, по дурной системе, с пропусками многих произведений, с неправильностями в тексте, с произвольным и часто ошибочным расположением произведений по рубрикам, которые только затрудняли изучение и самых сочинений и постепенного развития гения Пушкина. Потому

обязанностью г. Анненкова было исправление недостатков в новом издании. Он говорит об этом так:

Первою заботой нового издания должно было сделаться исправление текста издания предшествующего; но это, по важности задачи, не могло произойти иначе, как с представлением доказательств на право поправки или изменения. Отсюда система примечаний, допущенная в настоящее издание. Каждое из произведений поэта без исключения, снабжено указанием, где впервые оно явилось, какие варианты получило в других редакциях при жизни поэта и в каком отношении с текстом этих редакций находится текст нового издания. Читатель имеет, таким образом, по возможности, историю внешних и, отчасти, внутренних изменений, полученных в разные эпохи каждым произведением, и по ней может исправить недосмотры посмертного издания, из коих наиболее яркие исправлены уже и издателем предлагаемого собрания сочинений Пушкина. Многие из стихотворений и статей поэта (особенно те, которые явились в печати после смерти его) сличены с рукописями и по ним указаны числовые пометки автора, его первые мысли и намерения. (Предисловие к II тому).

За исправлением текста последовало дополнение его: издатель воспользовался всеми указаниями о пропущенных в посмертном издании произведениях Пушкина, когда-либо напечатанных, пересмотрел все альманахи и журналы в которых Пушкин помещал свои стихотворения и статьи: но этим не ограничились пополнения: в распоряжение издателя поступили все бумаги, оставшиеся после Пушкина, и он извлек из них все, что еще оставалось неизвестным публике. Наконец, к библиографическим примечаниям и вариантам, о которых говорили мы выше, прибавил он везде, где мог, объяснение случаев и поводов, по которым было написано известное произведение.

Вместо прежнего спутанного и произвольного разделения по мелким и неточным рубрикам, составлявшего один из существенных недостатков посмертного издания, принял он строгий хронологический порядок, с распределением произведений по немногим отделам, которые приняты во всех лучших европейских изданиях классических писателей и указываются удобством для читателей, эстетическими понятиями и сущностью дела:

I. Стихотворения. Отдел первый — лирические, отдел второй — эпические, отдел третий — драматические произведения.

II. Проза. Отдел первый — Записки Пушкина: а) Родословная Пушкиных и Ганнибаловых; б) Остатки записок Пушкина в строгом смысле (автобиографических); в) Мысли и замечания; г) Критические заметки; д) Анекдоты, собранные Пушкиным; е) Путешествие в Арзрум. Отдел второй — романы и повести (здесь же и «Сцены из рыцарских времен»). Отдел третий — журнальные статьи, напечатанные в посмертном издании и напечатанные в журналах, но не вошедшие в посмертное издание (одиннадцать статей). Отдел четвертый — История Пугачевского бунта с приложениями и не вошедшею в посмертное издание антикритическою статьею по поводу этого сочинения.

Затем (говорит издатель) в рукописях Пушкина отыскано множество отрывков, как стихотворных, так и прозаических, некоторое число небольших пьес и продолжения или дополнения его произведений. Все эти остатки помещены в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина» и в приложениях к ним.

Объяснив таким образом порядок и систему, положенные в основание нового сборника, издатель нисколько не скрывает от себя, что найдется еще много упущений и недосмотров как в примечаниях, так и в других отношениях. Со всем тем издатель смеет питать надежду, что при системе, взятой для нового издания всякая поправка сведущей и благонамеренной критики скорее может быть приложена к делу, чем прежде. Арена для библиографической, филологической и исторической критики открыта. Общим действием людей опытных и добросовестных ускорится время издания сочинений народного писателя нашего вполне удовлетворительным образом. (Предисловие к II тому.)

Критика нового издания должна согласиться с этою скромною и беспристрастною его оценкою, данною самим издателем. Оно лучшее издание, какое могло быть сделано в

настоящее время; недостатки его неизбежны, достоинства его — огромны, и вся русская публика будет благодарна за них издателю.

* * *

Из вышедших двух первых томов нового издания первый заключает в себе «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина с его портретом (гравиров. Уткиным в 1838 году) и следующими приложениями: 1) Родословная А. С. Пушкина; 2) Сказки (три) Арины Родионовны, записанные Пушкиным; 3) Французские письма (два) Пушкина по поводу «Бориса Годунова»; 4) и 5) Последние минуты Пушкина, описанные Жуковским, и выписка из биографии Пушкина, составленной г. Бантышем-Каменским; 6) Пушкинский перевод XXIII песни Ариостова «Orlando Furioso»¹ (строфы 100–112); 7) Дополнительные октавы к повести «Домик в Коломне» (15 октав); 8) Продолжение повести «Рославлев»; 9) Замечания на Слово о Полку Игореве. Второе, третье, шестое, седьмое, восьмое и девятое приложения в первый раз являются в печати. Наконец, к этому тому приложены семь facsimile Пушкина: 1) Почерк его в 1815 г., 2) почерк его в 1821 г., 3) листок из тетради, содержащий первый оригинал «Полтавы», 4) тот же листок, начисто переписанный, 5) рисунок с последней страницы сказки: «Купец Остолоп», 6) рисунок, сделанный Пушкиным при повести «Домик в Коломне», 7) проект заглавного листа для драм и драматических отрывков. Эти снимки исполнены прекрасно.

Второй том заключает лирические стихотворения Пушкина с 1814 по 1830 год (включительно) с примечаниями издателя.

Прежде, нежели займемся подробным рассмотрением изданных томов, скажем несколько слов о внешнем виде издания. Формат его — больше in-octavo, несколько более формата наших журналов. Шрифт текста очень удобный для чтения, крупный и убористый. Сообразно формату, томы имеют приличную полноту — более тридцати печатных листов каждый; так что вообще внешний вид издания должно назвать приличным и удовлетворительным.

* * *

Переходим к рассмотрению содержания изданных томов и, во-первых, к изучению «Материалов для биографии Александра Сергеевича Пушкина», составленных издателем, г. П. В. Анненковым, и занимающих первый том.

Значение и достоинства биографии А. С. Пушкина, составленной г. Анненковым, полнее будет выказываться самым изучением ее содержания, которое представляют наши статьи; теперь же скажем о ее характере только несколько слов. Это первый труд, который надлежащим образом удовлетворяет столь сильно развившемуся в последнее время стремлению русской публики познакомиться с личностями деятелей русской литературы и образованности. Потребность эта уже вызвала довольно много монографий, отличающихся основательностью и подробностью библиографических и биографических исследований. Публика приняла эти первые опыты с живым сочувствием, но не могла не видеть в них важных недостатков. Как и всякое новое направление, стремление к подробным и точным исследованиям отечественной литературы было неумеренно в своих проявлениях. Каждая личность, почему-нибудь обращавшая на себя внимание трудолюбивых изыскателей, казалась им необыкновенно важною, заслуживающею самых подробных трактовок; каждый новый факт, ими отысканный, им казался чрезвычайно интересным для всей публики, как бы мелочен в сущности ни был. Потому все монографии, являвшиеся в последнее время, страдали важными недостатками и по содержанию и по форме. Растерявшись во множестве

¹ «Неистовый Орланд» (итал.).

мелочных подробностей, каждый автор был не в силах обработать предмет с общей точки зрения и обременял свою статью бесчисленными библиографическими подробностями, среди которых утомленный читатель совершенно запутывался; вместо цельных трудов давались публике отрывки черновых работ, со всеми мелочными сличениями букв и стихов, среди которых или тонула, или принимала несвойственные ей размеры всякая общая мысль. Одним словом, вместо исследований о замечательных явлениях литературы представлялись публике отрывочные изыскания о маловажных фактах; вместо ученого труда в его окончательной форме представлялся весь необозримый для читателя процесс механической предварительной работы, которая только должна служить основанием для картины и выводов, из нее возникающих. Не такова биография Пушкина, которую будет читать русская публика при новом издании его творений. Она говорит не о какой-нибудь темной личности, которая привлекла внимание исследователя только потому, что была забыта, но забыта была только потому, что не заслуживала внимания потомства. Творения Пушкина, создавшие новую русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, вместе с ними незабвенно навеки останется личность Пушкина. Важный труд, который знакомит нас с нею, представляется г. Анненковым в совершенно обработанной литературной форме. Кропотливая мелочная работа сличений и поисков, ему предшествовавшая, не выставляется на первом плане, затемняя для читателя черты великого писателя и его трудов; исследователь дает нам завершенную картину жизни и творчества Пушкина. Сличения годов, букв и отдельных стихов отнесены в примечания, если нужно для полноты; составитель биографии дал читателям не черновые свои бумаги, а жизнеописание, возведенное окончательною обработкою к форме литературного произведения. Его работа должна послужить для наших исследователей истории литературы образцом биографий.

Приступим же к ее изучению, чтобы ближе познакомиться с Пушкиным. Не будем при этом утомлять читателей сличением материалов, представляемых г. Анненковым, с прежними статьями и отрывками о жизни Пушкина, разбросанными по журналам, потому что все эти отрывки теряют теперь свою важность. Мы коснемся этого впоследствии — и то в таком только случае, если откроем в труде г. Анненкова какое-либо значительное упущение, которое будем в состоянии пополнить с помощью новых материалов.

О детстве и лицейских годах жизни Пушкина было последнее время сообщено русской публике много сведений; потому не будем долго останавливаться на этом периоде и передадим читателям только немногие из интересных подробностей, представляемых новою биографиею.

Многие черты в характере Александра Сергеевича перешли к нему по наследству от Сергея Львовича. Отец поэта был блестящий, остроумный, неистощимый собеседник и с увлечением предавался удовольствиям общества: беззаботность его характера доходила до рассеянности, о которой г. Анненков приводит два анекдота. Однажды Сергей Львович, любивший, сидя у камелька, мешать огонь, явился на развод с обгорелую тростью и, получив за это от начальника замечание: «уж вам бы, г. поручик, лучше явиться с кочергою на ученье», жаловался потом жене на тяжесть военной службы. В другой раз, отправляясь на придворный бал, он позабыл перчатки и потому не мог танцевать. Из анекдотов о его остроумных ответах приведем следующий. Какая-то очень полная иностранка вздумала в насмешку спросить его: «правда ли, г. Пушкин, что вы, русские, людоеды и едите медведей?» «Нет, madame, отвечал Сергей Львович: мы едим коров, как, например, вы».

До семи лет А. С. Пушкин своею вялостью, тучностью, неповоротливостью, неподвижностью приводил в отчаяние родных; потому от него не ожидали ничего в будущем; потому даже не столько ласкали его, как сестру и младшего брата. Учился он плохо, надеясь на свою огромную память, повторял уроки за сестрой, когда ее спрашивали прежде, и не мог ничего отвечать, когда спрашивали его первым. Но с девятого года развилась у него страсть к чтению; он день и ночь проводил в библиотеке отца, наполненной французскими писателями XVII и XVIII столетий. Скоро пробудилась у него и страсть к авторству. Все его воспитание было ведено на французском языке; отец поэта писал множество легких

французских стихов для развлечения в обществе; потому и молодой Пушкин начал писать не по-русски, а по-французски. Сначала импровизировал он комедии в мольеровском роде, потом задумал шутивную поэму в 6 песнях, описывавшую битвы карликов и карлиц — она была сожжена обидевшимся автором, когда учитель расхохотался, прочитав первые страницы; но начало поэмы сохранилось в памяти читавших:

Je chante ce combat, que Toly remporta
Oil maint guerrier perit oil Paul se signala,
Nicolas Maturin et la belle Nitouche.
Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche.²

Вот первые стихи, оставшиеся нам от детства Пушкина. Ему в это время могло быть около десяти лет. Французские стихотворения продолжал он писать и в Лицее. Следы приобретенной в детстве привычки писать и думать по-французски остались в Пушкине на всю жизнь; из множества примеров, находимых в «Материалах», приведем некоторые. Не говорим уж о том, что часто Пушкин писал к родным своим французские письма (Сергей Львович выражает свое радостное согласие на брак сына также французским письмом); еще замечательнее то, что в русских письмах, даже в заметках, набросанных в черновых тетрадях для памяти, Пушкин беспрестанно перемешивает русские фразы с французскими. Г. Анненков говорит:

В беглых заметках, написанных для себя наскоро, чудно мешаются у него оба языка, смотря по тому, как пришел первый на мысль... Почти нет заметки в его бумагах без галлицизмов и французских фраз. Вот, например, замечательный образец этого смешения: «Главная прелесть романов W. Scot состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с *enflure*³ фр. трагедии, не с чопорностью чувствительных романов, не с *dignite*⁴ истории, но современно, но домашним образом. Они не походят, как герои французские, на холопей, передразнивающих *la dignite et la noblesse. Ils sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecte de theatral, meme dans les circonstances solennelles, car les grandes circonstances leur sont familiares...*»⁵. Пушкин сознавался, что писать по-русски все-таки трудно.

Приготавливая заметки, из которых хотел составить предисловие к «Борису Годунову», он набрасывает их по-французски. Написав стихотворение «Обвал», он объясняет его заглавие в черновой тетради, прибавляя в скобках «*Avalanche*».

Все это служит лучшим доказательством, что в ком сильна народная стихия, в том никакие иноземные влияния не подавят ее. Но, несмотря на французское воспитание, несмотря на то, что в кругу родных его говорилось преимущественно по-французски, Пушкин, как известно, уже в детстве был окружен элементом народности; известно, что главной представительницей этого влияния была няня его, знаменитая Арина Родионовна, которую потом прославил он в дивных, проникнутых любовью, строфах. Беспредельная

² Пою тот бой, в котором Толи одержал верх,
Где немало бойцов погибло, где Поль отличился,
Николая Матюрена и красавицу Нитуш,
Коей рука была наградою победителю в ужасной схватке, (франц.)

³ напыщенностью (франц.).

⁴ достоинством (франц.).

⁵ ...достоинство и благородство. Они просты в повседневных случаях жизни, в их речах нет ничего приподнятого, театрального, даже в торжественных обстоятельствах, так как великие события для них привычны, (франц.).

привязанность ее к своему питомцу слишком хорошо известна; но и всему семейству Пушкиных она была необыкновенно предана. Когда, продавая село Кобринно, к которому была приписана Арина Родионовна, Пушкины давали ей отпускную, вместе с ее двумя сыновьями и двумя дочерьми, она не хотела отойти на волю; потом, когда Пушкины хотели выкупить семейство ее дочери, Марьи, вышедшей за крестьянина села Захарова, Арина Родионовна снова не согласилась, говоря: «Я сама была крестьянка; на что ей вольная!» Известно, что от нее Александр Сергеевич узнал большую часть сказок и песен, которых знал так много, слушая ее, проникся он духом народного языка. В 1824 году он пишет из деревни: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!» В тетрадях Пушкина г. Анненков нашел семь сказок, бегло записанных со слов няни. Из них три были потом пересказаны им в стихах, четвертая послужила для Жуковского основой сказки о царе Берендее. Три (о царе Салтане, о Берендее, о купце Остолопе и Балде) напечатаны г. Анненковым в числе приложений к биографии.

Вот, между прочим, в каких словах записана у Пушкина присказка, из которой произошли знаменитые стихи предисловия, прибавленного ко второму изданию «Руслана и Людмилы»:

У Лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том;
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом:
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

«У моря-лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот; вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет». Нет надобности говорить, что Пушкин в своих стихотворных переделках сильно изменял подробности, то отбрасывая, то прибавляя новые. От этих переделанных сказок (о царе Салтане и проч.) к превосходно воссозданной в истинно народном духе сказке «О рыбаке и рыбке» переход составляют два отрывка других, переложенные в стихи очень близко и оставшиеся забытыми в бумагах Пушкина. Г. Анненков напечатал их в своих «Материалах». Вот начало первой сказки, о том, как мужик убил медведицу и взял ее медвежат:

Как весенней теплой порою,
Из-под утренней белой зорюшки
Что из лесу, лесу дремучего
Выходила медведица
С малыми детушками медвежатами,
Поиграть, погулять, себя показать, и т. д.

Но Пушкин знакомился с народными сказками и песнями не по одним только рассказам своей няни — проникнувшись любовью к народности, он и сам входил в простонародные кружки, подслушивая там язык и песни. В 1825 г., проводив до Пскова своих деревенских соседей, он —

время пребывания во Пскове посвятил тому, что занимало теперь преимущественно его мысли — изучению народной жизни. Он изыскивал средства для отыскания живой народной речи в самом ее источнике; ходил по базарам, терся, что называется, между людьми, и весьма почтенные люди города видели его переодетым в мещанский костюм, в котором он даже раз явился в один из почетных домов Пскова. Не удивительно после того, что П. В. Киреевский, в предисловии к своему «Собранию народных песен», говорит: «А. С. Пушкин

доставил мне замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии». Пушкин владел значительным количеством памятников народного языка, добытых собственным трудом.

В тетрадях 1830 г. Анненков нашел записанными «народные пословицы, фразы и термины старой нашей литературы», которые и сообщает в своих «Материалах». Чтобы в одном месте собрать все относящееся к этому предмету, приведем и понятие самого Пушкина о том, в чем состоит народность произведений литературы. Заметка его об этом не окончена, но существенный смысл его мнения ясен и совершенно справедливо выводится г. Анненковым из тех строк, которые Пушкин успел написать:

«С некоторого времени у нас вошло в обыкновение говорить о народности... Но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность. Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории. Другие видят народность в словах, оборотах, выражениях, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения. Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками: для других оно не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина; француз смеется, видя в Кальдероне — Кориона, вызывающего на дуэль своего противника, и проч. Все это однако ж носит печать народности. Есть образ мыслей и чувствований, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается и в поэзии. В России...» Пушкин не докончил своей заметки (*прибавляет г. Анненков*), но легко видеть, что народность он полагал естественным, природным качеством всякого истинно замечательного писателя. Только посредственный талант или выбравший ложную почву деятельности ненароден, потому что заимствует или подделывает свой взгляд, чувство, язык».

Скольким людям, толкующим ныне о народности, нужно посоветовать вникнуть в смысл заметки Пушкина, набросанной двадцать пять лет тому назад, при самом начале этих толков.

Соединив в кратком извлечении данные, представляемые «Материалами» г. Анненкова относительно двух важнейших стихий, участвовавших в первоначальном образовании поэтического характера Пушкина — относительно французского воспитания с одной стороны, русского (народного) элемента, с другой, постараемся, хотя кратко, проследить сведения о жизни Пушкина, доставляемые этой биографией.

Мы уже сказали, что не будем останавливаться на годах, проведенных в Лицее, потому, что этот период подробно известен русской публике; но приведем из записок шестнадцатилетнего поэта отрывок, сохранивший воспоминание о его юношеской, вероятно первой, любви, и первоначальную редакцию тех строф «Евгения Онегина» (глава VIII), в которых Пушкин вспоминает о своей лицейской жизни.

«29-го (какого же месяца? быть может, декабря 1815 г., потому что предыдущие выписки у г. Анненкова относятся к 10 декабря, а тетрадь принадлежит, по всей вероятности, к 1815 году).

И так я счастлив был, и так я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался!..
И где веселья быстрый день?
Промчались летом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вокруг меня угрюмой скуки тень!..

«Я счастлив был! нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не было видно! Наконец я потерял надежду — вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице... сладкая минута!

Он пел любовь, но был печален глас.
Увы, он знал любви одну лишь муку!

Жуковский.

«Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Б. (фамилия была написана вполне, но потом все буквы, кроме первой, зачеркнуты, как видим на *facsimile* этого отрывка, приложенном к биографии).

Я был счастлив 5 минут!»

* * *

Вот отрывок из «Евгения Онегина» в его первобытном виде:

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Елисея^б,
А Цицерона проклинал:
В те дни, как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткой,
Считал схоластику за вздор,
И прыгал в сад через забор;
Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив;

II

Когда в забвеньи перед классом
Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух, —
В те дни... в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
О ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал,
И счастье тайных мук узнал.

^б Старинная шутовская поэма.

Последняя половина второй строфы относится, быть может, к той самой страсти, о которой говорит отрывок записок, сейчас нами представленный.

По выходе из Лицея, Пушкин, как известно, увлекся удовольствиями молодости, развлечениями света и кружка друзей. Крепкое здоровье его не могло вынести изнурительного образа жизни, и через восемь месяцев после выпуска он вытерпел сильную горячку (в феврале 1818 года). По выздоровлении он вновь предался «водовороту», его уносившему, как выражается г. Анненков. Как рассеянна была его жизнь в первые два года после того, как он остался распорядителем своих действий, лучше всего свидетельствует обстоятельство, что в это время не вел он записок, которые начинаются только с приезда его в Крым (в 1820 г.). В Кишиневе и в Одессе Пушкин также вел жизнь рассеянную и даже позволял себе множество шалостей. Обо всем этом писано было довольно много, потому здесь мы опять можем удовольствоваться немногими чертами. Свой эксцентрический костюм в Кишиневе сам Пушкин описывает на Онегине (в одной из неизданных строф):

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку,
И шапку с белым козырьком.
Но только сим *убором чудным*.
Безнравственным и безрассудным.
Была весьма огорчена
Его соседка Дурина,
А с ней Мизинчиков, Евгений,
Быть может, толки презирал,
Быть может, и про них не знал:
Но всех своих обыкновений
Не изменял в угоду им:
За то был ближним нестерпим.

Из его приключений сообщим только одно: в 1822 году Пушкин пропал из Кишинева на несколько времени; он пристал к цыганскому табору, кочевал с ним, доходил до границ империи. Об этом свидетельствует отрывок из «Цыган», не попавший в поэму при ее издании:

За их ленивыми толпами
В пустыне, праздный, я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями...
В походах медленных любил
Их песней радостные *гулы*,
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Пламенные поклонники поэта, тогда уже признанного великим, с ужасом смотря на *такую* растрату времени и сил, по их мнению пагубную для таланта, с укоризнами или горестью умоляли его покинуть шалости и развлечения, *его* недостойные, и все силы души обратить на славную деятельность, которой ждут от него все образованные русские. Одно из таких писем (на французском языке) уцелело в бумагах Пушкина, и г. Анненков сообщает его в переводе:

Когда видишь того, кто должен покорять сердца людей, раболепствующего перед обычаями и привычками толпы, человек останавливается посреди пути и спрашивает самого себя: почему преграждает мне дорогу тот, который впереди меня и которому следовало бы

сделаться моим вожатым? Подобная мысль приходит мне в *голову*, когда я думаю о вас; а я думаю о вас много, даже до усталости. Позвольте же мне идти, сделайте милость. Если некогда вам узнавать требования наши, углубитесь в самого себя и в собственной *грудь* почерпните огонь, который несомненно присутствует в каждой такой душе, как ваша.

Такие заботливые напоминовения (прибавляет г. Анненков) Пушкин получал *со всех* сторон, до самого 1830 года, с которого, как увидим, образ его жизни совершенно изменяется. Нельзя не сочувствовать столь благородным и так прекрасно высказанным сожалениям и требованиям, какие видим в этом письме; но теперь мы знаем, что увлечения молодости, пагубные для натур слабых и односторонних, не повредили мощной и всесторонней натуре Пушкина — его гений развивался и мужал среди волнений юности, благодаря самым увлечениям жизни, и мы к нему более, чем ко всякому другому, можем отнести его же собственное восклицание:

Блажен, кто смолоду был молод!

Пушкин уехал из Петербурга автором «Руслана и Людмилы», возвратился в Петербург автором «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Известно, что по возвращении на родину он до самой своей женитьбы увлекался, почти по-прежнему, удовольствиями света и наслаждениями молодости всякий раз, как приезжал в Москву или Петербург, и неутомимо предавался труду всякий раз, когда уезжал в деревню. Потому переходим прямо к подробностям, какие сообщает биография о перемене характера, обнаружившейся во время двух последних (1829 г.) его пребываний в Москве до женитьбы. Большею частью останавливался он в доме П.В. Н-на.

Из слов П.В. Н-на можно видеть, как изменились привычки Пушкина, как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась в нем потребностями *своего* угла и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он в кругу домашних своего друга, на диване, с трубкой во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны заботливого друга его, чтоб заставить Пушкина не прерывать своих знакомств, не скрываться от общества и выезжать. Пушкин следовал советам П.В. Н-на нехотя: так уже нужда отдохновения начинала превозмогать все другие склонности.

Однако прежняя беспокойная жажда внешнего разнообразия, прежняя тоска, производившая «охоту к перемене мест — весьма мучительное свойство», не совершенно еще исчезла в это время: начало 1830 года было занято планами путешествий: Пушкин задумывал съездить за границу, а когда этот проект не исполнился, просил позволения провезать в Китай нашу миссию. Об этом осталось даже воспоминание в его стихах:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножью ли стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец, и пр.

«Пушкин познакомился с семейством Н. Н. Гончаровой еще в 1828 году, когда будущей супруге его едва наступала шестнадцатая весна. Он был представлен ей на бале, и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с молодой особой, обратившей на себя общее внимание. Два года однакож протекли для Пушкина в непрерывных трудах и разъездах. В 1830 году прибытие части высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделало ее средоточием веселий и празднеств. Наталья Николаевна принадлежала к тому созвездию красоты, которое в это время обращало внимание и, смеем сказать, удивление

общества. Она участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших своих посетителей, и между прочим в великолепных живых картинах, данных князем Д. В. Голицыным. Молва об ее красоте и успехах достигла Петербурга, где жил тогда Пушкин. По обыкновению своему, он стремительно уехал в Москву, не объяснив никому своих намерений, и возобновил прежние свои искания. В самый день светлого Христова Воскресенья, 21 апреля 1830 года, он сделал предложение семейству Натальи Николаевны, которое и было принято».

После того отрадное спокойствие водворилось в душе Пушкина; оно, как замечает г. Анненков, отразилось и на его произведениях. Мы не можем приводить здесь всех подробностей и должны перейти к новым сведениям, какие мог сообщить г. Анненков о роковой дуэли.

Все попытки друзей отвести удар остались тщетны. В самый день поединка они везли обоих противников чрез место публичного гулянья, несколько раз останавливались, роняли нарочно оружие, надеясь еще на благодетельное вмешательство общества; но все их усилия и намеки остались безуспешны. Только по окончании гулянья на Каменном острове, одна дама, знакомая Пушкину, получив известие, что видели его и г. Дантеса, торопившихся друг за другом и опоздавших на общее веселье, только она догадалась о событии и воскликнула с живым выражением страха: «Тут должно случиться несчастье. Поезжайте за ними». Но уже было поздно.

Пушкин был смертельно ранен выстрелом противника и несколько мгновений лежал без чувств на снегу. Поднявшись, он переменял пистолет, потребовал, чтобы противник, подбежавший к нему, возвратился опять на свое место и, собрав все силы, послал ему выстрел. Известно радостное восклицание Пушкина при виде упавшего соперника, легко пораженного им в руку. Мы упоминаем здесь об этом обстоятельстве, чтоб показать степень страсти, овладевшей всем существом его.

Радость была напрасна. Покамест противник садился в сани Пушкина и отправлялся домой, самого Пушкина переносили в карету, заранее приготовленную семейством его соперника на случай несчастья. Пушкин еще поглядел вслед удаляющегося врага прибавил: «мы не все кончили с ним». Но уж все было кончено, другой ряд более возвышенных и более достойных мыслей ожидал умирающего в доме его.

Последние минуты Пушкина, его кроткая разлука с жизнью, его нежная заботливость о супруге, его прощение всем клеветникам и врагам их обоих, известны каждому русскому из письма Жуковского. В заключение интересных подробностей о жизни Пушкина, заимствованных нами из труда г. Анненкова, повторим его слова, что лучшая биография поэта в его собственных произведениях, потому что у него постоянно живая связь между событиями жизни и произведениями; г. Анненков говорит, что едва ли найдется у Пушкина хотя одно лирическое произведение, которое не было бы вызвано действительною жизнью; происхождение большей части становится ясно по соображению «Материалов» и примечаний нового издания. «В его произведениях беспрестанно слышится живой голос события, и сквозь поэтическую призму их беспрестанно мелькает настоящее происшествие. В разных местах нашего труда мы уж пояснили некоторые из его стихотворений чертами и анекдотами из жизни. Подобным комментариям, со временем, могут быть подвергнуты почти все лирические песни Пушкина». Точно так же и характер Пушкина лучше и полнее всего выразился в его произведениях, — эта удивительная многосторонность ума и сердца, которая дает право сказать о нем, как Баратынский сказал о Гёте:

Ничто не оставлено им
Под солнцем живым без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа.

«Из смешения противоположностей состоит весь поэтический облик Пушкина»,

говорит г. Анненков, высказав уже все, что мог сказать для раскрытия его характера: «как ни старались мы изложить в посильном описании необычайно подвижные черты его характера, но они не поддаются описанию и требуют, для объяснения и примирения своего, уже творческой кисти настоящего художника». Постараемся, однако, отметить некоторые особенности характера и привычек, особенно резко выступающие в «Материалах», собранных г. Анненковым.

Живость, пылкость, впечатлительность, способность увлекаться и увлекать, горячее сердце, жаждающее любви, жаждающее дружбы, способное привязываться к человеку всеми силами души, горячий темперамент, влекущий к жизни, к обществу, к удовольствиям и тревогам; нравственное здоровье, сообщающее всем привязанностям и наклонностям какую-то свежую роскошность и полноту, отнимающее у самых крайностей всю болезненность, у самых прихотей, которыми так обильна его молодость, всякую натянутость, побеждающее наконец всякие односторонние увлечения — эти черты в лице Пушкина ясны для всякого, кто читал его произведения, кто имеет хотя малейшее понятие о его жизни. Обратимся же к другим, с которыми знакомят нас «Материалы» г. Анненкова.

Как Пушкин считал нужным держать себя в свете, видим из советов, которые дает он младшему брату при его вступлении в общество. Многие из этих правил сам Пушкин старался соблюдать, другие нарушал иногда только по пылкости темперамента. Вот в переводе несколько отрывков из его французского письма:

Ты будешь в сношениях с людьми, тебе еще неизвестными; не суди о них по твоему сердцу, которое благородно и добро... Будь холоден со всеми... Фамильярность всегда вредна; но особенно остерегайся предаваться ей с людьми, которые выше тебя... Не принимай никогда благоденствий. Благоденствие почти всегда коварство. Не принимай протекции, потому что она унижает и подчиняет. Я посоветовал бы тебе не предаваться увлечениям дружбы, но не решаюсь леденить твоего сердца в возрасте нежных самообольщений... Если состояние не позволяет тебе жить блистательно, не старайся скрывать своей недостаточности. Скорее можно позволить себе противную крайность. Пред суровым цинизмом склоняется общее мнение, а мелкие уловки суетности делают человека смешным. Никогда не бери займы; скорее терпи нужду. Знай, что она не так ужасна, как ее описывают, и далеко не так страшна, как возможность быть или показаться человеком нечестным.

Проповедуя брату осторожность в обращении с людьми, Пушкин сам соблюдал ее, как человек истинно светский. Известно множество примеров того, как он был уклончив в разговоре, поставив себе правилом не противоречить резко высказанному мнению и, для избежания спора, отделяться уступчивыми фразами или переменять разговор. Говорят, что и с людьми близкими он часто находил нужным держать себя подобным образом. «Вообще, — говорит г. Анненков, — он любил закрывать себя и мысль свою шуткой или таким оборотом речи, который еще оставлял возможность сомнения для слушателей: вот почему весьма мало людей знали Пушкина, что называется, лицом к лицу». В замечании брату о том, что бедность вовсе не страшна, опять видны привычки самого Пушкина, который, при всей любви к комфорту, при всем желании блистать в обществе, любил простоту, будучи человеком истинно лучшего тона и в том, как во всех остальных отношениях.

Вообще, Пушкин был очень прост во всем, что касалось собственно до внешней обстановки. Одевался он очень небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей. Иметь простую комнату для литературных своих занятий было у него даже потребностью таланта и условием производительности. Он не любил картин, и голая серенькая комната давала ему более вдохновения, чем роскошный кабинет с эстампами, статуями и богатой мебелью, которые обыкновенно развлекали его. Он довольствовался незатейливым помещением в Демутовом трактире, где обыкновенно останавливался в приездах своих в Петербург. Вообще, привычки его были просты, но вкусы и наклонности уже не походили на них. Так, поздние обеды в Михайловском были довольно прихотливы,

по собственному его свидетельству... Образ жизни его в деревне чрезвычайно напоминает жизнь Онегина (гл. IV, строфы 37–39, 44). Он также вставал очень рано и тотчас же отправлялся налегке к бегущей под горою речке и купался; зимой он, как и Онегин, садился в ванну со льдом перед завтраком... Если случалось оставаться ему одному дома без дела и гостей, Пушкин играл двумя шарами на бильярде сам с собой, а длинные зимние вечера проводил в беседах с няней Ариной Родионовной.

Несмотря на то, что Пушкин не был расточителен и получал довольно много денег за свои произведения, он почти постоянно нуждался. Главнейшею причиною этого была беспечность, неаккуратность, неопытность в денежных делах. Можно указать и некоторые другие причины. Так, у него выходило очень много денег на книги; все письма его к брату наполнены списками книг, покупать которые поручалось ему. Карты также уносили много денег. Г. Анненков приводит из его записок следующие строки, интересные по своему простодушному тону:

15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи, в 12 часов утра, застал я проезжающего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате не достало мне 5 рублей. Я поставил их на карту. Карта за картой, проиграл 1 600 рублей. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 рублей и уехал очень недоволен сам собой.

Но гораздо забавнее относящийся также к этой страсти анекдот, пересказываемый г. Анненковым со слов Гоголя. Гоголь, тотчас по приезде в Петербург (около 1829 года), еще не имея литературной известности, отправился знакомиться с великим поэтом, произведениями которого так восхищался еще в школе:

Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и, наконец, у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликеру. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «дома ли хозяин», услышал ответ слуги: «почивают!». Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «верно всю ночь работал?» — «Как же, работал! — отвечал слуга: — в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализацией его. Он иначе и не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения.

Но главною причиною денежных затруднений Пушкина, повторяем, надобно считать его неаккуратность, беззаботность и неопытность в делах. Примеров ее в «Материалах» чрезвычайно много. Ограничимся несколькими. Задумав издать (первое) собрание своих стихотворений, он в разные времена дал, по забывчивости, трем лицам обещание продать это издание и с одного из них взял даже 1000 рублей задатка. Впрочем, забывчивость Пушкина извиняться может тем, что книжку эту собирался он издать в течение целых шести лет! Кроме того, он собирался печатать ее также и на собственный счет по подписке. Можно представить, сколько путаницы возникло с этими четырьмя претензиями, когда печатание книжки действительно началось... Такая же беспечная неопытность проявляется и в письмах его по случаю залога имения в банк: Пушкин высказывает в этом полнейшее незнание дел. Билет Опекунского совета забывает он у приятеля в Москве и пишет об этом, в *Post-scriptum*, так:

«Да сделай одолжение, перешли мне опекунский билет, который я оставил в секретном твоём комодке; там же выронил я серебряную копеечку; если и ее найдешь, и ее перешли... Ты их счастьем не веруешь, а я верую».

Как характеристична эта одинаковость тона, которым говорится о билете и серебряной копеечке! Скоро мы будем говорить о том, как постоянная нужда в деньгах возбуждала в Пушкине желание быть человеком расчетливым, соблюдающим везде свою выгоду; теперь же перейдем к другой черте характера — мистицизму или, лучше сказать, вере в разные предрассудки. В «Материалах» находим несколько любопытных примеров этому, вроде веры в счастье, приносимое старыми копеечками, вроде того, что приятель поэта, не веривший силе серебряных копеечек, верил могуществу колец и подарил Пушкину золотое кольцо с

бирюзой, которое имело силу «предохранять от внезапной беды», — Пушкин носил его до самой смерти, не снимая никогда с руки. Был у Пушкина и другой, покрытый какими-то знаками, кабалистический перстень, с которым был связан, как он твердо верил, его талант. (Это кольцо теперь находится у В. И. Даля; кольцо с бирюзой у г. Д-са.) Вот, наконец, случай, рассказанный самим поэтом г-же Фукс:

Вам, быть может, кажется удивительным (начал опять говорить Пушкин), что я верю многому невероятному и непостижимому. Быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н.В.В. ходить по Невскому проспекту, и, из проказ, зашли к кофейной гадалщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, — сказала она мне, — на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который будет вам предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги. А третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью... Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании и о гадалщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве. Он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадалщице. Через несколько дней после встречи с знакомым, я в самом деле получил с почты письмо с деньгами, и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получив после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен.

Не удивительно, что Пушкин верил предрассудкам: рассказы няни, чудесные и таинственные, с детства овладели его пылким воображением; кроме того, он был расположен к мистицизму, как видим по всему; как ни проницателен был его природный ум, но он никогда не углублялся в отвлеченные философские вопросы, занятие которыми одно может удержать от мистицизма человека с пылким воображением; надобно также припомнить, что он имел вообще много предрассудков, и кроме относящихся к суевериям; наконец, он был мнителен — и об этой последней черте его характера «Материалы» сообщают несколько данных. Будучи телосложения крепкого, развитого гимнастическими упражнениями, он находил в себе расположение к чахотке, и даже ему казалось, что он чувствует признаки аневризма в сердце. К числу стихотворений, высказывающих это постоянное опасение смерти, принадлежит, например, прекрасное «Брожу ли я вдоль улиц шумных»; именно о нем упоминаем потому, что в «Материалах» г. Анненкова напечатаны выпущенные автором стихи, которые еще яснее известных читателям строф говорят, что Пушкин выразил в этом размышлении свою задушевную думу:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, везде со мной...

..

Но не вотще меня знакомит
С могилой ясная мечта.

..

А между тем, если кто-нибудь, то именно Пушкин не должен был предаваться мрачным опасениям преждевременной смерти: он мог рассчитывать на долгую жизнь, благодаря крепкой организации, лучшим доказательством которой служит его неутомимость в ходьбе; потому что, быв самым неподвижным ребенком в детстве, он потом чрезвычайно любил ходить пешком, и некоторые из обыкновенных его прогулок были бы под силу

немногим; не говорим уж о том, что, живучи в 1833 году на даче на Черной Речке, он ходил каждый день пешком в Архивы и возвращался на дачу также пешком; по возвращении он купался и после этого уж не чувствовал никакой усталости, но гораздо замечательнее этого прогулки его пешком из Петербурга в Царское Село. Он выходил из города поутру, выпивал стакан вина на Средней Рогатке и, погуляв еще после обеда в садах Царского Села, возвращался вечером пешком в Петербург, исходив, таким образом, в день более пятидесяти верст.

Известно, что Пушкин вообще имел в характере расположение любить и уважать предания, любил старину, был, если можно так выразиться, в душе до некоторой степени старинный человек, несмотря на то, что проницательный ум, образованность и практический взгляд на вещи заставляли его превосходно понимать различие между отжившими свое время понятиями и потребностями настоящего. Один из поразительных примеров того, как сильно укоренились в его сердце предания, представляют его отношения к литературным обществам, которые в первой своей молодости застал он процветающими и распадения которых, по справедливому замечанию г. Анненкова, сам содействовал более всего, возведя своими произведениями литературу на степень дела, принадлежащего всему русскому обществу, а не тесному кружку немногочисленных любителей, образовав десятки тысяч читателей вместо прежних сотен и вызвав к деятельности сотни писателей вместо прежних немногих дилетантов. Возбудив первыми своими стихотворениями внимание Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкин был тогда же принят в число членов известного литературного общества «Арзамас», душою которого был Жуковский, целью которого было противодействие обществу «Любителей Российского слова» и их устарелым литературным понятиям. Не удивительно, если молодой писатель горячо разделял все симпатии и антипатии поэтов, которых и сам он считал своими учителями, и публика тогда еще ставила выше его. Но замечательно, что до конца своей жизни Пушкин не переставал показывать в себе бывшего члена «Арзамаса». «Пушкин навсегда сохранил (говорит г. Анненков) почтение как к лицам, признанным авторитетами в среде его, так и к самому способу действия во имя идей, обсужденных целым обществом... да и к одному личному мнению, становившемуся наперекор мнению общему, уже никогда не имел уважения». В этом отчасти надобно искать причину нелюбви его к журналистике, влиянием которой заменилось впоследствии влияние литературных обществ, в особенности к «Московскому телеграфу». Пушкин не мог привыкнуть к новому порядку вещей, когда журнал приобрел свой голос в суждениях о литературе, не служа выражением мнения тесного кружка людей, коротко знакомых, имевших одни привязанности, не замечавших или щадивших слабости каждого члена своего общества, а сделавшись органом независимого мнения, образовавшегося или начинавшего образовываться в массе публики. В мнениях журналов, особенно «Московского телеграфа», который первый обнаружил самостоятельность, Пушкин видел произвол личного мнения, и, говорит г. Анненков, как только заметил признаки нового направления, «начал свою систему рассчитанного противодействия, имея в виду возратить критику в руки малого, избранного круга писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики». Попытку осуществить это намерение надобно видеть в основании «Литературной газеты». Можно было бы считать эти замечания о верности Пушкина духу прежних литературных обществ предположением, еще не совсем верным, так много тут странного; но сам Пушкин оставил доказательств того, что не напрасно мы будем до конца его деятельности видеть в нем прежнего члена «Арзамаса». Известно, что каждый член этого кружка получал имя, заимствованное из баллад Жуковского: один был назван Громобоем, другой — Старушкою и т. д. А. С. Пушкину дано было имя «Сверчок»; в 1830 году А. С. Пушкин, уже всеми признанный первым поэтом русским, затмевающим собою всех остальных, помещая свои стихотворения в «Литературной газете», подписывает их буквами Крс. — это перестановка сокращенной подписи Срк. — Сверчок. Итак, Пушкин еще помнит и любит свое Арзамасское имя, в то время, как уж все, кроме него, давно забыли о существовании «Арзамаса». Другой пример его высокого уважения к литературным

обществам: в начале 1833 года избранный членом Российской Академии, президентом которой был тогда Шишков, и духу которой Пушкин, поэтому, кажется, мало мог сочувствовать, Пушкин постоянно посещал еженедельные собрания Академии и «вообще весьма серьезно смотрел» на труды этого ученого сословия.

Мысль о журнале, который противодействовал бы новому положению в литературе, принятому «Московским телеграфом», постоянно занимала Пушкина с 1826 года — он тогда уже задумывал основать свой собственный журнал; но, по обыкновению, и в этом деле был беспечен; скоро, впрочем, он был обрадован основанием «Московского вестника» (г. Погодина), душою которого хотел быть, потом — «Литературной газеты», отношения к которой у него были еще теснее. В 1832 году хлопочет он о разрешении основать ежедневную газету и, наконец, получает позволение, но, скоро охладев к своей мысли, уж не приводит ее в исполнение. Только в 1836 Пушкин делается, наконец, редактором журнала, о котором так долго мечтал.

Вместе с желанием иметь орган для выражения своих литературных мнений и противодействия другим журналам, Пушкин, при намерении основать журнал, имел в виду и денежную выгоду. Он прямо и с какою-то особенною аффектациею любил говорить, что пишет по внутренней потребности, для наслаждения творчеством (как это действительно и было), но печатает свои произведения только из единственного желания получить за них деньги, а вовсе не из потребности делиться с публикою своими чувствами или из желания авторской славы (что было уж не совсем справедливо). В «Материалах» г. Анненкова находим много мест из писем и отрывков Пушкина, где он старается уверить в этом, даже как бы хвалится тем, что печатает единственно для денег. Вот несколько примеров. В 1824 году Пушкин пишет о «Бахчисарайском фонтане». «Радуюсь, что мой фонтан шумит... Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны».

Г. Анненков нашел в бумагах Пушкина следующий отрывок неизданного стихотворения:

На это скажут мне с улыбкою неверной: —
Смотрите! вы поэт, уклонкой лицемерной
Вы нас морочите. Вам слава не нужна?
Смешной и суетной вам кажется она?
Зачем же пишете? — Я? для себя. —
За что же печатаете вы? —
Для денег. — Ах, мой боже,
Как стыдно! — Почему ж?

Интересен также отрывок из просьбы об отпуске в Оренбург и деревню; просьба эта писана в 1833 году, когда он занимался «Историю Петра Великого» и «Историю Пугачевского бунта»; роман, о котором в ней говорится, — «Капитанская дочка».

«В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими трудами, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия; но они доставляют мне способ проживать в С.-Петербурге, где труды мои, благодаря начальству, имеют цель более важную и полезную. Если угодно будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне — это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему мне хотелось бы посетить обе сии губернии.

30 июля
Черная Речка».

Пушкин постоянно нуждался в деньгах, потому, естественно, должен был думать о них. Припомним правило, которое дает он брату: порядочный человек не старается никогда скрывать, если нуждается в деньгах; напротив, должен нарочно сам обнаруживать свое затруднение, чтоб импонировать своим «гордым цинизмом»; потому, принужденный признаваться, что живет деньгами, получаемыми за свои произведения, Пушкин естественно приходил к мысли, что ему надобно надменно твердить: «я печатаю единственно для денег». Охота говорить это усиливалась в нем оригинальным отвращением от того, чтоб его принимали в обществе, где он хотел быть исключительно светским человеком, как писателя, серьезно интересующегося участью своих произведений и авторскою славою; об этом будем мы сейчас говорить. Но было бы жалким недоразумением видеть в Пушкине, по своей беспечности, неопытности в денежных делах, постоянно нуждающемся в деньгах и оттого хлопочущем о деньгах, человека сколько-нибудь корыстолюбивого — напротив, мы видим, что часто будучи вправе преследовать людей, обманывавших его в коммерческом отношении, он этого не делал; сердился, выражал свою досаду в письме к какому-нибудь приятелю, и только. Не считаем нужным прибавлять, что всегда он был благороднейшим человеком, — иначе и не могло быть при его характере и правилах. Что он был щедр и любил помогать, это известно из всех его литературных отношений. Позволяем себе наконец привести два отрывка из писем его к брату, который, живучи в Петербурге, некоторое время заведывал его делами. Первое письмо было послано по получении известия о наводнении в Петербурге:

I. Этот потоп у меня с ума нейдет. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег; прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного (8 декабря 1824).

II. (1825 г.) ...P.S. Слепой священник перевел Сираха (см. «Инвалид» Но такой-то), издает по подписке; подпишись на несколько экземпляров.

Благородное желание помочь и ободрить всякого начинающего писателя, в котором замечал он талант, хорошо известно. Об отношениях Пушкина к Гоголю излишне говорить. Многие также знают, с каким радушием старался он о литературных успехах барона Розена, г-жи Дуровой, какими похвалами встретил сказку г. Ершова «Конек-Горбунок», которую внимательно пересмотрел и первые четыре стиха которой (по словам г. Смирдина) принадлежат Пушкину. Известно также, как Пушкин отправился знакомиться с Губером, тогда совершенно безвестным, услышав, что он занимается переводом «Фауста», как ободрял Губера к продолжению труда, который без Пушкина, вероятно, и не был бы окончен, как, наконец, несколько дней провел, вместе с автором проверяя и поправляя перевод. Не говорим уж о том, с какою радостью приветствовал он каждое произведение тех людей, которых считал, по своему добродушию, великими талантами.

И однако ж, несмотря на свою пламенную любовь — даже мало этого сказать, — несмотря на свою безусловную преданность литературе, Пушкин не хотел, чтобы в обществе его считали литератором. Приводим слова г. Анненкова:

Никто так не боялся, особенно в обществе, звания поэта, как Пушкин. Обязанный лучшими минутами жизни уединенному кабинетному труду, он искал успехов и торжеств на другом поприще и считал помехой все, что к нему собственно не относилось. Только в последних годах своей жизни теряет он ложный стыд этот и является в свете уже как писатель. В ту эпоху, которой занимаемся (около 1828–1830), всякое смешение светского человека с писателем наносило ему глубокое оскорбление. Это превосходно выражено им самим в отрывке, который предшествовал созданию «Египетских ночей». Художественно передана там, в лице Чарского, борьба различных направлений в одном человеке.

Интересным следствием одного из капризов, рождавшихся от этого нежелания Пушкина, чтобы его принимали за «сочинителя», осталась надпись на драматическом отрывке его «Скупой Рыцарь» — «The cavetous Kniht, Ченстона». Несмотря на розыски, никто из критиков не мог найти в английской литературе ни Ченстона, ни пьесы «The cavetous Kniht». Потому предполагали, что Пушкин вздумал назвать переводом то, что было

вовсе не перевод, а собственное его поэтическое произведение. Теперь, кажется, невозможно и сомневаться в этом. Г. Анненков не только сам напрасно отыскивал Ченстона и не нашел его, но и получил от издателей английского критического журнала «The Athenaeum», знатоков старинной английской словесности, положительное уверение, что никакого английского писателя Ченстона не было. Кроме того, в черновой рукописи английское имя пьесы написано и поправлено несколько раз, так что Пушкин, очевидно, придумывал его. Г. Анненков нашел у Пушкина и другие случаи подобного приписывания своих сочинений посторонним лицам. Так, несомненно оригинальное стихотворение свое «Над лесистыми берегами» Пушкин называет переводом с английского. У одного из неизданных стихотворений, также оригинального, сначала была сделана надпись «Alfred Musset», а потом зачеркнута и вместо нее написано «Из VI Пиндемонте».

Здесь мы кончаем наши извлечения из «Материаллов» г. Анненкова касательно жизни и личного характера Пушкина.

Теперь мы считаем уже излишним говорить о том, как много новых и чрезвычайно важных сведений о великом поэте сообщается в биографии, составленной г. Анненковым, как верны и обосновательны объяснения и замечания, которые он делает, — читатели могли видеть в нашей статье довольно примеров тому. Но без всякого сомнения интереснейшая часть материалов, собранных г. Анненковым, относится к истории того, как созидались и развивались гением Пушкина его произведения, и этим-то мы займемся в следующей статье. В ней постараемся мы собрать из «Материаллов» данные, объясняющие, если так можно выразиться, авторские привычки Пушкина, его манеру писать, внешнюю сторону его творчества, историю сочинения его произведений, — мы прежде знали об этом только смутно; теперь, на основании чрезвычайно внимательного разбора черновых бумаг Пушкина, г. Анненков сообщает множество данных, в высшей степени интересных. Переходом от подробностей, собранных в настоящей статье, к этой истории создания произведений Пушкина послужат заимствованные также из «Материаллов» г. Анненкова данные о развитии таланта и литературных мнений Пушкина.

Р. С. Выше сказано, что издание г. Анненкова обогащено несколькими новыми произведениями Пушкина в прозе и стихах, отысканными новым издателем в бумагах поэта. Между этими драгоценными находками есть несколько стихотворений превосходных. Мы украсили настоящую книжку «Современника» тремя пьесами Пушкина, из которых две совершенно новые; третья (Воспоминание) — нова только во второй половине, начиная со стиха: «Я вижу в праздности, в неистовых пирах». Первая половина напечатана еще при жизни Пушкина. Теперь эти две половины, соединенные через столько лет в одно стихотворение, представляют одну из лучших и характернейших лирических пьес Пушкина в том виде, как она создалась под пером его. В заключение настоящей статьи, приводим еще несколько стихотворных отрывков, впервые появившихся в издании Анненкова.

Дополнительные октавы к повести Домик в Коломне

(к III октаве)

Modo vir, modo femina⁷.
У нас война! Красавцы молодые,
Вы хрипуны.....
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль в Персии
Ширванский полк? Уж люди!
Мелочь, старички кривые,

⁷ То муж, то женщина (лат.)

А в деле всяк из них, что в стаде волк!
Все с ревом так и лезут в бой кровавой:
Ширванский полк могу сравнить с октавой.
Поэты Юга, вымыслов отцы,
Каких чудес с октавой не творили?
Но мы ленивцы, робкие певцы,
На мелочах мы рифму заморили,
Могучие нам чужды образцы.
Мы новых стран себе не покорили,
И наших дней изнеженный поэт,
Чуть смыслит свой уравнивать куплет!
Но возвратиться все ж я не хочу
К четырехстопным ямба, мере низкой...
С гекзаметром... О, с ним я не шучу:
Он мне не в мочь. А стих Александрийской?
Уж не его ль себе я залучу?
Извилистый, проворный, длинный, склизкий
И с жалом даже — точная змея...
Мне кажется, что с ним управлюсь я.
Он вынянчен был мамкою не дурой:
За ним смотрел степенный Буало,
Шагал он чинно, стянут был цезурой:
Но пудреной пиитике на зло
Растрепан он свободно цензурой,
Учение не в прок ему пошло,
Hugo с товарищи, друзья природы,
Его гулять пустили без цезуры.
О, что б сказал поэт законодатель,
Гроза несчастных мелких рифмачей!
И ты Расин, бессмертный подражатель
Певец влюбленных женщин и царей!
И ты Вольтер, философ и ругатель,
И ты Делиль — Паранасский муравей.
Что б вы сказали, сей соблазн увидя!
Наш век обидел вас — ваш стих обидя!
У нас его недавно стали знать.
Кто первый? можете у Телеграфа
Спросить и хорошенько все узнать.
Он годен, говорят, для эпиграфа,
Да можно им порою украшать
Гробницы или мрамор кенотафа;
До наших мод, благодаря судьбе,
Мне дела нет: беру его себе!

(К октаве VIII)

И там себе мы возимся в грязи,
Торгуемся, бранимся так, что любо,
Кто в одиночку, кто с другим в связи,
Кто просто врет, кто врет сугубо...
Но Муза никому здесь не грози —
Не то, тебя прижмут довольно грубо,

И вместо лестной общей похвалы
Поставят в угол Северной Пчелы!
Иль наглою, безнравственной, мишурной.
Тебя в Москве журналы прозовут
Или Газетою Литературной
Ты будешь призвана на барский суд.
Ведь нынче время споров, брани бурной,
Друг на друга словесники идут,
Друг друга режут и друг друга губят...
И хором про свои победы трубят!
Блажен, кто издали глядит на всех,
И рот зажав, смеется то над теми,
То над другими. Верх земных утех
Из-за угла смеяться надо всеми!
Но сам в толпу не суйся... или смех
Плохой уж выйдет: шутками одними,
Тебя, как шапками, и враг и друг.
Соединясь, все закидают вдруг.
Тогда давай бог ноги. Потому-то
Здесь имя подписать я не хочу.
Порой я стих повертываю круто,
Все ж видно — не впервой я им верчу!
А как давно? Того и не скажу-то.
На критиков я еду, не свищу,
Как древний богатырь — а как наеду...
Что ж? Поклонюсь и приглашу к обеду.
Покаместь можете принять меня
За старого, обстреленного волка,
Или за молодого воробья,
За новичка, в котором мало толка.
У вас в шкапу, быть может, мне, друзья,
Отведена особенная полка,
А, может быть, впервой хочу послать
Свою тетрадку в мокрую печать.
Ах, если бы меня, под легкой маской,
Никто в толпе забавной не узнал!
Когда бы за меня своей указкой,
Другого строгий критик пощелкал!
Уж то-то б неожиданной развязкой
Я все журналы после взволновал!
Но полно, будет ли такой мне праздник?
Нас мало. Не укроется проказник!
А вероятно, не заметят нас.
Меня с октавами моими купно.
Однако ж нам пора. Ведь я рассказ
Готовил; — а шучу довольно крупно
И ждать напрасно заставляю вас.
Язык мой, враг мой: все ему доступно,
Он обо всем болтать себе привык.
Фригийский раб, на рынке взяв язык,
Сварил его (у г-на Копа
Коптят его). Езоп его потом

Принес на стол... Опять, зачем Езопа
Я вплел с его вареным языком
В мои стихи? Что вся прочла Европа,
Нет нужды вновь беседовать о том.
На силу-то, рифмач я безрассудной,
Отделался от сей октавы трудной! —
Усядья муза...

Монолог пьяного мужичка

Сват Иван, как пить мы станем,
Непременно уж помянем
Трех Матрен, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом.
Мы живали с ними дружно:
Уж как хочешь — будь что будь —
Этих надо помянуть,
Помянуть нам этих нужно.
Поминать так поминать,
Начинать так начинать,
Лить так лить, разлив разливом.
Начинай же, сват, пора!
Трех Матрен, Луку с Петром
Мы помянем пивом,
А Пахомовну потом
Пирогамы, да вином,
Да еще ее помянем —
Сказки сказывать мы станем
Мастерица ведь была!
И откуда что брала?
А куда разумны шутки,
Приговорки, прибаутки.
Небылицы, былины
Православной старины?..
Слушать — так душе отрадно:
Кто придумал их так складно?
И не пил бы, и не ел,
Все бы слушал да глядел.
Стариков когда-нибудь
(Жаль, теперь нам недосужно)
Надо будет помянуть.
Помянуть и этих нужно...
Слушай, сват: начну первой,
Сказка будет за тобой...

Наконец, вот еще превосходный отрывок в классическом роде, относящийся к поэту Петрову, уже в преклонной старости написавшему известную оду адмиралу Н. С. Мордвинову...

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины,

В крылах отяжелев, он небо забывал
И Пинда острые вершины.

В то время ты вставал: твой луч его согрел;
Он поднял к небесам и крылья и зеницы —
И с шумной радостью взыграл и полетел,
Во сретенье твоей денницы.

Мордвинов! не вотще Петров тебя любил;
Тобой гордится он и на берегах Коцита,
Ты Лиру оправдал: ты ввек не изменил
Надеждам вещего Пиита...

Не смеем ничего прибавлять в похвалу этому стихотворению, особенно первым двум строфам его, картинность и величественность которых поразительны. За одно это стихотворение, если б г. Анненков не нашел ничего более нового в бумагах Пушкина, — он уже заслуживал бы глубокой благодарности всей читающей публики. Но мы уже отчасти видели, что поиски г. Анненкова принесли обильные плоды, обогатив русскую литературу несколькими превосходными стихотворениями и дав г. Анненкову материалы к воссозданию личности великого русского поэта, что яснее увидим в следующей главе.

Статья вторая

Предыдущая наша статья имела целью познакомить читателей с планом и достоинствами нового издания творений Пушкина, показать, как много новых и чрезвычайно важных данных заключается в «Материалах» для его биографии, с достосовестною неутомимостью собранных г. Анненковым, как внимательно и проницательно г. Анненков старался объяснить нам личность великого нашего поэта, как основательно и осмотрительно он разгадывает черты его характера. Потому первая наша статья преимущественно состояла из выписок и извлечений; мы почти ничего не прибавляли от себя к рассказам и соображениям г. Анненкова, стараясь только дать по возможности точное понятие об отличительных качествах нового издания и прекрасной биографии, к нему приложенной. Теперь, исполнив одну часть нашей обязанности, мы можем заняться исполнением другой и представить некоторые мысли и применения, к которым подают повод собранные в «Материалах» факты относительно истории развития произведений Пушкина, относительно процесса их постепенного созидания и обработки.

Известно, что Пушкин чрезвычайно внимательно обрабатывал свои произведения, особенно писанные стихами. Три, четыре раза он переписывал их, каждый раз то исправляя выражения, то изменяя характер и развитие самых мыслей и картин. Но до издания «Материалов для биографии А. С. Пушкина» мы знали об этом только в общих, смутных чертах; теперь для нас становится ясен весь характер и все подробности этих работ. Г. Анненков чрезвычайно внимательно рассмотрел все черновые тетради Пушкина, извлек из них все сколько-нибудь замечательные различия приговорительных и окончательной редакций и, отнеся мелкие и раздробленные факты такого рода в примечания к каждому произведению, собрал важнейшие в своих «Материалах». Ограничимся здесь сообщением некоторых сведений о постепенном развитии двух или трех произведений из числа тех, обдумыванием и обработкою которых особенно долго занимался поэт.

«Евгений Онегин» издавался отдельными главами в продолжение нескольких лет, и между каждым предыдущим и последующим выпусками этого романа Пушкин издавал другие произведения, не имеющие с ним никакой связи. Но эта отрывочность издания не дает еще ни малейшего понятия об отрывочности самой работы. Строфы каждой главы писаны были в разбивку, последующие после предыдущих, без всякого порядка; часто,

например, в тетради написана пятнадцатая или двадцатая строфа, потом пятая или десятая и вслед за ними первая или вторая. Между тем над каждой строфой уж выставлена цифра, означающая место ее в полном составе главы. Это мало; не только строфы каждой главы писались в беспорядке, не только Пушкин писал иногда строфы следующей главы, когда еще не готова была предыдущая, но в одно и то же время, на одной и той же тетради он писал и строфы «Онегина» и сцены «Бориса Годунова». Так, начав писать монолог Григория (в сцене с летописцем, в «Борисе Годунове»), Пушкин бросает его, не кончив, и пишет XXIV строфу IV-й главы «Евгения Онегина», потом несколько строф из следующих глав романа; затем оканчивает монолог Григория, пишет три первые стиха Пименова ответа:

Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе всевышний...

отмечает прозаической фразой содержание, которое должны иметь следующие стихи: «Приближаюсь к тому времени, когда земное перестало быть для меня занимательным», пишет еще пять стихов, и опять переходит к «Евгению Онегину» (XXV строфа IV-й главы):

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой...

и рисует пером портрет Ольги. Подобных случаев много мы встречаем и у других писателей. Так, например, Гете писал сцены своего «Фауста» не в последовательном порядке. Конечно, такая внешняя беспорядочность работы не может быть выставляема на вид, как прекрасный пример для подражания. У самого Пушкина она оправдывается только счастливою памятью его, помогавшею ему не потеряться в хаосе, живостью характера, впечатлительностью, нетерпеливостью, которая так обыкновенна в пылких людях; но должно заметить, что беззаботная непоследовательность в исполнении строго обдуманного плана, не мешая стройности произведений, этим самым изобличает, что процесс изложения на бумаге того, что задумано в уме или фантазии, есть уж дело второстепенной важности для достоинства произведения и, большею частью, даже для сознания самого писателя, если только он действительно одарен самородным талантом, а не насилует свое воображение для придумывания поэтических картин. В наше время нет безусловных авторитетов, каждое движение которых стояло бы выше критики; но урок, извлекаемый из привычки Пушкина, не может не иметь своей важности для русских писателей. Особенно в наше время, когда и между поэтами или беллетристами и критиками так преобладает мнение о великом значении «отделки», посредством которой доводится произведение до «художественности», в наше время, когда так много придают значения внешней форме, не мешает обратить внимание на отрывок из черновой записи Пушкина, приводимый г. Анненковым, который старается сохранить, как драгоценность, каждую строку, найденную им в бумагах Пушкина, и в этом справедливо поставляет главное право свое на признательность русской публики. В отрывке, о котором мы говорим, Пушкин бегло обзрывает развитие французской литературы и, перечисляя заслуги Ронсара и Малерба, высказывает, между прочим, следующую мысль: «Люди, одаренные талантами, будучи поражены ничтожностью французского стихотворства, думали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться преобразовать его... Пришел Малерб, с такой строгой справедливостью оцененный великим критиком Буало

Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence⁸.

⁸ Наконец пришел Малерб и первый во Франции дал почувствовать в стихах точную гармонию (франц.)

Но Малерб ныне забыт, подобно Ронсару. Сии два таланта истощили силы свои в борении с механизмом языка, в усовершенствовании стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!»

Если бы мы сколько-нибудь усумнились в справедливости этого замечания о ничтожности наружной отделки сравнительно с мыслью, без всякой заботы о подборе слов и выражений оживляющей произведение талантливого писателя, то нам достаточно было бы вспомнить об огромной массе написанного почти каждым из великих писателей, чтобы обязательно увидеть, как мало времени им оставалось на процеживание сквозь умственный фильтр каждого вылившегося из души выражения, на соображения о том, как лучше написать: щука с голубым пером или голубоперая щука, и хороша ли выйдет картина, если сказать: краезлатые облака. Эсхил, Софокл, Эврипид написали каждый около ста трагедий, Аристофан — более пятидесяти комедий, — а все эти люди проводили на народной площади более времени, нежели в своей рабочей комнате. Перейдя две тысячи лет, мы встречаемся с тем же самым явлением: Вольтер, Вальтер Скотт, Гёте написали каждый по несколько десятков томов. Даже Байрон и Шиллер, умершие так рано, успели написать столько, что остается удивляться количеству их произведений. Вероятно, всем этим людям некогда было долго заниматься подбором жемчужины к жемчужине; поневоле надобно предположить, что поэтические брильянты, если только они самородные, гранятся не столь долговременною полировкой, как находимые в бразильских песках.

Если что требует внимательного обдумывания, то это план поэтического произведения. Прояснить в своем уме основную мысль романа или драмы, вникнуть в сущность характеров, которые будут ее проявлять своими действиями, сообразить положения лиц, развитие сцен — вот что важно; если поэт употребит на это по несколько часов ныне, через месяц или два, через год, как придет ему вдохновенная минута подумать о создаваемом творении, то эти немногие часы принесут более пользы достоинству его произведения, нежели целые месяцы неусыпной работы над улучшением и исправлением вылившегося уже на бумагу произведения. И в этом случае мы ссылаемся на пример Пушкина, который так долго обдумывал планы своих произведений, иногда по несколько лет ожидая, пока зародившаяся мысль создания созреет в его голове, найдет себе стройное и полное развитие. «Черновая подготовка материалов, — говорит г. Анненков, — длилась иногда у Пушкина чрезвычайно долго; затем уже вдохновение скоро обращало их в светлые и мощные произведения искусства» — конечно, потому, что эти «черновые материалы» и составляют существеннейшую часть творчества. Очень замечательна в этом отношении история развития его «Египетских ночей», восстановленная теперь г. Анненковым по драгоценным тетрадам поэта. Зародыш, из которого развились «Египетские ночи», есть прекрасное стихотворение о любовниках Клеопатры «Чертог сиял...», написанное Пушкиным еще в 1825 году. Десять лет потом прошло, прежде нежели развилось в уме его произведение, центром которого должно было служить это стихотворение. Несколько раз повесть эта слагалась в уме его и была им отвергаема, как еще не вполне выражающая идею. Некоторые набросанные начерно отрывки, тотчас же брошенные, как неудовлетворительные, остались единственными следами этой долгой и интересной борьбы с планом и содержанием. Так он начал было повесть, которая была после его смерти напечатана в «Сто русских литераторов» под заглавием «Одна глава из неоконченного романа»; бросив это не могшее, по его мнению, выразить сущности мысли начало, он набросал другой отрывок, из которого г. Анненков внес в свои «Материалы» все, что можно было разобрать; потом написал третье начало повести, напечатанное в прежнем издании его сочинений под именем «Отрывка»; и только после всех этих неудачных, по его мнению, попыток нашел истинное содержание для своих «Египетских ночей». Но и эти многочисленные следы различных эпох развития сюжета

составляют еще только одну часть его истории. Прежде, нежели Пушкин увидел, что лучше всего выразит его идею такая повесть, как «Египетские ночи», он думал развить ее содержание в повести из классического мира и памятниками этого периода развития сюжета остались программа повести и три ее отрывка, отысканные г. Анненковым в черновых бумагах. Главным лицом он избрал Петрония, римского поэта, у которого находят следы новых понятий о жизни, противоположных древним воззрениям, и личность которого могла поэтому служить для выражения идеи, подобной идее «Египетских ночей», контраста между новым и древним миром; быть может, Пушкин увлекался и трагической смертью Петрония, который, подвергшись опале Нерона, открыл себе жилы в теплой ванне. Место не позволяет нам приводить самых отрывков, но вот программа повести (или, как нам кажется, второй части ее):

Описание дома. Мы находим Петрония с своим лекарем; он продолжает рассуждение о роде смерти; избирает теплые. Греческий философ исчез. Петроний улыбается и рассказывает *оду*. Описание приготовлений. Он перевязывает рану и начинаются рассказы. *Первый вечер*. О Клеопатре — наши рассуждения о том. *Второй вечер*. Петроний приказывает разбить драгоценную чашу — диктует *Satyricon*⁹ — рассуждение о падении человека — о падении богов, о общем безверии — о превращениях Нерона. *Раб-христианин...*

Вот сколько раздумья, вот скольких трудов стоило Пушкину развитие содержания «Египетских ночей». Другие примеры того, как видоизменялись внимательным углублением в сущность мысли планы произведений Пушкина, представляет рассказ «Братья разбойники». Он первоначально хотел написать более обширную поэму, в которой этот рассказ был бы только эпизодом. Вот программа предполагавшейся поэмы, найденная г. Анненковым: «Разбойники. История двух братьев. Атаман на Волге. Купеческое судно. Дочь купца». Но скоро он заметил, что сюжет не представляет довольно глубины для широкого развития, и сжег свою поэму, кроме отрывка, уцелевшего в руках одного из приятелей Пушкина и показавшегося потом Пушкину заслуживающим печати. Г. Анненков предполагает — и, вероятно, справедливо, — что маленькая пьеса «Жених» впоследствии возникла, если можно так выразиться, как экстракт из уничтоженной поэмы. Подобным же образом «Медный всадник» произошел из эпизода задуманной прежде Пушкиным большой поэмы, отрывком из другого эпизода которой осталась «Моя родословная», в рукописи начинавшаяся стихами, которые вошли в описание наводнения. Пушкин справедливо обдумал, что колоссальный «Медный всадник» делает неуместною обстановку «Родословной». Говоря о программах, приведем также чрезвычайно интересные программы «Галуба»; они показывают, какое глубокое содержание должна была приобрести, по мысли автора, эта поэма, которой успел он написать только половину. План ее был задуман еще в 1829 году, но только через четыре года приступил Пушкин к его исполнению. Представляем программы рядом.

1-Я ПРОГРАММА

1. Похороны.
2. *Черкес-христианин*.
3. Купец.
4. Раб.
5. Убийца.
6. Изгнание.
7. *Любовь*.
8. Сватовство.
9. Отказ.
10. Миссионер.
11. Война.

⁹ «Сатирикон».

12. Сражение.
13. Смерть.
14. Эпилог.

2-Я ПРОГРАММА

1. Обряд похорон.
2. Уздень и меньшей сын.
3. I день (отсутствия Тазита). Лань.
4. Почта. Грузинские купцы.
5. II день. Орел. Казак.
6. III день. *Отец его гонит.*
7. Юноша и монах.
8. Любовь отвергнута.
9. Битва и монах.
10. Миссионер.
11. Война.
12. Сражение.
13. Смерть.
14. Эпилог.

Пушкин следовал при исполнении второй программе, которая нам кажется и позднейшею и более художественною. Г. Анненков справедливо заключает, что существенная мысль поэмы была — изобразить, как Тазит, по нравственному развитию ставший выше сурового, беспощадного дикарства своего племени, тоскующий среди его и наконец отвергнутый им, принимается гуманным обществом христианского мира — и, вероятно (осмелимся прибавить мы), падает в борьбе между прежним и новым, отвергаемым и принимаемым нравственным существованием. Пушкин успел исполнить только половину своей программы и, по обыкновению, зачеркивал ее отделения по мере того, как исполнял их. Сличив поэму с программами, видим, что Пушкин следовал второй; но он также зачеркивал отделы и в первой программе, следовательно, вновь соображал и оценивал их при исполнении. В первой Тазит представляется христианином уже при самом начале поэмы; по второй программе поэма обнимает весь ход его развития; потому вторая кажется нам полнее в художественном отношении, и Пушкин не без причины предпочел ее.

В этом внимательном, продолжительном, недоверчивом обдумывании плана заключается, по нашему мнению, драгоценный урок для тех писателей, которые, подумав полчаса, пишут полгода и потом поправляют год — хорошо еще, если пишут, как велит одушевление труда, и потом исправляют, а не сидят в раздумьи над каждою фразою, не спутывают различных работ — творить и пересматривать — в одну вялую, утомительную, бесхарактерную работу. Конечно, для каждого особенного характера и темперамента есть свои особенные условия, наиболее соответствующие природе, наиболее благоприятные для деятельности. Человек с ровным, покойным, несколько флегматическим умом несколько удобнее, нежели человек с умом бойким, пылким, нетерпеливым, может выносить развлечения или замедления в своей работе, не портя ее; но нет человека, который бы не работал успешнее, последовательнее, лучше, оставаясь не развлекаемым, нежели получая каждую минуту толчок под руку. Мы принимаем в соображение и то, что если люди самоуверенные или по крайней мере твердые могут писать, не задумываясь над словами, не чувствуя в самую минуту потребности перемарывать и зачеркивать одно выражение, чтобы заменить его другим, то для людей с характером мнительным, или по крайней мере несколько робким и застенчивым, было бы насилием их природному расположению или даже чистою невозможностью писать прямо, не перечеркивая многих фраз, не призадумываясь иногда над выражением мысли. Но то верно, что для всякой натуры выгодна твердая, неколеблемая судорожными ужимками поступь. Мы именно то и хотим сказать, что для всякого таланта, каковы бы ни были особенные его склонности, каков бы ни был

характер человека, им обладающего, одно из существеннейших условий успешной деятельности то, чтоб он вполне предавался в минуты творчества течению своей мысли, ничем не задерживая, не возмущая его. Такого рода состояние если не есть еще вдохновение, то довольно близко к нему. И мы думаем, что каждый талант много выиграет, если будет вполне отдаваться своей природе, не стесняясь никакими внешними соображениями. А к числу их принадлежит забота о красоте выражений; забыть о ней в то время, как пишешь, вернейшее средство достичь ее, насколько то в силах нашего дарования. Человек именно тогда производит истинный эффект, когда и не думает об эффектах. Это заметно даже на хороших актерах или певцах. А писатель не актер, он должен быть гораздо ближе к увлечению, забывающему о всем, кроме своего предмета. Недурно при этом случае вспомнить и правило политической экономии о разделении работ, которое давно выражено пословицею: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Чем занялся, тем и надобно заниматься. Когда пишется, пиши и пиши. Потом, когда уж написано, когда ум утомился напряжением творчества, перечитай, соображай и обсуждай написанное. Но — опять есть пословица: написанного пером не вырубешь топором — что написалось дурно, нескладно или слабо, тому не придадут силы, красоты или стройности никакие исправления. Последующие пересмотры произведения сглаживают только те недостатки произведения, которые возникают от медленности пера сравнительно с быстрым течением мысли. Исправить самой мысли, недостатков развития, принадлежащих ей самой, они не в силах. И если вы недовольны не мелкими неточностями и угловатостями грамматическими или риторическими, а какими-нибудь существенными сторонами написанного, лучше и даже расчетливее относительно количества времени, нужного для работы, — не переправлять, а бросить написанное неудачно и писать вновь. Конечно, это своего рода геройство: кому не жаль бросить свой труд? кому не стыдно перед собою сознаться, что написал вещь, никуда не годную? Потому-то и нужно не приниматься писать, не обдумав ясно и стройно, что должно быть написано. Повторим, однако, еще раз, что всякая искусственность ведет к холодности и приторности, что лучший мед вытекает из сотов сам собою, а выжиманье приносит пользу только на маслобойне; что существенное правило не только поэтической деятельности, но и вообще жизни: каждый должен делать так, как прилично его натуре и сущности производимого предмета. Пути и проявления жизни бесконечно разнообразны; можно только находить общие элементы, участвующие в созданиях жизни, но нельзя сказать: такого-то рода деятельность всегда, во всем и у всех должна быть под исключительную власть такого-то правила: всегда и во всем могут быть случаи, когда самое общее, самое непреложное правило встречается с другими законами жизни, отнимающими у него исключительное господство над деятельностью. Потому и правило: обдумывай, обдумывай и обдумывай, потом ничего не будет стоить написать; а написанное необдуманно само ничего не стоит; или, попросту выражаясь: пять раз примерь, раз отрежь — это простое правило всякой человеческой деятельности, а не одного только эстетического мира, не одно всегда и повсюду управляет человеческою жизнью: встречаются случаи, когда другие законы и условия жизни высказывают свои требования так сильно, что подавляют его и изменяют характер деятельности. Таково лирическое настроение духа, являющееся порывом. Таков (быть может, не совсем уместно по поводу Пушкина, ум которого равнялся таланту и сообщал ему наибольшую цену, говорить о болезненных порождениях, но у нас, как и везде, хотя не в такой мере, как у нас, общая мысль нуждается в отрицательных приложениях, чтобы стать заметною) — таков жалкий случай, когда человек, имеющий способность писать гладко, не одарен способностью стройно мыслить. Случай, к сожалению, весьма и весьма нередкий. Не знаем, как бывало это прежде, потому что имена людей, хромавших в умственном отношении, не доходят до потомства, — но современникам часто приходится встречаться с ними. Что же? ведь и они люди, ведь и они заслуживают сочувствия, да и прямая выгода современников требует не отказывать в особенных предостережениях спотыкающимся. Потому, если вам, читатель, случится встретить поэта или беллетриста, мыслительность которого движется так неверно, что каждому не

бесчувственному человеку хочется быть заботливым опекуном его, то уверьте его, что правило обдумывать свои произведения к нему не относится: напротив, чем меньше он будет думать над своими произведениями, тем лучше. И пусть он по преимуществу выбирает их сюжетами предметы, «не вызывающие на размышление»: восхождение солнца, описание весны, утра, бури — особенно прекрасные темы; антологические стихотворения лучше всего приспособлены к его силам; из приключений человеческой жизни очень удобны для него: первая любовь, светские отношения, панегирические повести о грациозных красавицах и о необыкновенно блестящих молодых людях; патетические сцены также не представляют больших затруднений. Но он лучше всего сделает, если распределит время поровну между творческою деятельностью и образованием своей мыслительной способности чтением хороших книг, по выбору опытного руководителя, частыми беседами с дельными людьми и особенно тем, что будет удаляться общества себе подобных. При старательности и скромности почти каждый в состоянии сделаться человеком здравомыслящим и способным судить о вещах. Умственных горбунов от природы мало.

Естественнейший метод всякой работы, и ремесленной, и прозаической, и поэтической, состоит в том, чтобы ясно обдумать дело и потом исполнить его, а потом уж приниматься за пересмотр и исправление. Так умеет поступать даже столяр: сначала сообразит, каких размеров нужно сделать вещь, какую штуку дерева и какого именно дерева приготовить для каждой ее части; потом уж, приготовив и сообразив материалы, начинает ее делать, и делает не останавливаясь над полировкой каждого приклеиваемого вершка. Наконец, дав просохнуть, устояться своей работе, принимается за полировку, если только вещь такого рода, что нуждается в полировке. Во всяком случае, хороший столяр славится тем, что делает мебель из хороших материалов, прочно и соответственно ее цели, а не тем, что хорошо полирует ее: порядочно отполировать умеет самый плохой подмастерье.

И как успешно идет работа, когда все в ней обдумано и соображено. У Пушкина, например, который так медленно развивал свои создания в голове, созрев, они выливались на бумагу чрезвычайно быстро. Так, первая песнь «Полтавы» кончена 3-го октября, вторая — 9-го, третья — 16-го, следовательно, каждая песнь написана в неделю или менее. Большая повесть «Дубровский» начата 21-го октября, кончена 3-го января, следовательно, написана менее, нежели в два с половиной месяца. Интересными примерами того, в какой незначительной мере достоинства, придаваемые мелочною последующею отделкою, возвышают первобытную красоту произведения, с которою оно выходит из-под пера истинно талантливого автора, служат нам произведения, которых Пупхкин не успел дописать и, следовательно, не мог пересмотреть и окончательно обработать. Мы спрашиваем, в чем уступает «Галуб» законченнейшим по внешней отделке поэмам Пушкина? Менее ли художественны и самые стихи и картины в этом неотделанном отрывке, нежели в «Кавказском пленнике» или в «Полтаве»? Другое неоконченное и также не получившее окончательной отделки произведение, «Русалка» решительно должна быть названа одним из превосходнейших произведений поэзии Пушкина. «Русалку» едва ли не должно в художественном отношении (не по содержанию, не по мысли, а по эстетическим достоинствам исполнения) поставить наравне с «Медным всадником» и «Каменным гостем», выше и «Цыган», и «Братьев разбойников», и «Полтавы». Но поразительнее всего пример, представляемый «Сценами из рыцарских времен». Это произведение яснее всего показывает, что существенная красота заключена не в словах, которыми умеет гениальный писатель облечь свои мысли, а в том гениальном развитии, которое получает мысль в его уме, воображении, соображении, назовите это, как хотите, — в художественности, с какою представляется ему план, а не в выражении.

«По бумагам Пушкина видно, — говорит г. Анненков, — что «Сцены из рыцарских времен» не настоящее произведение, а только план произведения. Сверху рукописи надписано: *План* и затем, вместо того, чтоб изложить программу драмы в описании, Пушкин прямо начал сцены, и, раз начав, дописал их. Так составились они, не получив надлежащего развития и представляя еще один остов произведения и сухость, свойственную

плану вообще, хотя бы он был и в драматической форме».

Не знаем, насколько развился бы этот план при полной обработке; не знаем, как прекрасна была бы драма тогда; но теперь в «Сценах из рыцарских времен» мы имеем одно из превосходнейших произведений Пушкина — решаемся даже сказать, что не жалеем о том, что «остов произведения, представляющий сухость», не был обработан, не подвергся перекраиванию, развитию и распространению в объеме. Нам кажется даже, что сухость этого остова можно заметить, только узнав по внешним признакам, что оставшиеся нам «Сцены» — остов, а не вполне законченное художественное произведение; не укажи нам на мысль о сухости и необработанности сам Пушкин, мы должны были бы думать, что даже он сам не мог бы ни прибавить, ни изменить тут ни одного слова, не испортив или не ослабив своей прекрасной драмы. Если бы можно было вполне высказывать свои мнения, то мы сказали бы даже, что «Сцены из рыцарских времен» должны быть в художественном отношении поставлены не ниже «Бориса Годунова», а быть может и выше.

С вопросом о важности мелочной обработки тесно связан вопрос: когда автор, заботящийся о художественном достоинстве своих произведений, становится нелицеприятным судьей того, достойны ли они его имени, могут ли быть изданы в настоящей своей форме, или еще не достигли возможного совершенства; вопрос о том, долго ли должно храниться произведение в портфелях автора? Пушкин очень часто буквально исполнял правило Горация: «держи у себя под замком девять лет». *Nonum prematur in annum*. Множество произведений, совершенно оконченных, лежали у него неизданными по несколько лет. Не будем исчислять всех случаев, ограничиваясь немногими из указанных г. Анненковым. «Цыгане» оставались неизданными по крайней мере три года (изд. 1827, а в 1824 уже были готовы); то же было с главами «Евгения Онегина», «Дубровским», «Медным всадником», — одним словом, с большей частью поэм и повестей Пушкина. Один из самых замечательных случаев в этом отношении составляет судьба «Бориса Годунова», оставшегося в портфеле автора шесть лет! Драма эта совершенно окончена в 1825 году, как несомненно свидетельствует сам Пушкин. Впрочем, тут чрезвычайное замедление объясняется особенною важностью, какую придавал этому произведению Пушкин, боязнью отдать его на суд критиков, не подготовленных к тому, чтоб оценить по достоинству произведение, слишком колоссальное для их понятий, по мнению самого Пушкина, и необыкновенно дорогое ему. Г. Анненков сообщает нам об этом интересные отрывки из писем и заметок Пушкина, и мы приводим здесь некоторые из них.

«Долго не мог я решиться напечатать свою драму. Хороший или худой успех моих стихотворений, благосклонное или строгое решение журналов о какой-нибудь стихотворной повести, слабо тревожили мое самолюбие. Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать мнение критика, понять, в чем именно состоят его обвинения, и если никогда не отвечал на оные, то сие происходило не из презрения, но единственно из убеждения, что для нашей литературы *il est indifferent*¹⁰, что такая-то глава «Онегина» вышла выше или ниже другой. Но признаюсь искренно, неуспех драмы моей огорчил бы меня; ибо я твердо убежден, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспира, а не светский обычай трагедии Расина, и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены»...

...«С отвращением решаюсь я выдать в свет «Бориса Годунова» и хоть я вообще довольно равнодушен к успеху или неудаче своих произведений, но, признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтань, я могу сказать о моем сочинении: «*e'est une oeuvre de bonne foi*»¹¹. Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, плод добросовестных изучений, постоянного труда,

¹⁰ безразлично (франц.).

¹¹ «это добросовестное произведение» (франц.)

сия трагедия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено: живое занятие вдохновению, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия, наконец одобрение малого числа избранных»...

И действительно, холодный прием, встреченный этим любимым творением Пушкина, произвел на него самое тяжелое впечатление, которое отчасти даже содействовало развитию его литературных понятий в смысле, противоположном его прежнему бодрому стремлению вперед. «Нововведения опасны и, кажется не нужны», говорит он в черновом письме по поводу разборов «Бориса Годунова» в тогдашних журналах. Не рассматривая вопроса, до какой степени основательны были эти разборы, скажем только, что «Борис Годунов» действительно не занял того места в истории русского литературного или сценического развития, какое предназначал ему Пушкин. Колоссальны или нет достоинства этой драмы, но она до сих пор не оказала большого влияния ни на писателей, ни на читателей наших, и главы «Евгения Онегина», о которых сравнительно с нею так презрительно отзывается Пушкин, были гораздо важнее ее для нашей литературы. Как бы то ни было, мы не будем удивляться, что Пушкин, обыкновенно столь проницательный, не совсем беспристрастно смотрел на литературную важность своих произведений: «Евгений Онегин» писался легко, а «Борис Годунов» стоил автору многих трудов; кроме того, Пушкин считал драму высочайшею формою искусства. И теперь обыкновенно думают то же. Виною такого мнения, конечно, драмы Шекспира — величие его гения заставило считать и форму его произведений чем-то монументальным, как некогда на основании превосходства Гомеровых эпоей думали, что бессмертие дается поэту только сочинением эпоеи. Но если Пушкин медлил издавать «Бориса Годунова» потому, что слишком дорожил им, то при издании других произведений, особенно мелких, которым не придавал он большой цены, он не мог останавливаться опасением отдать их на суд журналов и публики. А между тем не только поэмы, повести, но и лирические стихотворения часто лежали в его портфелях неизданными. Берем из сотни указаний, представляемых примечаниями г. Анненкова ко второму тому, несколько случаев. Из стихотворений, написанных в 1824 году, «Ночной зефир струит эфир» было напечатано только в 1827 году. «Аквилон» (*Зачем ты, грозный Аквилон*) осталось ненапечатанным до смерти, хотя Пушкин, как видно, считал его достойным печати, поправляя в 1830 году; «Коварность» (*Когда твой друг на глас твоих речей*) явилось только в 1828 году; «К Языкову» (*Издравле сладостный союз*) только в 1830 году; «Узник» (*Сижу за решеткой в темнице сырой*) только в 1832 году. Конечно, такая чрезвычайная медленность была личным произволом или особенностью характера, и было бы странно поставлять ее в пример. Напротив, надобно даже сказать, что излишнее задерживание своих произведений неизданными может отчасти вредить свежести творчества и еще прямее — развитию таланта. Но в наше время, кажется, нет надобности настаивать на необходимости своевременной отдачи произведений на общий суд, по малочисленности людей, погрешающих против этого правила. Если

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,

то блаженны в наше время почти только те писатели, которых не соглашается печатать ни один журнал. Не будем, впрочем, доходить в наших мнениях до несправедливости: если можно упрекнуть многих наших писателей в поспешности, с какою печатают они свои произведения, то эта привычка, не совсем выгодная для таланта, не достигает ни у кого из них пагубного развития, в каком упрекали французских фельетонных романистов: наши беллетристы посылают свои рассказы в типографию не лист за листом, сами еще не зная, что будет написано в следующей главе романа. Они не только дописывают роман до конца прежде, нежели начинают его печатать, но и перечитывают, исправляют, вообще, сообразно своим убеждениям, заботятся о возможном совершенстве своих произведений. Литературное самолюбие или честолюбие у нас еще очень сильно. В других отношениях оно, конечно,

имеет свои вредные следствия, но в том, с которым говорим мы теперь, приносит свою пользу. Каждый, справедливо или несправедливо судя о своих произведениях, все-таки старается написать не как можно больше, а как можно лучше. Потому-то и бесполезно говорить об условиях этого совершенствования. Тотчас после того, как написана повесть или комедия, перечитывать ее почти бесполезно. Автор еще не успел отрешиться от своего произведения, если выражаться высоким слогом; проще говоря, находится еще в том же самом настроении чувств и мыслей, какое выразилось в его повести, еще не мог освободить своей головы от всех понятий и подробностей, которые тогда показались ему хороши, не может поэтому держать себя относительно них независимо, самостоятельно, допускать их овладевать вновь собою только в том случае, когда они действительно того заслуживают, не сошел еще с привычных точек зрения, и, перечитывая повесть, будет признавать необходимость подробностей, стройность развития, верность характеров, здравость содержания не по свободному сочувствию, а просто по не рассеявшейся еще предубежденности. Время обсуживать свое литературное дело, как и всякое другое дело, приходит тогда, когда настроение, его произведшее, успело уже в нас смениться другим, или, выражаясь громкими фразами, когда поток жизни омоет и освежит наш ум. Скоро или нет настанет это время — зависит от содержания произведения. Если его основное значение было: выразить общие воззрения автора на жизнь или одну из существеннейших сторон ее и на требования искусства, быть может, и никогда не будет в состоянии он критически, спокойно взглянуть на него; в таком случае, конечно, не будет разницы, через день или через год по окончании начнет он свою критику. В том и в другом случае он будет в состоянии сделать только мелочные исправления. Но человек с умом пытливым, склонным к недоверчивости, очень скоро, почти тотчас же после того, как освежится воображение, утомленное работою, может быть беспристрастным судьей произведения, возникшего из его общих убеждений, а не случайного страстного настроения. Напротив, произведения, порожденные страстью, увлечением, вообще особенным, не постоянным расположением духа, каждый автор, каков бы ни был характер его ума, может обсудить беспристрастно, как скоро минется это состояние и обыкновенно следующая за ним реакция в противоположном направлении, что бывает иногда через много лет, а иногда и через несколько часов. Так, например, мы не знаем, настало ли бы когда-нибудь для Пушкина время непредубежденным взглядом пересмотреть своего «Бориса Годунова», неразрывно связанного с его общими убеждениями о драме и об одном из важных периодов русской истории, понятия о которой установились у него твердо. Но при подвижности своего характера, конечно, мог он проницательно пересмотреть «Бахчисарайский фонтан» очень скоро после того, как дописал последний стих.

Все эти различия, конечно, ясны сами собою; но мы упомянули о них для того, чтобы не оставить повода к предположению, будто бы мы требуем чрезмерного или считаем нужным полагать какие-нибудь неподвижные границы. Напротив, и здравый смысл и эстетика говорят писателю, что отрешение от всяких внешних, формальных стеснений, не вытекающих из сущности самого дела, — существеннейшее условие для успешного труда. Каждый должен поступать так, как велит ему его натура и здравый рассудок. Иному нужно переправлять свои произведения, у другого нет в этом потребности и надобности, и каждый должен поступать в этом случае, как лучше для него. Мы говорим только о благоприятнейших условиях работы для людей с такою нравственною организациею, которая встречается чаще всего.

Но как же велики должны быть изменения, вносимые в произведения окончательною отделкою? Вообще эстетические соображения уверяют нас, что в написанном можно исправлять, не вредя произведению, только степень развития подробностей и образ выражения. Перо не успевает следить за мыслью; потому всегда могут встречаться в написанном некоторые неполноты, недостаток довольно закругленных переходов; как бы ни велико было умение писателя владеть языком, всегда будут встречаться случаи, что некоторым выражениям может быть придано более точности или силы. Наконец — и это

важнее всего — нет человека, который не увлекался бы пристрастием останавливаться с любовью на собственных мыслях — потому длиннота, растянутость незаметно для автора вкрадывается в его произведение; истребить ее, беспощадно вычеркнуть все лишнее — вот в чем должна состоять существеннейшая часть работы при пересмотре написанного; если автор строго исполнит эту обязанность, его произведение чрезвычайно много выиграет и, став вдвое меньше объемом, будет иметь в двадцать раз более достоинства для читателя. Но, как мы уже говорили, вносить в план существенные изменения при окончательной переделке — чрезвычайно опасно: в художественном произведении все части должны быть между собою в строгой зависимости, и почти невозможно не нарушить его стройности, изменяя одну из них, — кто может проследить все отношения, связывавшие ее с другими частями? Как ни прилежно будет просматривать свое произведение автор, приводя все его отделы в гармонию с измененным или вставленным вновь эпизодом, почти всегда многие несообразности ускользнут от него, произведение будет иметь вид не вылившегося из одной мысли, а склеенного из разных клочков. Только новое бывает истинно хорошим. С перешитого и переправленного не могут быть никакими щетками и утюгами сглажены следы поношенности и угловатости. Потому, если автор недоволен в своем произведении чем-нибудь существенным, не переправлять его должен он, а бросить и писать все вновь.

От этих общих соображений, внушаемых самыми простыми условиями художественности, обращаясь к авторской манере Пушкина, мы находим у него перечеркивание и исправление в чрезвычайно обширном размере, как бы не только отделка стиха, но и самое облечение мысли в стихотворную форму стоило ему чрезвычайных усилий, как бы эти стихи, поражающие прежде всего своею легкостью, писал он с большим трудом, как бы механизм стиха представлял Пушкину затруднения. Г. Анненков собрал в своих «Материалах» очень много данных этой тяжелой, почти хаотической борьбы с стихом. Многие страницы, заключающие в себе, как можно угадывать по некоторым отдельным словам, неизданные стихотворения или отрывки, перечерканы, испещрены помарками до того, что нет возможности восстановить написанное. Почти то же надобно сказать о черновых списках многих стихотворений, переписанных потом самим Пушкиным набело; снимок одного чернового листка «Полтавы», приложенный к «Материалам», утомит внимание каждого, кто попытается разобрать историю образования стихов:

Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье.

«Почти каждая строка его стихов, — говорит г. Анненков, — свидетельствует об этой особенности его удивительно мужественного таланта. Поучительно видеть, как из страницы, кругом исписанной и, можно сказать, обращенной в самую мелкую сеть помарок, вытекает стихотворение, чистое как алмаз, с роскошной игрой света и в изумительной обделке». Прежде, нежели попробуем объяснить обширность размера, какой принимает у Пушкина отделка стиха, укажем обыкновеннейший результат ее — уменьшение объема стихотворения, строгое уничтожение множества, быть может, половины задуманных стихов. Не будем приводить бесчисленного количества стихов и строф, вычеркнутых Пушкиным из «Евгения Онегина». Два-три примера из других произведений будут достаточны для убеждения в том, до какой степени Пушкин боялся растянутости. Размышление Пимена над своей летописью заключалось в рукописи так:

Передо мной опять выходят люди,
Уже давно покинувшие мир.
Властители, которым был покорен,
И недруги, и старые друзья —
Товарищи моей цветущей жизни...
Как ласки их мне радостны бывали,

Как живо жгли мне сердце их обиды!
Но где же их знакомый лик и страсти?
Чуть-чуть их след ложится легкой тенью, —
И мне давно, давно пора за ними!..

Из этих десяти стихов Пушкину показался не излишним по своей мысли только предпоследний, и весь длинный эпизод, действительно растягивавший монолог бесполезным повторением того, что высказывается в других стихах его, заменен двустихием:

Немного лиц мне память сохранила.
Немного слов доходит до меня.

В «Полтаве» он зачеркивает стихи, описывающие страдания влюбленного казака, отвергнутого Марией (в 1-й песне); в третьей песне после стихов:

С горестью глубокой
Внимал любовник ей жестокой;
Но вихрю мыслей предана...

уничтожена большая часть монолога сумасшедшей:

Ей богу, говорит она,
Старуха лжет. Седой проказник
Там в башне спрятался. Пойдем,
Не будем горевать о нем.
Пойдем... Какой сегодня праздник?
Народ бежит, народ поет... и т. д.

всего семнадцать стихов. В «Русалке» уничтожен отрывок из нескольких десятков стихов в сцене свадьбы, после упрека дружки девицам за их печальную песню; этот эпизод заключал продолжение упреков и смятения, произведенного появлением утопленницы. Точно так же в начале «Медного всадника» уничтожены длинные размышления Евгения (по возвращении домой в вечер перед наводнением) о том, что он женится на Параше и будет с нею счастлив. Конечно, всякий согласится, что эти стихи без нужды растягивали сцену. Несколько сот таких стихов сохранено в «Материалах», и г. Анненков справедливо обращает внимание писателей на эту строгость Пушкина к собственным произведениям.

Действительно, большая часть современных повестей, романов заставляет сознаться, что слишком многие беллетристы нуждаются в подобном уроке. Из всех недостатков, какие замечаются в современной литературе, самый общий — растянутость и необходимое следствие ее — бледность картин, вялость сцен, пустота и утомительность всего произведения. Кажется, будто бы почти каждый писатель (о бесталанных мы не говорим; но грустно, что одаренные замечательным талантом подвержены этой слабости наравне с бесталанными) считает несравненно драгоценностью всякое выражение, какое только мелькнет в его голове, всякую подробность, какая только ему вообразится, и спешит обогатить ею свой рассказ; кажется, будто он сочтет себя преступником, самоубийцею, похитителем, если лишит читателя хотя одного из тех перлов, которые такую однообразную нитью тянутся из-под его пера; кажется, будто бы он и не мог верить, что даже в калифорнских золотых россыпях на одну горсть золотого — приходится целый воз простого песку, и что разрабатывающий их становится богат только через то, что, извлекая немногие зерна золота, с презрением отбрасывает огромное количество никуда негодной примеси. В чем заключается самое поразительное отличие гениальных произведений от дюжинных? Только в том, что «красоты», если употреблять старинное выражение, составляют в

гениальном произведении сплошной ряд страниц, а не разведены пустословием бесцветных общих мест. Если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе со вниманием ловить все проблески наблюдательности, все верные черты характеров и действия, все меткие выражения и т. д., он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составлены страницы произведений, восхищающих нас. Не надобно также думать, что и «остов», по выражению г. Анненкова, в дюжинных произведениях не бывает часто так же хорош, как и в первостепенных произведениях. Различие состоит в том, что страницы гениального произведения наполнены содержанием, а то количество содержания, которое растянато на десятках страниц дюжинного произведения, было бы едва достаточно для наполнения одной страницы и *расплылось* незаметными крупинками в озерах пресных общих мест. Само собою разумеется, что бездарный человек бесполезно прилагал бы величайшие усилия сделать из своего романа что-нибудь порядочное; но со стороны писателя, не лишённого дарования, часто недоставало только решимости сжать свое произведение, чтоб оно из слабого стало очень порядочным. Сжатость — первое условие эстетической цены произведения, выставляющая на вид все другие достоинства. Конечно, во всем может быть вредное излишество; но бесполезно говорить о тех опасностях, которым никто не подвергается; господствующая ныне эстетическая болезнь — водяная, делает столько вреда, что, кажется, отраднее было бы даже увидеть признаки сухотки, как приятен морозный день, сковывающий почву среди октябрьского ненастья, когда повсюду видишь бездонно-жидкие трясины.

Особенно нам, русским, должна быть близка и драгоценна сжатость. Не знаем, свойство ли это русского ума, как готовы думать многие, или, скорее, просто следствие местных обстоятельств, но все прозаические, даже повествовательные, произведения наших гениальных писателей (не говорим о драмах и комедиях, где самая форма определяет объем) отличаются сжатостью своего внешнего объема. «Герой нашего времени» занимает немного более половины очень маленькой книжки; Гоголь, кроме «Мертвых душ», писал только маленькие по числу страниц повести; да и самые «Мертвые души», колоссальнейшее из первостепенных произведений русской литературы, если б даже и было dokonчено в размерах, предположенных автором (три тома), едва равнялось бы половине какого-нибудь диккенсова, теккереева или жорж-сандова романа. Если обратимся за примерами к Пушкину, он покажет нам то же самое. «Дубровский» и «Капитанская дочка» (которую Пушкин называл, как мы видели, широким именем «романа в двух частях») — повести такого размера, что, будучи помещены в каком-нибудь из наших журналов, разве только обе вместе оказались бы достаточны для наполнения отдела словесности в одном номере, да и будучи напечатаны обе вместе, вызвали бы у рецензентов других журналов замечание: «Давно мы не встречали в журнале NN отдела словесности столь тощим по объему, как ныне». Зато и заметно различие между этими маленькими рассказами и теми пухлыми произведениями, которые так привольно распространяют свои необозримые члены по сотням огромных журнальных страниц. Прочитайте три, четыре страницы «Героя нашего времени», «Капитанской дочки», «Дубровского» — сколько написано на этих страничках! — И место действия, и действующие лица, и несколько начальных сцен, и даже завязка — все поместилось в этой тесной рамке. Такой сухости не встретите в художественно развитых созданиях писателей и писательниц, прекрасный слог которых все так хвалят. Переверните три листа (читать их не стоит — вы увидите, что всееще тянется с первой страницы описание комнаты, в которой сидел герой или героиня рассказа; перевертывайте еще лист — а, наконец-то! описание комнаты кончилось (благодарите судьбу, что герой сидит в комнате: если б ехал или шел по полю, картина была бы во столько же раз длиннее описания комнаты, во сколько раз поле с рекою и рощею обширнее комнаты) — итак, описание комнаты кончилось и началось описание физических принадлежностей героя или героини; смело перевертывайте два листа; только на третьем автор переходит к размышлениям и объяснениям нравственных качеств своего пациента. Через пять листов они (насилу-то!) прерываются появлением в комнате нового лица, которое, выдержав прилично подробное

описание, начинает разговор, который (после всех прежних объяснений автора) знакомит вас с характером героя; содержание разговора: герой говорит: «я скучаю» (или «я влюблен»), и если читатель не знает по-русски, то из разговора, занимающего пять страниц, познакомится с значением слова «скучаю» (или «влюблен»). Конечно, все это было бы прекрасно, если бы не было решительно излишне, скучно, вяло и пусто. Впрочем, осуждать не смеем: все перевернутые нами листы написаны прекрасным слогом. А быть может, из этих холодных, бесцветных, ничтожных двадцати или тридцати страниц и составила бы одна исполненная блестящей или тонкой наблюдательности страница, если б автор более дорожил терпением читателей или хотя бумагою, нежели рубинами и изумрудами своего прекрасного слога. Ведь самое блестящее, самое богатое платье на вешалке имеет очень неизящный вид. Оно хорошо только тогда, когда им облечен живой человек, стройный и свежий. Нет, нам дороже всего брильянты и изумруды:

Алмазна сыплется гора
С высот четырема скалами:
Жемчугу бездна и серебра,
Кипит, блестит, вверх бьет буграми...

и в бессилии падает мокрою пылью, производящею на живого человека самое неприятное ощущение, а в слабых людях даже насморк. Иногда приходит охота представить осязательное доказательство того, какой вред приносит растянутость, какой интерес, силу и даже красоту придает сжатость, сделав из какой-нибудь растянутой повести, прошедшей незамеченною, «извлечение», «экстракт», который бы выказал ее достоинства, погибшие в пучинах многословия.

Но возвратимся к авторским привычкам Пушкина, к этой «мелкой сети помарок», которыми опутаны его стихи. Многие видели в этом по преимуществу изумительную и достойную всякого подражания заботливость поэта об усовершенствовании своих стихотворений. Мы согласны, что стихи всегда требуют внимательной отделки, что стихотворение не перемаранное, не перечерканное почти всегда будет страдать шероховатостью. Но от этой лежащей в сущности самого дела необходимости делать в стихах много поправок далеко еще до того бесчисленного множества помарок, какое находим у Пушкина, и нам кажется излишним представить некоторые соображения с целью предупредить ложные выводы из этой особенности поэтических работ Пушкина. В наше время, и без того придающее слишком много цены внешности и мелочам, было бы, нам кажется, вредно говорить писателям: «Вы тогда только напишете хорошо, когда переправите двадцать раз каждый стих, когда не оставите ни одного не перечеркнутого слова:

Saepe... stylum verlas ¹²,

как учил еще Гораций, *поправляй и поправляй*, тогда только будешь истинным поэтом. Мелочным исправлением, филигранною обработкою фраз достигается художественность». А таков, кажется на первый взгляд, должен быть вывод из черновых тетрадей Пушкина.

Но внимательное рассмотрение обстоятельств значительно изменяет его. Не все стихи Пушкина так перечерканы в черновых списках, как, например, отрывок из «Полтавы», с которого снимок приложен к изданию г. Анненкова; г. Анненков заставляет нас заключить, что многие стихотворения, не уступающие другим в художественности, мало подвергались перечеркиванию; по крайней мере, он после выписанных нами строк о том, какую «мелкою сеткою помарок» покрыты бывают страницы Пушкина, продолжает: «Мы в праве думать, что пьесы, написанные Пушкиным сразу, прошли через то же горнило художественного

¹² Часто... стиль переворачивай (*лат.*).

труда, но только в голове его». Следственно, и сам Пушкин часто «писал сразу» свои произведения. Нетерпеливости его характера, тому самому качеству, которое заставляло его писать вразбивку, также должно быть приписано большое участие в пометках — Пушкин начинал писать стих, не успев мысленно окончить его, не успев предвидеть сочетания рифм; потому рифмы часто заставляли его переделывать стих, это ясно из множества приводимых у г. Анненкова отрывков. Много можно привести подобных объяснений, основанных на особенностях характера Пушкина.

Но важнее всех этих причин то обстоятельство, что Пушкин, сравнительно с нынешними поэтами, был в исключительном положении. Ему предстояло еще выработать стих — тяжелый труд, от которого, благодаря ему, избавлены теперь русские поэты, с тех самых пор, как начинают читать, привыкающие к стихам, лучше которых по художественности, музыкальности и легкости никто от них не требует, да и сами они не могут вообразить себе. Кроме стиха, Пушкин должен был выработать себе и язык, конечно, представлявший очень много затруднений. В самом деле, язык Пушкина чрезвычайно много разнится от языка Жуковского и Карамзина. Наконец, Пушкин должен был бороться с приемами, которые были введены в привычку прежними стихотворцами, он должен был отбрасывать множество употребительных в тогдашнее время выражений, которые сами собою подвергались под перо и между тем уже не годились для его поэзии. Эта борьба с устарелым слогом, уже не существующая для нас, благодаря решительной победе Пушкина, должна была стоить ему многих трудов, потому что, несмотря на все исправления, оставила в его стихах некоторые следы. Теперь никто не будет отрицать, что у Пушкина часто встречаются устарелые и для его времени фразы. Ему было надобно много усилий, чтобы изгонять таких неотвязных гостей.

Наконец, мы позволяем себе высказать некоторые сомнения относительно удобства для русского языка той версификации, которая господствует со времени Ломоносова. Конечно, мы теперь чрезвычайно привыкли к ней, благодаря отчасти самому Пушкину; тем не менее надобно сказать, что она не так натурально приходится к свойствам нашего языка, как, например, к свойствам немецкого, из которого была заимствована без всяких перемен и приноравливаний. Хотя столь общий эпизод, относящийся вообще к русской поэзии, может показаться не совсем уместным в статье о сочинениях одного поэта; но до сих пор для большей части и читателей и поэтов произведения Пушкина остаются «образцовою книгою русской поэзии» и какой же лучший случай может быть найден для общего взгляда на русскую версификацию, если не воспользоваться представляющимся теперь? Кроме того, если не Пушкин установил нашу версификацию, то он упрочил преобладание в ней тех или других размеров.

Пересмотрев любой стихотворный сборник, мы будем поражены преобладанием ямба над всеми остальными размерами в русской поэзии. Но невозможно предположить всей огромности этого преобладания, не взяв на себя труда подвести итоги. Лучший пример — второй том нового издания, заключающий в себе лирические стихотворения Пушкина до 1830 года (включительно). Вот общие итоги размеров всего этого собрания стихотворений с 1818 по 1830 год (не считаем лицейских, еще не принадлежащих к самостоятельным произведениям):

Ямбом написано... 175 стихотворений
Хореем... 29
Амфибрахием... 7
(Дактилем) гекзаметром... 6
Анапестом... 1

Кроме того, надобно заметить, что большая часть стихотворений, написанных не ямбическими размерами, принадлежит к числу мелких (эпиграммы, надписи, антологические стихотворения). Если мы не будем принимать их в расчет, у нас на сто с лишком стихотворений ямбических останется семнадцать хорейских, шесть амфибрахических и

одно анапестическое. Мы видим, что из остальных размеров, кроме ямбического, Пушкин писал почти только хорейским (особенно с 1828 года, как бы утомясь однообразием ямба); а размеры, имеющие трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий и анапест), употреблял чрезвычайно редко. Но замечательно то обстоятельство, что эти немногие стихотворения все принадлежат к лучшим или любимейшим, по общему правилу, что все редкое бывает или особенно удачно, или особенно неудачно¹³.

На чем же основано такое господство ямба и отчасти хоря, изгоняющее все другие размеры? Неужели, действительно, ямб — самый естественный для русского языка размер? Так обыкновенно думают; но не так на самом деле. Двусложные стопы (ямб и хорей) господствуют в немецкой версификации, потому что немецкая речь, говоря вообще, сама собою укладывается в двусложные стопы, имея равное число слогов с ударениями и без ударений¹⁴. Не то в русской речи. Наши слова вообще многосложнее: мы не ставим более одного ударения на сложных словах; гораздо реже, нежели немцы, делаем ударение на местоимениях и частицах. Уж поэтому можно предположить, что у нас речь не будет так натурально укладываться в ямбы и хорей, как у немцев, от которых перешло к нам пристрастие к двусложным стопам. Чтобы видеть, в какие стопы всего естественнее должна ложиться русская речь, попробуем сосчитать количество ударений, в ней находящихся. У нас под руками вторая книжка «Современника» за нынешний год, и из нее мы возьмем три или четыре отрывка, потому что, откуда ни брать их, все равно: результат получится тот же самый. Вот несколько строк из первой страницы повести г. Писемского «Виновата ли она?». Отмечаем ударения большими буквами.

Я жиЛ одИн, знаКОмых не имЕл никогО и едИнственным моИм
развлечЕнием бЫло часА по-два, по-три ходИть по ТверскОму бульвАру, и, боГ
знаЕт, чегО не передУмать. ОднаЖды я встретИл молодОго челОвека, котОрый
прямо обратИлся ко мнЕ с вопроСОм: не знаЕте ли когО-нибУдь из ВАших
товАрищЕЙ, ктО бы приготОвил менЯ в университетЕ? Я посмогрЕл на негО
приИстально: на вИд емУ бЫло лЕт осьмнАдцать, одЕт он бЫл небрЕжно, в
приЕмах егО виднА была беспЕчность. ЛицО выразИтельно и с глУбоким
оттЕнком меланхОлии. — Если вам угОдно, я могУ взЯть Это на себя, отвечАл я.

Всего 193 слога; ударений 66; $3 \times 66 = 198$. Итак, только пяти слогов не хватает, чтобы количество слогов было втрое больше количества ударений. Вот начало рассказа «Голубые глазки»:

В однОм из сАмых многоЛюдных квартАлов Петербурга, в большОм и
многоЛюдном дОме жилА мещАнка ПраскОвья ИвАновна, в продолжЕние
четырнадцАти лЕт сряду помещАлась она в двУх комнАтах подвАльного этажА, в
сАмой глУбинЕ двОра.

Всего 75 слогов и 25 ударений. Совпадение чисел точно до странности. Вот последний отрывок — начало первой главы переводного романа «Часовщик»:

¹³ Амфибрахические: 1) «Черная шаль», 2) «Песнь о вешем Олеге», 3) «Подражание корану» (*И путник усталый на бога роптал*), 4) «Узник» (*Сижу за решеткой в темнице сырой*), 5) «Кавказ» (*Кавказ подо мною. Один в вышине*). Только 6) «Вакхическая песня» (*Что смолкнул веселия глас*) быть может почтена исключением. Единственное стихотворение, написанное анапестом: *Пью за здравие Мери*.

¹⁴ Не приводим примеров, чтобы убедиться в справедливости наших слов, стоит развернуть первую попавшуюся в руки немецкую книгу (конечно, мы говорим о прозе) и сосчитать на нескольких строках количество ударений сравнительно с количеством слогов, остающихся без ударения; надобно только помнить, что в немецком произношении на сложных словах делается по два ударения, мелкие частицы также очень часто имеют на себе ударение и т. д.

Я всегдА хорошО Ездил; я охОтник до лошадеЙ и всегдА гордИлся тЕм, что у менЯ сАмый рЕзвый рысАк в цЕлой провинции, я никогдА не отличАлся блестящими успЕхами в свЕте; тем с БОльшим удовОльствием я сознаЮ, что менЯ никтО не обгОнит в чИстом Поле.

83 слога и 27 ударений; $3 \times 27 = 81$; следовательно, только два слога лишних против точного определения. Соединив итоги всех трех отрывков, получим 351 слог и в них 118 ударений; $3 \times 118 = 354$. Итак, уклонение от точного размера: на три слога одно ударение (дактиль, амфибрахий, анапест) равняется только трем слогам на 351 слог, или одной двадцатой. Близость удивительная.

Нам кажется, что из этих цифр нельзя не извлечь заключения, что ямб и хорей, требующие в 30 слогах 15 ударений, далеко не так естественны в русском языке, как дактили, амфибрахии, анапесты, требующие в 30 слогах 10 ударений¹⁵.

У Жуковского было гораздо более разнообразие в размерах, нежели у Пушкина; амфибрахий встречается у него гораздо чаще; попадает и дактиль (мы говорим не о гекзаметрах, которые как бы ни были прекрасны, все-таки дурны) и анапест; Пушкин возвратился к исключительному господству ямба. А между тем кажется, что трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий, анапест) и гораздо благозвучнее и допускают большее разнообразие размеров, и, наконец, гораздо естественнее в русском языке, нежели ямб и хорей. О большей естественности их невозможен и спор после цифр, приведенных нами. Не можем не заметить, что у одного из современных русских поэтов — конечно, вовсе не преднамеренно — трехсложные стопы очевидно пользуются предпочтительною любовью перед ямбом и хореем.

Обычаи нашего стихосложения также очень стеснительны для русских рифм. Было бы слишком долго доказывать здесь исчислениями и сличениями, что в немецком, французском, английском языке находится гораздо большее, нежели в русском, число рифмующих слов для каждого слова; но представим хотя один пример из немецкого языка. Берем слово Band и изменяем по алфавитному порядку первую букву; получаем рифмующие слова fand, Hand, kannt, Kant, Land, Pfand, Rand, Sand, Wand (всего 10); таких слов в немецком тысячи; но просим найти в русском хотя один подобный случай. Вообще, самое беглое сравнение убеждает, что в немецком (не говоря уже о французском и английском) слова рифмуют по принятым ныне правилам в гораздо большем количестве¹⁶, нежели у нас, потому рифмы могут быть менее стеснительны для поэта и для достоинства стихов.

Потому нам кажется, что и рифма в русском языке должна существовать с некоторыми особенными условиями, вытекающими из сущности языка. Один шаг к этому сделан уже поэтом, о котором говорили мы выше и который также любит дактилическую рифму — это

¹⁵ Спешим заметить, что из наших слов не следует, чтобы гекзаметр (по преимуществу дактилический стих) был сроден русской версификации. Он решительно нейдет к ней по многим причинам. Точно так же заметим, что если в ямбических и хорейских стихах принято разрешение некоторые стопы оставлять без ударений, то это признавалось «вольностью», которой по мере возможности старались избегать; следовательно, затруднительность размера не отстранялась этим. Кроме того, допускаясь без всяких определенных правил, эта вольность разрушает стройность стиха: в наших, так называемых четырехстопных ямбах, собственно читаемых с двумя ударениями как двустопные стихи (двустопные пеонические), беспрестанно встречается необходимость считать и три ударения, а иногда и все четыре; этот беспорядок не оскорбляет нас только потому, что слишком привычен нам.

¹⁶ Главные причины этого в немецком языке (которого версификация удерживается у нас доселе без всяких изменений и качества которого мы должны поэтому иметь в виду): однообразие в расположении ударений, близость ударений к концу (в немецком ударение бывает не далее предпоследнего слога; если оно на третьем от конца слоге, то последний уже приобретает свое особенное ударение, достаточное для рифмы напр., Ewi'gkeit Wissenschaft); наконец, самая краткость слов. Много есть, кроме того, причин второстепенных.

по крайней мере разнообразит рифмы. Но младость-радость; ночи-очи и т. д., кажется, нуждаются в большей свободе, чтобы разорвать свой несносный союз. Русская рифма, нам кажется, могла бы довольствоваться не одинакостью, а подобностью звуков, как это бывает иногда у Кольцова. Конечно, это созвучие должно быть сильно, резко, чтобы быть заметным.

Но в том, что рифма должна остаться необходимою принадлежностью русского стиха, невозможно сомневаться; вся история русского народного стихосложения показывает его стремление приучить себя к рифме. Точно так же и различие нашего языка с немецким в предпочтении одного размера другим никак не должно вести к заключению, чтобы русская поэзия могла принять стихосложение простонародных песен; потому что сами песни выказывали постоянное стремление подчиниться тем стопам, какие введены в нашей литературной поэзии. Стихосложение нашей народной поэзии само покидает свои прежние правила, учится новым, принятым нашею литературою со времени Ломоносова, и тем само изобличает свою слабость сравнительно с новою версификациею. Теперь уж не только литераторы, но и народ не могут возвратиться к старинной форме песни. Да и нельзя жалеть о невозможности восстановить ее господство, потому что старинный наш размер, каковы бы ни были его достоинства, слишком поражает своею монотонностью. Однако пора окончить наше отступление.

Из всех обстоятельств, имевших влияние на привычку Пушкина посвящать много внимания и усилий на обработку формы своих стихов, самое важное то, что Пушкин был по преимуществу поэт формы. Этим не хотим мы сказать, что существенное значение его в истории русской поэзии — обработка стиха; в такой мысли отзывался бы слишком узкий взгляд на значение поэзии в обществе. Но действительно, существеннейшее значение произведений Пушкина — то, что они прекрасны или, как любят ныне выражаться, художественны. Пушкин не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь, как Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как, например, Гёте и Шиллер. Художественная форма «Фауста», «Валленштейна», «Чайльд-Гарольда» возникла для того, чтобы в ней выразилось глубокое воззрение на жизнь; в произведениях Пушкина мы не найдем этого. У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе.

Одна только определенная сторона в характере содержания может быть уловлена у Пушкина: он хотел быть русским историческим поэтом. «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», «Арап Петра Великого», отчасти «Капитанская дочка» были созданы не только художническою потребностью, но и желанием выразить свое определенное созерцание явлений русской истории. Но и здесь Пушкин остался верен самому себе: он не высказал ничего принадлежащего ему; взгляд его на исторические характеры и явления был не более, как отражение общих понятий. Петр — великий человек, мудрый правитель; Карл — опрометчивый герой; Мазепа — коварный изменник — более ничего не высказано в «Полтаве» об этих лицах. «Борис Годунов» — повторение характеров и взглядов, высказанных Карамзиным. Вообще, исторические произведения Пушкина сильны общою психологическою верностью характеров, но не тем, чтобы Пушкин прозревал в изображаемых событиях глубокий внутренний интерес их, как, например, Гёте в своем «Гёце фон Берлихингене», с которым неудачно сближали «Бориса Годунова». Говоря все это, мы повторяем мысли, высказанные давно. Пушкин по преимуществу поэт-художник, не поэт-мыслитель; то есть существенный смысл его произведений — художественная их красота. Если, однако, повторить вопрос, которым занималась «чернь тупая» еще при жизни поэта:

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,

Как своенравный чародей?
Как ветер песнь его свободна;
Зато как ветер и бесплодна;
Какая польза нам от ней?

Ныне можно отвечать на эти вопросы, очень основательные, гораздо спокойнее и гораздо выгоднее для значения Пушкина в истории нашего развития, нежели отвечал на них сам Пушкин. Он по особенностям своего поэтического настроения именно соответствовал если не всем, то по крайней мере одной из важнейших потребностей своего времени, которое, впрочем, едва ли не должно еще назвать и нашим временем. Его произведения могущественно действовали на пробуждение сочувствия к поэзии в массе русского общества, они умножили в десять раз число людей, интересующихся литературой и через то делающихся способными к восприятию высшего нравственного развития. Он сам прекрасно очертил это достоинство литературных произведений, говоря;

Плодят читателей они;
Где есть поветрие на чтение,
Там просвещение, там добро.

О нашей литературе, чтоб она сохранила свою важность, как и вообще о нашей истории, должно судить, принимая в соображение не требования, приложимые к другим землям, а особенности положения русского общества. Байрон, если бы вздумал писать в 1820 году по-русски, не нашел бы себе и сотой доли того сочувствия, какое было пробуждено Пушкиным, и имел бы во сто раз менее значения для нашего развития, нежели Пушкин. Теперь излишне доказывать это, когда для всех ясно, как был понимаем Байрон самим Пушкиным, подобным которому по степени развития людей была тогда в России горсть. Но есть и другой пример. Шиллер был, кажется, гораздо доступнее для неприготовленного человека, нежели Байрон. Жуковский перевел Шиллера. Поняли ли его? Оценили ли сколько-нибудь? Нет, эффект производил не «Кубок», не «Торжество победителей», а пустые «Людмила» или «Ленора» и нелепые баллады Соути «О том, как старушка ехала на коне, и кто ехал с нею»; ведь Жуковский для своих читателей имел интерес как «балладник», а не как переводчик Шиллера. Период, представителем потребностей которого был Пушкин, не совершенно еще окончился; и современная русская литература, много отличаясь от литературы 1820–1835 годов, имеет еще с нею гораздо больше общности, нежели различия по своему значению. Это доказывается, между прочим, например, тем, что большинство даже избраннейших читателей еще предпочитает Пушкина Гоголю. И сообразно своим потребностям, этот многочисленнейший разряд общества совершенно прав. Говоря о значении Пушкина в истории развития нашей литературы и общества, должно смотреть не на то, до какой степени выразились в его произведениях различные стремления, встречаемые на других ступенях развития общества, а принимать в соображение настоятельную потребность и тогдашнего и даже нынешнего времени — потребность литературных и гуманных интересов вообще. В этом отношении значение Пушкина неизмеримо велико. Через него разлилось литературное образование на десятки тысяч людей, между тем как до него литературные интересы занимали не многих. Он первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов, «Приятным и полезным препровождением времени» для тесного кружка дилетантов. Он был первым поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель. Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще готовится Пушкиным.

Но если Пушкин по преимуществу поэт-художник, если в его произведениях выразилось не столько развитие поэтического содержания, сколько развитие поэтической

формы, то нельзя забывать, что Пушкин, не будучи по преимуществу ни мыслителем, ни ученым, был человек необыкновенного ума и человек чрезвычайно образованный; не только за тридцать лет назад, но и ныне в нашем обществе не много найдется людей, равных Пушкину по образованности. Потому хотя в его произведениях не должно искать главным образом глубокого содержания, ясно сознанного и последовательного, зато каждая страница его кипит умом и жизнью образованной мысли. Если б читатели по преимуществу искали в нем содержания, они бы, вероятно, потребовали большего; но они не искали, не требовали, и содержание давалось им невзначай, без просьбы с их стороны, и для них это содержание было так обильно и глубоко, что они едва могли выносить это тяжелое для непривычного человека богатство. Каждый стих, каждая строка беглых заметок Пушкина затрогивала, возбуждала мысль, если читатель мог пробудиться к мысли. Это значение Пушкин продолжает еще сохранять до нашего времени. Ограничимся примерами, относящимися специально к понятиям о русской литературе. Что Пушкин не был рожден критиком, это до очевидности обнаруживают его суждения о современных ему русских писателях; если в этих мнениях оставим хоть одну сотую часть искренности, относя остальное к любезности и добродушию Пушкина, то надобно будет сказать, что Пушкин смотрел на хвалимые произведения очень наивно. А между тем и тут найдем у него много верных замечаний; а сколько пронизательности, верности в его беглых замечаниях о предшествовавшей ему русской литературе! Так, например, три или четыре длинные и глубокомысленные статьи о Княжнине, приносящие величайшую честь их автору, составились из перифраза двух слов, невзначай сказанных Пушкиным: «Переимчивый Княжнин». Подобные же истории произошли с беглыми заметками Пушкина о Фонвизине, Ломоносове и проч. Интересно знать, многие ли даже и ныне постигнут всю справедливость заметок Пушкина о Державине или следующей:

...«Стихотворство для Ломоносова было иногда забавою, чаще должностным упражнением».

Сумарокова Пушкин называет «бездарнейшим из подражателей», а о русской литературе конца XVIII и начала XIX века судит он так:

«Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность envahit tout ¹⁷ : знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России, но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов: Дорат, Флориян, Мармонтель, Гимар, М-ме Жанлис овладевают русскою словесностью».

Если многие из нынешних критиков и историков литературы и теперь задумаются над этими словами, то можно судить, сколько ума и пронизательности должен был иметь человек, высказывавший такие мнения в 1825 году, и как многому было можно (и до сих пор должно) учиться у него, о чем бы ни заговорил он, чего бы ни коснулся.

Вообще, влияние человека, одаренного таким огромным умом и так высоко стоявшего по своей образованности, как Пушкин, было неизмеримо важно для развития читателей, им созданных и очарованных его гениальным талантом. В истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии. Будем же читать и перечитывать творения великого поэта и, с признательностью думая о значении их для русской образованности, повторять вслед за ним:

Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!

И да будет бессмертна память людей, служивших Музам и Разуму, как служил Пушкин.

Статья третья

¹⁷ заполняет все (франц.).

Издание творений нашего великого поэта, встреченное нетерпеливым ожиданием публики, быстро приближается к окончанию. Через три месяца по выходе двух первых томов явились еще два — третий, заключающий в себе лирические стихотворения 1831–1836 годов, поэмы и повести, писанные стихами, простонародные сказки, песни западных славян, и пятый, содержащий: 1) Записки Пушкина (отрывки автобиографии, мысли, замечания, анекдоты и «Путешествие в Арзерум»); 2) романы и повести, писанные прозою; 3) журнальные статьи. В самом непродолжительном времени, вероятно, в первых числах июля, выйдут и остальные два тома нового издания — четвертый (содержащий «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и другие драматические произведения) и шестой («История Пугачевского бунта» с примечаниями и «возражениями» Пушкина на критику Броневского). Таким образом, скоро русские читатели будут иметь в руках полное издание «Сочинений Пушкина», оконченное менее, нежели в течение полугода со времени появления первых томов, — быстрота, за которую нельзя не благодарить издателя, оказавшего тем великую услугу русской публике.

В предыдущих главах мы представили очерки характера Пушкина и приемов, которыми отличалось его творчество. Теперь мы должны перейти к рассмотрению самых его произведений. Но мы уже говорили в начале первой статьи, что считаем излишним в настоящее время рассматривать сочинения Пушкина в художественном отношении. Против обыкновения, которому любят следовать рецензенты, утверждая, что предшествующие разборы не достаточно объяснили значение рассматриваемой книги, мы решительно сказали, что давно уже произведения Пушкина превосходно оценены и, насколько то возможно было, объяснены эстетическою критикою. Нам приятно было видеть, что и другие рецензенты согласились с этим мнением («Отечественные записки» 1855 г. No VI, отдел критики). Потому нам остается только взглянуть на те стороны явления, которые, быть может, представляют несколько вопросов, еще не совершенно объясненных, — именно, проследить ход изменения идей, которыми одушевлялась деятельность Пушкина в различные эпохи, и отношение этих направлений к общественному мнению того времени, отголоском которого были журнальные статьи. Взгляд на отзывы, возбужденные в журналах произведениями Пушкина, послужит опорой собственным нашим заключениям о различных фазисах поэтической деятельности Пушкина, — и мы начнем обзором отношений критики двадцатых и тридцатых годов к нашему поэту, чтобы ясна была тесная связь, соединяющая образ мыслей нашего времени с потребностями этого недавнего прошедшего, и чтобы наши мнения являлись уже только по изложению несомненных фактов, принадлежащих истории литературы. Эти факты можно было бы изложить очень кратко, если б не были часто высказываемы относительно их предубежденные и односторонние суждения. Теперь же по необходимости надобно представить ход дела с некоторою подробностью, чтобы истина обнаружилась несомненно.

Обыкновенно говорят, будто бы с самого появления «Руслана и Людмилы» началось широкое и чрезвычайно сильное критическое движение в тогдашних журналах; многие даже воображают, будто бы борьба против и за Пушкина в течение целых шестнадцати лет (1820–1836) так же занимала перья журналистов, как, например, в последующее время прения против и в защиту натуральной школы, два или три года постоянно одушевлявшие русскую журналистику. Такое понятие не совсем точно. Если собрать все, что было написано в журналах двадцатых годов о всех произведениях Пушкина до «Полтавы», то масса будет менее, нежели то, что было в наше время написано, например, по случаю появления комедии г. Островского «Бедность не порок». В тощих книжках тогдашних журналов страницы наполнялись переводами, бесчисленными стихотворениями и вялыми статейками о неимоверно сухих предметах. Отзывы о явлениях литературы ограничивались обыкновенно очень немногими страничками, если не строками. Только в последнее время деятельности Пушкина критика получила более развития. Другая ошибка, еще важнее, состоит в том, что думают, будто критика, современная Пушкину, нисколько не умела оценить его. Мы

вовсе не имеем желаний превозносить прошедшее; готовы сказать о нем вообще, что его значение преувеличивается даже теми людьми, которые наиболее строго судят о нем. Но тем не менее должны мы сказать, что люди умные и, по своему времени, очень пронизательные существовали всегда; что каковы бывают писатели, точно таковы же бывают и критики — те и другие рождаются одним и тем же обществом. Конечно, и во времена Пушкина, как всегда, были нелепые критики, наравне с нелепыми писателями. Но по рецензиям или романам и стихам этих бездарных людей было бы несправедливо судить о той эпохе, как несправедливо судить о нашем времени по произведениям вроде «Ассамблеи», «Энхиридиона любознательного» и тем рецензиям, в которых доказывается, что Гоголь — плохой писатель. И как в наше время писатели, хотя сколько-нибудь сознающие свое достоинство, не обращают ни малейшего внимания на отзывы некоторых критиков, точно так же и Пушкин мог и должен был нимало не оскорбляться отзывами «Галатеи», «Дамского журнала» и т. д. Бесполезно и теперь вспоминать об этих «беззубых критиках» (по удачному выражению одного из журналов Пушкинской эпохи). Мы хотим проследить мнения, какие были высказываемы о произведениях нашего поэта лучшими из современных ему журналов, которые одни пользовались весом в кругу людей образованных. Критика этих журналов была вовсе не так поверхностна, придирчива и пуста, как обыкновенно думают. Мы нимало не хотим утверждать, чтобы «Телеграф» и «Телескоп» были совершенно непогрешительны в своих суждениях о Пушкине, но непредубежденный читатель, просмотрев сведенные нами факты, вероятно, согласится, что в сущности в этих разборах было более верного и дельного, нежели пустого и придирчивого.

«Наши критики долго оставляли меня в покое».- говорит Пушкин в своих «замечаниях». — «Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатании четвертой и пятой песни «Евгения Онегина» — но эти статьи принадлежали перьям столь слабым, что не заслуживали ни малейшего внимания, и поэт совершенно напрасно трудился отвечать на упрек г. Б. Федорова за слово «корова», по мнению критика, низкое и неблагородное. Отзывы единственного журнала, пользовавшегося почти исключительным влиянием на публику — «Московского телеграфа» и после того несколько лет продолжали быть чрезвычайно благоприятны, или, лучше сказать, восторженны. Они даже не заключали в себе никаких замечаний, хотя бы самых легких и нежных. Едва ли не в первый раз «Московский телеграф» сделал замечание Пушкину в статье о «Цыганах» (М. Т. 1827, ч. 15, стр. III и след.), которая, впрочем, была проникнута еще большим восторгом, нежели прежние отзывы.

Этот разбор выставляется нам в самом смешном и жалком виде известною заметкою Пушкина:

«Покойный Р. негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. В. (кн. *Вяземский*) повторил то же замечание (*в разборе, о котором мы говорим*). Р. просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего лучше было бы сделать из него чиновника или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было б и самой поэмы — *ma tanto meglio*» (*тем лучше*).

Если бы даже и нельзя было защищать упрека, который кажется столь забавен, то довольно просмотреть статью, в которой он помещен, чтобы ее критическое достоинство не нуждалось в защите.

В разборе своем кн. Вяземский сначала говорит, что талант Пушкина развивается, что в «Цыганах» видно «более зрелости, более силы, свободы, развязности», нежели в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане»; что эта поэма — лучшее из доселе напечатанных произведений Пушкина; что она переносит нас в новую сферу жизни; что она пробуждает чувства, не «затвержденные на память», а свежие, новые; что если она отзывается влиянием Байрона, то подражание едва уловимо. Затем говорится о праве поэта представлять сцены в отрывочной форме, лишь бы только они имели внутреннюю связь и последовательность — она есть в «Цыганах», и, следовательно, поэму нельзя упрекать за внешнюю отрывочность сцен. Потом анализируется содержание поэмы, характеры Алеко и

Земфиры; критик находит все поэтическим и художественным; разбирается мнение некоторых, будто бы эпизод об Овидии неуместен в устах цыгана, и доказывается, что этот упрек пустая придирка — здесь следует несколько строк (а статья занимает 12 страниц) о том, что напрасно Пушкин заставил Алеко водить медведя и тем впал в фарс — статья заключается так:

«Пушкин совершил много; но может совершить еще более. Он должен это чувствовать, и мы в этом убеждены за него. Он конечно далеко за собою оставил берега и сверстников своих; но все еще предстоит ему новые испытания сил своих: он может плыть еще далее».

Оставим в стороне фразу о медведе — и мы должны будем согласиться, что все прочее в разборе очень справедливо, и что даже теперь почти нечего прибавить к высказанному в нем. Да и самое недовольство рецензента медведем легко может быть объяснено очень уважительными причинами. Угрюмый и гордый Алеко вовсе неспособен гаерствовать перед толпою, и, действительно, только желание Пушкина вставить в картину его бродячей жизни насмешку над чопорностью условных приличий внушило ему мысль придать своему герою черту, которая не соответствует общему очерку характера.

Удивлением и благоговением к Пушкину проникнуты и следующие за тем отзывы «Телеграфа» — до появления VII главы «Евгения Онегина», разбор которой помещен в последней части «Телеграфа» за 1830 год. Здесь уже с грустью говорится о том, что блестящий талант Пушкина запутался среди отношений, не благоприятствующих его развитию, и рецензент ищет объяснений того факта, что вновь вышедшая глава романа принята публикою не с таким восторгом, как прежние. Тон статьи умерен и деликатен, но тверд и независим; в нем слышится уважение, но нет и тени прежнего энтузиазма. Еще холоднее, нежели о VII главе «Евгения», отзыв о «Борисе Годунове», помещенный в той же части журнала. Наконец — все в той же 32-й части «Телеграфа», находим пародию известной эпиграммы Пушкина «Собрание насекомых»:

Эпиграмма

На ниве бедной и бесплодной
Российской прозы и стихов
Я, сын поэзии Голодной,
Вам набрал травок и цветов;
В тиски хохочущей сатиры
Я их когтями положил
И резким звуком смелой лиры
Их описал и иссушил.
Вот Чайльд Гарольдия¹⁸ смешная.
Вот Дон-Жуания моя;
Вот Дидеротия блажная,
Вот русской белены семья;
Пырей Ливонии удалой
И финский наш чертополох,
И мак Германии удалой
И древних эллинов горох¹⁹
Все, все рядком в моих листочках
Разложено, уложено
И эпиграммы в легких строчках

¹⁸ Явные намеки на произведения Пушкина.

¹⁹ ²Столь же явные намеки на барона Дельвига.

На смех другим обречено.

Обезьянин («Московский телеграф». 1830 г., ч. 32, стр. 135).

Через два года была помещена другая пародия — знаменитого стихотворения Пушкина «Чернь»:

Трудолюбивый муравей

Историческо-политическо-литературная Газета, издаваемая в городе NN Яковом Ротозеевым и Фомою Низкопоклониным ²⁰

Поэт

(Посвящено Ф. Ф. Мотылькову)

Самовластительный губитель
Забав и доблестей своих,
То добрый гений, то мучитель,
Мертвец средь радостей земных
И гость веселый на кладбище.
Поэт! скажи мне: где жилище,
Где дом твой, дивный чародей?
Небрежной лирою своей
Ты нас то мучишь, то терзаешь
То радуешь, то веселишь;
К ногам порока упадаешь,
Добро презрением даришь;
То над неопытною девою,
Как старый грешник, шутишь ты...
Скажи, зачем твой сомненья,
Твои безумные волненья,
Зачем в тебе порок и зло
Блестящим даром облекло
Судьбы счастливой заблужденье?
Зачем к тебе — сует дитя,
Всползли, взгнездились пороки:
Лжи, лести, низости уроки
Ты проповедуешь шутя?
С твоим божественным искусством,
Зачем, презренной славы льстец,
Зачем предательским ты чувством
Мрачишь лавровый свой венец?
Так говорила чернь слепая,
Поэту дивному внимая;
Он горделиво посмотрел
На вопль и клики черни дикой,
Не дорожа ее уликой,
Как юный, бодрственный орел,

²⁰ «Тел.» 1832, ч. 44, Камера-обскура, № 8, стр. 153.

Ударил в струны золотые,
С земли далеко улетел,
В передней у вельможи сел
И песни дивные, живые
В восторге радости запел.

Бессмыслов, С.-Петербург, 1832.

Здесь, ясно, дело идет о «Литературной газете», которую издавал Дельви́г (его, очевидно, должно разуметь под именем Якова Ротозеева), литературный клиент Пушкина (которого хочет пародия означить именем Фомы Низкопоклонина). Прозвища «Мотыльков» и «Бессмыслов», очевидно, относит она также к нему.

Форма последней пародии очень жестка, но таковы были тогда литературные обычаи в эпиграммах и пародиях: сам Пушкин часто бывал не менее резок, — довольно припомнить знаменитые статьи Феофилакта Косичкина в «Телескопе», не менее знаменитую статью о Видоке и многие из его эпиграмм — из них приведем только одну, подписанную его именем и напечатанную в «Телеграфе» 1829 года (часть 26, стр. 408).

Эпиграмма

Там, где древний Кочерговский
Над Ролленем опочил.
Дней новейших Тредьяковский
Колдовал и ворожил:
Дурень, к солнцу став спиною,
Под холодный Вестник свой
Прыскал мертвою водою,
Прыскал ижицу живой.

А. Пушкин

Под «Кочерговским» еще яснее виден «Каченовский» (поместивший незадолго перед тем в своем журнале одну из статей экс-студента Надоумко), нежели под «Мотыльковым» Пушкин. Потому, если нам теперь предосудительною кажется неделикатность формы, то осуждать можно только вообще литературные обычаи всего общества той эпохи, а не в частности того или другого из людей, поступавших в этом случае точно так же, как и все прочие. Если же непременно захотим обвинять кого-нибудь в частности, то скорее надобно искать виновников такого обычая между приверженцами Пушкина, нежели между его литературными противниками. Положительные указания на то легко найти в тогдашних журналах. Мы, чтобы не увеличивать число цитат, ограничимся одною ссылкой на «Московский телеграф» (1830 года), часть 31, стр. 79.

Итак, около конца 1830 года отзывы «Телеграфа» о Пушкине изменились; вместо прежнего энтузиазма водворилась сначала холодность, потом явный раздор. В чем же надобно искать причин этой перемены, и кого считать первым виновником той жесткости, до которой часто доходила распря? Обыкновенно во всем обвиняют издателя «Телеграфа», совершенно оправдывая приверженцев Пушкина, тем более самого Пушкина. Факты не подтверждают такого приговора, составленного исключительно на основании авторитета самого Пушкина.

Что касается изменения в сущности суждений о произведениях Пушкина, начиная с 1830 года, журналы (и в том числе «Московский телеграф») были только отголоском общего мнения огромного большинства публики.

Но справедлива или несправедлива была публика, становясь равнодушнее к новым произведениям Пушкина, нельзя обвинять журналы за то, что они не прошли молчанием этот факт и старались объяснить его; нельзя было бы строго осуждать их и за то, если бы они

безотчетно увлеклись общим мнением. Но о «Телеграфе», отношения которого к Пушкину теперь занимают нас, должно сказать, что он старался, пока доставало у него сил внутреннего убеждения, бороться с изменившимся мнением публики; что потом, начав отчасти разделять это мнение, он делал это не по слепому увлечению из одной крайности в другую, а по сознательному и твердому убеждению, которое совершенно гармонировало с общим направлением этого журнала. Он остался верен себе, когда изменившиеся отношения Пушкина к публике заставили его не признавать в последующих творениях поэта того значения для русской литературы, какое имели его первые произведения. Выписки, которые мы приведем сейчас, неоспоримо это доказывают.

Одним из первых поводов вражды близких друзей Пушкина против «Московского телеграфа» были отзывы этого журнала о «Северных цветах» Дельвига. Первый год этого альманаха (1827) был встречен в «Телеграфе» безусловно похвалою — которой и заслуживала эта книжка. — «Северные цветы», — говорил отзыв, — лучший у нас альманах, который может выдержать сравнение с лучшими иностранными».

Точно таков же был отзыв и о следующем выпуске альманаха (за 1828 год). «Барон Дельвиг, — говорилось в «Телеграфе», — не только поддержал прежнюю славу своего издания, но, по отделению словесности, кажется, усовершенствовал его строгою разборчивостью». Между тем, в альманахе за этот год явился «Обзор русской словесности» Ореста Сомова, который отозвался о «Телеграфе» очень холодно, гораздо холоднее, нежели о «Сыне отечества», «Северном архиве» и «Северной пчеле», которые получили на свою долю несколько искренних похвал (хотя беспристрастие и общий голос публики, конечно, требовали отдать справедливость «Телеграфу», бесспорно лучшему из тогдашних журналов); к двусмысленной похвале «Телеграфу» («сей журнал нравится своим разнообразием») Сомов прибавлял упреки в заносчивости суждений и нечистоте слога. Относительно первого нельзя не сказать, что он был совершенно напрасен: откровенные и основательные, но умеренные суждения о книгах составляли одно из лучших достоинств «Телеграфа». Издатель этого журнала отвечал Сомову скромно и деликатно; тем не менее, Сомов, очевидно, обиделся, потому что в следующем обзоре (1829 г.) с едкими намеками сказал, что не хочет и говорить о журналах, уже утвердившихся во мнении публики; он желчно говорил, что не хочет вновь «подвергаться укоризнам». Зато, без сомнения с расчетом, в «Северных цветах» этого года (1829) была помещена статья Измайлова «О новой журнальной критике», направленная против Полевого, написанная запальчиво и оскорбительно. Тем не менее, и на этот раз «Телеграф» отозвался об альманахе, уже ставшем к нему враждебно, с горячими похвалами. Очевидно, ему хотелось избежать ссоры.

Но через несколько месяцев он имел несчастье говорить о «Стихотворениях» самого Дельвига и тем раздражить его. Прежде всего должно заметить, что статья была подписана не издателем журнала, Н. А. Полевым, его братом, К. А. Проповедуя романтизм, «Телеграф», конечно, не мог восхищаться псевдоантичными идиллиями и двестишиями барона Дельвига; но взамен того осыпал похвалами его русские песни. Мы вовсе не предубеждены в пользу г. К. Полевого, но должны сказать, что статья о Дельвиге была написана очень умно и деликатно. Например, рецензент старался смягчить свое справедливое мнение о невозможности в наше время писать теокритовские идиллии указанием, что и самому Гёте не удалось его античные стихотворения. Многие на месте Дельвига были бы благодарны за такое сближение. Но автор идиллий был не таков. Сам Пушкин, несмотря на свою душевную дружбу с Дельвигом, не решался делать ему даже изустных замечаний, чтобы не раздражить его литературного самолюбия. В журнальных пародиях Дельвиг был известен под названием «Недотыка». Можно себе вообразить, как он был раздражен статьею «Телеграфа». Правда, этот журнал был так деликатен и уступчив в этом случае, что вслед за статьею поместил возражения на нее г. Лихонина, старавшегося доказать, что Дельвиг прав, подражая Теокриту, — но ничто не помогло. Через три или четыре месяца после появления злой статьи была основана «Литературная газета», беспощадно и очень неразборчиво разившая издателя «Телеграфа» — смертоносная статья была написана не им, но барон

Дельвиг и его сподвижники не хотели ничего принимать в соображение — они разили, разили ненавистный «Телеграф» и смертельного врага своего, Полевого, пока сами не были поражены одним из своих ударов, слишком нелитературным (см. «Лит. газ.» 1830 г., 2-е полугодие, стр. 72). Исчислять сотни язвительных выходок и целые десятки статей, явившихся в этой газете против издателя «Телеграфа», было бы утомительно и бесполезно.

Вражда Дельвига к этому человеку была, без всякого сомнения, важнейшею причиною вражды, которую начал питать к нему и Пушкин. Это ясно для всякого, кто припомнит беспредельную преданность Пушкина своему другу.

Но из числа главных сотрудников «Литературной газеты» и ближайших друзей Пушкина не один Дельвиг был смертельным врагом Полевого. Кн. Вяземский, который в течение нескольких лет столь деятельно участвовал в «Телеграфе» и которому по преимуществу обязана своим происхождением полемика, в которую тогда вовлекался этот журнал, также поссорился с Полевым. Причин ссоры мы не знаем; но можем быть уверены, что во всяком случае они не заключали в себе ничего предосудительного для чести Полевого, потому что иначе его стали бы колотить намеками о том; и каковы бы ни были причины распри, достоверно то, что бывший сотрудник в то время весьма не благоволил к изданию «Телеграфа». Памятниками его вражды остались, кроме статей, помещенных в «Литерат. газете», несколько эпиграмм, «Письмо к А. И. Г.-ой» (в «Деннице» на 1830 г.) и проч. В этой последней филиппике была и знаменитая фраза: «с некоторого времени журналы наши так грязны, что читать их не иначе можно, как в перчатках» — на что было замечено, что прежде, когда автор письма не чуждался их, они были едва ли лучше.

П. А. Катенин, чрезвычайно уважаемый Пушкиным и как поэт, и как мыслитель, также не мог благоприятствовать Полевому, который с самого начала не разделял мнений Пушкина о его поэтических произведениях (и был в этом совершенно прав). Из всех случаев оскорбить отзывами о них и самого Катенина и его гениального поклонника упомянем только об одном: в 1827 году Полевой разобрал очерк русской литературы в Атласе Бальби; в этой статье, наполненной нелепостями, была, между прочим, фраза: «Мельпомена русская только на г. Катенина имеет надежды» — «Телеграф» посмеялся над этим забавным уверением (часть 17, стр. 122). Подобных столкновений было много.

Кроме того, мы уже знаем, что Орест Сомов принадлежал в 1829–1831 годах к отъявленным врагам Полевого; а Сомов имел, может быть, влияние на Дельвига и, конечно, раздувал ненависть.

Не удивительно, если Пушкин, горою стоявший за своего друга Дельвига, принимавший к сердцу все его жалобы и горести, оскорблявшийся нападениями на его авторскую славу гораздо более, нежели на свою собственную, — Пушкин, любивший и уважавший кн. Вяземского, благоговевший перед Катениным, был увлечен в их вражду с Полевым.

Вот, по нашему мнению, главнейшая причина распри, разделившей великого поэта с человеком, который, не равняясь с ним по таланту, также заслуживает некоторого уважения и благодарное воспоминание о котором во многих, к сожалению, еще помрачено опалою, какой подвергся он от Пушкина. Это объяснение, оправдывая Полевого, обнаруживает с тем вместе и в самых увлечениях его великого противника благородные побуждения безграничной, бескорыстной преданности друзьям.

Этот главный мотив, без всякого сомнения, усиливается теми природными наклонностями Пушкина, которые прекрасно разъяснены П. В. Анненковым, — уважением к преданиям старины, благоговением к памяти Карамзина и, наконец, особенным расположением к издателю другого журнала, «Московского вестника», бывшего во вражде с «Телеграфом». Последнее обстоятельство не требует подробных доказательств. Но выпишем несколько верных слов г. Анненкова о первой из причин неблаговоления нашего поэта к журналу Полевого.

«Все более оскорбляло Пушкина то уничтожение авторитетов и литературных репутаций (*незаслуженных, прибавим мы*), которое происходило от немедленного

приложения вычитанных (*и большею частью справедливых*) идей к явлениям отечественной словесности. Несмотря на ловкость и остроумие, с какими иногда (*большею частью*) производились эти опыты, Пушкин не имел к ним ни малейшего сочувствия. Притом «Московский телеграф» был совершенно противоположно духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заменил, образовав новое направление в словесности и критике. С его появления, журнал приобрел свой голос в деле литературы. Расположение литературных обществ к своим сочленам (т. е. превозношение похвалами *всех бездарных знакомых*) сделалось тогда достоянием истории. Пушкин сохранял убеждения старого члена литературных обществ. К новому порядку вещей, где личное мнение (*напротив, общественное мнение, которым только и поддерживается журнал, а не пересуды и похвалы тесного кружка приятелей, как прежде*) играло такую роль, он уже не мог привыкнуть всю жизнь. С первых же признаков его появления, он начал свою систему рассчитанного противодействия, забывая иногда и то, что высказывалось по временам (очень часто) дельного и существенного противниками, и постоянно имея в виду только одно: возратить критику в руки малого, избранного круга писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики» (нет, доверием публики пользовались его противники; скорее надо сказать: писателей, составивших между собою общество взаимного застрахования от критики, как это бывало в старину).

«Телеграф», защищаясь от нападений «Литературной газеты», должен был нападать и сам. Газета и ее издатель не были щадимы. Вот, напр., несколько пародий на антологические стихотворения Дельвига:

Сходство

Сшили фрак; и был он модный, прекрасный, изящный,
Мода прошла и — на ветошь он продан: не то ли и с нами?

Феокритов

Судьба человека

Трубку я докурил и, пепел ее выбивая,
Думал: «Так выбивает из света нас Крон беспощадный!»

II

Роза цвела и поля украшала и взор веселила;
Буря измяла цветок; погиб он для взора. О, смертный!
Жизнь есть цветок, и смерть его мнет: так все на свете!

Феокритов

Место не позволяет нам выписывать других пародий, иногда очень удачных, как переложения русских песен на чухонский лад, напр., «русская песня без чухонских приправ»:

Ты рябинушка, ты кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла, и т. д.

И «русская песня на чухонский лад»:

В густом лесу, в темном бору

Цветет, растет рябины куст, и т. д.

Это, конечно, еще более усиливало вражду, и удары на Полевого сыпались в каждом номере «Литературной газеты». — Его обвиняли в хвастовстве, невежестве, своекорыстии, отсутствии литературной и коммерческой честности; было много и других выходов, еще менее дозволенных правилами литературной полемики. Мы не можем с достоверностью решить, какие из этих статей принадлежали Пушкину, какие были помещены по его совету; быть может, многих он и не одобрял; но, во всяком случае, он был душою, он составлял главную силу всей партии, враждовавшей против «Телеграфа», — какие же отзывы в то время делал журнал о его произведениях?

О «Полтаве», которую публика приняла холодно и которая была растерзана в «Вестнике Европы», «Телеграф» поместил две статьи. Вот главные места из первой, краткой («Телеграф» 1829 г., часть 26, стр. 337):

«С появлением сей поэмы, Пушкин становится на степень столь высокую, что мы не смеем в кратком известии изрекать приговор новому его произведению. Доселе русские библиографы, и в числе их мы сами, следовали в отношении к Пушкину словами Вольтера, сказавшего о Расине, что под каждую его страницу должно подписывать: прекрасно! превосходно! Впрочем, это естественный ход вещей; всякое необыкновенное явление сначала поражает, а после уже дает время подумать об отчете самому себе. Но, удерживаясь на сей раз от решительного суждения о «Полтаве», мы скажем, однако ж, что видим в ней, при всех других достоинствах, новое — народность. В «Полтаве», с начала до конца, везде русская душа, русский ум, чего, кажется, не было в такой полноте ни в одной из поэм Пушкина».

Через полтора месяца явился подробный разбор поэмы, развивающий те же самые мысли («Телеграф» 1829 г., часть 27, стр. 219–236). Здесь говорится, что Пушкин, сначала писавший под влиянием Шенье, потом Байрона, теперь становится самостоятельным, и что его гению суждено еще развиться несравненно могущественнее, нежели каким он являлся в прежних произведениях. Равнодушие публики к новой поэме, которая в тысячу раз выше прежней, объясняется тем, что публика жаждет живого направления, касающегося общественных интересов, а не шекспировского спокойствия, которое властвует в «Полтаве», и потом доказывается, что Пушкин прав и неправы, и не развиты, тупоумны те, которые не умеют восхищаться его дивною «Полтавою»: — где в этих словах отголосок вражды? Разъясняя причину восторженного увлечения прежними произведениями Пушкина, критик говорит очень справедливо: «Не разнообразный гений его, не прелесть картин увлекали современную молодежь, а звучные стихи, изображавшие их мысль. Можно утвердительно сказать, что имя Пушкина всего более сделалось известно в России по некоторым его мелким стихотворениям, ныне забытым (?), но в свое время ходившим по рукам во множестве списков» (стр. 227–8) — факт, ныне забытый в свою очередь, но очень важный. Статья оканчивается так: «В заключение мы должны сказать, что новая поэма Пушкина не произвела на публику такого сильного впечатления, какое производили прежние. Это очень естественно; досуг ли читателям отставать от привычки и вникать в внутренний смысл (*т. е., выражаясь нынешнею терминологиею: в художественность*) поэтических произведений? Им надобны восклицания, возгласы, брань на самих себя, ибо не забудем, что мы современники байроновских читателей». Критик видит истинную причину охлаждения публики, но еще поклоняется с прежним энтузиазмом великому поэту и клеймит, как тупоумных людей, тех, которые покинули его, когда он покинул область живых стремлений для областей холодной художественности.

Разбирая «Северные цветы» 1830, 1831 и 1832 годов, «Телеграф» восхищается стихотворениями Пушкина; постоянно хвалит стихи Дельвига, князя Вяземского, как скоро они хотя сколько-нибудь заслуживают внимания своим достоинством, хвалит даже повести Порфирия Байского (Ореста Сомова) — вообще, в его суждениях мы не видим и следов полемического пристрастия. Что должно осуждать, над тем критик смеется; но все хорошее

он прямо называет хорошим, без оговорок и колебаний.

Когда вышла VII глава «Евгения Онегина», встреченная публикою также холодно, «Телеграф» сказал (1830 г., ч. 32):

«Стихотворения А. С. Пушкина в нашей литературе показывают, что мы еще не совсем оледенели для поэзии. Среди нынешних наших льдов и снегов Пушкин есть явление утешительное. Жалеем об одном: зачем столь блестящее дарование окружено обстоятельствами самыми неблагоприятными? Освободиться от них очень трудно, если не совсем невозможно. — Мы еще дети и в гражданском быту и в поэтических ощущениях, и потому-то Пушкин кажется так слаб в сравнении с Байроном, изображавшим в некоторых сочинениях своих то же, что представляет нам Пушкин в «Онегине», «Гостиные, девы и модники — герои деревень, городов и балов! Какой подвиг взглянуть на них сардонически!» — вот господствующая мысль в «Онегине», которую, может быть, сам творец сего романа худо поясняет себе, ибо иначе он увидел бы, что тесниться вокруг нее в семи стихотворных главах утомительно и для него и для читателей. Первая глава «Онегина» и две-три следовавшие за нею нравились и пленяли, как превосходный опыт поэтического изображения общественных причуд. Но опыт все еще продолжается, краски и тени одинаковы и картина все та же. Цена новости исчезла, и тот же «Онегин» нравится уж не так, как прежде. Надобно прибавить, что поэт и сам утомился. В некоторых местах VII главы «Онегина» он даже повторяет сам себя (следуют примеры). Выказав все о VII главе «Онегина», с удовольствием заметим, что прелесть стихов в оной, во многих местах сила мыслей и поэтические чувствования показывают неизменность дарования Пушкина».

Едва ли теперь можно согласиться с этим отзывом, но в нем все-таки не заметно недоброжелательства критика к разбираемому им автору.

Когда вышел «Борис Годунов», о нем был напечатан следующий отзыв («Моск. телегр». 1831 г., ч. 37, стр. 245):

«Бориса Годунова» можно обозреть в двух отношениях. Первое, как произведение Пушкина, русского литератора, русского поэта. С этой стороны, «Борис Годунов» есть великое явление нашей словесности, шаг к настоящей романтической драме, шаг смелый, дело дарования необыкновенного. Нужно ли прибавлять, что Пушкин становится им, уже решительно и бесспорно, выше всех современных русских поэтов? Имя его делается после сего причастно небольшому числу великих поэтов, доньше бывших в России, и между ими горит оно яркою звездою.

«Но бывши русским, бывши современным, Пушкин принадлежит в то же время векам и Европе. Вот второе отношение, в котором должно рассматривать «Бориса Годунова». Здесь получает он, без сомнения, почетное место, но только как надежда на будущее, более совершенное. Первый опыт Пушкина в сем отношении не удовлетворяет нас: первый шаг его смел, отважен, велик для русского поэта, но не полон, не верен для поэта нашего века и Европы. Можем теперь видеть, что в состоянии сделать впоследствии Пушкин, этот ознаменованный небесным огнем истинной поэзии человек; но в «Борисе Годунове» он еще не достиг пределов возможного для его дарования. Язык русский доведен в «Борисе Годунове» до последней, по крайней мере в наше время, степени совершенства; сущность творения, напротив, близорукая и запоздалая».

Когда в «Северных цветах» 1832 г. были напечатаны «Бесы» Пушкина, «Телеграф» отозвался об этой пьесе с восторгом изумления; о сцене «Моцарт и Сальери», помещенной в той же книжке, было сказано: «Это несравненное произведение можно постигнуть, только прочитав вполне» (1832 г., часть 43, стр. 112). Сущность отзыва о последней главе «Евгения Онегина», вышедшей в то же время, состоит в том, что она удивительно хороша «по полноте и прелести рассказа» и что заключение романа есть одно из лучших мест его (часть 43, стр. 117). Наконец (в той же части, стр. 566), извещая о появлении нового издания лирических пьес Пушкина, «Телеграф» с негодованием упрекает публику за охлаждение к великому поэту:

«Сказав, что мелкие стихотворения Пушкина в настоящее время не возбуждают

восторга, как бывало то прежде, мы, кажется, повторим известное каждому наблюдателю словесности русской. Еще более: стихотворения сии ныне встречают холодность, и слава богу, когда дело оканчивается одним равнодушием! Так нет! В публике нашей заметна еще какая-то неприязнь к ним, какое-то желание унижать произведения поэта прежде столь любимого, недавнего идола всей русской молодежи. Событие не оспоримо!»

Заклучим наши выписки общим суждением «Телеграфа» (1829 г., часть 26, стр. 80) о поэмах пушкинской эпохи и постепенном развитии самого Пушкина:

«Поэты наши принимали тот дух, те формы мыслей, коими донныне ознаменовывались все поэмы Пушкина. От сего главные недостатки: однообразие духа, в каком изображаются герои поэм: забвение форм, под коими должна бы проявляться национальность и частность (*т. е. индивидуальность, выражаясь нынешним языком*). Прибавим к этому неполноту плана, слабую завязку, на которой обыкновенно держатся новые поэмы, оставление в тенях многих частей и отделку только некоторых, отчего поэма бывает только рядом картин, часто дурно связанных; к этому ведет и самое деление поэм на книги, а книг или глав на строфы и куплеты. Заметим, что Пушкин с каждою поэмою удаляется от таких недостатков; «Цыгане» его были уже весьма чужды их, а «Мазепа» (т. е. «Полтава») как говорят, есть творение, полное жизни и совершенной самобытности. Вступление, напечатанное при 2-м издании «Руслана и Людмилы», «Утопленник», известные нам сцены из «Бориса Годунова» показывают, как хорошо понимает Пушкин национальность, местность, в которую должны облекаться действующие лица каждого из его творений. О последователях его ни об одном еще нельзя сказать этого».

Через двадцать пять лет что мы найдем неверного в этих понятиях? И многим ли мы можем дополнить их?

Это обозрение, которое многим покажется слишком длинно, зато другим недостаточно подробно, едва ли оставляет место сомневаться, что отношения главного критического журнала 1825–1830 годов к Пушкину были вовсе не таковы, как обыкновенно полагают. Мы видим, что если мало-помалу личная неприязнь к издателю «Телеграфа» овладела великим поэтом и если нападениями других своих противников, друзей Пушкина, и отчасти самого Пушкина, Полевой был вызываем на некоторые полемические выходы, обычные в то время, то невозможно сказать, чтобы издатель «Телеграфа» был виноват в том: не он начал полемику; напротив, он старался избежать ее. Еще важнее то, что, несмотря на свои личные враждебные отношения с Пушкиным, как членом одной из литературных партий, Полевой продолжал рассматривать поэтические произведения его с беспристрастием и отдавать полную справедливость их достоинствам. Мы привели много примеров (и каждый, кто потрудится перелистовать «Московский телеграф», найдет их в гораздо большем числе), что критика произведений Пушкина в этом журнале вовсе не состояла в придирках к словам — напротив, она стремилась проникнуть в существенный смысл произведения и часто достигала того успешно; старалась определить отношения каждого нового произведения к прежним и прекрасно исполняла это. Она удачно объясняла и отношения различных созданий нашего поэта к публике — одним словом, была критикою, достойною этого имени. И нельзя не сказать, что все обыкновенные нарекания о тупоумии, пустоте и т. д. критики, которую встречали сочинения Пушкина при его жизни, — чистый предрассудок, насколько они касаются «Московского телеграфа» в цветущее время его существования, когда он имел сильное влияние на мнения публики.

Но, начиная с 1831, особенно с 1833 года, новый журнал «Телескоп» начинал брать первенство над «Телеграфом» во мнении если не большинства публики, то людей, мнением которых может дорожить писатель. Посмотрим же, каковы были отношения Телескопа к Пушкину.

Предшественницами учено-литературной критики, которая одушевляла «Телескоп», были грозные статьи «экс-студента Никодима Надоумко», явившиеся в «Вестнике Европы» 1828 и 1829 годов... Вот несколько отрывков, которые могут дать понятие о том, что говорил Надоумко.

«Я сидел и думал о приближающемся новом годе, — говорит он в первой из своих статей («Литературные опасения за будущий год») — Слава богу! вот и еще один год скоро с плеч долой! Вот и еще на один шаг подвинемся мы на поприще жизни! Но подвинули ль мы с собою хоть на один дюйм то, что должно составлять главную цель бытия нашего?.. Наше просвещение, и преимущественно наша литература... Тут мрачная тень пробежала пред моими взорами... Давно уже она обернулась назад, и в протекающий год едва ли переменяла, едва ли даже приготовилась переменить свое направление... Мне стало грустно и тяжело». — В эту минуту пришел к автору Тленский, один из прославленных поэтов новой школы, и, услышав о его грустном раздумье, стал доказывать, что наша литература процветает, что «литературный горизонт наш покрывается беспрестанно новыми блестящими созвездиями». — Надоумко прерывает его:

— Потрудись указать мне в толпе метеоров, возгорающихся и блуждающих в нашей литературной атмосфере, хоть один, в котором бы открывалось таинственное парение гения в страну вечных идеалов, о котором прожужжали нам все уши велеумные журналисты? По сию пору близорукий взор мой, преследуя неисследимые орбиты хвостатых и бесхвостых комет, кружащихся на нашем небосклоне, — сквозь обвивающий их чад мог различить только то одно, что все они влекутся силою собственного тяготения в туманную *бездну пустоты*, в созданный гигантскою фантазиею Байрона страшный хаос:

...Бездна пустоты,
Без протяженья и границ,
Ни жизнь, ни смерть, как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой!

«Сии маленькие желтенькие, синенькие и зелененькие поэмки, составляющие теперь главный пиитический приплод наш, — несмотря на щеголеватую наружность, в коей они обыкновенно являются, — не суть ли только эфемерные призраки, возникающие из ничего и для ничего по прихотям зевающей от безделья фантазии?.. Это и не удивительно. Льзя ли ожидать чего-нибудь дельного, связного и цельного от произведений, являющихся рапсодическими клочками, сшитыми кое-как на живую нитку, и светящихся насквозь от множества — не то искусственных, не то естественных — скважин и щелей, нисколько не затыкаемых бесчисленными тире и точками? — Не бессовестно ли требовать от творения единства и сообразности с идеею, когда сам творец не имеет часто в голове ясного и определенного понятия о том, что он хочет писать, а просто пишет то, что на ум взбредет?.. Таковы-то едва ли не все нынешние пиитические произведения, в коих услужливые журналисты усиливаются открывать таинственное стремление в страну идеалов! — Это значит, как говорят французы, *chercher midi a quatorze heures!*..²¹

«Бог судья покойнику Байрону! Его мрачный сплин заразил всю настоящую поэзию и преобразил ее из улыбающейся Хариты в окаменяющую Медузу! — Правда, самого его винить не за что. Он был то, чем сотворили его природа и обстоятельства. Невозможно не преклонить колен перед величием его гения, но невозможно вместе и удержать горестного вздоха о том, что сия исполинская сила души, для которой рамы действительности были столь тесны, не просветлялась ясным взором на вселенную и не согревалась кроткою теплою братской любви к своим земным спутникам. Это был одинокий колоссальный Полифем, проливающий окрест себя ужас и трепет!.. Но его мутный взор, его мрачное человеконенавидение, его враждебная апатия ко всем кротким и мирным наслаждениям, представляемым нам благою природою, — принадлежали собственно ему самому и

²¹ Здесь: искать невозможного (*франц.*).

составляли оригинальную печать его гения. Посему Байрон есть и останется навсегда великим — хотя и зловещим — светилом на небосклоне литературного мира. — То беда, что сия грозная комета, изумив появлением своим вселенную, увлекла за собой все бесчисленные атомы, вращающиеся в литературной атмосфере, и образовала из них хвост свой. Все наши доморощенные стиходеи, стяжавшие себе лубочный диплом на имя поэтов дюжиною звонких и богатообрифмованных строчек, помещенных в альманахах и расхваленных журналами, загудели a la Вурон:

Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова
И у кого что силы стало!

Пошли беспрестанные резанья, стрелянья, душегубства — ни за что, ни про что... для одного *романтического эффекта!*..»

Надоумко в одной из последующих статей доказывает разбором «Полтавы», что в понятиях Пушкина нет ничего похожего на байроновское мирозерцание. Общее заключение его о русской литературе 1820–1829 года высказывается таким образом по поводу замечания, что «Телеграф» прилагает к литературе «высшие взгляды»:

«Это более смешно, чем жалко! Наша литература, в настоящие времена, так мелка, так ничтожна, что ее с высока-то и не приметно! Напротив — надо понагнуться до понагнуться, чтоб разглядеть хорошенько крошечные крапинки жизни, иногда на ней выступающие! Забавное дело! Что подумали бы мы о чуде, который, собираясь переплыть через Патриарший пруд на корыте, разложил бы перед собою ландкарту и компас и от всего сердца принялся бы определять географическую широту и долготу его по парижскому меридиану? Каков кажется нам «Метафизик» Хемницера, с философическою важностью взваливающий вину своего падения на *центральное влечение и воздушное давление*? А между тем в нашем литературном *мире* делается чуть ли еще не хуже. Велемудрые наши крикуны, собирающиеся на *Телеграфической* сходке, не стыдятся к хламу, унавоживающему нашу литературу, прикидывать мерку бесконечного и безусловного, по которой немецкие критики определяют величие «Мессиады» или «Орлеанской девственницы». Им чудится идеальное парение в «Нулине»; они видят развитие идей человечества в «Выжигине»!!! Одно только может извинить пред судилищем литературного правосудия сию хулу на изящество; это — грех неведения!»

Вот как г. Надоумко рассуждал о «Евгении Онегине», в котором — не должно забывать — хотели видеть русского Чайльд-Гарольда:

«Бывало время, когда каждый стих Пушкина считался драгоценным приобретением, новым перлом нашей литературы. Какой общий, почти единодушный восторг приветствовал первые свежие плоды его счастливого таланта! Какие громкозвучные рукоплескания встретили Евгения Онегина в колыбели! Можно было по всей справедливости применить к юному поэту горделивое изречение Цезаря: пришел, увидел, победил! Все преклонились перед ним до земли; все единогласно поднесли ему венец поэтического бессмертия. Усумниться в преждевременном апотеозе героя считалось литературным святотатством; и несколько последних лет в истории нашей словесности по всем правам можно назвать эпохою Пушкина. Не будем оскорблять минувшее бесполезными истязаниями: что было, то было! Скажем более; имя Пушкина и без прихотливого каприза моды, коей был он любимым временщиком, имело бы все права на почетное место в нашей литературе: энтузиазм, им возбуждаемый, не был совершенно не заслуженный. Но теперь — какая удивительная перемена! Произведения Пушкина являются и проходят почти неприметно. Блистательная жизнь Евгения Онегина, коего каждая глава бывало считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескоком через целую главу — и это не производит никакого движения, не возбуждает никакого участия. Третья часть стихотворений Пушкина, обогащенная обширною сказкою в новом роде, которого гений его еще не испытывал, скромно, почти инкогнито, прокрадывается в газетных объявлениях наряду с мелкою рухлядью цехового

рифмоплетного рукоделья; и — (о верх унижения!) — между журнальными насекомыми, «Северная пчела», ползавшая некогда перед любимым поэтом, чтобы поживиться от него хотя росинкой сладкого меда, теперь осмеливается жужжать ему в приветствие, что в последних стихотворениях своих — Пушкин отжил!!! Sic transit gloria mundi! 22

«Что ж значит сия перемена?.. Приписать ли это внезапное охлаждение той же ветротленной прихотливости моды, которая прежде баловала так поэта, или видеть в нем добросовестное раскаяние вразумившегося беспристрастия?.. Вопрос сей должно решить внимательным рассмотрением последних произведений Пушкина.

«Начнем с «Последней Главы Онегина». Признаемся откровенно, сия последняя глава показала нам ничем не хуже первых. Та же прихотливая резвость вольного воображения, порхающего легкокрылым мотыльком по узорчатому, но бесплодному полю светской бездушной жизни; та же яркая пестрота красок и цветов, мелькающих подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же беглое, но цепкое остроумие, везде оставляющее следы легкого, юмористического угрызения; та же чистота и гладкость стиха, всюду льющегося тонкой хрустальной струей. Одним словом, мы нашли здесь продолжение той же пародии на жизнь, ветреной и легкомысленной, но вместе затейливой и остроумной, коей мы любовались от души в первых главах «Евгения». Посему, читая ее, мы не испытали никакого разочарования, не подверглись никакому неприятному впечатлению; и если иногда приходило нам в голову, что поэту, создавшему «Бориса Годунова», время б быть постепеннее, то мы оправдали его необходимостью: надобно ж было кончить, что начато!.. Но, отдавая искренний отчет в собственных наших чувствованиях, мы не думаем, чтоб их разделяло с нами общее мнение. Большинство публики, в минуты первого упоения, обмороченное вероломными кликами шарлатанов, спекулировавших на общий энтузиазм к Пушкину, видело в «Онегине» какое-то необыкновенное чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными последствиями. Оно думало читать в нем полную историю современного человечества, оправленную в роскошные поэтические рамы, ожидало найти в нем русского «Чайльд-Гарольда». И могло ли устоять долго это добродушное ослепление, когда откровенная искренность поэта сама его разрушала беспрестанно? Каждая новая глава «Онегина» яснее и яснее обнаруживала непритязательность Пушкина на исполинский замысел, ему приписываемый. С каждою новою строкою становилось очевиднее, что произведение сие было не что иное, как вольный плод досугов, фантазии, поэтический альбом живых впечатлений таланта, играющего своим богатством. Напрасно самое пристрастное доброжелательство усиливало отыскать в нем черты высшего эстетического значения. Его воздушная легкость ускользала от всех покушений приязненной критики, домогавшейся узаконить его в ранге художественного произведения, имеющего известные права и подчиненного известным условиям. «Евгений Онегин» не был и не назначался быть в самом деле романом, хотя имя сие, под которым он явился первоначально, осталось навсегда в его заглавии. С самых первых глав можно было видеть, что он не имеет притязаний ни на единство содержания, ни на цельность состава, ни на стройность изложения; что он освобождает себя от всех искусственных условий, коих критика вправе требовать от настоящего романа. В так называемом романе Пушкина, от начала до конца, мелькают, говоря его же словами:

Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
И постепенно в усыпление
И чувств и дум впадает он,

22 Так проходит слава мира (лат.).

А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон. (VIII, 37)

Самое явление его, неопределенно-периодическими выходами, с беспрестанными пропусками и скачками, показывает, что поэт не имел при нем ни цели, ни плана, а действовал по свободному внушению играющей фантазии. Смело можно было угадывать, что при первой главе «Онегина» Пушкин и не думал, как он кончится; и вот собственно его откровенное признание в последней главе:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые мне —
И даль *свободного романа*
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал. (VIII. 50)

Но сие признание сделано уже слишком поздно. Оно не спасло откровенного поэта от мести тех, кои, думая видеть в мыльных пузырьках, пускаемых его затейливым воображением, роскошные огни высокой поэтической фантазмагии, наконец должны были признать себя жалко обманувшимися. Раздраженная толпа вымещает теперь свое прежнее чрезмерное ослепление несправедливой холодностью. «Последняя Глава Онегина» наказывается незаслуженным пренебрежением оттого, что первым удалось возбудить восторг не совсем заслуженный. Сам поэт, без сомнения, это предчувствовал: ибо последнее прощание его с читателями, коим он заключает сию последнюю главу, растворено юмористическою едкостью, избличающею тайное недовольство самим собою и представляющею разительную противоположность с тем разгульным одушевлением веселого самодовольствия, коим проникнуты первые главы «Онегина»:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты со мной
Здесь ни искал в строфах небрежных;
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок.
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлечения, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок,
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости. (VIII. 48, 49)

Не знаем, как принято сие обращение другими: что же касается до нас, то мы извлекли из него поучительное заключение, к чести поэта, но — не в добрую примету для нашей словесности. Явно, что Пушкин, с благородным самоотвержением, сознал наконец тщету и ничтожность поэтического суесловия, коим, увлекая других, не мог, конечно, и сам не увлекаться. Его созревший ум проник глубже и постиг вернее тайну поэзии: он увидел, что для гения — повторим давно сказанную остроту — не довольно создать Евгения... Но лучше ли от того нашей словесности? При ее крайнем убожестве блестящая игрушка, подобная Онегину, все, по крайней мере, наполняла собой ужасную ее пустоту. Видеть эту игрушку

разбитою руками, ее устроившими, и не иметь, чем заменить ее, — еще грустнее, еще безотраднее».

Но тот же самый «Телескоп» признает великим творением «Бориса Годунова», который был осужден другими журналами и совершенно равнодушно, или даже неприязненно встречен публикою. Это произведение оправдывается критиком против всех мелких упреков, какие делались ему в то время; «превосходно», «прекрасно» — повторяется на каждой странице разбора. Говорят, что Надоумко строго судил о прежних произведениях Пушкина потому, что был лишен эстетического вкуса; едва ли это так; людям, которые высказывают такое мнение, советуем прочитать его статью о «Борисе Годунове» («Телескоп», 1831, стр. 546–574) — она положительно убедит их, что ни один из нынешних записных критиков не может похвалиться таким верным и проницательным эстетическим тактом, какой обнаруживается этим разбором.

Надобно заметить, что, говоря о Пушкине, Надоумко и «Телескоп» имели в виду не столько отдельного поэта, сколько представителя русской литературы, и потому высказывали по поводу его произведений то, что должно было разуметь о целой литературе. Здесь дело шло, собственно говоря, не об авторе «Евгения Онегина», а об умственной жизни нашего общества в ту эпоху, о публике, которая произвела Пушкина, которая восхищалась «Русланом и Людмилою», как народною поэмою, не понимая ее, «Кавказским пленником», как Байроновскою поэмою, также не понимая его, и которая осталась недовольна «Борисом Годуновым», также не понимая его.

Но, как бы то ни было, хотя в суждениях «Телескопа» о Пушкине и много ошибочного, — во всяком случае для каждого, кто возьмет на себя труд перечитать статьи экс-студента Надоумко и разборы «Телескопа», или даже, пробежав наши выписки, припомнит преувеличенные толки о богатстве нашей литературы и т. д., — несомненно то, что в основаниях этих суждений есть много и дельного.

Какое же заключение извлечем мы из этих припоминаний? Кажется, трудно не согласиться, что и при жизни Пушкина его произведения были оцениваемы не голословно, не пошло, не мелочно. Конечно, мы говорим только о лучших тогдашних критиках. Были в то же время между рецензентами люди и другого разбора, как бывают они везде и всегда. Нашелся, например, человек (имя его, к счастью, не выставлено под статью), который не посовестился утверждать, что VII глава «Евгения Онегина» заимствована из «Ивана Выжигина» (!!!); были другие рецензенты, более честные, но столь же жалкие по уму, которые привязывались к словам и другим мелочам: — но неужели Пушкин должен был обращать внимание на этих людей, которые служили тогда предметом насмешек и сожаления? Неужели и мы должны иметь их в виду, говоря об отношениях Пушкина к современной ему критике? Лучше предать забвению эти вещи, не заслуживающие ничего, кроме забвения и сожаления...

В следующей статье, продолжая говорить об отношениях критики к Пушкину, мы рассмотрим взгляд на нашего великого поэта критиков ближайших к нашему времени.

Статья четвертая и последняя

Ранее, нежели мы надеялись, новое издание сочинений Пушкина завершилось выходом двух последних томов, благодаря заботливости издателя, сдержавшего свои обещания публике с точностью. Хвалить внешний вид издания, теперь оконченного, считаем совершенно излишним, потому что между нашими читателями, вероятно, не найдется ни одного, который бы уже не просматривал, не перечитывал его. Не считаем нужным указывать и внутренние достоинства издания сравнительно с прежним изданием, потому что уже говорили об этом в начале наших статей. Было бы утомительно для читателей, если бы мы вздумали вдаваться теперь в мелочные указания статей и стихотворений Пушкина, рассеянных по журналам и не вошедших в состав издания, сделанного г. Анненковым, — важнейшие из этих пропусков были уже указаны критикою по случаю выхода в свет издания

1841 года, и если не были пополнены г. Анненковым, то, конечно, не по забывчивости, а только потому, что план нового издания не допускал помещения этих статей, большею частью полемических. Исчисление других, совершенно незначительных журнальных заметок не есть, по нашему мнению, дело критики, которая должна обращать внимание только на вещи, имеющие внутреннее значение: длинным и сухим спискам подобного рода место в специальных библиографических трактатах и в примечаниях к будущему «*Полному собранию сочинений Пушкина*» (если когда-нибудь русская литература будет иметь такое собрание) — заглавие, которого скромно и благоразумно не дал г. Анненков своему изданию, полному только в предписанных ему границах. Во всяком случае, эти статейки едва ли могли бы прибавить что-нибудь значительное к тому, что уже дано «материалами», столь тщательно собранными из бумаг Пушкина г. Анненковым. Прибавления, какие в настоящее время могли бы быть сделаны к изданию, были бы совершенно ничтожны в сравнении с массою драгоценных новых данных, представленных «*Материалами для биографии Пушкина*», примечаниями нового издания и некоторыми пьесами его, не входившими в состав прежнего издания.

В предыдущей главе мы говорили об отношениях к Пушкину современной ему критики; мы видели, что если она в плохих или недобросовестных журналах часто унижалась до тупости и забавной придирчивости, то посредством лучших своих органов — «*Телеграфа*» и «*Телескопа*», успела высказать довольно много справедливых замечаний о достоинствах и недостатках отдельных произведений Пушкина и — что еще важнее и труднее — даже об отношении следующих его произведений к предыдущим, о постепенном развитии его таланта. Но само собою разумеется, что оценка деятельности поэта, столь полного силы, жизни и движения, как Пушкин, не могла быть полна, пока значительная часть этой деятельности еще скрывалась в будущем; разумеется также, что писатель, столь важный в истории общего развития нашей литературы, как Пушкин, не мог быть точно оценен по своему значению и влиянию на судьбу литературы, пока это влияние не выразилось положительными фактами: мерило для оценки воспитателя дается только деятельностью его воспитанников. Потому критика, современная Пушкину, вовсе не будучи лишена ни смысла, иногда прекрасного, ни пронизательности, иногда очень меткой, и нимало не заслуживая пренебрежения, с каким о ней иногда отзываются, напротив, имея право на наше внимание не менее других отраслей тогдашней литературной деятельности, — эта критика тем не менее далеко уступает своею глубиною последующей критике, имеет значение только как приготовление к этой критике, подобно всей тогдашней литературе, имеющей важность преимущественно потому только, что она служила почвою, на которой могла возникнуть деятельность последующей литературной эпохи, которая, в свою очередь, особенно драгоценна для нас не как нечто имеющее абсолютное значение, а как зародыш и залог будущего развития русской литературы, приближение которого должно быть заветным желанием каждого образованного русского. Каково бы ни было безотносительное достоинство произведений Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и современных нам русских писателей, но они еще милее для нас, как залог будущих торжеств нашего народа на поприще искусства, просвещения и гуманности.

Критика, возникшая вскоре по смерти Пушкина — сказали мы, — гораздо полнее и точнее, нежели современная ему критика, определила значение этого великого писателя в русской литературе. По-видимому, надобно было бы предполагать, что результаты ее исследований еще у всех свежи в памяти и не должны быть снова подробно пересказываемы, как вещи общеизвестные. На самом деле такое предположение, несмотря на всю свою естественность, оказывается несправедливым. Если бы воскресли люди, голос которых так недавно еще был выслушиваем как голос самой истины, — чем он и был действительно, — если бы воскресли эти люди и посмотрели на то, что пишется ныне, они воскликнули бы словами одного из нынешних поэтов, который, вероятно, сам уже позабыл свои прежние слова:

Или в эти годы
Люди и забыли,
Чем во дни былые
Доблестны мы были?

Но, увлеченные воспоминаниями, мы удалились от нашего предмета — рассмотрения того, каким образом понимала Пушкина критика, господствовавшая в нашей литературе после падения современной ему критики. Журналы старых годов не всегда можно иметь в руках: потому не излишне будет в коротких словах повторить существенные мысли многочисленных статей о Пушкине, столь подробно и верно оценивших его поэтическую деятельность.

Прежде всего надобно заметить, что эти статьи сильно восставали против едких отзывов экс-студента Надоумко о «Полтаве», «Нулине» и «Евгении Онегине» и холодных отзывов «Телеграфа» о последующих произведениях Пушкина. Они доказывали, что как «Борис Годунов», так и «Евгений Онегин» — великие создания. Потому в смутных воспоминаниях, какие остались у большей части нынешних читателей от этих статей, едва ли не самым положительным осталось мнение, что они были безусловным панегириком Пушкину; что произведения Пушкина были в них представлены равно художественными по форме и колоссальными по идее; что Пушкин был поставлен в них неизмеримо выше всех русских поэтов, не исключая никого. Многим на основании этих неточных воспоминаний представляется даже, будто бы критика ставила Пушкина одним из величайших мировых поэтов, равным Шекспиру в «Борисе Годунове», едва ли не выше Шиллера и Байрона. Выписки, которые мы приведем ниже, вернее покажут понятия критики о поэтическом значении Пушкина; мы здесь не хотим излагать ее мысли собственными словами — способ всегда более или менее произвольный, и считаем нужным сделать только два или три замечания относительно общего характера этой критики.

Чтение выписок, которые мы представим, убедит каждого в том, как независимы и нелицеприятны были ее суждения. Быть может, даже ныне, когда отдаленность времени дает нам полную возможность судить без увлечений, многим покажется, что критика говорила о Пушкине не довольно восторженно. Но тем не менее каждый может видеть, что она была проникнута глубоким благоговением к имени Пушкина. На это, кроме главной причины — великого достоинства самых произведений Пушкина и пламенного сочувствия этой критики ко всему, что было прекрасного в русской литературе, есть и другая причина, зависевшая от обстоятельств. Это указано в самом начале статей. В конце жизни Пушкина публика охладела к своему любимцу; но «безвременная смерть Пушкина, как и должно было ожидать, снова и с большею силою обратила к падшему поэту сочувствие и любовь общества. Не успело еще войти в свои берега взволнованное утратою поэта чувство общества, как подняла свое жужжание и шипение на страдальческую тень великого злопамятная посредственность. Она начала, прямо и косвенно, толковать о поэтических заслугах Пушкина, стараясь унижить их... веселое скакание водовозных существ на могиле льва возмущает душу, как зрелище неприличное и отвратительное; а наглое бесстыдство низости имеет свойство выводить из терпения. Мудрено ли, что и такое ничтожное само по себе обстоятельство, раздражая людей, способных понять и оценить Пушкина как должно, только более и более увлекало их в благородном удивлении к великому поэту?» Далее говорится, что, наконец, эти обстоятельства миновались, и настало время судить о Пушкине совершенно хладнокровно. Но каждый, у кого бьется в груди сердце, знает по опыту, что человек энергический никогда не будет говорить совершенно хладнокровно о том, от чего когда-нибудь возмущалось его сердце. Кто был современником пошлых выходов против великого поэта, кто был некогда поражен громовою вестью о его ранней кончине, тот может со временем судить о нем беспристрастно, но никогда не будет в состоянии говорить о нем без следов прежнего увлечения. Каждому человеку из позднейшего поколения легко судить о том по недавнему горькому опыту. Кто из нас, внезапно пораженных вестью о смерти

Гоголя, возмущавшихся потом недостойными выходками против этого великого таланта, не сохранит навсегда в душе следов скорби, которой с такою горечью предавались мы?

Мы упомянули об этом чрезвычайно сильном сочувствии критики к поэту, между прочим, и потому, что этим отношением объясняется ее стремление истолковать сколь возможно выгоднее для того или другого произведения смысл его, иногда в противоречие тому, чего по своему беспристрастию не может не заметить и не высказать сама критика. Примеров можно привести очень много. Ограничимся двумя или тремя. В «Цыганах» идея произведения выражена в характере и действиях Алеко, и Алеко есть идеал безукоризненный в глазах автора. Но критика не может не видеть, что понятия, которыми руководствуется Алеко, ложны; что он требует от других того, чего сам не хочет делать для них. Критика очень жарко изобличает жестокость и несправедливость Алеко — и с тем вместе старается доказать, что идея поэмы выразилась не в лице Алеко, а в кротких воззрениях старого цыгана, хотя очевидно, что по мысли Пушкина цыган этот, как человек снисходительный только по своему невежеству и робости, не имеющий истинного понятия о любви, стоит ниже Алеко. Критика готова даже предположить, что Алеко Пушкина очищается страданием, между тем как очевидно, что по мысли Пушкина Алеко невинный страдалец, который сокрушен незаслуженною потерей и которому не от чего исправляться, не в чем раскаиваться. Другой пример: очевидно, Пушкин обвиняет Онегина за то, что в деревне он не отвечал страстною любовью на письмо Татьяны; что и эту его холодность и любовь к ней, загоревшуюся в нем после, Пушкин совершенно объясняет сентенциею:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай;

очевидно также, что Пушкин обвиняет Онегина за эту любовь и представляет ответ ему Татьяны как безусловно истинный и правый. Критика не могла согласиться с этими понятиями, по ее мнению, сухими, узкими и фальшивыми. Она жарко и подробно высказывает свой взгляд на Онегина и Татьяну (как она является в последней главе), противоположный взгляду самого Пушкина на эти личности и мотивы их действий, — и однако же не хочет дойти до вывода, необходимо следующего из этих фактов, или Онегин и Татьяна изображены в романе не такими, как представлялись мысли самого автора, следовательно, Пушкин также не мог понять и очертить их в полном и истинном свете, как и Лермонтов своего Печорина, или они изображены действительно такими, какими представлялись понятиям самого автора, и в таком случае о них должно сказать то же, что о людях одного разряда с Алеко,

После замечания, нами сделанного, легко понять эти важные противоречия и недомолвки. Но как ни велико было благоговение критики к Пушкину, ее желание окружить имя Пушкина всем блеском бессмертия, но пронизательность анализа и пламенная любовь к истине были в ней гораздо сильнее. Развитие русской литературы было для нее выше увлечения самыми милыми именами, горячее желание развития жизни и просвещения в родной земле сильнее самой любви к русской литературе, которая была ей драгоценна именно потому, что есть двигательница жизни и просвещения. Потому нет в этой критике ни умышленных умолчаний, ни пристрастного взгляда на тот или на другой факт литературы. И если она иногда, увлекаемая любовью, как в настоящем случае, не делает вывода из своих понятий, то понятия эти всегда выражены полно, ясно и сильно, так что и заключение ясно само собою, и для каждого мыслящего читателя оно уже высказано.

Другое замечание: для истинного критика рассматриваемое сочинение очень часто

бывает только поводом к развитию собственного взгляда на предмет, которого оно касается вскользь или односторонне. Так произошла большая часть увлекательных эпизодов, которыми богаты статьи о Пушкине. Это не всегда понимают и не всегда отличают мысли критика от понятий, высказанных в разбираемом произведении, считая критика только простым комментатором автора. Какие удивительные страницы написаны на русском языке о «Цыганах», о характере Онегина, о Татьяне, о русском обществе и русской женщине! Мы очень ошиблись бы, если бы, начав яснее понимать все эти вещи, о которых они говорят, предположили, что узнали их от Пушкина, а не от его критика.

Критика, о которой мы говорим, так полно и верно определила характер и значение деятельности Пушкина, что, по общему согласию, ее суждения до сих пор остаются справедливыми и совершенно удовлетворительными. Нужно только одно — предлагать вопросы, — ответы уже приготовлены. Жаль только, что иногда забываются важнейшие вопросы, или очень часто забывают искать на них ответа где следует, а хлопочут об изготовлении посильных ответов собственного изделия, не всегда мастерского. Во втором нас нельзя будет обвинить; остается только нам желать, чтобы вопросы были избраны нами не совершенно неудачно.

Когда мы захотим составить себе ясное понятие о личности Пушкина, как поэта, прежде всего является сомнение: можно ли считать этого гения, умершего в цвете сил физических и нравственных, вполне совершившим свое назначение в русской литературе, исполнившим для ее развития все, что исполнить было в силах его натуры? Никому не приходит в голову подобное сомнение, когда дело идет, например, о Байроне, который также умер в молодых годах, об Андрее Шенье, который также погиб в цвете сил и таланта, ни, — чтобы привести пример, более близкий нам, — о Кольцове, который умер моложе Пушкина и начал развиваться гораздо в более поздние лета. Но о Пушкине мы часто думаем почти так же, как о Лермонтове, который действительно отнял смертью у русской литературы, далеко не достигнув полного развития своих сил, который в будущем обещал несравненно более того, что успел сделать. Но разница между двумя поэтами в этом отношении огромна. Сравните стихотворения, написанные Лермонтовым в 1836–1837 годах, с его стихотворениями, принадлежащими 1840–1841 годам, и вы увидите в последних огромное превосходство над первыми и по глубине содержания и по совершенству формы. Но такой разницы не заметно, например, между стихотворениями Пушкина 1835–1836 и 1829–1830, даже 1825–1826 годов; если в 1835 году были написаны «Полководец», «Туча», «Пир Петра Великого», «Опять на родине», то 1830 году принадлежат «К вельможе», «Поэту», «Для берегов отчизны дальной», «Бесы», «Подражание Данту» и проч., а 1825 году «В крови горит огонь желанья», «Под небом голубым страны своей родной», «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «Буря мглою небо кроет», «Чертог сиял» и проч. Чтобы найти осязательную разницу между стихотворениями последних лет жизни Пушкина и его предыдущими стихотворениями, мы должны отступить до 1822–1823 годов. Мы указали на лирические произведения, потому что они, по общему согласию, дают самое верное средство следить за ходом развития поэта. Почти тот же результат обнаруживается и большими произведениями Пушкина. В примечании мы представляем два списка их по хронологическому порядку²³.

²³ Вот порядок, в каком являлись в печати произведения Пушкина:

1820. Руслан и Людмила.

1822. Кавказский пленник.

1824. Бахчисарайский фонтан.

1825. Братья разбойники. — Евгений Онегин, глава 1.

1826. Онегин, глава 2.

1827. Цыганы. — Онегин, глава 3.

1828. Граф Нулин. — Онегин, главы 4, 5, 6. — Сцена из Фауста.

1829. Полтава.

1830. Онегин, глава 7.

1831. Борис Годунов. — Повести Белкина.

Первый же этих списков показывает, что с 1832 года до конца своей жизни Пушкин не напечатал ни одного значительного произведения в стихах, кроме только «Скупого рыцаря», явившегося в 1836 году. Потому становится понятно, каким образом в статье «Телескопа» за 1835 г. «О русской повести и повестях Гоголя», принадлежащей тому же перу, которое через несколько лет написало статьи о Пушкине, могло быть сказано — «Я не включаю в число современных поэтов Пушкина, который уже совершил круг своей художественной деятельности». Действительно, в последние годы жизни Пушкина нельзя было не думать, что великий писатель совершенно оставил прежнее поприще своей славной деятельности и отныне хочет сделаться исключительно прозаиком и сосредоточить свои силы преимущественно на исторических трудах. Явившиеся по смерти его превосходные поэтические создания, сочинение которых современники, не знавшие определенно года, когда они были писаны, естественно должны были относить к последним годам жизни поэта (в чем убеждала и неоконченность «Галуба», «Русалки», «Арапа Петра Великого», «Египетских ночей») — эти посмертные сочинения могли тогда заставить оставить прежнее мнение и думать, что смерть пресекла дни Пушкина в эпоху самой сильной его поэтической деятельности. Но теперь, благодаря данным, которые сообщены г. Анненковым, мы знаем год, которому принадлежит создание каждого из произведений Пушкина, и не можем разделять этого предположения. Просматривая второй из приведенных нами списков, видим, что с 1833 года Пушкин уже не написал ни одного значительного художественного произведения. Три последние года его жизни были посвящены исключительно историческим трудам, да и три предыдущие года (1831–1833) были уже очень скудны поэтическими произведениями. Г. Анненков относит к ним только простонародные сказки — шалость великого поэта, и «Русалку» и «Медного всадника». Поэтическая деятельность, видимо, стала для Пушкина второстепенною, начиная с 1830 года, которому принадлежат, по отметкам г. Анненкова, его драматические сцены. Кроме того, если в 1820–1825 годах мы замечаем быстрое и неослабное развитие поэтического таланта, то постепенность этого развития замедляется, если не исчезает впоследствии. Это легко видеть, обратив внимание на следующие цифры:

1820. «Руслан и Людмила». 1821. «Кавказский пленник». 1822. «Бахчисарайский фонтан». 1824. «Цыганы». 1825. Шесть глав «Онегина»; «Борис Годунов».

Невозможно спорить против того, что произведение каждого последующего года в этом ряду гораздо выше прежних произведений. Но так ли очевидно последовательное

1832. Онегин, глава 8. — Моцарт и Сальери. — Пир во время чумы. — Сказка о Гвидоне.

1833. Домик в Коломне.

1834. Пиковая дама. — Сказка о мертвой царевне.

1835. Несколько простонародных сказок.

1836. Родословная моего героя. — Скупой рыцарь. — Капитанская дочка.

По смерти Пушкина были изданы: Галуб. — Медный всадник. — Каменный гость. — Русалка. — Арап Петра Великого. — Дубровский. — Египетские ночи. — Сцены из рыцарских времен.

Мы поместили этот список для того, чтобы понятны были суждения о Пушкине, явившиеся в последнее время его жизни. Но еще интереснее обозреть хронологическую последовательность, в которой были написаны важнейшие произведения Пушкина. Этот список — самое верное свидетельство о развитии его поэтической деятельности. Годы:

1820. Руслан и Людмила.

1821. Кавказский пленник.

1823, 1824, 1825. Первые шесть глав Онегина. — Борис Годунов.

1825. (Борис Годунов).

1826. Сцена из Фауста.

1827. Арап Петра Великого.

1828. Полтава

1829. Галуб.

1830. Скупой рыцарь. — Моцарт и Сальери. — Каменный гость. — Пир во время чумы.

1832. Русалка. — Дубровский.

1833. Медный всадник. — Капитанская дочка. — Пиковая дама — Египетские ночи.

возвышение художественного достоинства произведений в следующем ряду:

1827. «Арап Петра Великого». 1828. «Полтава». 1830. «Драматические сцены». — «Каменный гость». — «Повести Белкина». 1832. «Русалка». — «Дубровский». 1833. «Медный всадник». — «Пиковая дама». — «Капитанская дочка». — «Египетские ночи».

Лучшие из этих произведений стоят совершенно на одной высоте, и ряд их повсюду прерывается произведениями, имеющими только второстепенное достоинство. Так за «Женихом», прекрасным созданием из народной жизни (1827), следуют (до 1833) многие из простонародных сказок, очень слабых, как всеми признано. Так за «Арапом Петра Великого» (1827) следуют «Повести Белкина» (1830). Смешно было бы думать, как думали в 1831–1836 годах, что талант Пушкина начинал ослабевать, — потому что в эти годы он создал «Каменного гостя», «Русалку» и «Медного всадника»; но, очевидно, с 1826–1830 он достиг возможной высоты своего развития (если не достиг ее еще раньше, около 1825 года, которому принадлежат «Евгений Онегин» и «Борис Годунов») и что с этого времени относительное достоинство поэтических его произведений не возрастает неуклонно с каждым годом, зависит не от более позднего года, как прежде, а просто от изменяющихся обстоятельств свободного вдохновения, то на время капризно покидающего своего любимца, то возвращающегося к нему с прежнею силою. Невозможно также не видеть, что Пушкин в последние годы менее дорожит своим поэтическим талантом, — это видим и из его писем, в которых он, например, считает важным делом только историю Пугачевского бунта, а «Капитанскую дочку» — ничтожною безделкою, написанною для развлечения, для отдыха, еще убедительнее то же самое видим из небрежности, с которою он посвящает свой талант прелестным игрушкам, которым сам не придает цены, каковы «Домик в Коломне» (1830), «Простонародные сказки», «Родословная моего героя» (1833) и проч. Наконец, самое положительное доказательство того, что Пушкин в последние годы пренебрегает своим поэтическим талантом — изменившееся направление его занятий: он очень мало пишет поэтических произведений и обольщается славою историка.

Все эти факты не были прежде известны в такой точности, как знаем их теперь мы, благодаря новому изданию и приложенной к нему биографии. Но пронизательность критики, о которой мы говорим, не нуждалась в этих мелочных сличениях цифр, чтобы найти истинный ответ на вопрос: чего могла бы ожидать русская поэзия от Пушкина, если бы он прожил долее? Не было ли все, нам от него теперь оставшееся, только первым периодом его поэтической деятельности, вторая эпоха которой дала бы нам нечто новое и гораздо высшее? Не должно ли о Пушкине сказать, как мы говорим о Лермонтове, что он похищен смертью, далеко не совершив того, что совершил бы? Нет, говорит критика, талант Пушкина высказался нам весь, он сделал для русской литературы все, что призван был своею натурою сделать:

«Много творческих тайн унес с собою в раннюю могилу этот могучий поэтический дух; но не тайну своего нравственного развития, которое достигло своего апогея и потому обещало только ряд великих в художественном отношении созданий, но уже не обещало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывается не только новыми творениями, но и новым духом. Исключительные поклонники Пушкина, под его влиянием образовавшиеся эстетически (продолжает критика), уже резко отделяются от нового поколения своей закоснелостию и своею тупостию в деле разума сменивших Пушкина корифеев русской литературы... По мере того, как рождались в обществе новые потребности, как изменялся его характер и овладевали умом его новые думы, а сердце волновали новые печали и новые надежды, все стали чувствовать, что Пушкин, не утрачивая в настоящем и будущем своего значения, как поэт великий, тем не менее был и поэтом своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха сменилась другою, у которой уже другие стремления, думы и потребности. Вследствие этого Пушкин является перед глазами наступающего для него потомства уже в двойственном виде: это уже не поэт безусловно великий и для настоящего и для будущего, но поэт, в котором есть достоинства безусловные и достоинства временные, поэт, только одною стороною принадлежащий

настоящему и будущему, которые более или менее удовлетворяются им, а другою, большею и значительнейшею стороною, вполне удовлетворявший своему настоящему, которое он вполне и выразил и которое для нас — уже прошедшее».

Против первой половины выписанного нами места невозможно спорить, имея факты, доставленные изданием г. Анненкова. Каждый понимающий ход развития русской литературы, понимающий значение Лермонтова, Гоголя и беспристрастно смотрящий на позднейших наших писателей, согласится и с последующими мыслями критика без всяких дальнейших объяснений. Но и теперь, хотя уже прошло много лет с того времени, как были сказаны эти слова, очень многие, даже из молодого поколения, не понимают еще, почему же Пушкин принадлежит уже прошедшей эпохе, почему он не может быть признан корифеем и современной русской литературы? Причиной этих недоумений — то странное обстоятельство, что не для всех ясно значение Пушкина в русской литературе, хотя оно давно объяснено; потому продолжим наши выписки: они для некоторых напомнят то, что, по-видимому, должно было бы ныне быть известно каждому:

«Пушкин был призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию, как искусство... Стих Пушкина, вдруг как бы сделавший крутой поворот в истории русской поэзии, явивший собою что-то небывалое, не похожее ни на что прежнее, — этот стих был представителем новой, небывалой поэзии. Если бы мы хотели охарактеризовать стих Пушкина одним словом, мы сказали бы, что это по превосходству поэтический, художественный, артистический стих, — и этим разгадали бы тайну всей поэзии Пушкина. Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественного совершенства; но она не поглощает всего вашего внимания, не ей исключительно вы удивляетесь: вас более всего поражает и занимает разлитое в поэзии Гомера древне-эллинское мирозерцание и самый этот древне-эллинский мир... В Шекспире вас тоже останавливает прежде всего не художник, а глубокий сердцеведец, мирообъемлющий созерцатель... В поэзии Байрона прежде всего обоймет вашу душу ужасом удивления колоссальная личность поэта, титаническая смелость и гордость его чувств и мыслей. В поэзии Гёте перед вами выступает поэтически-созерцательный мыслитель. В Пушкине, напротив того, прежде всего увидите художника, призванного для искусства, исполненного любви ко всему прекрасному, любящего все и потому терпимого ко всему: отсюда все достоинства и все недостатки его поэзии. Его назначение было усвоить навсегда русской земле поэзию, как искусство, так чтобы русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания. До Пушкина у нас не было ни одного поэта-художника; Пушкин был первым русским поэтом-художником. Поэтому даже самые первые незрелые, юношеские его произведения, каковы «Руслан и Людмила», «Братья разбойники», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», отметили своим появлением новую эпоху в истории русской поэзии. Все увидели в них не просто новые поэтические произведения, но совершенно новую поэзию, которой они не знали на русском языке не только образца, но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всею грамотною Россиею; они ходили в тетрадках, переписывались девушками, учениками на школьных лавках, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. Тогда-то поняли, что различие стихов от прозы заключается не в рифме и размере только, но что и стихи, в свою очередь, могут быть и поэтические и прозаические. Это значило уразуметь поэзию уже не как что-то внешнее, но в ее внутренней сущности. Явись теперь на Руси поэт, который был бы неизмеримо выше Пушкина, его появление не могло бы наделать столько шума, возбудить такой общий, неслыханный энтузиазм, — потому что после Пушкина поэзия уже не невиданная, не неслыханная вещь. И по тому же самому, теперь уже слишком слабый успех мог бы получить поэт, который, не уступая Пушкину в таланте, даже превосходя его в этом отношении, был бы, подобно ему, преимущественно художником».

Итак, существенное значение деятельности Пушкина состоит, по определению критики, в том, что он первый познакомил русскую публику с поэзией, первый дал нам произведения истинно поэтические и художественные. Обыкновенно до сих пор

продолжают, по смутным воспоминаниям о мнениях «Телеграфа» и «Телескопа», толковать, что заслуга Пушкина преимущественно состоит в народном элементе, который ввел он в нашу литературу. Само собою разумеется, что каждый русский есть русский, и что поэтому Пушкин, будучи поэтом и вместе с тем будучи русским, был русским поэтом, и его поэзия есть русская поэзия, а не немецкая или китайская. По-видимому, теперь давно пора бы забыть о столь важных и удивительных открытиях. Но если глубокая мысль очень долго не бывает понимаема большинством, то, с другой стороны, фразы, лишённые существенного смысла, фразы, представляющие набор слов и более ничего, имеют свойство очень упорно держаться в памяти. Так случилось и с знаменитым определением существенной стороны деятельности Пушкина. Надобно было бы, вместе с нашим критиком, сказать просто, что до Пушкина Россия не имела великих поэтов; что Пушкин первый дал нам прекрасные стихи, писанные на родном языке, а не переведённые с другого языка; что этим увлек он всю публику, до него столь же мало знакомую с поэзией, как до построения московской железной дороги — с железными дорогами; — но это, с одной стороны, слишком просто, с другой стороны, слишком неудобно для составления пышных фраз. Старая фраза о том, что Пушкин ввел народность в нашу литературу, представляла перед этою скромною и верною мыслью большие выгоды — она лишена внутреннего содержания, потому очень удобна для риторических распространений; да кроме того, к ней уже успели привыкнуть — обстоятельство очень важное для людей, не имеющих охоты думать. Потому-то мы до сих пор и слышим рассуждения о Пушкине не как о первом нашем поэте, а как о «народном нашем поэте». На эти фразы мы находим в статьях о Пушкине следующий ответ:

«Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры: на этом основании, общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом. Нам кажется это только наполовину верным. Народный поэт тот, которого весь народ знает; национальный поэт тот, которого знают все сколько-нибудь образованные классы народа, как, например, немцы знают Гёте и Шиллера. Наш народ не знает ни одного своего поэта: он поет себе доселе: «Не белы-то снежки...», не подозревая даже того, что поет стихи, а не прозу. Следовательно, с этой стороны смешно было бы и говорить об эпитете «народный» в применении к Пушкину или к какому бы то ни было поэту русскому. Слово «национальный» еще обширнее в своем значении, чем народный. Под «народом» всегда разумеют массу народонаселения. Под «нацией» разумеют весь народ, все сословия от низшего до высшего, составляющие государственное тело. Национальный поэт выражает в своих творениях и основную, безразличную, неуловимую для определения субстанциальную стихию, которой представителем бывает стихия народа, и определенное значение этой субстанциальной стихии, развившееся в жизни образованнейших сословий нации. Национальный поэт — великое дело! Обращаясь к Пушкину, мы скажем, по поводу вопроса о его национальности, что он не мог не отразить в себе географически и физиологически народной жизни, ибо был не только русский, но притом русский, наделенный от природы гениальными силами; однако ж в том, что называют народностью или национальностью его поэзии, мы больше видим его необыкновенно великий художнический такт. Он в высшей степени обладал этим тактом действительности, который составляет одну из главных сторон художника. Прочтите его чудную драматическую поэму «Каменный гость» — она, и по природе страны и по нравам своих героев, так и дышит воздухом Испании; прочтите его «Египетские ночи» — вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира... Таких примеров удивительной способности Пушкина быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни мы могли бы привести много, но довольно и этих. И что же это доказывает, если не его художническую многосторонность? Если он с такою истинною рисовал природу и нравы даже никогда не виданных им стран, как же бы его изображения предметов русских не отличались верностью природе?»

Делая вслед за этим выписку из статьи Гоголя: «Несколько слов о Пушкине», критика находит очень справедливыми мнения Гоголя, особенно его определения национального

поэта» «Поэт может быть и тогда национальным, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» — но, прибавляет критика:

«Если хотите, с этой точки зрения, Пушкин более национально-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников; но дело в том, что нельзя определить, в чем же состоит эта национальность. В том, что Пушкин чувствовал и писал так, что его соотечественникам казалось, будто это чувствуют и говорят они сами? Прекрасно! Да как же чувствуют и говорят они? Чем отличается их способ чувствовать и говорить от способа других наций?.. Вот вопросы...»

В самом деле, нет ничего легче, как толковать о предметах, еще не имеющих фактического значения, еще принадлежащих области фантазий. Факт бывает непровержим, не допускает разногласий; потому о нем нельзя наговорить так много и таких блестящих фраз, как о фантомах, созданных досужим воображением.

Но возвратимся к определению существенного характера поэзии Пушкина. Согласно с «Телеграфом», до сих пор многие уверены, что натура великого поэта совершенно изменилась в 1825–1830 годах, что бесстрастный художник 1835 года был решительной противоположностью Пушкину 1823 года, который являлся русским Байроном, если не русским Андреем Шенье. И относительно этого мнения находим следующие, чрезвычайно верные, замечания:

«Пушкина некогда сравнивали с Байроном. Это сравнение более, чем ложно, ибо трудно найти двух поэтов, столь противоположных. Мнимое сходство это вышло из ошибочного понятия о личности Пушкина. Главное дело в том, что натура Пушкина была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкин не знал мук и блаженства, какие бывают следствием страстно деятельного увлечения живою могучею мыслью, в жертву которой приносится и жизнь и талант. Он в самой истории, так же как и в природе, видел только мотивы для своих поэтических произведений... Так как поэзия Пушкина вся заключается преимущественно в поэтическом созерцании мира, потому она отличается характером более созерцательным, нежели рефлектирующим... Такой взгляд на мир вытекал уже из самой природы Пушкина; этому взгляду обязан Пушкин изящною елейностью, кротостию, глубиною и возвышенностию своей поэзии, и в этом же взгляде заключаются недостатки его поэзии. Как бы то ни было, но по своему воззрению Пушкин принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта. Дух анализа, исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизнью всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на вопросы настоящего».

«Первыми своими произведениями он прослыл на Руси за русского Байрона, за человека отрицания. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить более анти-байронической природы, как натура Пушкина».

Относительно мнимого глубокого разрыва с действительностью, который будто бы составлял главную характеристику музы Пушкина в первый период ее развития, приведем еще замечание о стихотворении «Демон» и «Сцены из Фауста», которые яснее других известных произведений Пушкина выразили сущность разочарования, производившего столь сильный эффект на тогдашних читателей и критиков.

«Сцена из Фауста», варьяция, разыгранная на тему драматической поэмы Гёте, многим так понравилась, что они, не зная Гётева «Фауста», порешили, будто она лучше его. Действительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами; но между нею и Гётевым «Фаустом» нет ничего общего. Она — не что иное, как распространение мысли, выраженной Пушкиным в маленьком стихотворении «Демон». Этот демон был «довольно мелкий, из самых нечиновных». Он соблазнял одних юношей

В те дни, когда им были *новы*
Все впечатленья бытия;

поэтому ему легко было подшучивать над ними, и они со страхом смотрели на него.

«Знакомое с демоном другого поэта, наше время с улыбкою смотрит на пушкинского чертенка. Его Мефистофель — просто-напросто остряк, прошедшего столетия, которого скептицизм наводит теперь не разочарование, а зевоту и хороший сон. Фауст Пушкина — не измученный неудовлетворенною жаждою знания человек, а какой-то пресытившийся гуляка, которому уже ничего в горло нейдет, *un homme blase*²⁴».

Правда, нельзя не признать, что первые произведения Пушкина очень заметно отличаются от последующих по своему духу, нельзя не видеть, что юноша, написавший «Цыган», не написал бы таких объективно-бесстрастных произведений, как «Медный всадник» и «Каменный гость»; знаменитые стихотворения «Чернь» и «Поэт, не дорожи любовью народной» (1828–1830) не могли явиться в 1820 или 1821 годах. Г. Анненков собрал много материалов для объяснений обстоятельств, имевших свою долю влияния на эту перемену в великом поэте. Он указывает на дружбу с Катениным, на влияние «Московского вестника» и проч. Без сомнения, впечатлительная натура Пушкина не могла не уступать до некоторой степени мнениям лиц, с которыми он был в тесных сношениях. Но Катенина знал Пушкин с 18 или 19 лет, следовательно, должен был подчиниться ему — если мог подчиниться — еще тогда же, а статьи «Московского вестника» были очень слабы, и Пушкин был гораздо выше их авторов по духу, следовательно, не мог им подчиниться. Можно было бы к этим влияниям приискать еще другие обстоятельства, действовавшие в подобном же духе, особенно — прекращение тех приятельских отношений, памятником которых осталось стихотворение «Арион» — но очевидно, что все эти факты имели только второстепенную важность в истории развития нашего поэта. Главною причиною перемены должно считать именно ту, которая указана критикою, — натуру самого Пушкина. В первой молодости он мог волноваться, — с кем из молодых людей этого не случается?

То кровь кипит, то сил избыток;

— но потом, когда он достиг зрелости, когда его образ мыслей установился сообразно с его собственной натурою, порывы, навеянные молодостью и так называемым «духом века», исчезли сами собою, как исчезают в зрелом человеке все молодые стремления, если были только увлечениями молодости, а не глубокими потребностями самой природы. Ни благодарить, ни упрекать за эту перемену решительно некого, кроме самого Пушкина и его природы. Впрочем, и перемена была вовсе не так велика, как многие еще думают, разделяя заблуждение «Телеграфа». Мы теперь очень хорошо видим, что все монологи Алеко — фразы, прекрасные, но лишённые внутренней правды, и что Алеко вовсе не Бельтов, даже не Печорин, а разве Владимир, судьбу которого некогда рассказал нам г. Майков в своей поэме «Две судьбы». Пушкин не изменился, он только развился; с его картин, по его собственному выражению, только слетели чуждые краски, и слетели, по его же собственному очень справедливому выражению, от самой невинной причины — от лет; сначала, как всякий молодой человек, Пушкин увлекался чужими стремлениями —

Но краски чуждые, с годами,
Спадают ветхой чешуей...
..
Так исчезают заблужденья

24 пресыщенный человек (*франц.*).

С измученной души моей.

Но молодежь двадцатых годов обманулась «чуждыми красками», которые «беззаконным рисунком чернили» юношеские поэмы и особенно лирические стихотворения Пушкина; молодежь приняла эти «чуждые краски» за колорит, свойственный гению самого живописца; быть может, нельзя слишком строго упрекать молодежь за эту ошибку, потому что разве легко отгадать, как со временем разовьется юноша, еще находящийся под чужим влиянием? Да и публика позднейшей эпохи, более опытная и требовательная, разве мало делала подобных ошибок? Но, смейтесь или жалеете об этой ошибке, остается тот факт, что от этой ошибки очень много зависел восторг, с каким были встречены первые произведения Пушкина. Просим читателей припомнить выписанное нами в предыдущей статье замечание «Телеграфа» о том, какие стихотворения создали славу Пушкина. Когда потом разочаровались в этих надеждах, публика охладела к поэту, невинным образом обманувшему ее, и поэт отплатил публике за холодность презрением. Он резко и горько высказал ей, в знаменитых стихотворениях «Чернь» и «Поэт, не дорожи любовью народной», что не хочет обращать на нее внимания, что не хочет иметь с нею дела. Но в этих ответах его обстоятельствам и гневу принадлежит только тон речи, а не сущность мыслей, которая лежала в душе Пушкина и тогда, когда он был превозносим единодушным энтузиазмом всей читающей Руси. Еще в 1824 году он говорил:

..
Блажен, *кто про себя таил*
Души высокие создания...
..
Блажен, *кто молча был поэт*
И терном славы неувитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
Что слава? Шепот ли чтеца,
Гоненье ль низкого невежды,
Иль восхищение глупца?

Разницы между «презренною чернью» 1824 года и «тупою чернью», «бессмысленным народом» 1828 года очень мало. Теория, говорящая, что поэт творит для себя, а не для своих читателей, которые не могут его понимать, на суждения и потребности которых не должен обращать он внимания, — всегда была теориею Пушкина, и не только «Каменный гость» и «Медный всадник», но точно так же и главы «Онегина» по несколько лет скрывались в его портфеле от «презренной черни». Повторяем, разница между 1823 и 1833 годами была невелика, и «Чернь» выразила всегдашний образ мыслей великого поэта. В наше время (чего не видим в наше время?) есть люди, думающие, что «чернь» была в самом деле кругом виновата и что Пушкин был совершенно прав в своем образе мыслей о призвании поэта — невозможно отвечать на это лучше, нежели следующею выпискою:

«В стихотворении «Чернь» заключается художническое profession de foi Пушкина. Действительно, смешны и жалки те, которые смотрят на поэзию, как на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные нравоучительные мысли. Но если до истины можно доходить не тем, чтобы соглашаться с глупцами, то и не тем, чтобы противоречить им, а тем, чтобы забывая о их существовании, смотреть на предмет глазами разума. Не только поэты с их «вдохновениями и сладкими звуками», но и сами жрецы, с которыми Пушкин сравнивает поэтов, не имели бы никакого значения, если б толпа не соприисутствовала жертвоприношениям. Поэт, которого поэзия выросла не из почвы субстанциальной жизни своего народа, не может ни быть, ни называться народным или национальным поэтом. Никто не обязывает поэта воспевать непременно гимны и карать

сатирою порочных; но каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия давала ему ответы на вопросы времени. Кто поэт про себя и для себя, тот рискует быть единственным читателем своих произведений. И действительно, Пушкин велик там, где он просто воплощает в живые прекрасные явления свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и разрешителем вопросов. Превосходно его стихотворение «Поэт», в котором он развивает мысль, что поэт, пока не потребует его Аполлон к священной жертве, ничтожнее всех ничтожных детей мира, а как скоро коснется его слуха божественный зов, душа его стряхивает с себя нечистый сон жизни, как пробудившийся орел, но мысль эта теперь совершенно ложна. Наше время преклоняет колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни. Личность Пушкина высока и благородна; но его взгляд на свое художественное служение тем не менее был причиной постепенного охлаждения восторга, который возбудили его первые произведения. Правда, самый неумеренный восторг возбудили его самые слабые, в художественном отношении, пьесы; но в них видна была сильная, одушевленная субъективным стремлением личность. И чем совершеннее становился Пушкин, как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний. Публика, с одной стороны, не была в состоянии оценить художественного совершенства его последних произведений (и это, конечно, не вина Пушкина); с другой стороны, она вправе была искать в поэзии Пушкина более нравственных и философских вопросов, нежели находила их (и это, конечно, не была ее вина). Между тем, избранный Пушкиным путь оправдывался его натурой и призванием: он не пал, а только сделался самим собою, но, по несчастью, в такое время, которое было очень неблагоприятно для подобного направления, от которого выигрывало искусство, но мало приобретало общество».

Одно из важнейших оснований признавать «презренную толпу», то есть большинство, «бессмысленным народом», «тупую чернь» состоит в том, что «современники, встретив с восторгом первые, незрелые, слабые в художественном отношении произведения Пушкина, холодно и даже неприязненно отвернулись от его позднейших, совершеннейших произведений, и тем ясно доказали свою неспособность быть судьями в деле искусства, свою тупость и бессмысленность». В предыдущей статье мы старались показать этот факт в его истинных границах; теперь приведем суждения позднейшей критики, которую никто не отважится обвинить ни в тупоумии, ни в недостатке чрезвычайно тонкого и верного эстетического вкуса, — приведем суждения этой позднейшей критики о самых характеристических и важных произведениях двух различных эпох поэтической деятельности Пушкина, и эти суждения с достаточною ясностью решат вопрос о том, до какой степени был основателем или неоснователем первоначальный восторг и последующее охлаждение публики. Как самые характеристические произведения, мы избираем, для первого периода отношений публики к Пушкину, «Руслана и Людмилу» — первое и «Онегина» — важнейшее по достоинству из произведений, возбудивших всеобщий энтузиазм; для второго — «Бориса Годунова» — первое и важнейшее из произведений, встреченных холодно. Из этих суждений, — справедливость которых никто не захочет оспаривать в настоящее время, если не из убеждения, то из уважения к авторитету, против которого восставать не легко, — мы выведем и общее суждение о Пушкине, которое будет только повторением того, что говорилось в статьях, нами цитируемых, — но которое, — чего доброго, — могло бы, пожалуй, многим показаться и ново, и даже парадоксально (ведь все, чего мы не знаем или что мы забыли, — парадокс) без этих выписок, которые должны совершенно успокоить людей, боящихся мнимых парадоксов, насчет притязаний наших на оригинальность во мнениях: если истина уже сказана другими, не нужно хлопотать о придумывании оригинальностей; должно только повторять ее, чтобы знали или припомнили ее те, кому не мешает ее знать и помнить. Итак, предлагаем наши выписки, — во-первых, о «Руслане и Людмиле»:

«Суд современников бывает пристрастен; однако ж в его пристрастии всегда бывает

своя законная и основательная причинность. Ни одно произведение Пушкина не произвело столько шума и криков, как «Руслан и Людмила». Для нас теперь «Руслан и Людмила» не больше, как сказка, лишенная колорита местности, времени и народности; и в наше время не у всякого даже юноши станет охоты и терпения прочесть ее всю, от начала до конца. Но в то время, когда явилась эта поэма, она действительно должна была показаться необыкновенно великим созданием... все (в ней) было так ново, так оригинально, так обольстительно — и стих, которому подобного ничего не бывало, и склад речи, и смелость кисти, и яркость красок, и игривое остроумие. По всему этому «Руслан и Людмила» — такая картина, появление которой сделало эпоху в истории русской литературы. Юноши двадцатых годов были правы в энтузиазме, с которым они встретили «Руслана и Людмилу».

Статьи об «Онегине» принадлежат к числу самых блестящих в ряду статей о Пушкине. Жаль, что место не позволяет нам привести здесь большого отрывка из них, — среди бесцветных толков о мелочах отрадно и здорово перенестись и перенести читателя к чему-нибудь лучшему — но мы должны ограничиться несколькими строками, заключающими в себе сущность взгляда на «Онегина».

«Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, и можно указать слишком на немногие творения, в которых бы личность поэта отразилась с такою полнотою, так светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы... Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», — эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение... Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития... Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания; заслуга безмерная! До Пушкина все произведения русской поэзии как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Первым национально-художественным произведением был «Евгений Онегин»... Вместе с современным ему произведением, «Горе от ума», роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе. До этих двух произведений русские поэты не умели быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни... Оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины».

«Онегина» можно назвать энциклопедиею русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом для него! Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным».

На основании этих выписок суждение о правах «Бориса Годунова» и других чисто-художественных произведений Пушкина на значение для публики и для истории литературы уже готово. Как бы ни были прекрасны в художественном отношении «Каменный гость», «Галуб», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и проч., но можно ли сказать о них, что «все в них ново, оригинально, и стих, которому подобного ничего не бывало, и смелость кисти, и яркость красок»? Что «в них отразилась вся душа, вся любовь поэта, его чувства, идеалы»? Что «они имеют огромное общественное значение, служа представителями впервые пробудившегося общественного самосознания»? Что «они имели счастье, подобно «Онегину», быть первыми национально-художественными произведениями»? Что «они имели огромное значение для общества»? Но каковы и чисто-художественные достоинства «Бориса Годунова»?

«Борис Годунов» был принят совершенно холодно, как доказательство совершенного падения таланта, еще недавно столь великого... Как тогда, так и теперь у «Бориса Годунова» были жаркие поклонники; но как тогда, так и теперь число этих поклонников было очень малочисленно, а число порицателей огромно. Которые из них правы, которые виноваты? Те и другие равно правы и равно виноваты; потому, что, действительно, ни в одном из прежних своих произведений не достигал Пушкин до такой художественной высоты, и ни в одном не обнаружил таких огромных недостатков, как в «Борисе Годунове». Эта пьеса была для него истинно Ватерлооскою битвою, в которой он развернул во всей ширине и глубине свой гений и, несмотря на то, все-таки потерпел решительное поражение. Пушкин смотрел на Годунова глазами Карамзина, и не столько заботился об истине и поэзии, сколько о том, чтобы не погрешить против «Истории Государства Российского». Потому его поэтический инстинкт виден не в целостности, а только в частности *его* трагедии. Лицо Годунова, получив характер мелодраматического злодея, лишилось своей целостности и полноты; из живописного изображения, каким бы должно было оно быть, оно сделалось мозаическою картиною или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не из одного цельного мрамора, а сложена из золота, серебра, меди, дерева, мрамора, глины. От этого пушкинский Годунов является читателю то честным, но низким человеком, то героем, то трусом, то мудрым и добрым царем, то безумным злодеем, и нет *другого* ключа к этим противоречиям, кроме упрека виновной совести. От этого, за отсутствием истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы целостность и полноту всей трагедии, «Борис Годунов» Пушкина является чем-то неопределенным и не производит почти никакого резкого сосредоточенного впечатления, какого вправе ожидать от него читатель, беспрестанно поражаемый его художественными красотою, беспрестанно восхищающийся его удивительными частностями. И действительно, если, с одной стороны, эта трагедия отличается большими недостатками, то, с другой стороны, она же блистает и необыкновенными достоинствами. Первые выходят из ложности идеи, положенной в основание драмы; вторые — из превосходного выполнения со стороны формы».

Обвинять ли публику, спросим мы. если она не была увлечена пьесою, в которой «нет живой поэтической идеи», нет «целости и полноты», которая не «производит никакого сосредоточенного впечатления», «является чем-то неопределенным», и в которой «превосходны» только «частности»?

«Каменный гость», «Галуб» и другие посмертные произведения Пушкина не могут подлежать упреку в эстетических недостатках, которыми страдает «Годунов»; но все они, за исключением «Медного всадника», имеют мало живой связи с обществом, потому и остались бесплодны для общества и литературы.

Читатели, вероятно, уже успели утомиться нашими ретроспективными рассуждениями и выписками. Но — мы живем в ретроспективное время. Если не говорить о Пушкине, то о чем же говорить ныне в русской литературе? Правда, можно очень справедливо возразить на это: да зачем же говорить о русской литературе? Но такое возражение было бы очень прискорбно, потому что оно ведет к вопросу: о чем же говорить? Оставим, однако, диалогическую форму и продолжим умозаключение: говоря о Пушкине, лучшее, что возможно сделать — возратить внимание читателей к тому, что было уже сказано о нем, потому что лучше и вернее ничего нельзя не только сказать, но и придумать в настоящее время. Но всему есть мера, даже выпискам и повторениям, и наша статья близка к концу; нам остается только привести общее заключение о значении Пушкина в истории русской литературы — оно опять будет опираться на выписку — иначе невозможно в настоящее время, когда все должно быть защищено авторитетами; и как благодарны должны быть мы тому счастливому обстоятельству, что многое, нужное для настоящего времени, уже давно сказано — иначе мы или не могли бы, или не умели бы сказать ничего.

Вот общее суждение о Пушкине:

«Первые поэмы и лирические стихотворения Пушкина были для него рядом поэтических триумфов. Однако же, как скоро начало устанавливаться в нем брожение

кипучей молодости и субъективное стремление начало исчезать в чисто-художественном направлении, — к нему начали охладевать. Наиболее зрелые, глубокие и прекрасные создания Пушкина были приняты публикою холодно, а критиками оскорбительно. С другой стороны, люди, страстно любившие искусство, в холодности публики к лучшим созданиям Пушкина видели только одно невежество толпы; смотря на искусство с точки зрения одной стороны, его жаркие поборники не хотели понять, что если симпатии и антипатии большинства бывают часто бессознательны, то редко бывают бессмысленны и безосновательны, а напротив, часто заключают в себе глубокий смысл. Странно же, в самом деле, было думать, чтоб то самое общество, которое так дружно, так радостно, в первый еще раз в жизни своей откликнулось на голос певца и нарекло его своим любимым, своим народным поэтом, — странно было думать, чтоб то же самое общество вдруг охладело к своему поэту за то только, что он созрел и возмужал в своем гении, сделался выше и глубже в своей творческой деятельности... Между тем, время шло вперед, а с ним шла вперед и жизнь, порождая из себя новые явления. Общество русское с невольным удивлением обратило взоры на нового поэта, смело и гордо открывавшего ему новые стороны жизни и искусства. Равен ли по силе таланта или еще и выше Пушкина был Лермонтов — не в том вопрос: несомненно только, что, даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтов призван был выразить собою и удовлетворить своею поэзией несравненно высшее, по своим требованиям и своему характеру, время, чем то, которого выражением была поэзия Пушкина... Другой поэт, вышедший на литературное поприще при жизни Пушкина и приветствованный им, как великая надежда будущего, подарил публику таким творением, которое должно составить эпоху и в летописях литературы, и в летописях развития общественного сознания (дело идет о Гоголе и «*Мертвых душах*»). Все это было безмолвною, фактическою философию самой жизни и самого времени для решения вопроса о Пушкине».

Нового сказать еще нечего после этого. Потому и мы перескажем «собственными словами» (как говорится на ученическом языке) то, что так превосходно и верно было сказано о Пушкине критикою предыдущего поколения:

До Пушкина не было в России истинных поэтов; русская публика знала поэзию только по слухам, из переводов, или по слабым опытам, в которых искры поэзии гасли в пучинах реторики или льдах внешней холодной отделки. Пушкин дал нам первые художественные произведения на родном языке, познакомил нас с неведомою до него поэзией. На этом был главным образом основан громадный успех его первых произведений. Другая причина энтузиазма, ими возбужденного, заключалась в том, что, по увлечению молодости, Пушкин согривал их теплотою собственной жизни, не чуждой стремлениям века, до известной степени заманчивым и для нашего тогдашнего общества. Последующие его произведения, не представляя уже интереса первых даров поэзии русскому обществу, успевшему вкушать ее из первых произведений Пушкина, не могли возбуждать энтузиазма, который пробуждается только новым. Холодность публики усиливалась холодностью самих произведений, которые имели перед прежними то преимущество, что были совершеннее в художественном отношении, но в которых общество не находило уже ничего, имеющего связь с его жизнью. Торжество художественной формы над живым содержанием было следствием самой природы великого поэта, который был по преимуществу художником. Великое дело свое — ввести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, Пушкин совершил вполне, и, узнав поэзию, как форму, русское общество могло уже идти далее и искать в этой форме содержания. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтов и, особенно, Гоголь. Но художнический гений Пушкина так велик и прекрасен, что, хотя эпоха безусловного удовлетворения чистою формою для нас миновалась, мы доселе не можем не увлекаться дивною художественною красотою его созданий. Он истинный отец нашей поэзии, он воспитатель эстетического чувства и любви к благородным эстетическим наслаждениям в русской публике, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря ему — вот его права на вечную славу в русской литературе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые опубликовано в «Современнике», 1855, No№ 2, 3, 7, 8.

В связи с выходом второго посмертного издания сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова (СПб, 1855), значительно пополненного по сравнению с предыдущим собранием сочинений поэта, Н. Г. Чернышевский написал цикл статей, положивших начало широкой дискуссии о так называемых «пушкинском» и «гоголевском» направлениях в русской литературе. Помимо этих статей и биографического очерка для юношества, критик касается творчества Пушкина и в ряде других своих сочинений («Очерки гоголевского периода русской литературы», рецензия на «Поэтику» Аристотеля). Ставя большие теоретические вопросы, критик отстаивает материалистические представления о смысле и природе художественного творчества, революционно-просветительские взгляды на искусство и литературу.

Отношение Чернышевского к Пушкину было противоречиво, сложно, что объясняется конкретной ситуацией, которая сложилась в русской литературной критике середины 50 — начала 60-х годов. Противники революционно-демократической идеологии, теоретики «чистого искусства» из лагеря либералов, по существу фальсифицируя наследие поэта, основоположника реализма в новой русской литературе, пытались воспользоваться именем Пушкина, его авторитетом для утверждения своих классово корыстных целей.

Выступая против демократической литературы 50-60-х годов, которая развивала традиции Гоголя, такие критики, как Дружинин, Дудышкин, Боткин, объявляли Пушкина «чистым художником», отрешенным от общественных интересов.

В ходе ожесточенной полемики Чернышевский и его соратники не всегда были достаточно историчными. Иные их оценки отличались односторонностью. Надо принимать в учет и то обстоятельство, что в те времена еще не были известны многие факты биографии великого поэта-гражданина, в том числе подлинные обстоятельства трагической гибели Пушкина. Исходя из своего понимания задач искусства, Чернышевский вслед за Белинским отдавал предпочтение Гоголю, чье творчество, обнажающее социальные противоречия, более удовлетворяло идейно-эстетическим потребностям эпохи революционного подъема. Что касается Пушкина, то он, по мысли критика, великое свое дело — ввести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, — совершил вполне. Узнав поэзию, как форму, русское общество могло идти уже далее и искать в этой форме содержания. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтов и Гоголь.

Марксистская критика внесла серьезные коррективы в эту отличающуюся известной однолинейностью концепцию историко-литературного процесса. Об односторонности характеристики поэзии Пушкина писал Плеханов в работах о Чернышевском (см. Г. В. Плеханов. Искусство и литература, М., 1948). Вместе с тем очевидно, что, несмотря на односторонность, усугубленную полемическим заданием, Чернышевскому и Добролюбову удалось во многом трезво и проникновенно разобраться в наследии великого поэта, в его национальном и мировом значении.

Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения

Предисловие издателя

В настоящей книге взрослый читатель не найдет для себя ничего нового о Пушкине. Ее цель — служить для юношества началом знакомства с великим русским поэтом. С этой целью в ней рассказана: а) жизнь поэта по существующим ныне печатным материалам, причем составитель отдавал предпочтение фактам, рельефно представляющим трудолюбивую, благородную и могучую личность Пушкина; б) представлен краткий очерк

произведений Пушкина и в) помещено в «Приложении» несколько мелких стихотворений и отрывки из поэм Пушкина, выбранных, разумеется, согласно назначению книги.

Таким образом составленная, книга о Пушкине, по нашему мнению, может служить полезным и занимательным чтением русского юношества как мужского, так и женского полов.

Из всего вышесказанного видно, что издатель имел в виду детей. И, однако ж, книга не названа детскою. Это сделано не без намерения. Кто потрудится перенестись мыслию к собственному детству и отрочеству, тот, верно, вспомнит, как в то время хотелось ему казаться *большим* и как отталкивало его одно название *детский*. Нам случалось видеть детей, особенно в поре перехода к отрочеству, которые именно поэтому не читали хороших книг, тогда как с жадностию бросались на книги сомнительного достоинства, лишь бы на них не стояло: *для детей*.

Итак, мы думаем, что родители и наставники, которые, приобретя нашу книгу, вырвут из нее этот листок прежде, чем отдадут ее в руки своим питомцам, поступят весьма благоразумно: они придадут ей в глазах своих питомцев двойной интерес.

К изданию нашему приложен портрет Пушкина. Это один из двух лучших портретов, оставшихся после Пушкина: он рисован с натуры А. Брюлловым, гравирован на стали в Лондоне и первоначально был приложен к «Ста русским литераторам».

СПБ, 1856. Июнь.

Глава I

Значение слов «великий поэт». — Кто имеет право быть назван образованным человеком, — Общее значение литературы в деле образования и изящной в особенности. — Место, занимаемое Пушкиным в нашей изящной литературе.

«Пушкин — великий поэт», — говорит каждый из нас, и эти слова так важны, что надобно постараться как можно лучше вникнуть в смысл их и объяснить себе: что такое значит «великий поэт»? почему великие поэты пользуются общим глубоким уважением? и почему Пушкина все считают великим поэтом?

Объяснив себе это, мы увидим, как необходимо каждому из нас ближе познакомиться с жизнью Пушкина и его сочинениями.

Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для человека. Без образования люди и грубы, и бедны, и несчастны. Чтобы убедиться в этом, стоит только припомнить рассказы путешественников о дикарях. Краснокожие индейцы жили и отчасти еще живут в тех же самых землях, которые заняты теперь Северо-Американскими Штатами: посмотрите же, какая разница между краснокожими, малочисленными, нуждающимися во всем необходимом для жизни, и многочисленными, богатыми, имеющими все в изобилии североамериканцами! И отчего вся эта разница? Только оттого, что североамериканцы — народ образованный, а краснокожие туземцы — дикари. Другой пример, более близкий к нам: Россия теперь государство могущественное и богатое, потому что русские благодаря Петру Великому стали народом образованным; а всего только пятьсот лет тому назад русские были угнетаемы и разоряемы татарами, потому что были еще мало образованны.

Но не довольно того, что просвещение приносит народу и благосостояние, и могущество: оно доставляет человеку такое душевное наслаждение, с которым ничто не может сравниться. Каждый образованный человек чувствует это и всегда скажет, что без образования жизнь его была бы очень скучна и жалка.

Теперь будет совершенно ясно, как важна для всеобщего блага литература, если мы скажем, что из всех средств для распространения образованности самое сильное — литература. Народ, у которого нет литературы, груб и невежествен; чем более и усиливается и совершенствуется, или, как принято говорить, развивается, литература, тем образованнее и лучше становится народ.

Образованным человеком называется тот, кто приобрел много знаний и, кроме того, привык быстро и верно соображать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, или, как выражаются одним словом, привык «мыслить», и, наконец, у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, то есть приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекрасному. Все эти три качества — обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств — необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова. У кого мало познаний, тот невежда; у кого ум не привык мыслить, тот груб или тупоумен; у кого нет благородных чувств, тот человек дурной.

В детстве, в первую пору молодости человек учится в школах: уроки наставников имеют ту цель, чтобы сделать юношу образованным человеком. Но когда он выходит из школы, перестает учиться, его образование поддерживается и совершенствуется чтением, то есть вместо прежних наставников, которых слушал мальчик и юноша, взрослый человек имеет одну наставницу — литературу.

Чтоб исполнить как должно свою великую обязанность — быть руководительницей людей на пути образования, литература, как мы уже знаем, должна давать ему различные знания, развивать в нем привычку мыслить и поддерживать в нем любовь ко всему прекрасному и доброму. Каждая хорошая книга до некоторой степени исполняет все эти условия; но некоторые книги имеют главной своей целью сообщать уму читателя различные познания, — это книги, принадлежащие к так называемой ученой литературе, например, сочинения по истории, по естественным наукам и пр.; другие книги пишутся с тем намерением, чтобы действовать главным образом на воображение и сердце читателя, возбуждая в нем сочувствие к доброму и прекрасному, — это книги, принадлежащие к так называемой изящной литературе. Между полезными действиями, какие производят на читателя книги того и другого рода, есть очень много общего; особенно сходны все хорошие книги в том, что непременно возбуждают в читателе желание думать о том, что справедливо, прекрасно и полезно для людей. Сходны они между собою и в том, что хорошая ученая книга, действуя более всего на ум, действует также и на сердце, а произведения изящной литературы, преимущественно обращаясь к сердцу читателя, в то же время не остаются бесполезны и для его ума, которому сообщают верные понятия о человеческой жизни. Но, несмотря на это значительное сходство, изящная литература очень резко отличается от ученой. Одну сторону этого различия мы уже знаем: главная цель ученых сочинений, как мы сказали, та, чтобы сообщить точные сведения по какой-нибудь науке, а сущность произведений изящной словесности — в том, что они действуют на воображение и должны возбуждать в читателе благородные понятия и чувства. Другое различие состоит в том, что в ученых сочинениях излагаются события, происходившие на самом деле, и описываются предметы, также на самом деле существующие или существовавшие; а произведения изящной словесности описывают и рассказывают нам в живых примерах, как чувствуют и как поступают люди в различных обстоятельствах, и примеры эти большею частью создаются воображением самого писателя. Коротко можно выразить это различие в следующих словах: ученое сочинение рассказывает, что именно было или есть, а произведение изящной литературы рассказывает, как всегда или обыкновенно бывает на свете.

Довольно нам и этих двух замечаний, чтобы видеть, до какой степени изящная литература различна от ученой, хотя есть у них и много общего.

Можно теперь спросить: которая же из двух отраслей литературы важнее? которая больше приносит пользы людям? которая больше содействует распространению и усовершенствованию просвещения? На это образованный человек будет отвечать, обе они равно важны, равно полезны людям. Ученая литература спасает людей от невежества, а изящная — от грубости и пошлости; то и другое дело одинаково благотворны и необходимы для истинного просвещения и для счастья людей.

Теперь надобно только сказать, что хорошие писатели по части изящной литературы называются поэтами, и мы пойдем, какой высокий смысл заключается в этом слове. Поэты

— руководители людей к благородному понятию о жизни и к благородному образу чувств: читая их произведения, мы приучаемся отвращаться от всего пошлого и дурного, понимать очаровательность всего доброго и прекрасного, любить все благородное; читая их, мы сами делаемся лучше, добрее, благороднее²⁵.

И если Пушкин в самом деле великий поэт, то нельзя не согласиться, что он один из тех людей, которые сделали наиболее добра своим соотечественникам, один из тех людей, которых каждый русский наиболее обязан уважать и любить.

Это в самом деле так. Мы знаем теперь, что от литературы очень много зависит просвещение народа и что без просвещения нет для людей истинного счастья; нам надобно только узнать, какое важное место в нашей изящной литературе занимает Пушкин и как многим она ему обязана, — и мы увидим, что его, по всей справедливости, надобно называть великим поэтом и что каждый из нас должен почитать его человеком, сделавшим очень много добра нашей родине.

Изящная литература появилась у нас лет за восемьдесят до Пушкина, вскоре после благодетельных преобразований Петра Великого, познакомившего русских с просвещенными народами²⁶. Но известно, что почти каждое дело достигает своей настоящей важности медленно. То, что оказывается очень важно впоследствии, сначала бывает маловажно. Так было с нашей словесностью. Число людей, привыкших к чтению, было в то время очень мало, да и людей, знавших грамоту, было немного. Главная заслуга Ломоносова и писателей, следовавших за ним до начала нынешнего века, состояла в том, что они своими произведениями возбуждали охоту к чтению и мало-помалу увеличивали число людей, интересующихся литературою. Из этих писателей, о которых мы всегда должны вспоминать с особым уважением, самыми замечательными, после Ломоносова, были Державин, Фонвизин и Карамзин. Не менее пользы принес литературе Новиков, хотя не был знаменит как писатель. Державин славился своими стихотворениями (одами), Фонвизин написал две прекрасные комедии («Бригадир» и «Недоросль»). Новиков чрезвычайно много и успешно заботился об увеличении числа книг и распространении круга читателей в России: благодаря его бескорыстным усилиям было издано в пять или шесть лет более книг, нежели прежде было напечатано в пятьдесят; наконец, один из молодых людей, которым покровительствовал Новиков в начале их литературного поприща, обнаружил очень замечательный талант. Это был Карамзин, после Ломоносова второй основатель нашей изящной литературы. Его произведения, написанные очень хорошим и легким языком, читались с таким удовольствием, какого прежде не возбуждали прозаические сочинения. Трудом этих людей образовалась в России «публика», то есть некоторая часть русского народа получила привычку находить в чтении наслаждение, без которого уже не могла обходиться. Тогда явился Жуковский, который приобрел славу прекрасными переводами: английских и немецких стихотворений, особенно переводами многих произведений великого немецкого поэта Шиллера.

Таково было положение русской литературы, когда начал писать Пушкин. Публика уже существовала в России, но была еще немногочисленна; между писателями считалось несколько людей с замечательным талантом, но не было еще такого гения, который приводил бы читателей в восторг, который показал бы русской публике поэзию во всей ее

²⁵ Прежде называли поэтами только стихотворцев, а поэзией только одни стихи. Теперь поняли, что поэтическими произведениями должно называть все хорошие сочинения по части изящной литературы, все равно стихами ли они писаны или прозою. Впрочем, до сих пор «поэтами» называют в особенности тех писателей, у которых особенно много или воображения, или задушевной теплоты; те произведения изящной словесности, в которых холодный рассудок преобладает над воображением и теплотою чувства, не принято называть «поэтическими».

²⁶ Первая ода Ломоносова, которого обыкновенно называют отцом нашей изящной словесности, была написана в 1739 году.

очаровательной красоте. Это сделал Пушкин. И прежде него существовали на русском языке хорошие стихи; но когда явились произведения Пушкина, все увидели, что еще не имели понятия о том, как прекрасны могут быть русские стихи. В самом деле, до Пушкина еще никто не писал таким легким и живым языком, в котором соединялись и простота, и поэтическая прелесть; еще никто не умел придавать русскому стиху столько точности, выразительности и красоты. Все эти качества, в которых состоит так называемое «художественное совершенство» пушкинского стиха, очаровали публику и привлекли к чтению тысячи людей, которые прежде не имели привычки читать. Таким образом, число людей, составляющих публику, — иначе сказать, число образованных людей в России, — чрезвычайно увеличилось благодаря превосходным произведениям гениального поэта. Но этим не ограничиваются заслуги Пушкина. Сначала более всего поражены были читатели теми художественными достоинствами его стихотворений и поэм, о которых мы уже сказали. Но мало-помалу все начали увлекаться и другим качеством этих произведений. Это важнейшее качество состояло в том, что Пушкин первый стал описывать русские нравы и жизнь различных сословий русского народа с удивительною верностью и проницательностью. До него почти не имели об этом понятия. Прежние писатели редко избирали предметом своих рассказов русскую жизнь, а если и делали это, то описывали ее неточно и неестественно. Исключением из этого можно назвать почти только одни комедии Фонвизина и басни Крылова. Но Фонвизин не мог увлечь за собою других писателей и был почти забыт в то время, когда явился Пушкин. Басни Крылова также не имели большого влияния на литературу, потому что басня вообще никогда не приобретает господства над другими, более значительными отраслями поэзии. Таким образом, несмотря на примеры, поданные Фонвизиным и Крыловым, в произведениях почти всех остальных тогдашних писателей было очень мало близкого к русскому обществу; потому и литература вообще возбуждала мало сочувствия в обществе, которое не находило в ней почти ничего такого, что живым образом интересовало бы русского человека²⁷. Теперь не то: если хорошие книги являются все еще не очень *часто*, можно сказать, редко, зато каждая из них возбуждает в тысячах, в десятках тысяч людей самое живое участие. Припомните, например, какой сильный интерес во всем обществе обнаружился недавно по случаю новых изданий Гоголя и самого Пушкина: каждый человек, которого вы встречали в обществе, говорил о появлении этих книг с таким жаром, с такою любовью, с такою радостью, как будто дело лично касалось его самого. И действительно, оно касалось каждого из нас, потому что мы все находим высокое наслаждение и большую пользу, в чтении подобных книг, говорящих о предметах, важных каждому образованному русскому. Этим распространением сочувствия к литературе общество наше обязано Пушкину более, нежели кому-нибудь. До него книги интересовали из десяти человек одного; ныне из десяти человек разве один какой-нибудь полуневежда не интересуется литературою²⁸.

Влияние Пушкина на литературу было так же сильно, как и впечатление, произведенное им в публике. До него, как мы сказали, наши поэты писали по большей части

²⁷ Не надобно забывать, что мы говорим собственно только об изящной литературе. В числе ученых сочинений всегда были книги очень интересные. Но круг публики, читающей ученые книги, всегда бывает гораздо малочисленнее той публики, которая читает почти исключительно только произведения изящной словесности; изящная словесность, между прочим, необыкновенно важна и потому, что именно она привлекает к чтению и распространяет в обществе любовь к книгам, т. е. к просвещению.

²⁸ Вскоре после того, как явились первые поэмы Пушкина, сделалась известною значительной части публики превосходная комедия Грибоедова «Горе от ума», и Грибоедов должен разделять с Пушкиным славу преобразователя литературы. Но, несмотря на всю любовь к благородному автору этой комедии, несмотря на все великие достоинства ее, надобно сказать, что для истории нашей литературы и образования русской публики Пушкин еще важнее, нежели Грибоедов; потому что Грибоедов после «Горя от ума» не написал ничего, а чтобы иметь действие на публику и литературу, деятельность писателя должна быть продолжительна и сочинения его довольно многочисленны.

о предметах, неинтересных для русского читателя. После него все талантливые литераторы начали писать в таком же роде, как и он, то есть говорить большею частью о предметах, которые близко касаются нас самих и представляют большую занимательность для образованного русского человека.

Таким образом, Пушкин произвел своими сочинениями в нашей литературе важное изменение к лучшему, значительно увеличил число любящих литературу, то есть образованных людей в России, и, кроме этих великих услуг нашему обществу, доставил русской публике очаровательную прелестью своих произведений высокие поэтические, то есть благородные, наслаждения. Ко всему этому надобно еще прибавить, что он первый научил русское общество так уважать литературу и талантливых писателей, как уважаем мы их теперь. И прежде некоторые писатели пользовались в обществе большим почтением — например, Державин и Карамзин, — но, вообще говоря, публика смотрела на них с уважением не столько потому, что сама чувствовала, какой сильной любви и признательности заслуживает хороший писатель, сколько потому, что видела милости, которые оказываются Державину и Карамзину. Но Пушкина каждый русский читатель сам любил и уважал в глубине своего сердца, и каждый знал, за что его уважает — за то, что Пушкин великий поэт; и тут каждый понял то, чего не понимал прежде, — понял, что великий поэт и вообще великий писатель есть человек, оказывающий большую услугу, делающий много добра своей родине, понял, что литература есть дело очень важное, полезное, заслуживающее величайшего уважения.

Вот как велика была польза, принесенная Пушкиным русской литературе и публике: он научил публику любить и уважать литературу, возбудил сильный интерес к ней в обществе, научил литератора писать о том, что занимательно и полезно для русских читателей. Потому-то и справедливо считают его первым истинно великим русским поэтом, потому-то ни один образованный русский человек не может произносить его имени без глубокого почтения, без живой признательности.

Глава II

Рождение А. С. Пушкина. — Его фамильная гордость. — Род Пушкиных и Ганнибаловых. — Историческая деятельность тех и других. — Сергей Львович, отец поэта. — Василий Львович, дядя поэта. — «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас». — Комическое посвящение Василья Львовича в арзамасцы. — Марья Алексеевна Ганнибал, бабушка поэта. — Ольга Сергеевна, сестра Пушкина, и послание к ней четырнадцатилетнего поэта. — Арина Родионовна, няня А. С. Пушкина. — Ее влияние на питомца.

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года.

Он чрезвычайно гордился тем, что происходит от фамилий, игравших довольно значительную роль в нашей истории, и дорожил памятью своих предков. Чувство это отразилось на многих его произведениях, и если мы не будем знать фамильных воспоминаний, которыми он гордился, то многое в его сочинениях останется для нас темным. Просмотрим же, хотя кратко, что нам известно о предках Пушкина.

Род Пушкиных, не принадлежа к числу особенно знатных или могущественных, с конца XVII века состоял на службе при дворе московских царей, и некоторые члены его успевали достигать почетных званий. Трое из них были даже боярами — сан, который по своей важности может быть сравнен с нынешними чинами полного генерала или действительного тайного советника. Гаврила Григорьевич Пушкин (в начале XVII века) известен тем, что один из первых между тогдашними сановниками перешел на сторону Лже-Димитрия, и наш поэт дал своему предку значительную роль в исторической трагедии «Борис Годунов».

Гораздо чаще, нежели о предках по отцовской линии, Пушкин упоминает о предках

своих со стороны матери, Ганнибаловых. Родоначальником этой фамилии был негр Ганнибал, любимец Петра Великого. Пушкин заботливо собирал все сведения о жизни этого Ганнибала и хотел написать полную его биографию, но не успел исполнить своего намерения и оставил нам только несколько строк о Ганнибале в статье «Родословная Пушкиных и Ганнибаловых».

«Дед моей матери, — говорит Пушкин, — был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом, и отослал его Петру Великому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году с польскою королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп, но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу; во время испанской войны был ранен в голову и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр Первый неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец, государь написал ему, что он неволишь его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или оставаться во Франции, но что во всяком случае он никогда не оставит своего прежнего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уже отыскать». На этих исторических данных основан превосходный рассказ, которым начинается неоконченный роман Пушкина «Арап Петра Великого». Главным действующим лицом романа, в котором, судя по началу, Пушкин превосходно изобразил бы эпоху Петра Великого, был избран Ганнибал. У Абрама Петровича было два сына. Старший, Иван Абрамович, известен тем, что в царствование Екатерины II участвовал в первой турецкой войне, находясь на флоте, действовавшем в Средиземном море; между прочим, Иван Абрамович отличился мужеством в Чесменской битве, где сожжен турецкий флот, и, в 1770 году, взял Наварин. Пушкин часто упоминает о нем в своих стихах, — например, в следующей заметке, которая одна была бы достаточна для того, чтобы сделать бессмертными имена Абрама Петровича и Ивана Абрамовича,

«Где-то было сказано, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, генерал-аншеф, отец Ганнибала, покорившего Наварин, был куплен шкипером... Прадед мой если был куплен, то... достался шкиперу, коего имя всякий русский произносит не всуе:

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля.
Кто придал мощно бег державный
Корме родного корабля.
Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царя наперсник, а не раб.
И был отец он Ганнибала,
Пред кем, среди гибельных пучин,
Громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин!

Брат наваринского героя, младший сын «Арапа Петра Великого», Осип Абрамович Ганнибал, был отец матери Пушкина, Надежды Осиповны. Южная живость характера была

наследована Пушкиным от своего прадеда-африканца; даже черты его лица и курчавые волосы напоминали африканский тип его прадеда по матери.

Не зная этих подробностей, легко можно вообразить, что предки Пушкина играли необыкновенно важную роль в русской истории: так любит говорить о них наш поэт и так искусно намекает о их участии в важнейших событиях отечественной истории. На самом же деле род Пушкиных принадлежал к числу довольно старинных фамилий, но важного места в государстве никогда не занимал и славою своею обязан только таланту Александра Сергеевича Пушкина. Что касается до Абрама Петровича Ганнибала, то он был любим Петром Великим, как крестник, но также не пользовался влиянием на государственные дела; Иван Абрамович, сын его, был, как видим, храбрым генералом, но сражался, находясь под начальством других, и не занимал никогда места с самостоятельной властью. Обоих этих людей мы знаем также преимущественно потому только, что о них упоминает Пушкин, а не потому, чтобы они заметным образом участвовали в исторических событиях. Познакомясь с предками Пушкина, перейдем к ближайшим его родственникам.

Сергей Львович Пушкин, отец поэта, сначала служил в гвардейском Измайловском полку, но вскоре после женитьбы вышел в отставку и поселился в Москве, откуда на лето все семейство уезжало в свою подмосковную деревню Захарьино. Богатый и гостеприимный дом Сергея Львовича был часто посещаем лучшими тогдашними писателями, потому что хозяин был человек образованный и любивший литературу, особенно, по обычаю того века, французскую. Сергей Львович даже сочинял французские стихи, легкие и остроумные. Самыми частыми гостями его бывали Карамзин и Дмитриев; Жуковский и Батюшков также посещали его. Александр Сергеевич был еще так молод в то время, что этим беседам в доме его отца нельзя приписывать особенного влияния на развитие его ума или таланта; но важно то обстоятельство, что с самого малолетства он был в литературном кругу. Рассказывают, между прочим, что однажды, оставив детские игры, ребенок с необыкновенным вниманием слушал рассказы Карамзина; с таким же вниманием слушал он иногда Дмитриева, читавшего свои басни. Подражая примеру отца, девятилетний Александр Сергеевич уже сам писал небольшие французские стихотворения.

Брат Сергея Львовича, Василий Львович, также отчасти способствовал развитию склонности к литературным занятиям в своем племяннике. Василий Львович считался в свое время довольно хорошим поэтом и, радуясь тому, что ребенок выучил наизусть несколько его стихотворений, твердил ему, чтоб он читал русских поэтов. Сближение между дядею и племянником было тем легче, что Василий Львович отличался чрезвычайным простодушием, о котором сохранилось много анекдотов. Из них мы расскажем один, довольно забавный и хорошо показывающий разницу между тогдашним и нынешним временем, — разницу, которая произведена талантом Пушкина.

До появления Пушкина число людей, занимавшихся у нас литературою, было невелико; не многочисленна была и публика, интересовавшаяся их произведениями. При таких обстоятельствах любовь к своему делу охладела бы в большей части писателей, если бы они не ободряли и не возбуждали друг друга, соединяясь в тесные приятельские кружки, которые назывались «литературными обществами». В начале нынешнего века в Петербурге было два главных литературных общества: «Беседа любителей русского слова», состоявшая по большей части из людей, не одаренных талантом или уже ослабевавших от старости, и «Арзамас» — общество, составившееся из молодых и даровитых литераторов, которые хотели защищать от нападений «Беседы» Карамзина и Жуковского. Члены «Беседы», привыкнув к старинному слогу, не одобряли ни нового прозаического слога, введенного Карамзиным, ни превосходных произведений Жуковского, который прекрасными стихами переводил стихотворения Шиллера и других немецких и английских поэтов. «Арзамасом» это общество назвалось потому, что поводом к его основанию был шуточный рассказ, в котором осмеивался устарелый язык некоторых литераторов: рассказчик говорил, будто бы однажды, будучи проездом в Арзамасе и обедая в тамошней гостинице, он подслушал, как в соседней комнате другой проезжий разговаривал сам с собою, употребляя выражения,

вычитанные, из некоторых тогдашних книг и журналов; эти смешные и нелепые фразы были выписаны автором рассказа из сочинений писателей, мнения которых он хотел представить в смешном виде. В числе главных членов арзамасского общества были Жуковский, граф Уваров (впоследствии министр народного просвещения) и прочие.

Василью Львовичу, который в то время уже не был молодым человеком, но любил молодежь, очень хотелось попасть в арзамасское общество. Члены его, хотя и были приятели Василью Львовичу, вздумали посмеяться над своим пожилым другом, у которого было более добродушия, нежели поэтического таланта, и объявили ему, что он должен беспрекословно подчиниться церемониям торжественного принятия в общество, если хочет участвовать в его собраниях. Добродушный искатель согласился, и ему устроили следующий прием. Сначала тучный Василий Львович должен был лечь на лавку или диван, и его завалили множеством шуб, под которыми он пролежал час или два, между тем как над ним читали какую-то французскую трагедию: потом страшно измученного страдальца поставили перед огромным чучелом и дали ему в руки замороженного гуся, замороженный гусь — эмблема «Арзамаса», сказали ему. В этом забавном положении новопринимаемый должен был выслушать длинную речь, и вдруг чучело упало, и спрятанный за ним мальчик выстрелил из пистолета в Василья Львовича, который в испуге повалился на землю, считая себя уже убитым, хотя, конечно, пистолет был заряжен одним порохом.

Мы рассказываем этот анекдот, как один из примеров, показывающих, что тогда сами писатели смотрели на литературные свои занятия вовсе не с нынешней серьезной точки зрения. Литература тогда была не более как забавою, приятным отдыхом после разных житейских дел, а не одним из самых важнейших дел, как все думают ныне. В наше время не только лучшие, но и посредственные писатели, собираясь вместе для занятий литературными делами, не будут тратить целый вечер на подобные шутки; да и ни один из людей, называющих себя писателями, не захочет, чтобы с ним шутили таким образом. Все это мы говорим для того, чтобы показать различие между тогдашними и нынешними понятиями. А главным виновником такой перемены был Пушкин: его произведения, возбуждая необыкновенный интерес во всех грамотных русских людях, придали нашей литературе важность, которой она не имела прежде.

Но мы заглянули далеко вперед: надобно возвратиться к детству Пушкина, к рассказу о тех обстоятельствах, которые способствовали быстрому обнаружению его таланта.

Василий Львович, его дядя, играл, как мы видим, не слишком завидную роль в тогдашнем литературном мире; но тем не менее он был коротко знаком с лучшими писателями. Отец великого поэта, Сергей Львович, также был приятель со многими из них. Эти отношения не могли бы внушить любви к литературе молодому Пушкину, если бы не была она вложена в него самою природою, не могли бы они доставить ему с первого раза блестящего положения в литературных кружках, если бы не давал ему право на то его необыкновенный и очень рано развившийся талант, но, конечно, до некоторой степени облегчили ему первые шаги на литературном поприще: Карамзин и Жуковский приветствовали гениального юношу тем с большею любовью, что он являлся к ним как человек, носящий фамилию, не чуждую для их слуха.

Из других лиц, близких по родству, особенно много обязан был Пушкин своей бабушке, Марье Алексеевне Ганнибал, которая жила в доме своего зятя, Сергея Львовича. Она учила внука читать и писать по-русски и была вообще очень ласкова к нему. Когда мальчику хотелось избавиться от какого-нибудь принуждения, он бежал к бабушке, садился подле нее, даже залезал в ее рабочую корзину и по целым часам просиживал с бабушкою, слушая рассказы ее. Марья Алексеевна была женщина умная, много видевшая, много помнившая, и, конечно, многое из ее рассказов осталось навсегда в памяти внука.

Другом детства Пушкина была его сестра, Ольга Сергеевна, которую он нежно любил до конца жизни. Она была только годом старше его, и они вместе учились, вместе играли; ей первой читал десятилетний мальчик первые свои стихи, которые, по примеру отца, сочинял на французском языке; ей посвящено и первое из русских его стихотворений, известных нам:

оно написано в 1814 году; молодому поэту не было еще тогда пятнадцати лет. Приведем здесь несколько стихов из этого довольно длинного «послания», драгоценного для нас, как первый памятник поэтической деятельности великого писателя. «Ты хочешь, милая сестра, чтоб я писал к тебе», — говорит Пушкин:

Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт молодой,
Беседовал с тобой
И, с лирою забвенной,
Мечтами окрыленный,
Оставил монастырь²⁹
И край уединенный.
Где непрерывный мир
Во мраке опустился...

И я переносюсь мыслями к тебе. Что делаешь ты теперь, — продолжает молодой поэт, — читаешь, играешь с своею собачкою или сидишь за фортепьяно?

И вот уж я с тобой.
И в радости немой
Твой друг расцвел душою.
Как ясный вешний день.
Забыты дни разлуки,
Дни горести и скуки.
Исчезла грусти тень.

Но это лишь одна мечта — она исчезает, и я остаюсь один в своей скучной и пустой комнате. Но время летит, и я скоро примчусь к тебе...

И с каменных ворот
Падут, падут запоры
И в пышный Петроград
Через долины, горы
Ретивые примчат,
Спеша на новоселье.

Стихи, нами выписанные, еще слабы в поэтическом отношении, даже в языке, которым они написаны, встречаются устарелые или неправильные выражения; но «Послание к сестре» должно быть известно каждому из нас как первое произведение великого нашего поэта.

Мы видели, что отец, дядя и бабушка имели некоторое влияние на детские понятия Пушкина; но сильнее всех содействовала развитию в нем воображения его няня, Арина Родионовна, которой память увековечил ее воспитанник в своих стихах. Арина Родионовна была так привязана к семейству Пушкиных, что, получив отпускную, не хотела ею пользоваться. Александр Сергеевич чрезвычайно любил ее до конца своей жизни и, когда жил в деревне, постоянно беседовал с нею, как с лучшим из своих друзей. Кроме неусыпной заботливости о своем питомце и самой искренней привязанности к нему, она приобрела право на его благодарность особенно тем, что своими неистощимыми рассказами познакомила его с русскою народною словесностью. Арина Родионовна знала бесчисленное

²⁹ Монастырем Пушкин называет Лицей, где тогда учился.

множество сказок и умела прекрасно их пересказывать. Некоторые из лучших произведений Пушкина взяты из этого запаса, например, прекрасное его стихотворение «Жених», заимствованное из предания о том, как девушка, заблудившись в лесу, забрела в притон разбойников и, спрятавшись под лавку, видела их злодейства, а потом узнала атамана разбойников в своем женихе и уличила его:

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала;
Она на двор на третью ночь
Без памяти вбежала.
С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступать.
Наташа их не слышит,
Дрожит и еле дышит... и пр.

Вообще очень многие описания русских народных нравов и обычаев не были бы у Пушкина так живы и хороши, если б он не был с детства пропитан рассказами из народной жизни. Зато он вспоминает о своей няне очень часто, и всегда с самой трогательной любовью. Он называет ее своею первою музою, то есть говорит, что ее рассказами были навеяны первые его стремления к поэзии:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны.
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя. В вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель.
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заморозила...

Вот одно из писем, которые посылала старая няня своему воспитаннику, уже славному поэту:

«Любезный мой друг Александр Сергеевич! Я получила письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна, вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, забуду вас. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское — всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ожидать и молить бога, чтоб он дал нам свидеться. Прощай, мой батюшка Александр Сергеевич! За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружок, хорошенько — самому слюбится. Я, слава богу, здорова; цалую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна».

Растроганный до глубины души этою простодушною заботливостью няни о том, чтобы питомец ее «жил хорошенько», этою умилительною любовью, Пушкин пишет:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня!..
Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На черный, отдаленный путь:
Тоска, предчувствие, заботы
Теснят твою всечасно грудь...

Особенно много воспоминаний в душе Пушкина оставили беседы с нянею в 1825 и 1826 годах, когда он совершенно один жил в селе Михайловском и длинные зимние вечера проводил в разговорах с нянею, которая разделяла его одиночество: то она пересказывала ему «преданья старины глубокой», — и в бумагах Пушкина сохранилось несколько сказок, записанных с ее слов, между прочим, — сказки «О царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О купце Остолопе и работнике его Балде», которые потом были переложены им в стихи, — то он сам читал ей свои произведения: пусть другие поэты читают кому угодно свои произведения — говорит он в IV главе «Онегина», вспоминая об этих вечерах —

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Арина Родионовна умерла семидесятилетней старушкой, в 1828 году, в самую блестящую эпоху восторга, возбужденного произведениями ее питомца.

Глава III

Детство до семи лет и лень, которою в эти годы отличался гениальный ребенок. — Учителя и гувернеры Пушкина. — Шиллер, учивший Пушкина русскому языку. — Степень успехов Пушкина в науках. — Страсть к чтению. — Детские произведения. — Лицей. — Лицейские журналы. — Дельвиг. — Державин и торжественный акт 1815 года.

До семи лет будущий поэт не обнаруживал ни особенных дарований, ни даже той живости, которою бывают привлекательны почти все дети. Он был ребенком толстым, неповоротливым, ленивым, так что неподвижностью своею приводил в отчаяние родных. Гулять и играть его заставляли почти насильно; он не любил ни бегать, ни резвиться; сидеть или лежать было единственным его наслаждением. Ленивость толстого ребенка была так велика, что однажды, когда старшие взяли его с собою на прогулку, он незаметно отстал от общества и уселся отдыхать среди улицы. Кто-то смотревший из окна соседнего дома увидел эту смешную сцену и улыбнулся. «Ну, нечего скалить зубы!» — с досадой сказал ребенок и встал, а без этой помехи он, вероятно, просидел бы долго.

Между тем, принялись учить его. Гувернеров, гувернанток и учителей было много; но при ленивости и неповоротливости ребенка учебные его дела шли довольно плохо и очень медленно. Главный надзор за воспитанием был поручен французу-эмигранту графу Монфору; кроме того, был другой гувернер француз, Русело. При их помощи Пушкин сделал навык говорить и писать по-французски так же легко, если еще не легче, нежели по-русски. Впрочем, мудрено было бы не сделать этого навыка, потому что в семействе Сергея Львовича, как и почти во всех тогдашних знатных домах, совершенно господствовал французский язык. Зато по-английски — в числе гувернанток была и англичанка — Пушкин учился очень плохо. Этот язык он только впоследствии, будучи уже взрослым мужчиною, узнал настолько, что мог читать английские книги; по-немецки старался он вовсе не учиться

и успел в этом, но потом очень жалел о незнании немецкого языка. Стоит, по странности случая, заметить то, что русскому языку учил молодого Пушкина немец, фамилия которого была — Шиллер.

В самом деле, довольно забавно, что величайшего из русских поэтов родному его языку учил иностранец, и еще забавнее, что этому иностранцу случилось быть однофамильцем гениального немецкого поэта. Есть люди, которые из каждого случайного совпадения имен или чисел готовы выводить необыкновенно важные заключения и предзнаменования. Им не мешало бы приложить свои истолкования к этому случаю. Мы не станем заниматься каламбурами и скажем только, что г. Шиллер, если и превосходно знал по-русски, не многому мог научить Пушкина, потому что мальчику и его сестре, воспитывавшимся вместе, все остальные предметы преподавались, по тогдашнему обычаю, на французском языке, и даже говорить между собою и со старшими заставляли детей по-французски. Однакоже, как показал опыт, это нисколько не помешало Пушкину остаться чисто русским человеком и писать по-русски так, как не писал до него еще никто.

Вообще, учебные занятия Пушкина и в отцовском доме и в Лицее, куда он поступил потом, не сопровождались особенно блестящими успехами, и то, что говорит он о Евгении Онегине, относится и к самому поэту, представляя верный очерк тогдашнего воспитания детей в так называемых «хороших фамилиях»:

Судьба Евгения хранила:
Сперва madame за ним ходила,
Потом monsieur ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur L'Abbe³⁰, француз убогой.
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя.
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний Сад гулять водил.
..
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал,
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно.
Чего ж вам больше? — Свет решил,
Что он умен и очень мил.
..
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь:
Так воспитаньем, слава богу,
У нас не мудрено блеснуть.

Для довершения сходства с этим очерком надобно заметить, что Пушкин с семи лет сделался мальчиком бойким, живым, развязным; прежняя застенчивость и вялость уступили место резвости, которая часто доходила до шаловливости. Одно только сохранилось в нем неизменным: как ученик, Пушкин всегда, до самого окончания курса в Лицее, был довольно ленив.

Но если так, то каким же образом успел он приобрести многосторонние познания, без которых невозможно сделаться хорошим литератором? Дело в том, что Пушкин не любил

³⁰ Господин аббат (франц.).

только учить уроков, которые было надобно каждый день готовить к завтрашним классам, а любознательности было в нем очень много. Страсть к чтению развилась в нем рано — лет с восьми или девяти. Будучи воспитан на французском языке, он принялся, разумеется, за французские книги, которых у его отца было очень много: Сергей Львович, большой любитель французской литературы, имел хорошую библиотеку. Он старался поощрять в детях любовь к книгам и часто читал вместе с ними лучшие, по его мнению, сочинения, особенно Мольера, которого, говорят, знал почти наизусть. Сын его бросился на книги с жадностью, читал без усталости день и ночь и при необыкновенной своей памяти на одиннадцатом году был, по выражению дяди, Василья Львовича, уже отличным знатоком французской литературы.

Страсть к чтению сохранилась у Пушкина до конца жизни. Редко можно встретить человека, который бы прочел так много книг, как он. Потому и не удивительно, что он *был* одним из самых образованнейших людей своего времени, хотя в школе и считался посредственным учеником. Не с одним Пушкиным было так: люди с блестящими способностями часто пренебрегают школьным преподаванием, которое кажется для них слишком медленно или не касается предметов, особенно интересующих их ум. Только внимательная и нежная заботливость отца или матери может предохранить их от пренебрежения школьными занятиями, или — но это уже особенно счастливый и редкий случай — какой-нибудь талантливый и любящий наставник заставляет их шаг за шагом идти вперед, не оставляя позади ничего не изученным основательно. И счастлив бывает даровитый юноша, если найдет себе в родителях или наставнике такого любимого руководителя: его образование будет тогда не только обширно, но и основательно — у него будут все познания, нужные человеку для того, чтобы составить себе прочные и благородные убеждения, то есть применять отношения всего, о чем случится ему судить, к понятиям справедливости и добра. Иначе он узнает многое, но в числе этого многого больше будет неважного и излишнего, нежели необходимого для истинной образованности, которая состоит в том, чтобы обо всем, что делается в мире, уметь судить, как должно судить человеку просвещенному и благородному.

В произведениях Пушкина мы находим доказательства того, что он был человек с большою начитанностью; но если бы он вместе с этою начитанностью обладал большою основательностью в своих понятиях о многих важных вопросах человеческой жизни, то, без сомнения, достоинство его творений было бы еще выше.

Не от Пушкина зависело, что он не получил образования более солидного; не он был виноват, что его любознательность с самого начала не нашла умного и вполне образованного руководителя, который воспользовался бы ею, чтобы поставить ученые понятия Пушкина на высоту, соответствующую величии его таланта. Но, к чести нашего поэта, должно сказать, что, достигнув лет, когда человек начинает сам располагать своими действиями, он неутомимо старался вознаградить потерянные годы и чрезвычайно ревностно трудился над собственным образованием. Он учился всю свою жизнь.

Вместе с любовью к чтению в ребенке обнаружилась и страсть к авторству. Мы говорили, что он начал сочинять стихи, когда ему было не более девяти или десяти лет, и, по примеру отца, сначала писал на французском языке; вероятно, также пример отца внушил ему особенную любовь к Мольеру, и в числе первых произведений Пушкина были небольшие французские комедии, сочиненные по образцу мольеровых. Он читал их сестре. К сожалению, эти первые опыты не дошли до нас. Сохранилась в памяти его сестры только эпиграмма, которую он сам посмеялся над одною из своих комедий, «L'Escamoteur», которая не понравилась его слушательнице:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoleur
Est-il siffle par le Parterre?
Helas, c'est que le pauvre auteur,

Кроме небольших комедий, Пушкин писал басни и, наконец, вздумал сочинить эпическую поэму в шести песнях. Сюжетом он выбрал войну карликов и карлиц при старинном французском короле Дагобере. Карлик Толи, влюбленный в карлицу Нитушь, победив соперников, должен был получить руку миньютюрной красавицы. Но эта поэма погибла, еще не достигши конца: одна из гувернанток заметила тетрадь, над которою прилежно трудился молодой автор, унесла ее и отдала гувернеру, жалуясь на непослушного мальчика, который «проводит время за сочинением подобных пустяков». Гувернер начал читать «Толиаду», как называлась поэма по имени своего героя, и расхохотался. Оскорбленный автор вырвал у него тетрадь и бросил в топившуюся печь.

Мальчику исполнилось двенадцать лет, и родители начали думать, что пора отдать его в какое-нибудь училище. Особенно славился тогда существовавший в Петербурге иезуитский коллегиум, и Сергей Львович поехал в Петербург, чтобы поместить сына в это заведение. Но в то самое время правительство объявило об открытии высшего училища для дворян — Царскосельского Лицея. Директором этого учреждения назначен был один из друзей Сергея Львовича, и двенадцатилетний Пушкин был принят в число воспитанников Лицея.

Годы, проведенные в Лицее, остались навсегда лучшими годами жизни в памяти Пушкина: в Лицее развился его поэтический талант, в Лицее он встретил друзей, особенно Дельвига, которого всегда чрезвычайно уважал и любил. Воспитанники, удаленные от столицы, принужденные довольствоваться собственным обществом, скоро свыклись между собою и на всю жизнь остались людьми, близкими друг другу. Но, кажется, ни в одном из них эти юношеские чувства не остались так живы, как в Пушкине. Его лирические стихотворения и «Евгений Онегин» наполнены воспоминаниями о Царском Селе и Лицее. Несколько прекраснейших стихотворений его написаны в память годовщины открытия Лицея.

В Лицее, точно так же как и дома, Пушкин не слишком прилежно готовился к урокам и, несмотря на чрезвычайно сильную память и блестящий ум, считался посредственным учеником. Но независимо от школьного преподавания он читал очень много книг по всеобщей истории, французской и русской словесности. Потому шесть лет (1811–1817), проведенные им в Лицее, были для него не бесполезны и в отношении умственного образования. Что же касается поэтического его таланта, он развивался в это время очень быстро и уже начинал приобретать известность.

Между товарищами Пушкина была довольно сильна любовь к литературным занятиям: многие писали стихи, другие переводили разные прозаические статьи с иностранных языков; молодые литераторы начали даже издавать рукописные журналы. К сожалению, тетради эти, столь интересные, затеряны и известны нам только по заглавиям. Так, один журнал назывался «Лицейский мудрец», другой — «Неопытное перо», третий — «Пловцы» и прочее.

В первые годы своей лицейской жизни Пушкин по-прежнему писал стихи на французском языке и только около 1814 года начал писать и по-русски. Мы привели отрывки из «Послания к сестре», первого русского его стихотворения, дошедшего до нас. Но оно не было напечатано. Первым из появившихся в печати произведений его было довольно длинное послание «К другу-стихотворцу», написанное в сатирическом духе, по образцу множества подобных стихотворений того времени: послания были тогда в моде. Оно напечатано в московском журнале «Вестник Европы» 1814 года, в восьмой книжке. После того стихотворения Пушкина начали появляться в журналах довольно часто и скоро

³¹ Скажите, за что партер освистал «Похитителя»? за то, что бедный автор похитил его у Мольера, — Пушкин, читая свои комедии, воображал, что они разыгрываются на сцене, и сестра была для него «публикою» и «партером», решающим успех или падение пьесы.

обратили на себя внимание легкостью языка, с которою часто соединялось и поэтическое достоинство мысли и картин.

Многие из товарищей сначала не любили Пушкина за его эпиграммы: он тогда уже отличался остроумием и за каждое оскорбление расплачивался колким стихом, которого боялись не одни его сверстники, но и люди гораздо старше его летами. Довольно долго эта легкая вражда мешала даже единодушному согласию товарищей в том, что Пушкин превосходит их всех поэтическим талантом. Но, ближе познакомясь с молодым поэтом, все полюбили его, потому что в душе Пушкин был очень добр и чрезвычайно благороден. Известность, которую приобрел он в литературе, убедила всех в несомненности его дарования, и в последнее время лицейской жизни Пушкин пользовался уже между товарищами громкою славою.

Из всех товарищей Пушкин особенно был дружен с бароном Дельвигом, привязанность к которому не ослабела в нем до самой смерти Дельвига и доставила Дельвигу большую известность как превосходному поэту; только после смерти Пушкина, когда уже некому было превозносить до небес стихи Дельвига, публика убедилась, что этот поэт не отличался замечательным талантом. Но Пушкин так сильно был ему предан, что искренно считал его великим поэтом, и влияние Пушкина на мнение публики было так сильно, что почти все верили этому. На самом же деле барон Дельвиг заслужил дружбу Пушкина своею любовью к поэзии и тем, что великий поэт мог откровенно и не без пользы говорить с ним о своих произведениях, как с человеком образованным и не лишенным вкуса.

Из событий лицейской жизни ярче всего остался в памяти Пушкина торжественный акт 1815 года, который был почтен посещением Державина, с одобрением выслушавшего стихотворение молодого поэта «Воспоминания в Царском Селе». Вот как рассказывает об этом случае сам Пушкин:

«Державина видел я только раз в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать руку, — руку, написавшую «Водопад»³². Державин приехал... Он был очень стар... Экзамен наш очень его утомил: он сидел поджав голову рукою; глаза его были мутны, губы отвисли. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился: глаза заблестали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенною. Наконец, вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Ц. С.», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей: когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

После экзамена, на обеде, граф Разумовский, бывший в то время министром народного просвещения, поздравляя Сергея Львовича с успехами сына, прибавил: «Однако же я желал бы обратить вашего сына к прозе».

— Оставьте его поэтом! — с необыкновенным жаром сказал Державин.

Об этих отношениях своих к Державину Пушкин упоминает в превосходных стихах «Евгения Онегина», где рассказывает судьбу своей музы (то есть своего поэтического дарования):

И свет ее (музу) с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил:
Старик Державин нас заметил

³² Ода эта, написанная Державиным под влиянием известия о смерти Потемкина-Таврического, принадлежит к числу лучших произведений Державина.

И, в гроб сходя, благословил...

Но вот приблизилось время окончания курса (9 июня 1817 года). Пушкин был выпущен с чином десятого класса и через три дня определен в Коллегию иностранных дел. Молодой человек тотчас взял отпуск и поехал в село Михайловское, к своему семейству.

Надобно заметить, что пока Пушкин был в Лицее, его родные переселились из Москвы в Петербург и летом переезжали жить в село Михайловское, находящееся в Псковской губернии. Пушкин до 1820 года, когда должен был уехать на юг России, каждое лето проводил также в Михайловском.

Глава IV

Пушкин в светском обществе. — Первая его поэма «Руслан и Людмила». — Пушкин в Бессарабии, в Одессе, на Кавказе, в Крыму. — Поэмы его: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» и «Братья разбойники».

По возвращении в Петербург после отдыха в деревне Пушкин вошел в круг светской жизни: веселый и живой характер его проявлялся тогда во всей силе; но в то же время он не покидал своих литературных занятий, был принят в число членов Арзамасского общества, о котором мы говорили, и в 1819 году написал первую из своих больших поэм «Руслана и Людмилу», которая прославила его имя и по прочтении которой Жуковский подарил ему свой портрет с надписью: «Ученику-победителю от побежденного учителя».

Ныне всякий хорошо видит, что эта поэма имеет множество недостатков; но в то время она действительно была необыкновенным явлением по чрезвычайной легкости стиха и по прекрасному языку. Все, что было написано прежними нашими поэтами, казалось тяжелым и неизящным в сравнении с поэмою Пушкина; потому вся публика прочла ее с необыкновенным восторгом. Содержание этой повести в стихах состоит в том, что Руслан, древний русский богатырь, отыскивает свою невесту, Людмилу, которую похитил волшебник Черномор.

Вскоре по окончании «Руслана и Людмилы» Пушкин был послан в Бессарабию и оставался на юге России с 1820 до 1824 года. Сначала прибыл он в Екатеринославль, где занемог, так что должен был ехать на Кавказские Минеральные Воды. Когда его здоровье поправилось, он поехал с Кавказа в Крым, осмотрел южный берег его, богатый живописными видами, посетил Бахчисарай, бывшую столицу крымских ханов, и в сентябре 1820 года приехал жить в Кишинев. В конце этого года он ездил в Киев и по возвращении в Кишинев окончил (в начале 1821 года) свою поэму «Кавказский пленник», начатую за несколько месяцев. Она написана под влиянием впечатлений, произведенных на поэтическое воображение Пушкина величественною горною природою, и лучшее достоинство ее составляют превосходные и живые картины Кавказа. Вместе с тем на ней отразилось влияние английского поэта Байрона, произведениями которого восхищалась тогда вся Европа. Пушкин был в то время еще так молод, что не удивительно, если и он подчинился общему увлечению. Характер в человеке образуется мало-помалу, житейскою опытностью, и Пушкин после «Кавказского пленника» писал еще несколько лет, увлекаясь влиянием Байрона. Байрон — поэт чрезвычайно грустный. В поэмах Пушкина, писанных в байроновском духе, также отразилась отчасти эта грусть, но гораздо слабее, нежели у английского поэта, потому что в сущности она противоречила природному расположению Пушкина, скорее склонного к беззаботности, любившего жизнь и ее удовольствия, доброго и снисходительного.

В Кишиневе же, в 1822 году, была написана и третья поэма Пушкина «Бахчисарайский фонтан», заключающая в себе воспоминания о Крыме, как воспоминания о Кавказе были высказаны поэтом в «Кавказском пленнике». С каким восторгом были приняты публикою оба эти произведения, можно судить по тому, что через них Кавказ и Крым стали знакомы

каждому русскому, между тем как прежде понятия о природе этих стран были почти у всех очень неопределенны.

В половине следующего года Пушкин был переведен на службу в Одессу, где прожил около года. Здесь он начал писать свой роман в стихах «Евгений Онегин», который окончен был уже через несколько лет. Мы скажем об этом произведении после. В Одессе также была написана поэма «Цыганы», в которой особенно хороши описания кочевой жизни цыган. Содержанием этому произведению послужили так же, как и прежним, воспоминания поэта: когда он ездил по Бессарабии, то часто имел случай близко присмотреться к цыганскому быту, а однажды даже посвятил этим наблюдениям несколько дней.

На юге России, именно в Кишиневе, написан Пушкиным также отрывок из поэмы, напечатанный под заглавием «Братья разбойники». Остальные части этой недописанной поэмы автор уничтожил, будучи ею недоволен; а напечатанный отрывок уцелел случайно в руках одного из приятелей автора. Содержание для рассказа взято из анекдота о том, что два колодника, скованные вместе, переплыли через реку. Если это и действительно было, то все-таки остается случаем почти невероятным; а поэтические произведения хороши тогда, когда, прочитав их, каждый говорит: «да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает».

Глава V

Возвращение Пушкина в село Михайловское, потом в Москву и Петербург — Трагедия «Борис Годунов». — Поэма «Полтава». — Роман в стихах «Евгений Онегин». — Путешествие в Арзерум. — Драматические произведения, — Женидьба Пушкина. — Он поселяется в Петербурге. — Повести в прозе: «Дубровский» и «Капитанская дочка», — Поэма «Медный всадник».

В июле 1824 года Пушкин был возвращен из Одессы в свое село Михайловское, где и прожил два года. Здесь-то, будучи почти постоянно одинок, он чрезвычайно много читал и писал. Время, проведенное в Михайловском, было в литературном отношении самую деятельною порою его жизни. Здесь написал он несколько глав «Евгения Онегина» и трагедию «Борис Годунов».

С этого времени в произведениях Пушкина уже не заметно увлечения Байроном, под влиянием которого задуманы прежние его поэмы. Напротив, Пушкин проникся особенною любовью к Шекспиру, величайшему из всех драматических писателей, и отчасти в подражание драмам Шекспира из английской истории написал своего «Бориса Годунова», в котором довольно близко держался рассказа Карамзина; «незабвенной памяти» Карамзина и посвящена эта драма. До сих пор она остается единственным в своем роде творением в русской литературе. Пушкин преимущественно на «Борисе Годунове» основывал свою славу, потому что очень долго и внимательно занимался этим произведением.

В сентябре 1826 года Пушкин был возвращен в Петербург, где с того времени и жил почти постоянно, уезжая, впрочем, каждый год на лето и осень в село Михайловское, где написал большую часть своих следующих произведений. Но в 1826 году из Михайловского он проехал прежде в Москву, где его встретили с восторгом и где он прожил до весны 1827 года. Семь лет уже не бывал он в светском обществе, и от долгой разлуки оно получило для него новую прелесть. Лето провел он в Петербурге, а на осень уединился в свое Михайловское.

В 1828 году написал он, менее, нежели в месяц, поэму «Полтава», существенным содержанием которой, как видно уже из заглавия, служит борьба Петра Великого Карлом XII. Уже прежде этого времени Пушкин с особенною любовью занимался изучением эпохи Петра Великого и еще в предыдущем (1827) году начал большой роман «Арап Петра Великого», в котором, как мы видели, главным лицом хотел выставить своего прадеда Ганнибала. Роман этот остался неоконченным. Позднее Пушкин написал поэму «Медный

всадник», посвященную прославлению памяти державного основателя Петербурга, и это лучшая из его поэм. Кроме того, в последние годы своей жизни он почти исключительно занимался собиранием материалов для истории Петра Великого.

В 1829 году он испросил разрешение сопровождать нашу армию в победоносном походе против персиян и, проехав через Тифлис, присоединился к войску на берегу Карса-Чая и видел взятие Арзерума. Памятником этой поездки осталось «Путешествие в Арзерум».

Осенью 1830 года Пушкин дописал «Онегина», который был начат за семь лет. Роман этот был издаваем в свет отдельными главами, и первые три главы, изданные в 1825 году, произвели необыкновенный восторг в публике. Многие так восхищались этим романом, что выучили его наизусть, Главное достоинство «Евгения Онегина», кроме превосходных стихов, состоит в том, что он чрезвычайно верно изображает нравы русского общества. Теперь мы имеем довольно много произведений, более или менее отличающихся этим достоинством, хорошая повесть из русских нравов ныне уже не редкость; но «Евгений Онегин» в свое время был неслыханною и небывалою редкостью. Мы говорили о содержании поэм, писанных Пушкиным до «Онегина»: могут ли они назваться картинами наших нравов? В одной из них изображаются черкесы и Кавказ, в другой — татары и Крым, третья — сказка о приключениях богатырей или витязей. Таковы же были и все почти произведения русской литературы до появления «Онегина». Они отличались от поэм Пушкина только тем, что были написаны не так хорошо, но так же мало изображали нравы и быт русского общества, как и «Кавказский пленник» или «Бахчисарайский фонтан». Исключение остается очень за немногими — за комедиями Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль» и за комедией Грибоедова «Горе от ума». Но «Горе от ума» тогда еще не было напечатано, а комедии Фонвизина не ценились по достоинству, между прочим, оттого, что язык их считался слишком устаревшим. Кроме того, роман Пушкина написан в повествовательной форме, которая гораздо легче для чтения, нежели драматическая. «Евгений Онегин» был первым романом, изображавшим — и превосходно изображавшим — современное русское общество. Успех его был, можно сказать, беспримечен в русской литературе, а влияние и на развитие литературы и на понятия публики огромно.

Осень этого года провел Пушкин в своем селе Болдине (Нижегородской губернии), где написал, кроме последних двух глав «Онегина», большую часть своих драматических произведений, именно: «Скупого рыцаря», «Каменного гостя», «Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери». В Болдине также были написаны повести, изданные под именем «Повестей Белкина». Они были первыми сочинениями в прозе, которые напечатал Пушкин, и уступают в достоинстве другим его прозаическим произведениям. «Скупой рыцарь» и «Сцены из рыцарских времен», написанные превосходно, изображают нравы средних веков, а «Каменный гость» — старинные испанские нравы. В этих произведениях верность всех подробностей тому веку и той стране, к которой относится действие, так же удивительна, как и поэтическое достоинство.

В начале 1831 года Пушкин, находившийся тогда в Москве, был чрезвычайно опечален известием о смерти самого любимого из его друзей, Дельвига.

18 февраля того же года он женился на Н. Н. Гончаровой. Брак был совершен в Москве, где жило семейство невесты. Он прожил в Москве до весны, потом повез свою супругу в Петербург и поселился на лето в Царском Селе.

С этого года начал он заниматься собиранием материалов для истории Петра Великого. Ему было разрешено пользоваться для того государственными архивами, и он деятельно работал в них. Смерть прервала обширный труд Пушкина, когда он еще только хотел приступить к обработке собранных фактов.

В 1833 году были написаны Пушкиным повести в прозе «Дубровский» и «Капитанская дочка» и драматическое произведение в стихах «Русалка», оставшееся после его смерти неоконченным. Содержание «Русалки» взято из сказочного мира, как содержание «Руслана и Людмилы»; но между тем как «Руслан и Людмила» только по заглавию относится к

старинной русской жизни, а на самом деле очень мало проникнута духом нашей старины, в «Русалке» многие сцены превосходно изображают старинную нашу жизнь в ее истинном виде.

«Дубровский» и особенно «Капитанская дочка» должны назваться лучшими из прозаических повестей Пушкина. «Дубровский» изображает быт наших помещиков в начале нынешнего столетия, а «Капитанская дочка» — эпоху пугачевского бунта, историею которого Пушкин занимался в это время.

В 1833 году написана Пушкиным одна из лучших его поэм — «Медный всадник», сюжетом которой послужило ужасное наводнение, бывшее в Петербурге 7 ноября 1824 года, а героем ее Пушкин сделал Петра Великого, памятник которого, «Медный всадник», в его картине наводнения величественно возвышается над волнами и умирляет их.

В 1836 году Пушкин начал издавать журнал «Современник», который по смерти основателя продолжал издаваться его друзьями, в том числе Жуковским, князем Вяземским и г. Плетневым, а впоследствии одним г. Плетневым, и который, под другою редакциею, существует до сих пор.

Глава VI

Смерть матери Пушкина. — Тоска овладевает поэтом. — Он желает умереть. — Дуэль. — Кончина Пушкина. — Пенсия его семейству. — Памятник его. — Характер Пушкина. — Его привычки.

В 1836 году Пушкин был огорчен кончиною матери Надежды Осиповны. Проводив ее тело в Святогорский Успенский монастырь (в Опочковском уезде Псковской губернии), он, как бы предчувствуя близкую смерть, условился с начальством монастыря, чтоб и ему была приготовлена могила рядом с тем местом, где положена была его мать.

В самом деле, он недолго пережил это время. В напечатанных до сих пор биографиях поэта не объяснены удовлетворительно причины, заставившие его не дорожить, даже тяготиться жизнью. Но вообще можно сказать, что ее последнее время было наполнено разными огорчениями, которых не в силах был переносить великий наш писатель, одаренный живым и нетерпеливым характером. Он сам, кажется, знал, что так или иначе, но скоро расстанется с жизнью. Рассказывают, между прочим, следующий случай, обнаруживающий, что уже за несколько месяцев до смерти Пушкин тосковал и чувствовал тяжесть на душе. Товарищи Пушкина по Лицею каждый год собирались 19 октября, в годовщину основания Лицея, чтобы вспоминать о прошлом и проводить этот день по-товарищески. Пушкин часто писал к этому собранию стихотворения. Так он сделал и в 1836 году, но не успел совершенно окончить и обделать своего стихотворения к 19 октября и в кругу собравшихся товарищей извинялся, что прочтет им неоконченную пьесу. Помолчав немного, он вынул лист бумаги и начал:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался...

Но голос его задрожал, и слезы показались на глазах при этих словах. Он положил бумагу на стол, ушел в угол комнаты и сидел там молча. Другой товарищ прочитал его последнюю лицейскую годовщину.

Душевные беспокойства тяготили Пушкина до такой степени, что он искал смерти и по одному недоразумению, которое можно было устранить, если бы Пушкин дорожил собою, вышел на дуэль с французским подданным Дантесом, жившим тогда в Петербурге. Дуэль была 27 января 1837 года. Пуля противника смертельно ранила нашего великого поэта, и после ужасных страданий Пушкин скончался 29 января, в три четверти третьего часа пополудни. Последние часы его жизни подробно описаны Жуковским.

Неожиданная и слишком ранняя смерть Пушкина поразила горестью всех, кто сколько-нибудь любил русскую литературу, которая лишилась величайшего из всех писателей, какие только являлись в ней до того времени. Печальная толпа день и ночь наполняла комнату, в которой стояло тело Пушкина; общая печаль соединила у гроба его людей всех состояний, всех званий, всех степеней образованности.

Согласно желанию покойного, тело его было, по высочайшему повелению, отвезено для погребения в Святогорский Успенский монастырь, где приготовил он себе могилу подле матери, и на похороны его было пожаловано императором 10 000 рублей ассигнациями.

Святогорский монастырь находится в четырех верстах от любимого Пушкиным села Михайловского. Над могилою его поставлен памятник из белого мрамора, на четырехугольном пьедестале, сделанном наподобие древних гробниц. На памятнике простая надпись: «Александр Сергеевич Пушкин». Площадка могилы, начинающая зарастать деревьями, находится близ церкви монастыря, по левую сторону алтаря.

По высочайшему повелению, долг Пушкина казне был снят с его имения; супруге поэта была назначена пенсия в 5 000 рублей ассигнациями и, кроме того, детям его в 6 000 рублей. На издание сочинений Пушкина пожаловано 50 000 рублей.

Нам остается сказать несколько слов о Пушкине как человеке. Основными чертами его характера были благородство, мягкость и живость. Благородство было дано ему природою и развито образованностью. Он хотел быть не только чист от всего, что признавал низким или дурным, но держать себя так, чтобы никто не имел права сказать о нем что-нибудь дурное, по его мнению. Потому каждая клевета глубоко огорчала его, как бы ни была глупа и нелепа. Даже причиною его смерти надобно считать то, что в последние годы недоброжелатели его начали распускать относительно его разные пошлые выдумки: щекотливое чувство собственного достоинства в нем было оскорбляемо, он не мог выносить клеветы с тем равнодушием, какого она заслуживает, и жизнь стала для него тяжела. Имея привычки лучшего общества, будучи светским человеком в полном смысле слова, он был очень обходителен и любезен в обществе; но в то же время, постоянно опасаясь несправедливых толков, он старался быть осторожным, и иногда это доводило его до некоторой скрытности даже с коротко знакомыми. Впрочем, при живости своего характера он не мог выдерживать этой роли и, забывая о ней, обнаруживал свои истинные мысли и чувства. Как все добрые и вместе живые люди, он был вспыльчив, но гнев скоро уступал место обыкновенной его кротости и мягкости. Все, что встречалось ему в жизни, чрезвычайно сильно действовало на его восприимчивую натуру; даже мелочи, на которые другой не обратил бы внимания, очень часто производили на него глубокое впечатление. О нем более, нежели о ком-нибудь, можно сказать, что он жил впечатлениями, которые приносила настоящая минута. Переходы от грусти к веселости, от уныния к беззаботности, от отчаяния к надежде были у него часты и очень быстры. В одном он оставался всегда неизменен — в привязанности к людям, которых раз полюбил; трудно найти человека, который был бы таким верным и преданным другом, как Пушкин.

Пушкин хотел быть и был светским человеком, но привычки его всегда были просты. И в жизни он не любил изысканности, принуждения, искусственности, как не любил их в литературе. Он не терпел ни картин, ни других украшений в своем кабинете, и когда, на время приезжая в Петербург, останавливался в гостинице, то выбирал скромную квартиру. До сих пор еще мы не имеем подробных рассказов о том, как любил он проводить время по возвращении из Южной России в Петербург; но что касается жизни его в Одессе и Кишиневе и потом в деревне, он сам в общих чертах рассказал ее в «Евгении Онегине». В Одессе и Кишиневе он искал развлечений в обществе, или бродил по окрестностям города, или читал, лежа в постели. В самом деле, он так любил резкие переходы из одной крайности в другую, что ему нравилось только или сильное физическое движение, или совершенный покой. Он даже писал первые главы «Евгения Онегина», лежа в постели. В деревне он вставал рано и тотчас же отправлялся в речку купаться, если дело было летом, а зимою перед завтраком брал ванну со льдом, потом все утро посвящал занятиям, читал или писал. После обеда, если

не было гостей, он один играл сам с собою на бильярде, а вечера проводил в нескончаемых разговорах с своею нянею. Страсть много ходить пешком не покидала его и в столице: так, иногда он ходил пешком из Петербурга в Царское Село; а когда он в последнее время жил на даче на Черной Речке и, занимаясь собиранием материалов для истории Петра Великого, должен был каждый день посещать архивы, то всегда ходил с дачи в город и возвращался на дачу пешком.

Вообще Пушкин был очень крепкого сложения. Это не мешало ему быть мнительным относительно здоровья, и в молодости он воображал себя страждущим чахоткою, воображал даже, что чувствует признаки аневризма в сердце.

Он не был красив лицом; только черные курчавые волосы и блестящие, полные огня и ума глаза его были хороши. Но когда его лицо одушевлялось, в увлечении разговора, он был прекрасен.

Заклучим эту характеристику чертою, относящеюся к литературе. Теперь великий писатель и у нас, как везде, гордится своим званием писателя. Не так было в то время, когда явился Пушкин, и до конца жизни сохранилась в нем привычка молодости — думать, что имя великого поэта не составляет его самого неоспоримого права на высокое место в обществе. Он даже не любил, чтобы его считали писателем, и это было довольно понятно, потому что только после него научилось русское общество высоко уважать поэтов. Но он любил ободрять молодых писателей, в которых замечал талант. Губер, один из хороших поэтов своего времени, сохранил для нас воспоминание о том, какое живое участие принял в нем Пушкин, когда узнал, что Губер, тогда бедный и неизвестный юноша, переводит «Фауста». Гоголь встретил в Пушкине первого ценителя своих произведений, и самым благородным образом выказался в дружбе к Гоголю характер Пушкина, с любовью ставшего советником молодому человеку, который должен был по его смерти стать его преемником в господстве над развитием русской литературы и русского общества.

Все, что мы знаем о Пушкине, как о человеке, заставляет любить его; а великие услуги, оказанные им русской литературе, и поэтические достоинства его произведений, по справедливому замечанию одного из литераторов, писавших о жизни Пушкина, заставляют признаться, что он имел полное право сказать о себе и своих творениях:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный;
К нему не зарастет народная тропа;
Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.
Нет! Весь я не умру: душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит,
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

...

...

И долго буду я народу тем любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Очерки гоголевского периода русской литературы

(Сочинения Николая Васильевича Гоголя. Четыре тома. Издание второе. Москва. 1855;

Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения

Чичикова или Мертвые души. Том второй (пять глав). Москва, 1855)

В настоящем издании даются только четыре статьи (1, 7, 8, 9). - (Ред.).

Статья первая

В древности, о которой сохраняются ныне лишь темные, неправдоподобные, но дивные в своей невероятности воспоминания, как о времени мифическом, как об «Астрее», по выражению Гоголя, — в этой глубокой древности был обычай начинать критические статьи размышлениями о том, как быстро развивается русская литература. Подумайте (говорили нам) — еще Жуковский был в полном цвете сил, как уж явился Пушкин; едва Пушкин совершил половину своего поэтического поприща, столь рано пресеченного смертью, как явился Гоголь — и каждый из этих людей, столь быстро следовавших один за другим, вводил русскую литературу в новый период развития, несравненно высшего, нежели все, что дано было предыдущими периодами. Только Двадцать пять лет разделяют «Сельское кладбище» от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Светлану» от «Ревизора», — и в этот краткий промежуток времени русская литература имела три эпохи, русское общество сделало три великие шага вперед по пути умственного и нравственного совершенствования. Так начинались критические статьи в древности.

Эта глубокая, едва памятная нынешнему поколению древность была не слишком давно, как можно предполагать из того, что в преданиях ее встречаются имена Пушкина и Гоголя. Но, — хотя мы отделены от нее очень немногими годами, — она решительно устарела для нас. В том уверяют нас положительные свидетельства почти всех людей, пишущих ныне о русской литературе — как очевидную истину, повторяют они, что мы уже далеко ушли вперед от критических, эстетических и т. п. принципов и мнений той эпохи; что принципы ее оказались односторонними и неосновательными, мнения — утрированными, несправедливыми; что мудрость той эпохи оказалась ныне суесловием, и что истинные принципы критики, истинно мудрые воззрения на русскую литературу — о которых не имели понятия люди той эпохи — найдены русскою критикою только с того времени, как в русских журналах критические статьи начали оставаться неразрезанными.

В справедливости этих уверений еще можно сомневаться, тем более что они высказываются решительно без всяких доказательств; но то остается несомненным, что в самом деле наше время значительно разнится от незапамятной древности, о которой мы говорили. Попробуйте, например, начать ныне критическую статью, как начинали ее тогда, соображениями о быстром развитии нашей литературы — и с первого же слова вы сами почувствуете, что дело не ладится. Сама собою представится вам мысль: правда, что за Жуковским явился Пушкин, за Пушкиным Гоголь, и что каждый из этих людей вносил новый элемент в русскую литературу, расширял ее содержание, изменял ее направление; но что нового внесено в литературу после Гоголя? И ответом будет: гоголевское направление до сих пор остается в нашей литературе единственным сильным и плодотворным. Если и можно припомнить несколько сносных, даже два или три прекрасных произведения, которые не были проникнуты идеею, сродною идее Гоголевых созданий, то, несмотря на свои художественные достоинства, они остались без влияния на публику, почти без значения в истории литературы. Да, в нашей литературе до сих пор продолжается гоголевский период — а ведь уж двадцать лет прошло со времени появления «Ревизора», двадцать пять лет с появления «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — прежде в такой промежуток сменялись два-три направления. Ныне господствует одно и то же, и мы не знаем, скоро ли мы будем в состоянии сказать: «начался для русской литературы новый период».

Из этого ясно видим, что в настоящее время нельзя начинать критических статей так, как начинали их в глубокой древности, — размышлениями о том, что едва мы успеваем привыкнуть к имени писателя, делающего своими сочинениями новую эпоху в развитии нашей литературы, как уже является другой, с произведениями, которых содержание еще глубже, которых форма еще самостоятельнее и совершеннее, — в этом отношении нельзя не

согласиться, что настоящее не похоже на прошедшее.

Чему же надобно приписать такое различие? Почему гоголевский период продолжается такое число лет, какого в прежнее время было достаточно для смены двух или трех периодов? Быть может, сфера гоголевских идей так глубока и обширна, что нужно слишком много времени для полной разработки их литературою, для усвоения их обществом, — условия, от которых, конечно, зависит дальнейшее литературное развитие, потому что, только поглотив и переварив предложенную пищу, можно алкать новой, только совершенно обеспечив себе пользование тем, что уже приобретено, должно искать новых приобретений, — быть может, наше самосознание еще вполне занято разработкою гоголевского содержания, не предчувствует ничего другого, не стремится ни к чему более полному и глубокому? Или пора было бы явиться в нашей литературе новому направлению, но оно не является вследствие каких-нибудь посторонних обстоятельств? Предлагая последний вопрос, мы тем самым даем повод думать, что считаем справедливым отвечать на него утвердительно; а говоря: «да, пора было бы начаться новому периоду в русской литературе», мы тем самым ставим себе два новых вопроса: в чем же должны состоять отличительные свойства нового направления, которое возникнет и отчасти хотя еще слабо, нерешительно, уже возникает из гоголевского направления? и какие обстоятельства задерживают быстрое развитие этого нового направления? Последний вопрос, если хотите, можно решить коротко — хотя бы, например, и сожалением о том, что не является новый гениальный писатель. Но ведь опять можно спросить: почему же он не является так долго? Ведь прежде являлись же, да еще как быстро один за другим — Пушкин, Грибоедов, Кольцов, Лермонтов, Гоголь... пять человек, почти в одно и то же время — значит, не принадлежат же они к числу явлений, столь редких в истории народов, как Ньютон или Шекспир, которых ждет человечество по несколько столетий. Пусть же теперь явился бы человек, равный хотя одному из этих пяти, он начал бы своими творениями новую эпоху в развитии нашего самосознания. Почему же нет ныне таких людей? Или они есть, но мы их не замечаем? Как хотите, а этого не следует оставлять без рассмотрения. Дело очень казусное.

А иной читатель, прочитав последние строки, скажет, качая головою: «не слишком-то мудрые вопросы; и где-то я читал совершенно подобные, да еще и с ответами, — где, дайте припомнить; ну, да, я читал их у Гоголя, и именно в следующем отрывке из подневных «Записок сумасшедшего»:

Декабря 5. Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? На престоле должен быть король. «Да», говорят, «нет короля» — не может статься, чтоб не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь скрывается в неизвестности. Он, статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

Читатель будет совершенно прав. Мы действительно пришли к тому же самому положению, в каком был Аксентий Иванович Поприщин. Дело только в том, чтобы объяснить это положение на основании фактов, представляемых Гоголем и новейшими нашими писателями, и переложить выводы с диалекта, которым говорят в Испании, на обыкновенный русский язык.

Критика вообще развивается на основании фактов, представляемых литературою, произведения которой служат необходимыми данными для выводов критики. Так, вслед за Пушкиным с его поэмами в байроновском духе и «Евгением Онегиным» явилась критика «Телеграфа», когда Гоголь приобрел господство над развитием нашего самосознания, явилась так называемая критика 1840-х годов... Таким образом, развитие новых критических убеждений каждый раз было следствием изменений в господствующем характере литературы. Понятно, что и наши критические воззрения не могут иметь притязаний ни на

особенную новизну, ни на удовлетворительную законченность. Они выведены из произведений, представляющих только некоторые предвестия, начатки нового направления в русской литературе, но еще не выказывающих его в полном развитии, и не могут содержать более того, что дано литературою. Она еще не далеко ушла от «Ревизора» и «Мертвых душ», и наши статьи не могут много отличаться по своему существенному содержанию от критических статей, явившихся на основании «Ревизора» и «Мертвых душ». По существенному содержанию, говорим мы, — достоинства развития зависят исключительно от нравственных сил пишущего и от обстоятельств; и если вообще должно сознаться, что наша литература в последнее время измельчала, то естественно предполагать, что и наши статьи не могут не носить того же характера, по сравнению с тем, что мы читали в старину. Но как бы то ни было, не совершенно же бесплодны были эти последние годы — наша литература приобрела несколько новых талантов, если и не создавших еще ничего столь великого, как «Евгений Онегин» или «Горе от ума», «Герой нашего времени» или «Ревизор» и «Мертвые души», то все же успевших уже дать нам несколько прекрасных произведений, замечательных самостоятельными достоинствами в художественном отношении и живым содержанием, — произведений, в которых нельзя не видеть залогов будущего развития. И если в наших статьях отразится хоть сколько-нибудь начало движения, выразившееся в этих произведениях, они будут не совершенно лишены предчувствия о более полном и глубоком развитии русской литературы. Удастся ли нам это — решат читатели. Но мы смело и положительно сами присудим своим статьям другое достоинство, очень важное: они порождены глубоким уважением и сочувствием к тому, что было благородного, справедливого и полезного в русской литературе и критике той глубокой древности, о которой говорили мы вначале, древности, которая, впрочем, только потому древность, что забыта отсутствием убеждений или кичливостью и в особенности мелочностью чувств и понятий, — нам кажется, что необходимо обратиться к изучению высоких стремлений, одушевлявших критику прежнего времени; без того, пока мы не вспомним их, не проникнемся ими, от нашей критики нельзя ожидать никакого влияния на умственное движение общества, никакой пользы для публики и литературы; и не только не будет она приносить никакой пользы, но и не будет возбуждать никакого сочувствия, даже никакого интереса, как не возбуждает его теперь. А критика должна играть важную роль в литературе, пора ей вспомнить об этом.

Читатели могут заметить в наших словах отголосок бессильной нерешительности, овладевшей русскою литературою в последние годы. Они могут сказать: «вы хотите движения вперед, и откуда же предлагаете вы почерпнуть силы для этого движения? Не в настоящем, не в живом, а в прошедшем, в мертвом. Неободрительны те воззвания к новой деятельности, которые ставят идеалы себе в прошедшем, а не в будущем. Только сила отрицания от всего прошедшего есть сила, создающая нечто новое и лучшее». Читатели отчасти будут правы. Но и мы не совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги; и что же делать, если наше время не выказывает себя способным держаться на ногах собственными силами? И что же делать, если этот падающий может опереться только на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них? По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми? Ведь если слово писателя одушевлено идеею правды, стремлением к благотворному действию на умственную жизнь общества, это слово заключает в себе семена жизни, оно никогда не будет мертво. И разве много лет прошло с того времени, когда эти слова были высказаны? Нет; и в них еще столько свежести, они еще так хорошо приходятся к потребностям настоящего времени, что кажутся сказанными только вчера. Источник не иссякает оттого, что, лишившись людей, хранивших его в чистоте, мы по небрежности, по легкомыслию допустили завалить его хламом пустословия. Отбросим этот хлам, — и мы увидим, что в источнике еще живым ключом бьет струя правды, могущая, хотя отчасти, утолить нашу жажду. Или мы не чувствуем жажды? Нам хочется сказать «чувствуем», — но мы боимся, что придется

прибавить: «чувствуем, только не слишком сильно».

* * *

Читатели могли видеть уже из того, что нами сказано, и увидят еще яснее из продолжения наших статей, что мы не считаем сочинения Гоголя безусловно удовлетворяющими всем современным потребностям русской публики, что даже в «Мертвых душах»{*} мы находим стороны слабые или, по крайней мере, недостаточно развитые, что, наконец, в некоторых произведениях последующих писателей мы видим залюги более полного и удовлетворительного развития идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий. И, однако же, мы осмелимся сказать, что самые безусловные поклонники всего, что написано Гоголем, превозносящие до небес каждое его произведение, каждую его строку, не сочувствуют так живо его произведениям, как сочувствуем мы, не приписывают его деятельности столь громадного значения в русской литературе, как приписываем мы. Мы называем Гоголя без всякого сравнения величайшим из русских писателей по значению. По нашему мнению, он имел полное право сказать слова, безмерная гордость которых смутила в свое время самых жарких его поклонников, и которых неловкость понятна и нам:

«Русь! Чего ты хочешь от *меня*? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем *все, что ни* есть в тебе, *обратило на меня полные ожидания очи?*»

{* Мы говорим здесь только о первом томе «Мертвых душ», как и везде, где не означено, что речь идет о втором. Кстати надобно сказать хотя несколько слов о втором томе, пока придет нам очередь разбирать его подробно, при обзоре сочинений Гоголя. Напечатанные ныне пять глав второго тома «Мертвых душ» уцелели только в черновой рукописи, и, без сомнения, в окончательной редакции имели совершенно не тот вид. в каком теперь мы читаем их — известно, что Гоголь работал туго, медленно и только после множества поправок и переделок успевал придать истинную форму своим произведениям. Это обстоятельство, значительно затрудняющее при решении вопроса: «ниже или выше первого тома «Мертвых душ» в художественном отношении было бы их продолжение, окончательно обработанное автором», не может еще заставить нас совершенно отказаться от суждения о том, потерял или сохранил Гоголь всю громадность своего таланта в эпоху нового настроения, выразившегося «Перепискою с друзьями». Но общий приговор о всем черновом эскизе, сохранившемся от второго тома, делается невозможным потому, что этот отрывок сам, в свою очередь, есть собрание множества отрывков, написанных в различное время, под влиянием различных настроений мысли, и, кажется, написанных по различным общим планам сочинения, наскоро перечеркнутых без пополнения вычеркнутых мест, — отрывков, разделенных пробелами, часто более значительными, нежели самые отрывки, наконец, потому, что многие из сохранившихся страниц были, как видно, отброшены самим Гоголем, как неудачные, и заменены другими, написанными совершенно вновь, из которых иные — быть может, в свою очередь также отброшенные — дошли до нас, другие — и, вероятно, большее число — погибли. Все это заставляет нас рассматривать каждый отрывок порознь и произносить суждение не о «пяти главах» «Мертвых душ», как целом, хотя и черновом эскизе, а только о различной степени достоинств различных страниц, не связанных ни единством плана, ни единством настроения, ни одинаковостью довольства ими в авторе, ни даже единством эпохи их сочинения. Многие из этих отрывков решительно так же слабы и по выполнению и особенно по мысли, как слабейшие места «Переписки с друзьями»; таковы особенно отрывки, в которых изображаются идеалы самого автора, например, дивный воспитатель Тентетникова, многие страницы отрывка о Костанжогло, многие страницы отрывка о Муразове; но это еще ничего не доказывает. Изображение идеалов было всегда слабейшею стороною в сочинениях Гоголя и, вероятно, не столько по односторонности таланта, которой многие приписывают эту неудачность, сколько именно по

силе его таланта, состоявшей в необыкновенно тесном родстве с действительностью: когда действительность представляла идеальные лица, они превосходно выходили у Гоголя, как, например, в «Тарасе Бульбе» или даже в «Невском проспекте» (лицо художника Пискарева). Если же действительность не представляла идеальных лиц или представляла в положениях, недоступных искусству — что оставалось делать Гоголю? Выдумывать их? Другие, привыкшие лгать, делают это довольно искусно; но Гоголь никогда не умел выдумывать, он сам говорит это в своей «Исповеди», и выдумки у него выходили всегда неудачны. В числе отрывков второго тома «Мертвых душ» много выдуманных, и нельзя не видеть, что они произошли от сознательного желания Гоголя внести в свое произведение отрадный элемент, о недостатке которого в его прежних сочинениях так многие и так много и громко кричали и жужжали ему в уши. Но мы не знаем, суждено ли было бы этим отрывкам уцелеть в окончательной редакции «Мертвых душ» — художественный такт, которого так много было у Гоголя, верно сказал бы ему при просмотре сочинения, что эти места слабы; и мы не имеем права утверждать, что стремление разлить отрадный колорит по сочинению пересилило бы тогда художническую критику в авторе, который был и неумолимым к себе и пронизательным критиком. Во многих случаях эта фальшивая идеализация происходит, по-видимому, чисто от произвола автора; но другие отрывки обязаны происхождением искреннему, произвольному, хотя и несправедливому убеждению. К числу таких мест относятся по преимуществу монологи Костанжогло, представляющие смесь правды и фальши, верных замечаний и узких, фантастических выдумок; эта смесь удивит своею странною пестротой каждого, кто не знаком коротко с мнениями, которые часто встречались в некоторых из наших журналов и принадлежат людям, с которыми Гоголь был в коротких отношениях. Чтобы охарактеризовать эти мнения каким-нибудь именем, мы, держась правила: *nomina sunt odiosa*³³, назовем только покойного Загоскина, — многие страницы второго тома «Мертвых душ» кажутся проникнуты его духом. Мы не думаем, чтобы именно Загоскин имел хотя малейшее влияние на Гоголя, и даже не знаем, в каких отношениях они были между собою. Но мнения, проникающие насквозь последние романы Загоскина и имеющие лучшим из своих многочисленных источников простодушную и недалёковидную любовь к патриархальности, господствовали между многими ближайшими к Гоголю людьми, из которых иные отличаются большим умом, а другие начитанностью или даже ученостью, которая могла обольстить Гоголя, справедливо жалующегося, что не получил образования, соответственного его таланту, и, можно прибавить, великим силам его нравственного характера. Их-то мнениям, конечно, подчинился Гоголь, изображая своего Костанжогло или рисуя следствия, происшедшие от слабости Тентетникова (стр. 24–26). Подобные места, встречавшиеся в «Переписке с друзьями», более всего содействовали осуждению, которому подвергся за нее Гоголь. Впоследствии мы постараемся рассмотреть, до какой степени его следует осуждать за то, что он поддался этому влиянию, от которого, с одной стороны, должен был предохранять его пронизательный ум, но против которого, с другой стороны, не имел он достаточно твердой опоры, ни в прочном современном образовании, ни в предостережениях со стороны людей, прямо смотрящих на вещи — потому что, к сожалению, судьба или гордость держала Гоголя всегда далеко от таких людей. Сделав эти оговорки, внушенные не только глубоким уважением к великому писателю, но еще более чувством справедливого снисхождения к человеку, окруженному неблагоприятными для его развития отношениями, мы не можем, однако же, не сказать прямо, что понятия, внушившие Гоголю многие страницы второго тома «Мертвых душ», недостойны ни его ума, ни его таланта, ни особенно его характера, в котором, несмотря на все противоречия, донныне остающиеся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы должны сказать, что на многих страницах второго тома, в противоречие с другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатом закоснелости; впрочем, мы

³³ Имена ненавистны, — то есть не будем называть имен (*лат.*).

уверены, что он принимал эту закослелость за что-то доброе, обольщаясь некоторыми сторонами ее, с односторонней точки зрения могущими представляться в поэтическом или кротком виде и закрывать глубокие язвы, которые так хорошо видел и добросовестно изобличал Гоголь в других сферах, более ему известных, и которых не различил в сфере действий Костанжогло, ему не столь хорошо знакомой. В самом деле, второй том «Мертвых душ» изображает быт, которого Гоголь почти не касался в прежних своих сочинениях. Прежде у него на первом плане постоянно были города и их жители, преимущественно чиновники и их отношения; даже в первом томе «Мертвых душ», где является так много помещиков, они изображаются не в своих деревенских отношениях, а только как люди, входящие в состав так называемого образованного общества, или чисто с психологической стороны. Коснуться не вскользь сельских отношений Гоголь вздумал только во втором томе «Мертвых душ», и новость его на этом поприще может до некоторой степени объяснить его заблуждения. Быть может, при ближайшем изучении предмета многие из набросанных им картин совершенно изменили бы свой колорит в окончательной редакции. Так или нет, но во всяком случае мы имеем положительные основания утверждать, что каковы бы ни были некоторые эпизоды во втором томе «Мертвых душ», преобладающий характер в этой книге, когда б она была окончена, остался бы все-таки тот же самый, каким отличается и ее первый том и все предыдущие творения великого писателя. В этом ручаются нам первые же строки изданных ныне глав:

«Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? — Что ж делать, если уже таковы свойства сочинителя, и, заболев собственным несовершенством, уже не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства?..»

Очевидно, что это место, служащее программой второму тому, написано уже тогда, как Гоголь был сильно занят толками о мнимой односторонности его произведений; когда он, считая эти толки справедливыми, уже объяснял свою мнимую односторонность собственными нравственными слабостями, — одним словом, оно принадлежит эпохе «Переписки с друзьями»; и однако же программой художника остается, как видим, прежняя программа «Ревизора» и первого тома «Мертвых душ». Да, Гоголь-художник оставался всегда верен своему призванию, как бы ни должны мы были судить о переменах, происшедших с ним в других отношениях. И действительно, каковы бы ни были его ошибки, когда он говорит о предметах для него новых, — но нельзя не признаться, перечитывая уцелевшие главы второго тома «Мертвых душ», что едва он переходит в близко знакомые ему сферы отношений, которые изображал в первом томе «Мертвых душ», как талант его является в прежнем своем благородстве, в прежней своей силе и свежести. В уцелевших отрывках есть очень много таких страниц, которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам Гоголь, которые приводят в восторг своим художественным достоинством, и, что еще важнее, правдивостью и силою благородного негодования. Не перечисляем этих отрывков, потому что их слишком много; укажем только некоторые: разговор Чичикова с Бетрищевым о том, что все требуют себе поощрения, даже воры, и анекдот, объясняющий выражение: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», описание мудрых учреждений Кашкарева, судопроизводство над Чичиковым и гениальные поступки опытного юрисконсульта; наконец, дивное окончание отрывка — речь генерал-губернатора, ничего подобного которой мы не читали еще на русском языке, даже у Гоголя. Эти места человека самого предубежденного против автора «Переписки с друзьями» убедят, что писатель, создавший «Ревизора» и первый том «Мертвых душ», до конца жизни остался верен себе как художник, несмотря на то, что как мыслитель мог заблуждаться; убедят, что высокое благородство сердца, страстная любовь к правде и благу всегда горели в душе его, что страстную ненавистью ко всему низкому и злему до конца жизни кипел он. Что же касается чисто юмористической стороны его таланта, каждая страница, даже наименее удачная, представляет доказательства, что в этом отношении Гоголь всегда

оставался прежним, великим Гоголем. Из больших отрывков, проникнутых юмором, всеми читателями второго тома «Мертвых душ» были замечены удивительные разговоры Чичикова с Тентетниковым, с генералом Бетрищевым, превосходно очерченные характеры Бетрищева, Петра Петровича Петуха и его детей, многие страницы из разговоров Чичикова с Платоновыми, Костанжогло, Кашкаревым и Хлобуевым, превосходные характеры Кашкарева и Хлобуева, прекрасный эпизод поездки Чичикова к Леницыну, и, наконец, множество эпизодов из последней главы, где Чичиков попадает под суд. Одним словом, в этом ряде черновых отрывков, которые нам остались от второго тома «Мертвых душ», есть слабые, которые, без сомнения, были бы переделаны или уничтожены автором при окончательной отделке романа, но в большей части отрывков, несмотря на их неотделанность, великий талант Гоголя является с прежнею своею силою, свежестью, с благородством направления, врожденным его высокой натуре.}

Он имел полное право сказать это, потому что как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества еще далеко не так важно, как влияние многих других писателей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России.

Прежде всего скажем, что Гоголя должно считать отцом русской прозаической литературы, как Пушкина — отцом русской поэзии. Спешим прибавить, что это мнение не выдуманно нами, а только извлечено из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной ровно двадцать лет тому назад («Телескоп», 1835, часть XXXVI) и принадлежащей автору «Статей о Пушкине». Он доказывает, что наша повесть, начавшаяся очень недавно, в двадцатых годах нынешнего столетия, первым истинным представителем своим имела Гоголя. Теперь, после того как явились «Ревизор» и «Мертвые души», надобно прибавить, что точно так же Гоголь был отцом нашего романа (в прозе) и прозаических произведений в драматической форме, то есть вообще русской прозы (не надобно забывать, что мы говорим исключительно об изящной литературе). В самом деле, истинным началом каждой стороны народной жизни надобно считать то время, когда эта сторона раскрывается заметным образом, с некоторою энергиею, и прочным образом утверждает за собою место в жизни, — все предшествующие отрывочные, исчезающие без следа, эпизодические проявления должны быть считаемы только порывами к осуществлению себя, но еще не действительным существованием. Так, превосходные комедии Фонвизина, не имевшие влияния на развитие нашей литературы, составляют только блестящий эпизод, предвещающий появление русской прозы и русской комедии. Повести Карамзина имеют значение только для истории языка, но не для истории оригинальной русской литературы, потому что русского в них нет ничего, кроме языка. Притом же и они скоро были подавлены наплывом стихов. При появлении Пушкина русская литература состояла из одних стихов, не знала прозы и продолжала не знать ее до начала тридцатых годов. Тут — двумя или тремя годами раньше «Вечеров на хуторе», наделал шума «Юрий Милославский», — но надобно только прочесть разбор этого романа, помещенный в «Литературной газете», и мы осязательно убедимся, что если «Юрий Милославский» нравился читателям, не слишком требовательным относительно художественных достоинств, то для развития литературы он и тогда не мог считаться важным явлением, — и действительно, Загоскин имел только одного подражателя — себя самого. Романы Лажечникова имели более достоинства, — но не столько, чтобы утвердить право литературного гражданства за прозою. Затем остаются романы Нарезного, в которых несколько эпизодов, имеющих несомненное достоинство, служат только к тому, чтобы ярче выставить неуклюжесть рассказа и несообразность сюжетов с русскою жизнью. Они, подобно Ягубу Скупалову, более походят на лубочные изделия, нежели на произведения литературы, принадлежащей образованному обществу. Русская повесть в прозе имела более даровитых деятелей, — между прочими Марлинского,

Полевого, Павлова. Но характеристику их представляет статья, о которой мы говорили выше, и для нас довольно будет сказать, что повести Полевого признавались самыми лучшими из всех, существовавших до Гоголя, — кто забыл их и хочет составить себе понятие о их отличительных качествах, тому советую прочесть превосходную пародию, помещенную некогда в «Отечественных записках» (если не ошибаемся, 1843 г.) — «Необыкновенный поединок», а для тех, кому не случится иметь ее под руками, помещаем в выноске характеристику лучшего из беллетристических произведений Полевого — «Аббадонны». Если таково было лучшее из прозаических произведений, то можно себе вообразить, каково было достоинство всей прозаической отрасли тогдашней литературы{*}. Во всяком случае, повести были несравненно лучше романов, и если автор статьи, о которой мы упоминали, подробно обзрев все существовавшие до Гоголя повести, приходит к заключению, что, собственно говоря, «у нас еще не было повести» до появления «Вечеров на хуторе» и «Миргорода», то еще несомненное, что у нас не существовало романа. Были только попытки, доказывавшие, что русская литература готовится иметь роман и повесть, обнаруживавшие в ней стремление к произведению романа и повести. Относительно драматических произведений нельзя сказать и этого: прозаические пьесы, дававшиеся на театре, были чужды всяких литературных качеств, как водевили, переделываемые ныне с французского.

{* «Г. Полевой хотел выразить в своем романе идею противоречия поэзии с прозою жизни. Для этого он представил молодого поэта в борьбе с сухим, эгоистическим и прозаическим обществом. Но... во-первых, его поэт, этот Рейхенбах, есть то, что немцы называют «прекрасная душа» (schöne Seele). Слова «прекрасная душа» имели у немцев то благородное значение, которое имеют они до сих пор у нас. Но теперь они у немцев употребляются как выражение чего-то комического, смешного. Так точно, еще недавно слова «чувствительность» и «чувствительный» употреблялись у нас для отличия людей с чувством и душою от людей грубых, животных, лишенных души и чувства; а теперь употребляются для выражения слабого, расплывающегося, растленного и приторного чувства. Выражение «прекрасная душа» получило теперь у немцев значение чего-то доброго, теплого, но вместе с тем детского, бессильного, фразерского и смешного. Рейхенбах г. Полевого есть полный представитель такой «прекрасной души», — и он тем смешнее, что почтенный сочинитель нисколько не думал издеваться над ним, но от чистого сердца убежден, что представил нам в своем Рейхенбахе истинного поэта, душу глубокую, пламенную, могучую. И потому его Рейхенбах есть что-то уродливое, смешное, не образ и не фигура, а какая-то каракулька, начерченная на серой и толстой бумаге дурно очинённым пером. В нем нет ничего поэтического: он просто добрый малый, — и весьма недалекий малый, — а между тем, автор поставил его на весьма высокие ходули. Люди оскорбляют его не истинными своими недостатками, а тем, что не мечтают, когда надо работать, и не восхищаются вечернею зарею, когда надо ужинать. Автор даже и не намекнул на истинные противоречия поэзии с прозою жизни, поэта с толпою.

Рейхенбах любит Генриетту, простую девушку без образования, без эстетического чувства, но хорошенькую, добренькую и молоденькую. Кто не был мальчиком и не влюблялся таким образом, и в кузину, и в соседку, и в подругу по детским играм? Но у кого же такая любовь и продолжалась за ту эпоху, когда воротнички а l'enfant меняются на галстух? Рейхенбах думает об этом иначе, и во что бы то ни стало хочет обожать Генриетту до гробовой доски. Она тоже не прочь от этого. Но в их отношениях нет ничего поэтического, невыговариваемого автором, но понятного для читателей. Вся любовь их испаряется в словах, в дерзких поцелуях со стороны поэта и в «ах, что вы это?» со стороны хорошенькой мешаночки. Вдруг Рейхенбаху предстает Леонора. Это актриса, — femme étampirée нашего времени, жрица искусства и любви. Любовница министра, дряхлого, развратного старичишки, она томится жаждою любви глубокой и возвышенной. В Рейхенбахе находит она свой идеал. И вот, вы думаете, что она перерождается, как баядера

Гете, — ничего не бывало! Она только говорит о перерождении, о восстании, о пламени любви своей. Вы думаете, что Рейхенбах оставляет для этой сильной, пламенной и страстной души, столь обаятельной для юношей, — оставляет для нее свою ребяческую любвишку к добренькой кухарочке — ничего не бывало! Он только колеблется между тою и другою, и в этом колебании выказывается вся слабость его слабенькой натуры. Наконец, Генриетта решительно побеждает, особенно потому, что Леонора впадает в бешенство и неистовствует, как пьяная гетера, вместо того, чтоб представлять из себя плачущую слезами любви и раскаяния падшую пери. И чем же оканчивается любовь нашего великого поэта? а вот чем, послушайте: «Генриетта ни за что не хотела соглашаться с Вильгельмом, который уверял, что с этих пор он перестанет писать стихи. На усиленные просьбы Генриетты не оставлять стихов, он отвечал, смеясь, что готов писать, но — только колыбельные песни для своих детей. Тут нескромному Вильгельму зажали рот маленькою ручкою, краснели и не знали куда деваться, пока другие собеседники смеялись громко...» О, честное компанство добрых мещан! О, великий поэт, вышедший из маленькой фантазии! Видите ли, как ложная, натянутая идеальность сходитя наконец с пошлою прозою жизни, мирится с нею на конфетных страстишках, картофельных нежностях и плоских шутках?.. Это не то, что на человеческом языке называется «любить», а то, что на мещанском языке называется «амуриться»...

Вообще, многое в романе г. Полевого может быть прочтено не без удовольствия, а иное и с удовольствием, но целое странно: теперь оно разве усыпит сладко, и уж никого не увлечет. Когда, рисуя смешное, автор знает, что он рисует смешное, — картина может быть великим созданием; но когда автор изображает нам Дон-Кихота, думая изображать Александра Македонского или Юлия Цезаря, картина выйдет суздальская, лубочная литография с изображением райской птицы и наивною подписью.

Райская птица Сирен,
Глас ее в пении зело силен:
Когда господа воспевают,
Сама себя позабывает...

Поэзия, поэт, любовь, женщина, жизнь, их взаимные отношения, — все это в «Аббаддонне» похоже на цветы, сделанные из старых тряпок...» («Отеч[ественные] зап[иски]», 1841, том XV библиограф[ическая] хроника.)}

Таким образом, проза в русской литературе занимала очень мало места, имела очень мало значения. Она стремилась существовать, но еще не существовала.

В строгом смысле слова, литературная деятельность ограничивалась исключительно стихами. Гоголь был отцом русской прозы, и не только был отцом ее, но быстро доставил ей решительный перевес над поэзиею, перевес, сохраняемый ею до сих пор. Он не имел ни предшественников, ни помощников в этом деле. Ему одному проза обязана и своим существованием, и всеми своими успехами.

«Как! не имел предшественников или помощников? Разве можно забывать о прозаических произведениях Пушкина?»

— Нельзя, но, во-первых, они далеко не имеют того значения в истории литературы, как его сочинения, писанные стихами: «Капитанская дочка» и «Дубровский» — повести в полном смысле слова превосходные; но укажите, в чем отразилось их влияние? где школа писателей, которых было бы можно назвать последователями Пушкина как прозаика? А литературные произведения бывают одолжены значением не только своему художественному достоинству, но также (или даже еще более) своему влиянию на развитие общества или, по крайней мере, литературы. Но главное — Гоголь явился прежде Пушкина как прозаика. Первыми из прозаических произведений Пушкина (если не считать незначительных отрывков) были напечатаны «Повести Белкина» — в 1831 году; но все

согласятся, что эти повести не имели большого художественного достоинства. Затем, до 1836 года, была напечатана только «Пиковая дама» (в 1834 году) — никто не сомневается в том, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишет ей особенной важности. Между тем, Гоголем были напечатаны «Вечера на хуторе» (1831–1832), «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1833), «Миргород» (1835) — то есть все, что впоследствии составило две первые части его «Сочинений»; кроме того, в «Арабесках» (1835) — «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего». В 1836 году Пушкин напечатал «Капитанскую дочку», — но в том же году явился «Ревизор» и, кроме того, «Коляска», «Утро делового человека» и «Нос». Таким образом, большая часть произведений Гоголя, и в том числе «Ревизор», были уже известны публике, когда она знала еще только «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку» («Арап Петра Великого», «Летопись села Горохина», «Сцены из рыцарских времен» были напечатаны уже в 1837 году, по смерти Пушкина, а «Дубровский» только в 1841) — публика имела довольно времени проникнуться произведениями Гоголя прежде, нежели познакомилась с Пушкиным как прозаиком.

В общем теоретическом смысле мы не думаем отдавать предпочтение прозаической форме над поэтической, или наоборот — у каждой из них есть свои несомненные преимущества; но что касается собственно русской литературы, то, смотря на нее с исторической точки зрения, нельзя не признать, что все предыдущие периоды, когда преобладала поэтическая форма, далеко уступают в значении и для искусства и для жизни последнему, гоголевскому периоду, периоду господства прозы. Что принесет литературе будущее, мы не знаем; мы не имеем оснований отказывать нашей прозе в великой будущности; но должны сказать, что до настоящего времени прозаическая форма была и продолжает быть для нас гораздо плодотворнее стихотворной, что Гоголь дал существование этой важнейшей для нас отрасли литературы, и единственно он доставил ей тот решительный перевес, который она сохраняет до настоящего времени и, по всей вероятности, сохранит еще надолго.

Нельзя сказать, напротив, того, чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении содержания, которое называют сатирическим. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы. Не будем делать распространений на эту общепризнанную истину, не будем говорить о Кантемире, Сумарокове, Фонвизине и Крылове, но должны упомянуть о Грибоедове. «Горе от ума» имеет недостатки в художественном отношении, но остается до сих пор одною из самых любимых книг, потому что представляет ряд превосходных сатир, изложенных то в форме монологов, то в виде разговоров. Почти столь же важно было влияние Пушкина как сатирического писателя, каким он явился преимущественно в «Онегине». И, однако же, несмотря на высокие достоинства и огромный успех комедии Грибоедова и романа Пушкина, должно приписать исключительно Гоголю заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического — или, как справедливее будет назвать его, критического направления³⁴. Несмотря на восторг, возбужденный его комедиею, Грибоедов

³⁴ В новейшей науке критикою называется не только суждение о явлениях в одной отрасли народной жизни — искусства, литературы или науки, но вообще суждение о явлениях жизни, произносимое на основании понятий, до которых достигло человечество, и чувств, возбуждаемых этими явлениями при сличении их с требованиями разума. Понимая слово «критика» в этом обширнейшем смысле, говорят: «Критическое направление в изящной литературе, в поэзии» — этим выражением обозначается направление, до некоторой степени сходное с «аналитическим направлением, анализом» в литературе, о котором так много говорили у нас. Но различие состоит в том, что «аналитическое направление» может изучать подробности житейских явлений и воспроизводить их под влиянием самых разнородных стремлений, даже без всякого стремления, без мысли и смысла; а «критическое направление» при подробном изучении и воспроизведении явлений жизни, проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных явлений с нормою разума и благородного чувства. Потому «критическое направление» в литературе есть одно из частных видоизменений «аналитического направления» вообще. Сатирическое направление отличается от критического, как его крайность, не заботящаяся об объективности картин и допускающая утрировку.

не имел последователей, и «Горе от ума» осталось в нашей литературе одиноким, отрывочным явлением, как прежде комедии Фонвизина и сатиры Кантемира, осталось без заметного влияния на литературу, как басни Крылова³⁵. Что было тому причиной? Конечно, господство Пушкина и плеяды поэтов, его окружавшей. «Горе от ума» было произведением настолько блестящим и живым, что не могло не возбудить общего внимания; но гений Грибоедова не был так велик, чтобы одним произведением приобрести с первого же раза господство над литературой. Что же касается до сатирического направления в произведениях самого Пушкина, то оно заключало в себе слишком мало глубины и постоянства, чтобы производить заметное действие на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало в общем впечатлении чистой художественности, чуждой определенного направления, — такое впечатление производят не только все другие лучшие произведения Пушкина — «Каменный гость», «Борис Годунов», «Русалка» и проч., но и самый «Онегин»: — у кого есть сильное предрасположение к критическому взгляду на явления жизни, только на того произведут влияние беглые и легкие сатирические заметки, попадающиеся в этом романе; — читателями, не предрасположенными к ним, они не будут замечены, потому что действительно составляют только второстепенный элемент в содержании романа.

Таким образом, несмотря на проблески сатиры в «Онегине» и блестящие филиппики «Горя от ума», критический элемент играл в нашей литературе до Гоголя второстепенную роль. Да и не только критического, но и почти никакого другого определенного элемента нельзя было отыскать в ее содержании, если смотреть на общее впечатление, производимое всею массою сочинений, считавшихся тогда хорошими или превосходными, а не останавливаясь на немногих исключениях, которые, являясь случайными, одинокими, не производили заметной перемены в общем духе литературы. Ничего определенного не было в ее содержании, — сказали мы, — потому что в ней почти вовсе не было содержания. Перечитывая всех этих поэтов — Языкова, Козлова и проч., дивишься тому, что на столь бедные темы, с таким скудным запасом чувств и мыслей, успели они написать столько страниц, — хотя и страниц написано ими очень немного — приходишь, наконец, к тому, что спрашиваешь себя: да о чем же они писали? и писали ли они хотя о чем-нибудь, или просто ни о чем? Многих не удовлетворяет содержание пушкинской поэзии, но у Пушкина было во сто раз больше содержания, нежели у его сподвижников, взятых вместе. Форма была у них почти все, под формою не найдете у них почти ничего.

Таким образом, за Гоголем остается заслуга, что он первый дал русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направлении, как критическое. Прибавим, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью. За периодом чистых подражаний и переделок, какими были почти все произведения нашей литературы до Пушкина, следует эпоха творчества несколько более свободного. Но произведения Пушкина все еще очень близко напоминают или Байрона, или Шекспира, или Вальтера Скотта. Не говорим уже о байроновских поэмах и «Онегине», которого несправедливо называли подражанием «Чайльд-Гарольду», но который, однако же, действительно не существовал бы без этого байроновского романа; но точно так же «Борис Годунов» слишком заметно подчиняется историческим драмам Шекспира, «Русалка» — прямо возникла из «Короля Лира» и «Сна в летнюю ночь», «Капитанская дочка» — из романов Вальтера Скотта. Не говорим уже о других писателях той эпохи, — их зависимость от того или другого из европейских поэтов слишком ярко бросается в глаза. То ли теперь? — повести г. Гончарова, г. Григоровича, Л.Н.Т., г. Тургенева, комедии г. Островского так же мало наводят вас на мысль о заимствовании, так же мало напоминают вам что-либо чужое, как роман Диккенса, Теккерея, Жоржа Санда. Мы не думаем делать сравнения между этими

³⁵ Мы говорим о направлении литературы, о ее духе, стремлениях, а не о развитии литературного языка — в последнем отношении, как уже тысячу раз было замечено в наших журналах, Крылов должен быть считаем одним из предшественников Пушкина.

писателями по таланту или значению в литературе; но дело в том, что г. Гончаров представляется вам только г. Гончаровым, только самим собою, г. Григорович также, каждый другой даровитый наш писатель также, — ничья литературная личность не представляется вам двойником какого-нибудь другого писателя, ни у кого из них не выглядывал из-за плеч другой человек, подсказывающий ему, — ни о ком из них нельзя сказать «Северный Диккенс», или «Русский Жорж Санд», или «Теккерей северной Пальмиры». Только Гоголю мы обязаны этою самостоятельностью, только его творения своею высокою самобытностью подняли наших даровитых писателей на ту высоту, где начинается самобытность.

Впрочем, как ни много почетного и блестящего в титуле «основатель плодотворнейшего направления и самостоятельности в литературе», — но этими словами еще не определяется вся великость значения Гоголя для нашего общества и литературы. Он пробудил в нас сознание о нас самих — вот его истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке. Рассмотрение значения Гоголя в этом отношении должно быть главным предметом наших статей, — дело очень важное, которое, быть может, признали бы мы превосходящим наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже исполнена, так что нам, при разборе сочинений самого Гоголя, остается почти только приводить в систему и развивать мысли, уже высказанные критикою, о которой мы говорили в начале статьи; — дополнений, собственно нам принадлежащих, будет немного, потому что, хотя мысли, нами развиваемые, были высказываемы отрывочно, по различным поводам, однако же, если свести их вместе, то не много останется пробелов, которые нужно дополнить, чтобы получить всестороннюю характеристику произведений Гоголя. Но чрезвычайное значение Гоголя для русской литературы еще не совершенно определяется оценкою его собственных творений: Гоголь важен не только как гениальный писатель, но вместе с тем и как глава школы — единственной школы, которою может гордиться русская литература, — потому что ни Грибоедов, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Кольцов не имели учеников, которых имена были бы важны для истории русской литературы. Мы должны убедиться, что вся наша литература, насколько она образовалась под влиянием нечужеземных писателей, примыкает к Гоголю, и только тогда представится нам в полном размере все его значение для русской литературы. Сделав этот обзор всего содержания нашей литературы в ее настоящем развитии, мы будем в состоянии определить, что она уже сделала и чего мы должны еще ожидать от нее, — какие залогов будущего представляет она и чего еще недостает ей, — дело интересное, потому что состоянием литературы определяется состояние общества, от которого всегда она зависит.

Как ни справедливы мысли о значении Гоголя, высказанные здесь, — мы можем, несколько не стесняясь опасениями самохвальства, называть их совершенно справедливыми, потому что они высказаны в первый раз не нами, и мы только усвоили их, следовательно, самолюбие наше не может ими гордиться, оно остается совершенно в стороне, — как ни очевидна справедливость этих мыслей, но найдутся люди, которым покажется, что мы слишком высоко ставим Гоголя. Это потому, что до сих пор еще остается много людей, восстающих против Гоголя. Литературная судьба его в этом отношении совершенно различна от судьбы Пушкина. Пушкина давно уже все признали великим, неоспоримо великим писателем; имя его — священный авторитет для каждого русского читателя и даже не читателя, как, например, Вальтер Скотт авторитет для каждого англичанина, Ламартин и Шатобриан для француза или, чтобы перейти в более высокую область, Гете для немца. Каждый русский есть почитатель Пушкина, и никто не находит неудобным для себя признавать его великим писателем, потому что поклонение Пушкину не обязывает ни к чему, понимание его достоинств не обуславливается никакими особенными качествами характера, никаким особенным настроением ума. Гоголь, напротив, принадлежит к числу тех писателей, любовь к которым требует одинакового с ними настроения души, потому что их деятельность есть служение определенному направлению нравственных стремлений. В

отношении к таким писателям, как, например, к Жоржу Санду, Беранже, даже Диккенсу и отчасти Теккерею публика разделяется на две половины: одна, не сочувствующая их стремлениям, негодует на них; но та, которая сочувствует, до преданности любит их как представителей ее собственной нравственной жизни, как адвокатов ее собственных горячих желаний и задушевнейших мыслей. От Гете никому не было ни тепло, ни холодно; он равно приветлив и утонченно деликатен к каждому — к Гете может являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уважение — уступчивый, мягкий и в сущности довольно равнодушный ко всему и ко всем, хозяин никого не оскорбит не только явною суровостью, даже ни одним щекотливым намеком. Но если речи Диккенса или Жоржа Санда служат утешением или подкреплением для одних, то уши других находят в них много жесткого и в высшей степени неприятного для себя. Эти люди живут только для друзей; они не держат открытого стола для каждого встречного и поперечного; иной, если сядет за их стол, будет давиться каждым куском и смущаться от каждого слова, и, убежав из этой тяжелой беседы, вечно будет он «поминать лихом» сурового хозяина. Но если у них есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда «незлюбивый поэт» не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против всего гнусного «проповедует любовь» к добру и правде. Кто гладит по шерсти всех и всё, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан.

Гоголю многим обязаны те, которые нуждаются в защите; он стал во главе тех, которые отрицают злое и пошлое. Потому он имел славу возбудить во многих вражду к себе. И только тогда будут все единогласны в похвалах ему, когда исчезнет все пошлое и низкое, против чего он боролся!

Мы сказали, что наши слова о значении произведений самого Гоголя будут только в немногих случаях дополнением, а по большей части только сводом и развитием воззрений, выраженных критикою гоголевского периода литературы, центром которой были «Отечественные записки», главным деятелем тот критик, которому принадлежат «Статьи о Пушкине». Таким образом, эта половина наших статей будет иметь по преимуществу исторический характер. Но историю надобно начинать с начала, — и прежде, нежели будем мы излагать мнения, которые принимаем, должны мы представить очерк мнений, высказанных относительно Гоголя представителями прежних литературных партий. Это тем более необходимо, что критика гоголевского периода развивала свое влияние на публику и литературу в постоянной борьбе с этими партиями, что отголоски суждений о Гоголе, высказанных этими партиями, слышатся еще до сих пор, — и, наконец, потому, что этими суждениями отчасти объясняются «Выбранные места из переписки с друзьями» — этого столь замечательного, и по-видимому, странного факта в деятельности Гоголя. Мы должны будем касаться этих суждений, и нужно знать их происхождение, чтобы надлежащим образом оценить степень их добросовестности и справедливости. Но, чтобы не слишком растянуть наш обзор отношений к Гоголю людей, литературные мнения которых неудовлетворительны, мы ограничимся изложением суждений только трех журналов, бывших представителями важнейших из второстепенных направлений в литературе.

Сильнейшим и достойнейшим уважения из людей, восставших против Гоголя, был Н. А. Полевой. Все другие, когда не повторяли его слова, нападая на Гоголя, выказывали в себе только отсутствие вкуса, и потому не заслуживают большого внимания. Напротив того, если нападения Полевого и были резки, если иногда переходили даже границы литературной критики и принимали, как тогда выражались, «юридический характер» — то всегда в них виден ум, и, как нам кажется, Н. А. Полевой, не будучи прав, был, однако же, добросовестен, восставая против Гоголя не по низким расчетам, не по внушениям самолюбия или личной вражды, как многие другие, а по искреннему убеждению.

Последние годы деятельности Н. А. Полевого нуждаются в оправдании. Ему не суждено было счастье сойти в могилу чистым от всякого упрека, от всяких подозрений, —

но многим ли из людей, долго принимавших участие в умственных или других прениях, достается на долю это счастье? Сам Гоголь также нуждается в оправданиях, и нам кажется, что Полевой может быть оправдан гораздо легче, нежели он.

Важнейшим пятном на памяти Н. А. Полевого лежит то, что он, сначала столь бодро выступивший одним из предводителей в литературном и умственном движении, — он, знаменитый редактор «Московского телеграфа», столь сильно действовавшего в пользу просвещения, разрушившего столько литературных и других предубеждений, под конец жизни стал ратовать против всего, что было тогда здорового и плодотворного в русской литературе, занял с своим «Русским вестником» то самое положение в литературе, которое некогда занимал «Вестник Европы», сделался защитником неподвижности, закоснелости, которую столь сильно поражал в лучшую эпоху своей деятельности. Умственная жизнь у нас началась еще так недавно, мы пережили еще так мало фазисов развития, что подобные перемены в положении людей кажутся нам загадочными; между тем, в них нет ничего странного, — напротив, очень естественно, что человек, сначала стоявший во главе движения, делается отсталым и начинает восставать против движения, когда оно неудержимо продолжается далее границ, которые он предвидел, далее цели, к которой он стремился. Не будем приводить примеров из всеобщей истории, хотя они скорее всего могли бы пояснить дело. И в истории умственного движения недавно был великий, поучительный пример подобной слабости человека, отстающего от движения, главою которого он был — этот прискорбный пример мы видели на Шеллинге, которого имя в последнее время было в Германии символом обскурантизма, между тем как некогда он придал могущественное движение философии; но Гегель повел философию далее границ, которых не могла переступить система Шеллинга, — и предшественник, друг, учитель и товарищ Гегеля стал его врагом. И если бы сам Гегель прожил несколько лет долее, он сделался бы противником лучших и вернейших своих учеников, — и, быть может, его имя сделалось бы также символом обскурантизма.

Мы не без намерения упомянули о Шеллинге и Гегеле, потому что для объяснения перемены в положении Н. А. Полевого надобно припомнить его отношение к разным системам философии. Н. А. Полевой был последователем Кузена, которого считал разрешителем всех премудростей и величайшим философом в мире. На самом же деле философия Кузена была составлена из довольно произвольного смешения научных понятий, заимствованных отчасти у Канта, еще более у Шеллинга, отчасти у других немецких философов, с некоторыми обрывками из Декарта, из Локка и других мыслителей, и весь этот разнородный набор был вдобавок переделан и приглажен так, чтобы не смущать никакую смелую мыслью предрассудков французской публики. Эта каша, называвшаяся «эклетиною философию», не могла иметь большого научного достоинства, но она была хороша тем, что легко переваривалась людьми, еще не готовыми к принятию строгих и резких систем немецкой философии, и, во всяком случае, была полезна как приготовление к переходу от прежней закоснелости и иезуитского обскурантизма к более здравым воззрениям. В этом смысле полезна была она и в «Московском телеграфе». Но само собой разумеется, что последователь Кузена не мог примириться с гегелевскою философию и когда гегелевская философия проникла в русскую литературу, — ученики Кузена оказались отсталыми людьми, — и ничего нравственно преступного с их стороны не было в том, что они защищали свои убеждения и называли нелепым то, что говорили люди, опередившие их в умственном движении: нельзя обвинять человека за то, что другие, одаренные более свежими силами и большею решительностью, опередили его, — они правы, потому что ближе к истине, но и он не виноват, он только ошибается.

Новая критика опиралась на идеях, принадлежащих строгой и возвышенной системе гегелевской философии, — вот первая и едва ли не важнейшая причина того, что Н. А. Полевой не понимал этой новой критики и не мог не восстать против нее как человек, одаренный живым и горячим характером. Что это несогласие в философских воззрениях было существенным основанием борьбы, видим из всего, что было писано и Н. А. Полевым и

его молодым противником, — мы могли бы привести сотни примеров, но довольно будет и одного. Начиная свои критические статьи в «Русском вестнике», Н. А. Полевой предпосылает им *profession de foi*, в котором излагает свои принципы и показывает, чем будет отличаться «Русский вестник» от других журналов, и вот как он характеризует направление журнала, в котором господствовали новые воззрения:

В одном из журналов наших предлагали нам жалкие, уродливые обломки гегелевской схоластики, излагая ее языком, едва ли даже для самих издателей журнала понятным. Все еще устремляясь уничтожать прежнее, вследствие спутанных и перебитых теорий своих, но, чувствуя необходимость каких-либо авторитетов, дико вопили о Шекспире, создавали себе крошечные идеальчики и преклоняли колени перед детскою игрою бедной самодельщины, а вместо суждений употребляли брань, как будто брань доказательство³⁶.

Видите ли, основным пунктом обвинения была приверженность к «гегелевской схоластике», и все остальные грехи противника выставляются как следствия этого основного заблуждения. Но почему же Полевой считает гегелевскую философию ошибочною? Потому, что она для него непонятна, это прямо говорит он сам. Точно так же и противник его основным недостатком, главною причиною падения прежней романтической критики выставлял то, что она опиралась на шаткую систему Кузена, не знала и не понимала Гегеля.

И действительно, несогласие в эстетических убеждениях было только следствием несогласия в философских основаниях всего образа мыслей, — этим отчасти объясняется жестокость борьбы — из-за одного разногласия в чисто эстетических понятиях нельзя было бы так ожесточаться, тем более, что в сущности оба противника заботились не столько о чисто эстетических вопросах, сколько вообще о развитии общества, и литература была для них драгоценна преимущественно в том отношении, что они понимали ее как могущественнейшую из сил, действующих на развитие нашей общественной жизни. Эстетические вопросы были для обоих по преимуществу только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь.

Но что бы ни было существенным содержанием борьбы, поприщем ее были чаще всего эстетические вопросы, и нам должно припомнить, хотя беглым образом, характер эстетических убеждений школы, представителем которой был Н. А. Полевой, и показать ее отношения к новым воззрениям.

Не будем, однако, слишком подробно говорить о романтизме, о котором писано уже довольно много; скажем только, что французский романтизм, поборниками которого были и Марлинский и Полевой, надобно отличать от немецкого, влияние которого на нашу литературу не было так сильно. (Баллады Саути, переведенные Жуковским, представляют уже английское видоизменение немецкого романтизма.) Немецкий романтизм, главными источниками которого были — с одной стороны, фальшиво перетолкованные мысли Фихте, с другой — утрированное противодействие влиянию французской литературы XVIII века, был странною смесью стремлений к задушевности, теплоте чувства, лежащей в основании немецкого характера, с так называемою тевтономаниею, пристрастием к средним векам, с диким поклонением всему, чем средние века отличались от нового времени, — всему, что было в них туманного, противоречащего ясному взгляду новой цивилизации, — поклонением всем предрассудкам и нелепостям средних веков. Этот романтизм представляет очень много сходства с мнениями, которыми одушевлены у нас люди, видящие идеал русского человека в Любиме Торцове. Еще страннее сделался романтизм, перешедши во Францию. В Германии дело шло преимущественно о направлении, духе литературы: немцам было не нужно много хлопотать о ниспровержении условных псевдоклассических форм, потому что Лессинг уже давно доказал их нелепость, а Гете и Шиллер представили образцы художественных произведений, в которых идея не втискивается насильно в условную,

³⁶ Прежде Полевой говорил, что разрушение старых авторитетов было его делом, и вообще ясно, что своего противника он считает своим учеником, в ослеплении зашедшим далее границ, поставленных учителем.

чуждую ей форму, а сама из себя рождает форму, ей свойственную. У французов этого еще не было, — им еще нужно было освободиться от эпических поэм с воззваниями к Музе, трагедий с тремя единствами, торжественных од, избавиться от холодности, чопорности, условной и отчасти пошлой гладкости в слоге, однообразном и вялом, — одним словом, романтизм застал у них почти то самое, что было у нас до Жуковского и Пушкина. Потому борьба обратилась преимущественно на вопросы о свободе формы; на самое содержание смотрели французские романтики с формалистической точки зрения, стараясь сделать все наперекор прежнему: у псевдоклассиков лица разделялись на героев и злодеев, — противники их решили, что злодеи не злодеи, а истинные герои; страсти изображались у классиков с жеманной, холодной сдержанностью, — романтические герои начали неистовствовать и руками, и особенно языком, беспощадно кричать всякую гиль и чепуху; классики хлопотали о щеголеватости, — противники их провозгласили, что всякая благовидность есть пошлость, а дикость, безобразие — истинная художественность, и т. д.; одним словом, романтики имели целью не природу и человека, а противоречие классикам; план произведения, характеры и положения действующих лиц и самый язык создавались у них не по свободному вдохновению, а сочинялись, придумывались по расчету, и по какому же мелочному расчету? — только для того, чтобы все это вышло решительно против того, как было у классиков. Потому-то у них все выходило так же искусственно и натянуто, как и у классиков, только искусственность и натянутость эта была другого рода: у классиков — приглаженная, и прилизанная, у романтиков — преднамеренно растрепанная. Здравый смысл был идолом классиков, не знавших о существовании фантазии; романтики сделаюсь врагами здравого смысла и искусственно раздражали фантазию до болезненного напряжения. После этого очевидно, насколько у них могло быть простоты, естественности, понимания действительной жизни и художественности, — ровно никаких следов. Таковы были произведения Виктора Гюго, предводителя романтиков. Таковы же были у нас произведения Марлинского и Полевого, для которых, особенно для Полевого, Виктор Гюго был идеалом поэта и романиста. Кто давно не перечитывал их повестей и романов и не имеет охоты пересмотреть их, тот может составить себе достаточное понятие о характере романтических созданий, пробежав разбор «Аббаддонны», приведенный нами выше. Откуда взял автор своего Рейхенбаха? Разве один из характеристических типов нашего тогдашнего общества составляли пылкие, великие поэты с глубоко страстными натурами? — вовсе нет, о таких людях не было у нас и слуху, Рейхенбах просто придуман автором; и разве основная тема романа — борьба пламенной любви к двум женщинам — дана нравами нашего общества? Разве мы походим на итальянцев, какими они представляются в кровавых мелодрамах? нет, на Руси с самого призвания варягов до 1835 года, вероятно, не было ни одного случая, подобного тому, какой сочинился с Рейхенбахом; и что для нас интересного, что для нас важного в изображении столкновений, решительно чуждых нашей жизни? — Эти вопросы о близком соотношении поэтических созданий к жизни общества не приходили и в голову романтическим сочинителям, — они хлопотали только о том, чтобы изображать бурные страсти и раздирающие положения неистово фразистым языком.

Мы вовсе не в укор романтизму припоминаем его характеристику, а только для вывода соображений о том, мог ли человек, пропитавшийся насквозь подобными понятиями об искусстве, понимать истинную художественность, мог ли он восхищаться простотою, естественностью, верным изображением действительности. Мы не хотим смеяться над романтиками, — напротив, помянем их добрым словом; они у нас были в свое время очень полезны; они восстали против закоснелости, неподвижной заплесневелости; если б им удалось повести литературу по дороге, которая им нравилась, это было бы дурно, потому что дорога вела к вертепам фантастических злодеев с картонными кинжалами, жилищам фразеров, которые тщеславились выдуманскими преступлениями и страстями; но это не случилось — романтики успели только вывести литературу из неподвижного и пресного болота, и она пошла своей дорогой, не слушаясь их возгласов; следовательно, вреда ей они не успели сделать, а пользу сделали, — за что же бранить их, и как же не помянуть добрым

словом их услуги?

Нам нужно знать их понятия не для того, чтобы смеяться над ними, — это бесполезно, посмеемся лучше над тем, что в нас остается еще нелепого и дикого, — а для того, чтобы понять искренность и добросовестность их борьбы против тех, которые явились после них, которые были лучше их.

В самом деле, мог ли поклонник Виктора Гюго, автор «Аббадонны», понимать эстетическую теорию, которая главными условиями художественного создания ставила простоту и одушевление вопросами действительной жизни? Нет, и его нельзя обвинять за то, что он не понимал того, чего не понимал; должно только сказать, что были правы его противники, защищавшие учение более высокое и справедливое, нежели понятия, которых он держался.

Мы не думаем принимать сторону Н. А. Полевого как противника критики и литературы гоголевского периода; напротив, он был совершенно неправ, его противник совершенно прав, — мы утверждаем только, что основным побуждением к борьбе и у Н. А. Полевого, как у его противника, было неподдельное, непритворное убеждение.

Борьба была жестока и, естественным образом, влекла за собою бесчисленные оскорбления самолюбия партизанов той или другой стороны, — в особенности, стороны отсталой и слабейшей, потому что победитель может прощать обиды ослабевающему противнику, но самолюбие побеждаемого бывает раздражительно и непримиримо. Потому очень может быть, что желчность различных выходов Н. А. Полевого усиливалась горьким чувством сознания в том, что другие заняли место впереди его, лишили его (и его убеждения, потому что он дорожил своими убеждениями) первенства, господства в критике, что литература перестала признавать его своим верховным судьей, сознания, что он не побеждает, как прежде, а побежден, — и болезненными криками глубоко уязвляемого самолюбия; но все это было только второстепенным элементом, развившимся в течение борьбы, — а истинными, главными причинами борьбы были убеждения, бескорыстные и чуждые низких расчетов или мелочного тщеславия. В свое время нельзя было не опровергать ошибочных суждений писателя, имевшего столь сильный авторитет; но из-за ошибочного направления его деятельности нельзя было забывать ни того, что в сущности он всегда оставался человеком, достойным уважения по характеру, ни в особенности того, что в прежнее время он оказал много услуг русской литературе и просвещению. Это было с обычною прямою всегда признаваемо его противником и с жаром высказано в брошюре «Николай Алексеевич Полевой».

Жестокие нападения на Гоголя принадлежат к числу важнейших ошибок Н. А. Полевого; они были одною из главных причин нерасположения, которое питали к Полевому публика и лучшие писатели прошедшего десятилетия. Но должно только сообразить, что он никогда не мог выйти из круга понятий, разработанных французскими романтиками, распространенных у нас его первым журналом, «Московским телеграфом», практически осуществившихся в его повестях и в «Аббадонне», — и мы убедимся, что Полевой не мог понимать Гоголя, не мог понимать лучшей стороны его произведений, важнейшего их значения для литературы. Не мог понимать — и, следовательно, ему должен был казаться несправедливым восторг, возбужденный в позднейшей критике этими произведениями; как человек, привыкший горячо защищать свои мнения, он не мог не подать громкого голоса в деле, которого важность была столь сильно указываема и противником Полевого, и жаркими толками в публике. Что это мнение, основанное на эклектической философии и романтической эстетике, было в высшей степени неблагоприятно Гоголю, нимало не удивительно, — напротив, иначе и быть не могло. В самом деле, эклектическая философия всегда останавливалась на середине пути, старалась занять «златую средину», говоря «нет», прибавлять и «да», признавая принцип, не допускать его приложений, отвергая принцип, допускать его приложения. «Ревизор» и «Мертвые души» были решительно противоположностью этому правилу портить впечатление целого примесью ненужных и несправедливых оговорок — они, как произведения художественные, оставляют эффект

цельный, полный, определенный, не ослабляемый посторонними и произвольными приделками, чуждыми основной идее, — и потому для последователя эклектической философии они должны были казаться односторонними, утрированными, несправедливыми по содержанию. По форме они были совершенною противоположностью любимым стремлениям французских романтиков и их русского последователя: «Ревизор» и «Мертвые души» не имеют ни одного из тех качеств, за которые Н. А. Полевой признавал великим созданием искусства «Notre Dame de Paris»³⁷. Виктора Гюго и которые старался он придать своим собственным произведениям: там хитрая завязка, которую можно придумать только при высочайшей раздраженности фантазии, характеры придуманные, небывалые в свете, положения исключительные, неправдоподобные, и восторженный горячечный тон; тут — завязка обиходный случай, известный каждому, характеры — обыденные, встречающиеся на каждом шагу, тон — также обыденный. Это вяло, пошло, вульгарно по понятиям людей, восхищающихся «Notre Dame de Paris». Н. А. Полевой поступал совершенно последовательно, осуждая Гоголя и как мыслитель, и как эстетик. Нет сомнения, что тон осуждения был бы не так резок, если бы другие не хвалили так Гоголя, и если б эти другие не были противниками Н. А. Полевого, — но сущность суждения *осталась* бы та же; она зависела от философских и эстетических суждений критика, а не от личных его отношений. И нельзя ставить ему в вину резкости этого тона: когда хвалители говорят громко, и необходимо и справедливо, чтобы люди, не согласные с их мнением, высказывали свои убеждения столько же громко, — на чьей бы стороне ни была правда, она выигрывает от того, что прение ведется во всеуслышание: современники яснее будут понимать сущность вопроса, да и приверженцы правого дела ревностнее будут защищать его, когда поставлены в необходимость вести борьбу с противниками, оспаривающими каждый шаг смело и по возможности сильно. И когда

Смерть велит умолкнуть злобе, —

история скажет, что если победители были правы и честны, то и некоторые из побежденных были честны; она признает даже за этими честными побежденными ту заслугу, что их упорное сопротивление дало возможность вполне высказаться силе и правоте дела, против которого они боролись. И если история будет считать достойным памяти время, в которое жили мы и наши отцы, она скажет, что Н. А. Полевой был честен в деле о Гоголе. Взглянем же ближе на его мнения об этом писателе. Некоторые люди, с глазами более свежими и проницательными, увидели в «Вечерах на хуторе», «Миргороде» и повестях, помещенных в «Арабесках», начало нового периода для русской литературы, в авторе «Тараса Бульбы» и «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» — преемника Пушкину. Автор статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной в 1835 году, когда еще не был известен «Ревизор», заключает свой обзор следующими словами, которые могли бы служить одним из блестящих доказательств его критической проницательности, если б доказательства ее нужны были людям, хотя сколько-нибудь следившим за русскою литературою:

Из современных писателей никого не можно назвать поэтом с большей уверенностью и нимало не задумываясь, как г. Гоголя... Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют: простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь поэт, поэт жизни действительной. Г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким.

37 «Собор Парижской богородицы» (франц.).

По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов.

Другие тогдашние критики не воображали этого. «Вечера на хуторе» понравились всем веселостью рассказа; в авторе заметили даже некоторую способность довольно живо изображать лица и сцены из простонародного малороссийского быта: более в них ничего не заметили, и были правы. Но неправы были старые критики в том, что на Гоголя они до конца его деятельности смотрели, как на автора «Вечеров на хуторе», меряя все следующие его произведения аршином, который годен был только для этих первых опытов, не понимая в «Ревизоре» и «Мертвых душах» ничего такого, чего еще не было в «Вечерах на хуторе», и видя признаки падения таланта во всем, что в последующих сочинениях Гоголя не было похоже на «Вечера».

Так было и с Н. А. Полевым. Только первые и слабейшие произведения Гоголя остались для него понятны и хороши, потому, что в них еще не преобладало новое начало, превышавшее уровень его понятий. Он всегда продолжал находить прекрасными «Вечера на хуторе», «Нос», «Коляску», — справедливо видя в них признаки большого дарования, хотя, так же справедливо, и не видя в них произведений гениальных, колоссальных. Но вот явился «Ревизор»; люди, понявшие это великое творение, провозгласили Гоголя гениальным писателем; Н. А. Полевой, как и следовало ожидать, не понял и осудил «Ревизора» за то, что он не похож на «историю о носе». Это очень любопытно, и было бы странно, если б мы не видели, что философско-эстетические убеждения критика были слишком нерешительны и фантастичны для вмещения идеи, выраженной «Ревизором», и понимания художественных достоинств этого великого произведения. Вот какие мысли возбудил «Ревизор» в Н. А. Полевом:

Сочинитель «Ревизора» представил нам собою печальный пример, какое зло могут причинить человеку с дарованием дух партий и хвалебные вопли друзей, корыстных прислужников, и той бессмысленной толпы, которая является окрест людей с дарованием. Благодарить бога надобно скорее за неприязнь, нежели за дружбу того народа, о котором говорил Пушкин:

Уж эти мне друзья, друзья!

Никто не сомневается в даровании г. Гоголя и в том, что у него есть свой бесспорный участок в области поэтических созданий. Его участок — добродушная шутка, малороссийский «жарт», похожий несколько на дарование г. Основьяненки, но отдельный и самобытный, хотя также заключающийся в свойствах малороссиан. В шутке своего рода, в добродушном рассказе о Малороссии, в хитрой простоте взгляда на мир и людей г. Гоголь превосходит, неподражаем. Какая прелесть его описание ссоры Ивана Ивановича, его «Старосветские помещики», его изображение запорожского казацкого быта в «Тарасе Бульбе» (исключая те места, где запорожцы являются героями и смешат карикатурой на Дон-Кихота), его история о носе, о продаже коляски!

Так и «Ревизор» его — фарс, который нравится именно тем, что в нем нет ни драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни определенных характеров. Язык в нем неправильный, лица — уродливые гротески, а характеры — китайские тени, происшествие — несбыточное и нелепое, но все же вместе уморительно смешно, как русская сказка о тяжбе ерша с лецом, как повесть о Дурне, как малороссийская песня:

Танцовала рыба с раком,
А петрушка с пастернаком,
А цыбуля с чесноком...

Не подумайте, чтобы такие создания было легко писать, чтобы всякой мог писать их. Для них надобно дарование особенное, надобно родиться для них, и притом еще часто то, что вам кажется произведением досуга, делом минуты, следствием веселого расположения

духа, бывает трудом тяжелым, долговременным, следствием грустного расположения души, борьбою резких противоположностей.

С «Ревизором» обошлись у нас весьма несправедливо. Справедливо поступила только публика вообще, которая увлекается впечатлением общим, безотчетным и почти никогда в нем не ошибается; но несправедливы были все наши судьи и записные критики. Одни вздумали разбирать «Ревизора» по правилам драмы, чопорно оскорбились его шутками и языком и сравнивали его с грязью. Другие, напротив, мнимые друзья автора, увидели в «Ревизоре» что-то шекспировское, превознесли его, прославили, и вышла та же история, какая была с Озеровым. Досадно вспомнить, какие были притом побуждения к неумеренным похвалам. Но если они и были искренни, зато ошибочны; и посмотрите, какое зло они причинили, и, видя осуждение одних и похвалу других, автор почел себя неузнанным гением, не понял направления своего дарования, и вместо того, чтобы не братья за то, что ему не дано, усилить деятельность в том направлении, которое приобрело ему общее уважение и славу, вспомнить слова Сумарокова:

Слагай, к чему тебя влечет твоя природа, —
Лишь просвещение, писатель, дай уму,

начал писать историю, рассуждения о теории изящного, о художествах, принялся за фантастические, патетические предметы, точно так, как Лафонтен некогда доказывал, что он берет образцы у древних классиков. Разумеется, автор проиграл свою тяжбу. Все, что здесь сказано, не выдумка наша и сказано не наобум: прочтите приложенное при новом издании «Ревизора» письмо автора, которое можно сохранить, как любопытную историческую черту и как материал для истории человеческого сердца. Разве Шекспир только мог бы так писать о себе и о своих творениях и так говорить о характере своего Гамлета, как г. Гоголь говорит о характере Хлестакова. И с тем вместе письмо это дышит такую добродушною, поэтическою грустью.

Но, скажут нам, следственно, чем же тут виноваты хвалители автора? — Тем, что, не увлеки они *самолюбия* авторского в ошибку, осуждения могли благотельно подействовать на автора и обратить его на прямой путь. Осуждения не погубят никогда, а восхваления часто и почти всегда губят нас. Таков человек.

И как не иметь столько уважения к самим себе, что из мелкого расчета корысти не стыдиться показать себя надувателями мыльных пузырей! Если же хваления происходят от безотчетного увлечения, как до такой степени не отдавать себе отчета в своих понятиях, не научиться из опытов прошедшего не повторять в каждом поколении одну и ту же докучную сказку!³⁸

Возможно ли обвинять человека за то, что он не может видеть в «Ревизоре» «ни драмы, ни *цели*, ни завязки, ни развязки, ни *определенных характеров*»? Это все равно, что обвинять почитателя «Русской сказки о тяжбе ерша с лещом» за то, что он не понимает «Гамлета» и не восхищается «Каменным гостем» Пушкина. Он не понимает этих произведений, и только; что ж прикажете с ним делать! Такова степень его эстетического развития. Можно и должно сказать, что он ошибается, если он сказал, что «Гамлет» пуст, а «Каменный гость» скучен; можно прибавить, что он не судья этим произведениям; но видеть в его суждениях преднамеренное эстетическое преступление, желание ввести других в заблуждение — невозможно: они слишком наивны, слишком компрометируют ум произносящего их — их может произносить только тот, кто в самом деле не видит достоинств осуждаемых им произведений. Если б он понимал хоть сколько-нибудь, если б хотел преднамеренно вводить других в заблуждение, поверьте, он не сказал бы так, поверьте, он придумал бы хитрость несколько лучшую. Рецензия, нами выписанная, резка до

38 «Русский вестник», 1842, № 1.

грубости, — но нельзя не видеть, что собственно против Гоголя автор ее не имеет враждебного расположения. Напротив, сквозь тон, резкий до оскорбительности, слышно доброжелательное стремление возвратить талантливое заблудшее овца на путь истинный. Наставник ошибается, — тот, кого он считает блудным сыном, идет по прямому пути и не должен покидать его, — но ведь нельзя же осуждать человека, если он возвышает голос, чтоб он достиг до слуха погибающего юноши, оглушенного, по мнению советника, коварными льстецами. Что эти люди не льстецы, мы знаем; что они не имели — к сожалению — особенного влияния на Гоголя, мы также знаем: иначе он не писал бы таких «писем к друзьям» и не сжег бы второго тома «Мертвых душ». Но ведь не называют же преступником врача, который отстал от современного движения науки, прописывает замысловатые рецепты, заставляющие пожимать плечами от удивления, — о нем просто говорят, что он перестал быть хорошим врачом, и перестают обращать внимание на его советы. — Но вот вышли «Мертвые души» и возбудили восторг, какому не было примеров на Руси, были восхвалены до небес, как колоссальнейшее создание русской литературы; — с точки зрения, к которой прирос Н. А. Полевой, это столь превозносимое произведение должно было показаться еще хуже «Ревизора», и надобно было еще возвышать голос, чтобы он слышен был среди оглушительных хвалебных криков. И Полевой выразил свое суждение о новом произведении погибающего талантливого писателя обстоятельнее, — не голословно, как другие, но с доказательствами подробными, хорошо изложенными, касающимися не внешних мелочей, но важных сторон дела.

Мы сказали мнение наше о литературных достоинствах г. Гоголя, оценивая в нем, что составляет его бесспорное достоинство. Повторим слова наши (*выписана первая половина рецензии, приведенной выше*). Осмеливаемся думать, что такого мнения не назовут мнением, которое внушило бы предубеждение, пристрастие, личность против автора. Тем откровеннее скажем мы, что «Похождения Чичикова, или Мертвые души», подтверждая наше мнение, показывают справедливость и того, что мы прибавили к мнению нашему о даровании г. Гоголя (*выписана другая половина рецензии*). Похождения Чичикова также любопытная заметка для истории литературы и человеческого сердца. Здесь видим, до какой степени может увлечься с прямой дороги дарование и какие уродливости создает оно, идя путем превратным. С чего начал «Ревизор», то кончил «Чичиков»...

Из всего, что пишет и что о самом себе говорит г. Гоголь, можно заключить, что он превратно смотрит на свое дарование. Покупая создания свои тяжким трудом, он не думает шутить, видит в них какие-то философическо-гуморические творения, почитает себя философом и дидактиком, составляет себе какую-то ложную теорию искусства, и очень понятно, что, почитая себя гением универсальным, он считает самый способ выражения, или язык свой, оригинальным и самобытным. Может быть, такое мнение о самом себе необходимо по природе его, но мы не перестанем, однако ж, думать, что, при советах благоразумных друзей, г. Гоголь мог бы убедиться в противном. Вопрос: производил ли бы он тогда или нет свои прекрасные создания, может быть решен положительно и отрицательно³⁹.

Легко могло б быть, что г. Гоголь отверг бы тогда все, что вредило ему, и так же легко могло бы случиться, что разочарованный в высоком мнении о самом себе, он с горестью бросил бы перо свое, как орудие недостойной его величия шутки. Человек — загадка мудреная и сложная; но мы скорее склоняемся на первое из сих мнений, — сказать ли — даже лучше желали бы, чтоб г. Гоголь вовсе перестал писать, нежели, чтобы постепенно более и более он падал и заблуждался. По нашему мнению, он уже и теперь далеко устранился от истинного пути. Если сообразить все сочинения его, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до «Похождений Чичикова». Все, что составляет прелесть его

³⁹ Из сравнения с предыдущими выписками очевидно, что под «прекрасными» должно здесь понимать преимущественно «Вечера на хуторе» и слабейшие, по нынешнему мнению публики, из следующих повестей.

творений, постепенно исчезает у него. Все, что губит их, постепенно усиливается.

«Гоголя захвалили, — говорит Полевой: — он возмечтал, что призван писать высокофилософские создания, вообразил, что даже прекрасен язык, которым он пишет, когда вдается в высокопарные мечтания, и посмотрите, к чему это привело его — к произведениям, подобным отрывку «Рим», недавно напечатанному». «Рим» — это «набор ложных выводов, детских наблюдений, смешных и ничтожных заметок, не проникнутых ни одною светлою или глубокою мыслью, изложенных языком изломанным, диким, нелепым» — тут есть и «смола волос», и «сияющий снег лица», и «призрак пустоты, который видится во всем», и «женщины, которые подобно зданиям — или дворцы, или лачужки», — одним словом, «Рим» — это «галиматья». В этом отзыве о «Риме» есть своя доля правды, и доля значительная. Мы должны будем еще обратиться к «Риму», говоря о постепенном развитии идей Гоголя, и тогда заметим, что опустил из виду Полевой, называя безусловной галиматьею «Рим» — этот отрывок, действительно представляющий много дикого, не лишен поэзии. Не будем останавливаться и на замечаниях относительно языка, — с ними придется еще нам иметь дело. «Признаемся, — продолжает Полевой, — что, прочитавши «письмо» при «Ревизоре» и «Рим», мы уже немного ожидали от «Мертвых душ», предвозвещенных, как нечто великое и чудное. Подлинно чудное: «Мертвые души» превзошли все наши ожидания».

Мы совсем не думаем осуждать г. Гоголя за то, что он назвал «Мертвые души» поэмою. Разумеется, что такое название — шутка. Для чего запрещать шутку? Наше осуждение «Мертвых душ» коснется более важного.

Начнем с содержания — какая бедность! Не помним, читали или слышали мы, что кто-то назвал «Мертвые души» *старой погудкой на новый лад*. Действительно: «Мертвые души» осколок с «Ревизора» — опять какой-то мошенник приезжает в город, населенный плутами и дураками, мошенничает с ними, обманывает их, боясь преследования, уезжает тихонько, — и «конец поэме!» — Надобно ли говорить, что шутка, другой раз повторенная, становится скучна, а еще более, если она растянута на 475 страниц? Но если мы к этому прибавим, что «Мертвые души», составляя грубую карикатуру, держатся на небывалых и несбыточных подробностях; что лица в них все до одного небывалые преувеличения, отвратительные мерзавцы или пошлые дураки, — все до одного, повторяем; что подробности рассказа наполнены такими выражениями, что иногда бросаете книгу невольно; и наконец, что язык рассказа, как язык г. Гоголя в «Риме» и «Ревизоре», можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики, — спрашиваем, что сказать о таком создании? Не должно ли с грустным чувством видеть в нем упадок дарования прекрасного и пожалеть еще об одной из утраченных надежд наших, пожалеть тем более, что падение автора умышленно и добровольно? — Карикатура, конечно, принадлежит к области искусства, но карикатура, не перешедшая за предел изящного. Русская повесть об Еремушке и повивальной бабушке, как русская сказка о дьячке Савушке, романы Диккенса⁴⁰, неистовые романы новейшей французской словесности исключаются из области изящного⁴¹, если и допустим в низший отдел искусства грубые фарсы, итальянские буффонады, эпические поэмы *наизнанку* (travesti), поэмы вроде «Елисея»⁴². Можно ли не пожалеть, что прекрасное дарование г. Гоголя тратится на подобные создания!

⁴⁰ Романы Диккенса исключаются из области изящного.

⁴¹ Здесь подразумеваются преимущественно романы Жоржа Санда — они исключаются из области изящного!

⁴² Итак, романы Диккенса и Жоржа Санда ниже самых грубых фарсов и буффонад, ниже даже поэмы «Елисей, или раздраженный Вах», ниже «Энеиды», вывороченной наизнанку Н. Осиповым и А. Котельницким, — это все еще принадлежит хотя «низшему отделу» искусства, а произведения Диккенса и Жоржа Санда совершенно «исключаются из области изящного».

«Искусству нечего делать, не в чем рассчитывать с «Мертвыми душами».

Видите ли, Полевой отказывается от мелочных придилок к заглавию «Мертвых душ» — уж за это одно он заслуживает отличия от других рецензентов, остроумие которых бесконечно потешалось над тем, что «Похождения Чичикова» названы поэмою. Бедность содержания в «Мертвых душах» — опять одно из тех суждений, искренность которых доказывается их невообразимой наивностью; замечаний, которые возбуждают жалость к сделавшему их и совершенно обезоруживает несогласного с ним читателя. Но заметьте, однако же, что Полевой начинает с существенных сторон вопроса и достигает даже некоторой меткости упреков, замечая, что «Мертвые души» сколок с «Ревизора» — это не придет в голову никому из понимающих разницу между существенным содержанием «Ревизора» и «Мертвых душ»: пафос одного произведения составляет взяточничество, различные беспорядки и т. д., одним словом, преимущественно официальная сторона жизни, пафос другого — частная жизнь, психологическое изображение различных типов пустоты или одичалости. Но Полевой, не замечая существенного различия, смотрел на сюжеты обоих произведений с той чисто внешней точки зрения, с которой можно находить, что «Горе от ума» есть повторение «Гамлета», потому что и здесь и там главное лицо — юноша с умом и прекрасным сердцем, окруженный дурными людьми, остающийся чист среди их, негодующий, говорящий много такого, что кажется нелепо его слушателям, признаваемый, наконец, человеком сумасшедшим, опасным и не могущий жениться на девушке, которую любит. Сближение сюжетов «Ревизора» с «Мертвыми душами» так же нелепо, как и сближение сюжетов «Гамлета» и «Горе от ума»; но Полевой умел выставить натянутые черты мнимого сходства довольно искусным образом. Не придумано ли это сближение нарочно? Нет, искренность его опять доказывается его наивностью, — только от искренней души может умный человек, каков, без сомнения, был Н. А. Полевой, говорить такие странные вещи. Далее начинаются жалобы на утрировку характеров и положений, на неправдоподобность их и проч. Отложим разбор этих обвинений до того времени, когда будем рассматривать «Мертвые души», а теперь ограничимся замечанием, что отношения романтической эстетики к новейшим произведениям искусства, сбросившим растрепанную изысканность французских романтиков, к людям, выучившимся писать романы с лицами и положениями, не похожими на «исполинские образы Виктора Гюго и его «Notre Dame de Paris», достаточно определяются тем, что Н. А. Полевой исключает романы Диккенса и Жоржа Санда из области искусства, ставит их ниже самых пошлых фарсов, на одну степень с «Сказкою о дурне» — неужели против Диккенса и Жоржа Санда Н. А. Полевой имел какие-нибудь личности? Неужели и их осуждал он не по убеждению, а из каких-нибудь посторонних видов? Кстати, о Лермонтове он судит совершенно так же, как о Гоголе. Вот подлинные его слова:

Вы говорите, что ошибка прежнего искусства состояла именно в том, что оно румянило природу и становило жизнь на ходули. Пусть так; но, избирая из природы и жизни только темную сторону, выбирая из них грязь, навоз, разврат и порок, не впадаете ли вы в другую крайность и изображаете ли верно природу и жизнь? Природа и жизнь, так, как они есть, представляют нам рядом жизнь и смерть, добро и зло, свет и тень, небо и землю. Избирая в картину свою только смерть, зло, тень, землю, верно ли списываете вы природу и жизнь? Вам скучны прежние герои искусства, — но покажите же нам человека и людей, да, человека, а не мерзавцев, не чудовище, людей, а не толпу мошенников и негодяев. Иначе лучше примемся мы за прежних героев, которые иногда скучны, но не возмущают, по крайней мере, нашей души, не оскорбляют нашего чувства. Изобразить человека с его добром и злом, мыслью неба и жизнью земли, примирить для нас видимый раздор действительности изящною идеею искусства, постигшего тайну жизни, — вот цель художника; но к ней ли устремлены «Герои нашего времени» и «Мертвые души»? Напрасно будете вы ссылаться на Шекспира, на Виктора Гюго, на Гете. Кроме того, что худое и у Шекспира худо, Шекспир не тем велик, что Офелия поет у него неблагопристойную песню, Фальстаф ругается и нянька Юлии говорит двусмысленности, — но похожи ли ваши грязные

карикатуры на создания высокого гумора Шекспирова, на исполинские образы Виктора Гюго (мы говорим об его *Notre Dame de Paris*), на многосторонние создания Гете?

Зачем мы приводим буквально столько отрывков из грубых рецензий Н. А. Полевого? Затем, что они имеют одно несомненное достоинство: связность, логичность, последовательность в образе суждений. Надобно же нам видеть, с какими понятиями об искусстве необходимо связаны упреки Гоголю в односторонности направления, — упреки, которые до сих пор повторяются людьми, не понимающими их значения, не понимающими, что кто называет Гоголя односторонним и сальным, должен в такой же степени односторонним и сальным называть и Лермонтова, находить, что «Герой нашего времени» произведение грязное и гадкое, что романы Диккенса и Жоржа Санда не только отвратительны, но и слабы в художественном отношении, слабее последнего нелепейшего водевиля, уродливее последнего фарса, — при этом необходимо ставить Виктора Гюго между Шекспиром и Гете, немного ниже первого, гораздо выше последнего. Кто так думает о Викторе Гюго, Лермонтове, Диккенсе и Жорже Санде, тот должен упрекать Гоголя в односторонности и сальности, — но заслуживает ли опровержений, заслуживает ли внимания мнение такого ценителя? Важно иногда бывает знать происхождение мнения и первобытный, подлинный вид, в котором оно выразилось, — часто этого бывает довольно, чтобы вполне оценить годность этого мнения для нашего времени, — часто оказывается, что оно принадлежит неразрывно к системе понятий, невозможных в наше время. Самую жалкую фигуру представляют не те люди, которые имеют ошибочный образ мыслей, а те, которые не имеют никакого определенного, последовательного образа мыслей, которых мнения — сбор бессвязных обрывков, не клеящихся между собою. Прочитав рецензии Полевого, мы убеждаемся, что все упреки, делаемые до сих пор иными людьми Гоголю, заимствованы из этих рецензий; разница только в том, что у Н. А. Полевого упреки имели смысл, будучи логическим выводом из системы убеждений, хотя неудовлетворительной для нашего времени, но все-таки бывшей прекрасною и полезною в свое время; между тем как в устах людей, повторяющих ныне эти нападения, они лишены всякого основания, всякого смысла. Представив множество примеров «тривиального» и «неправдоподобного» в «Мертвых душах», множество примеров того, что Гоголь пишет неправильным и низким языком (тут выставлено на вид и то, что Чичиков не может с первого раза делать помещикам предложения о продаже мертвых душ, и то, что Ноздрев не может на бале сесть на пол и ловить танцующих за ноги, и Петрушка с запахом жилой комнаты, и капля, падающая в суп Фемистоклюса, и т. д., и «глупейший рассказ» о капитане Копейкине, и слова «тюрюк», «взбутенить» и пр.,- одним словом, все, что только служило пищею для последующих остроумных шуток и благородных негодований на Гоголя), Н. А. Полевой оканчивает свою рецензию так:

Не будем более говорить о слоге, об образе выражения, но скажем в заключение: каково понятие автора об искусстве и цели его, если он думает, что художник может быть уголовным судьей современного общества? Да если и положим, что такова действительно обязанность писателя, так разве выдумками на современное общество, разве небывалыми карикатурами укажет он на зло и предупредит его? Берем на себя кажущееся смешным автору название патриотов, даже «так называемых патриотов», пусть назовут нас Кифами Мокиевичами, — но мы спрашиваем его: почему в самом деле современность представляется ему в таком неприязненном виде, в каком изображает он ее в своих «Мертвых душах», в своем «Ревизоре», — и для чего не спросить: почему думает он, что каждый русский человек носит в глубине души своей зародыши Чичиковых и Хлестаковых? Предвидим негодование и оскорбление защитников автора: они представят нас поддельными патриотами, лицемерами, быть может, чем-нибудь еще хуже — ведь за такими безделками у многих дело не станет!.. Их воля, но мы скажем прямо и утвердительно, что, приписывая предубеждение автора доброму намерению, нельзя не заметить какого-то превратного взгляда его на многое. Вы скажете, что Чичиков и город, где он является, не изображения целой страны, но посмотрите на множество мест в «Мертвых душах»: Чичиков, выехавши от

Ноздрева, ругает его *нехорошими словами* — «что делать», прибавляет автор, «русский человек, да еще в сердцах!» — Пьяный кучер Чичикова съехался с встречным экипажем и начинает ругаться — «русский человек», прибавляет автор, «не любит сознаваться перед другим, что он виноват!..» Изображается город; фризовая шинель (необходимая принадлежность города, по мнению автора) плетется по улице, «зная только одну (увы!) слишком протертую русским забубённым народом дорогу!» — Какие-то купцы позвали на пирушку других купцов — «пирушку на русскую ногу», и «пирушка (прибавляет автор), как водится, кончилась дракой»... Спрашиваем, так ли изображают, так ли говорят о том, что мило и дорого сердцу? Квасной патриотизм! Милостивые государи, мы сами не терпим его, но позвольте сказать, что квасной патриотизм все же лучше космополитизма... какого бы?... да мы понимаем друг друга!

Не знаем, придется ли нам заняться подробным рассмотрением этого упрека, едва ли не самого существенного из всего, что было говорено против Гоголя. А пока напомним читателю, что сам Гоголь превосходно разъяснил сущность вопроса анекдотом о Кифе Мокиевиче и следующим местом в «Разъезде из театра» после представления «Ревизора»:

Господин П. Помилуй, братец, ну что это такое? Как же это в самом деле?

Господин Б. Что?

Господин П. Ну да как же выводить это?

Господин Б. Почему же нет?

Господин П. Ну да сам посуди ты: ну как же, право? Все пороки, да пороки; ну какой пример подается через это зрителям?

Господин Б. Да разве пороки хвалятся? Ведь они же выведены на осмеяние.

Господин В. Но позвольте, однако же, заметить, что все это, некоторым образом, есть уже оскорбление, которое более или менее распространяется на всех.

Господин П. Именно. Вот это я сам хотел ему заметить. Это именно оскорбление, которое распространяется.

Господин В. Чем выставять дурное, зачем же не выставять хорошее, достойное подражания?

Господин Б. Зачем? Станный вопрос: «зачем». Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали перед ним во всем ужасе страшные следы беспорядочной жизни? Зачем он это сделал?

Господин В. Но позвольте вам заметить, это уже некоторым образом наши общественные раны, которые надобно скрывать, а не показывать.

Господин П. Это правда. Я с этим совершенно согласен. У нас дурное надо скрывать, а не показывать. (*Господин Б. уходит. Подходит князь Н.*) Послушай, князь!

Князь Н. А что?

Господин П. Ну, однако ж, скажи: как это представлять? На что это похоже?

Князь Н. Почему ж не представлять?

Господин П. Ну да посуди сам, — ну да как же это вдруг на сцене плут, — ведь это все наши раны.

Князь Н. Какие раны?

Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.

Князь Н. Возьми их себе. Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их тычешь? (*Уходит.*)

Именно так! именно это «некоторым образом наши раны!», именно «дурное у нас надо скрывать, а не показывать!», именно это «оскорбление, которое распространяется!» Прав, тысячу раз прав господин П.! Но отчего же вы сами, гг. недовольные Гоголем, находите господина П. смешным и нелепым? Если он нелеп, то и не повторяйте же его слов. Они имеют смысл только на его языке.

В рецензии «Ревизора» нельзя не заметить, что Н. А. Полевой еще не отчаивается в исправлении Гоголя, приписывая всю вину только его «льстецам», еще не отказывается от

Гоголя; — после выхода «Мертвых душ» он уже считает его человеком, безвозвратно погибшим для искусства, неизлечимо закоснелым в своей сумасбродной гордости — писать такие нелепые вещи, из которых первую был «Ревизор». Вот последние строки разбора «Мертвых душ»:

Если бы мы осмелились взять на себя ответ автору от имени Руси, мы сказали бы ему: милостивый государь! Вы слишком много о себе думаете, — ваше самолюбие даже забавно, но мы сознаем, что у вас есть дарование, и только та беда, что вы немножко «сбились с панталыку!» Оставьте в покое вашу «вьюгу вдохновения», поучитесь русскому языку, да рассказывайте нам прежние ваши сказочки об Иване Ивановиче, о коляске и носе, и не пишите ни такой галиматии, как ваш «Рим», ни такой чепухи, как ваши «Мертвые души»! Впрочем, воля ваша!

Мы кончили наши выписки из суждений Н. А. Полевого о Гоголе. К некоторым из мнений, высказанных им в первый раз, мы еще должны будем возвратиться, говоря о мнениях, высказываемых иными еще и теперь. Другие можно оставить без разбора, потому что крайняя наивность их делает излишним всякое опровержение. Но здесь нам остается сделать два замечания, вызываемые приговорами Н. А. Полевого.

В том, что Гоголь возмечтал о себе не как о невинном шутнике, но как о великом писателе с глубоко философским направлением, Полевой обвиняет «льстецов» Гоголя. Смешно было бы в наше время думать, что произведения, подобные «Ревизору» и «Мертвым душам», могут быть обязаны своим происхождением чьему бы то ни было постороннему влиянию, — создания, столь глубоко прочувствованные, бывают плодом только собственной глубокой природы самого автора, а не посторонних наущений. Кроме того, мы уже говорили, что люди, которые лучше других понимали значение этих высоких созданий искусства, не имели влияния на Гоголя. В следующей статье мы увидим, как мало понимали «Мертвые души» другие люди, которые, будучи поклонниками Гоголя, были в то же время и его друзьями — эти мудрые варяго-руссы, если и были в чем-нибудь виноваты, то разве в «Переписке с друзьями». Притом же они и не были знакомы с Гоголем и не играли в литературе значительной роли в 1834 году, когда уж был написан «Ревизор»⁴³. Пушкин знал Гоголя гораздо раньше, имел некоторое влияние на начинавшего юношу и хвалил его произведения, но невозможно, чтобы его считал Полевой «льстецом» Гоголя, — напротив, каждому известно, что Жуковский и Пушкин были покровителями Гоголя, занимая в литературе и в обществе гораздо почетнейшее место, нежели он, безвестный юноша. А между тем, он, будучи еще совершенно безвестным и ничтожным молодым человеком, уже печатал философские и высокопарные статейки, в которых видит Полевой уже следствие лести, вскружившей ему голову. Некоторые из этих статей перепечатаны в «Арабесках», некоторые другие исчислены г. Геннади⁴⁴. Вообще надобно сказать, что в развитии своем Гоголь был независимее от посторонних влияний, нежели какой-либо другой из наших первоклассных писателей. Всем, что высказано прекрасного в его произведениях, он обязан исключительно своей глубокой натуре. Это очевидно ныне для каждого, не чуждого понятий о русской литературе. И если гордость Гоголя вовлекала его когда-нибудь в ошибки, то во всяком случае надобно сказать, что источником этой гордости было его собственное высокое понятие о себе, а не чужие похвалы. Некоторые люди питают такое гордое и высокое понятие о себе, что чужие похвалы не могут уж иметь на «их особенного влияния, — кто знавал подобных людей, легко увидит из писем и авторской исповеди Гоголя, что он

⁴³ См. письмо Гоголя к Максимовичу от 14 августа 1834 г. в «Опыте биографии Гоголя», г. Николая М., помещенном в «Современнике», 1854 г.

⁴⁴ См. список сочинений Гоголя, составленный г. Геннади в «Отч[ественных] зап[исках]» 1853 года. Из этих статей большая часть, как, например, «Скульптура, живопись и поэзия», «Об архитектуре», «Жизнь», принадлежат еще 1831 году и написаны, конечно, прежде, нежели фамилия Гоголя упоминалась печатным образом.

принадлежал к числу их.

Другое наше замечание относится к самому Н. А. Полевому. По двум последним отрывкам из его рецензии на «Мертвые души» иные, быть может, заключат, что он, как издатель «Русского вестника», сделался неверен собственным мнениям, которые были с такою энергиею выражаемы в «Московском телеграфе»; это заключение было бы несправедливо. Мы не то хотим сказать, чтобы решительно о каждом отдельном вопросе Н. А. Полевой был готов повторить в 1842 году то самое, что сказал в 1825. Мнения человека мыслящего не бывают никогда окаменелостями, — с течением времени он может во многих предметах замечать стороны, которые опускал из виду прежде, потому что они еще не были довольно раскрыты историческим движением. Но дело в том, что человек с самостоятельным умом, достигнув умственной зрелости и выработав себе известные основные убеждения, обыкновенно остается навсегда проникнут их существенным содержанием, и эта основа всех мнений остается у него уже навсегда одинаковою, как бы ни менялись окружающие его факты. И не надобно считать изменою убеждения, если, сообразно изменению окружающих фактов, такой человек, сначала заботившийся преимущественно о том, чтобы выставить на вид одну их сторону, впоследствии считал необходимым сильнее выставлять другую. Он может сделаться человеком отсталым, не переставая быть верен себе. Так было и с Н. А. Полевым. Он ратовал против классиков, но потом, когда классики были сбиты во всех пунктах, он увидел новых людей, которые, не обращая внимания на классицизм, уже совершенно обессилевший, борются против романтизма. Их убеждения гораздо более разнились от убеждений Н. А. Полевого, нежели убеждения Н. А. Полевого от убеждений классиков, — оба последние оттенка принадлежали одной и той же сфере понятий, только различным образом изменяемых — новые литературные понятия разделялись от них целою бездною. И Н. А. Полевой, нисколько не изменяя своим романтическим убеждениям, мог сказать: «уж лучше пиитика Буало, нежели эстетика Гегеля. Лучше классицизм, нежели произведения новейшей литературы». И действительно, Жанлис ближе к Виктору Гюго, нежели Диккенс или Жорж Санд, «Бедная Лиза» имеет с «Аббадонною» более родства, нежели «Герой нашего времени» или «Мертвые души». Жанлис и Виктор Гюго, «Бедная Лиза» и «Аббадонна» сходны хотя в том, что изображают людей вовсе не такими, каковы они на самом деле. А что у них общего с романами новой литературы?

И этим-то объясняется странный, по-видимому, факт, что человек с таким замечательным умом, как Н. А. Полевой, не мог понимать произведений новой — не только русской, но и вообще всей европейской литературы, объясняется странная до невероятности смесь умных и дельных критических приемов с наивными и решительно несправедливыми выводами в статьях «Русского вестника» и других журналов, издававшихся им в последнюю половину жизни. Он делал правильные выводы из принципов, сделавшихся с течением времени неудовлетворительными, — и ни его ум, ни его добросовестность нимало не теряют в глазах справедливого судьи от нелепости выводов. Напротив, сильный ум обнаруживается в каждой строке этих до чрезвычайности наивных статей, — а что касается их добросовестности, — мы в ней нимало не сомневаемся и думаем, что каждый беспристрастный человек дойдет до того же убеждения, если вникнет в сущность дела, краткий обзор которого мы представили.

Последняя половина литературной деятельности Н. А. Полевого нуждается в оправдании, сказали мы в начале этого обзора; и, по нашему мнению, она может быть удовлетворительно оправдана, — пора снять пятно с памяти человека, который, действуя в последние годы ошибочно, мог быть противником литературного развития и подвергаться за то в свое время справедливым укоризнам, — но теперь миновалась опасность, которую представляло тогда его влияние на литературу, — и потому теперь должно признаться: он справедливо говорил о себе, что всегда был человеком честным и желавшим добра литературе. И что за ним остаются неотъемлемо важные заслуги в истории нашей литературы и развития, — признаться, что он, издавая собрание своих критических статей, имел право сказать в предисловии:

Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслух, что никогда не увлекался я ни злобою — чувством, для меня презрительным, ни завистью — чувством, которого не понимаю, — никогда то, что говорил и писал я, не разногласило с моим убеждением, и никогда сочувствие добра не оставляло сердца моего; оно всегда сильно билось для всего великого, полезного и доброго. Смею прибавить, что такое постоянное стремление доставляло мне минуты прекрасные, усладительные, награждавшие меня за горести и страдания жизни моей. Сколько раз слышал я искреннюю благодарность и привет юношей, говоривших, что мне одолжены они нравственным наслаждением и верою в добро! Не скажет обо мне, кто примет на себя труд познакомиться с тем, что было мною писано, — не скажет, чтобы я чем-либо обесславил звание, которое всегда высоко ценю и ценил — звание литератора. Мои слова не самохвальство, но искренний голос человека и литератора, который дорожит названием честного. Между тем, как человек, я платил горькую дань несовершенствам и слабостям человека... Пусть вержет за то на меня камень тот, кто сам не испытал обмана и разочарования в окружающем его и — что еще грустнее — в самом себе! Если ты еще юн, брат мой, ты не судья мне; дай пробиться седине на голове твоей, дай похолодеть сердцу твоему, дай утомиться силам твоим от труда и времени, и тогда говори и суди меня!..

Я не судья сам себе. Но никто не оспорит у меня чести, что первый я сделал из критики постоянную часть журнала русского, первый обратил критику на все важнейшие современные предметы. Мои опыты были несовершенны, неполны, — скажут мне, — и последователи далеко меня обогнали в сущности и самом образе воззрения. Пусть так, да и стыдно было бы новому поколению не стать выше нас, поколения, уже преходящего, потому выше, что оно старше нас, после нас явилось, продолжает, что мы начинали, и мы должны быть довольны, если наши труды будут иметь для него цену историческую... Сам чувствую, перечитывая ныне, неполноту, несовершенство многого... Много обновляет для меня в настоящем чувство утешительное, но еще больше внушает чувство грустное, сознание недостигнутой мечты, невыраженных идеалов. Такое чувство, думаю, естественно каждому, кто жил сколько-нибудь и мыслил. Только невежество, только глупость получила на сей земле (впрочем, не знаю, счастливую ли) участь самодовольства. Есть другая награда, более драгоценная, которою благословляет нас провидение: мысль, что если бог дал нам что-нибудь сильно горевшее в душе нашей, сильно тревожившее нас в дни нашей юности еще бессознательным, темным ощущением, мы не погубили его потом в суете и бедствиях жизни, не зарыли таланта в землю... Пусть мы не достигли искомым нами идеалов, — по крайней мере, порадуемся, что не бесплодно утраченная протекла жизнь наша...

Сколько благородства в этих словах, и какую правдою веет от них! Кто так говорит, тот не лжет, и действительно, не бесплодно протекла жизнь этого человека, и не с осуждением, а с признательностью должны мы вспоминать его.

Статья седьмая

Путь развития, которым шла критика Белинского в «Отечественных записках» и «Современнике», определяется тою существенною чертою, что она все более и более проникалась живыми интересами нашей действительности и вследствие того становилась все более и более положительною. В примечании мы приводим несколько мест из последних статей Белинского, выражающих самые зрелые и точные понятия его о том, какую преобладающую важность должна иметь действительность в умственной и нравственной жизни, главным органом которой до последнего времени была (и до сих пор остается) у нас литература, а здесь скажем несколько [слов] о том, как надобно понимать «действительность» и «положительность», которым, по современным понятиям, должно принадлежать такое важное значение во всех отраслях и умственной и нравственной деятельности {*}.

{* «Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной

русской литературы, мы отвечали бы: в более и в более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости». («Взгляд на русскую литературу 1846 г.», «Современник», 1847, № 1, Критика, стр. 1). — Итак, зрелость измеряется степенью близости к действительности.

«Все движение русской литературы (до Пушкина) заключалось в стремлении сблизиться с жизнью, с действительностью. (Там же, стр. 4). — Итак, цель литературного движения есть действительность.

«В отношении к искусству, поэзии, творчеству литература наша всего ближе к той зрелости и возмужалости, речью о которых начали мы эту статью. Так называемую натуральную школу нельзя упрекнуть в реторике, разумея под этим словом вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни... Не в талантах, не в числе их мы видим собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, т. е. изображали несуществующее, рассказывали о небывалом; а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила важное значение в глазах общества». (Там же, стр. 10). — Итак, положительности противно фальшивое идеализирование; искусство достигает зрелости тогда, когда воспроизводит жизнь и действительность в их истине.

«Вместо того, чтобы думать о невозможном, гораздо лучше, признав неотразимую и неизменную (т. е. не *подчиняющуюся фантазиям*) действительность существующего, действовать на его основании, руководствуясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями». (Там же, стр. 14).

«Важность теоретических вопросов зависит от их отношений к действительности... У себя, в себе, вокруг себя — вот где мы должны искать и вопросов, и их решения. Это направление будет плодотворно». (Там же, стр. 28).

«Жаль, что источник вдохновения этого таланта (*одного из поэтов, которого стихотворения были изданы в 1846 году*) не жизнь, а мечта, и что поэтому он не имеет никакого отношения к жизни и беден поэзией... На высоте, куда ему так хочется, и пусто, и холодно, и нет воздуха для дыхания. То ли дело земля! на ней нам и светло, и тепло, на ней все наше и понятно нам, на ней наша жизнь и наша поэзия. Зато кто отворачивается от нее, не умея понимать ее, тот не может быть поэтом и может ловить в холодной пустоте одни холодные и пустые фразы. (Там же, стр. 31).

«Литература наша... постоянно стремилась из риторической сделаться естественною, натуральною. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Это великая заслуга со стороны Гоголя, этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из (прежних) поэтов русских можно, хотя и с натяжкой, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства — как воспроизведение действительности во всей ее истине». («Взгляд на русскую литературу 1847 г.», «Современник», 1848, № 1, Критика, стр. 17).}

«Понятие о действительности совершенно новое», — говорит Белинский («Современник», 1847, № 1, Критика, стр. 18), — и, в самом деле, оно определилось и вошло в науку очень недавно, именно с того времени, как объяснены были современными нам мыслителями темные намеки трансцендентальной философии, признававшей истину только в конкретном осуществлении. Как и все верховные истины современной науки, этот взгляд на действительность очень прост, но чрезвычайно плодотворен.

Были времена, когда мечты фантазии ставились гораздо выше того, что представляет жизнь, и когда сила фантазии считалась беспредельною. Но современные мыслители

внимательнее прежнего рассмотрели этот вопрос и дошли до результатов, совершенно противоположных прежним мнениям, которые оказались решительно не выдерживающими критики. Сила нашей фантазии чрезвычайно ограничена, и создания ее очень бледны и слабы в сравнении с тем, что представляет действительность. Самое пылкое воображение подавляется представлением о миллионах миль, отделяющих землю от солнца, о чрезвычайной быстроте света и электрического тока; самые идеальные фигуры Рафаэля оказались портретами с живых людей; самые уродливые создания мифологии и народных суеверий оказались далеко не столь непохожими на окружающих нас животных, как чудовища, открытые естествоиспытателями; историей и внимательным наблюдением современного быта доказано было, что живые люди, даже вовсе не принадлежащие к числу отъявленных извергов или героев добродетели, совершают преступления, гораздо ужаснейшие, и подвиги, гораздо более возвышенные, нежели все, что было выдуманно поэтами. Фантазия должна была смириться перед действительностью; мало того: принуждена была сознаться, что мнимые создания ее только копии с того, что представляется явлениями действительности.

Но явления действительности чрезвычайно разнородны и разнообразны. Она представляет много такого, что сообразно с желаниями и потребностями человека, и много такого, что решительно противоречит им. Прежде, когда пренебрегали действительностью, слишком гордясь фантастическими богатствами, полагали, что переделать действительность по фантастическим мечтам очень легко. Но, когда фантастическая гордость смирилась, ученые и поэты должны были убедиться в том, что всегда было ясно в практической жизни для людей, одаренных здравым смыслом. Сам по себе человек очень слаб; всю свою силу заимствует он только от знания действительной жизни и умения пользоваться силами неразумной природы и врожденными, независимыми от человека качествами человеческой природы. Действуя сообразно с законами природы и души и при помощи их, человек может постепенно видоизменять те явления действительности, которые несообразны с его стремлениями, и таким образом постепенно достигать очень значительных успехов в деле улучшения своей жизни и исполнения своих желаний.

Но не всякие желания находят себе пособие в действительности. Многие противоречат законам природы и человеческой природы; ни философского камня, который бы обращал все металлы в золото, ни жизненного эликсира, который бы навеки сохранял нам юность, невозможно добыть из природы; напрасны и все наши требования, чтобы люди отказались от эгоизма, от страстей: человеческая натура не подчиняется таким, по-видимому, превосходным требованиям.

Это обстоятельство, полагающее очевидную разницу между нашими желаниями, заставило пристальнее всмотреться в те из них, достижению которых отказываются служить природа и люди с здравым смыслом — в самом ли деле необходимо для человека исполнение таких желаний? Очевидно, нет, потому что он, как мы видим, и живет и даже, при благоприятных обстоятельствах, бывает очень счастлив, не обладая ни философским камнем, ни жизненным эликсиром, ни теми очаровательными благами и качествами, какими манит его волшебство фантазии, заносящейся за облака. А если человек может обходиться, как показывает жизнь, без этих благ, которые выставляются фантазией, будто необходимые для него, — если обнаружилось уже, что она обманула человека в отношении необходимости, то нельзя было не заподозрить ее и с другой стороны: действительно ли приятно было бы человеку исполнение тех мечтаний, которые противоречат законам внешней природы и его собственной природы? И при внимательном наблюдении оказалось, что исполнение таких желаний не вело бы ни к чему, кроме недовольства или мучений; оказалось, что все ненатуральное вредно и тяжело для человека и что нравственно здоровый человек, инстинктивно чувствуя это, вовсе не желает в действительности осуществления тех мечтаний, которыми забавляется праздная фантазия.

Как найдено было, что мечты фантазии не имеют ценности для жизни, точно так же найдено было, что не имеют значения для жизни многие надежды, внушаемые фантазией.

Прочное наслаждение дается человеку только действительностью; серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею.

Достичь до такого убеждения и действовать сообразно с ним значит сделаться человеком положительным.

Но часто те самые, которые воображают себя людьми положительными, заблуждаются в этом высоком мнении о себе самым жестоким и постыдным образом, впадая в особенного рода фантазерство именно по узкости своих понятий о действительности.

Например, несправедливо было бы считать положительным человеком холодного эгоиста. Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастью окружающих нас людей и огорчаться их страданиями) так же врождены человеку, как и эгоизм. Кто действует исключительно по расчетам эгоизма, тот действует наперекор человеческой природе, подавляет в себе врожденные и неискоренимые потребности. Он в своем роде такой же фантазер, как и тот, кто мечтает о заоблачных самоотвержениях; разница только в том, что один — злой фантазер, другой — притворный фантазер, но оба они сходны в том, что счастье для них недостижимо, что они вредны и для себя и для других. Голодный человек, конечно, не может чувствовать себя хорошо; но и сытый человек не чувствует себя хорошо, когда вокруг него раздаются несносные для человеческого сердца стоны голодных. Искать счастья в эгоизме — ненатурально, и участь эгоиста нисколько не завидна: он урод, а быть уродом неудобно и неприятно.

Точно так же вовсе нельзя назвать положительным и того человека, который, поняв, что силы придаются человеку только действительностью и прочные наслаждения доставляются только ею, вздумал бы объявлять, что нет в действительности таких явлений, которые нужно и возможно человеку изменить, что в действительности все приятно и хорошо для человека и что он совершенно бессилен перед каждым фактом: это опять своего рода фантазерство, столь же нелепое, как и мечты о воздушных замках. Равно ошибается человек, который хлопчет о замене обыкновенной здоровой пищи амвросиею и нектаром, и тот, который утверждает, что всякая пища вкусна и здорова для человека, что в природе нет ядовитых растений, что пустые щи с лебедою хороши, что невозможно очищать поля от камней и бурьяна, чтобы засеять пшеницею, что не должно и невозможно очищать пшеницу от плевел.

Все эти люди — одинаковые фантазеры, потому что одинаково увлекаются одностороннею крайностью, одинаково отвергают очевидные факты, одинаково хотят нарушать законы природы и человеческой жизни. Нерон, Калигула, Тиверий были так же близки к сумасшествию, как рыцарь Тоггенбург и индейский факир Вителлий, который объедался до того, что каждый день должен был прибегать к помощи рвотного, терпел от желудка не меньше мучений, нежели терпит человек, не имеющий сытного обеда. Развратник точно так же лишен лучших наслаждений жизни, как и кастрат. Положительного в жизни всех этих людей очень мало. Положителен только тот, кто хочет быть вполне человеком: заботясь о собственном благосостоянии, любит и других людей (потому что одинокого счастья нет); отказываясь от мечтаний, несообразных с законами природы, не отказывается от полезной деятельности; находя многое в действительности прекрасным, не отрицает также, что многое в ней дурно, и стремится, при помощи благоприятных человеку сил и обстоятельств, бороться против того, что неблагоприятно человеческому счастью. Положительным человеком в истинном смысле слова может быть только человек любящий и благородный. В ком от природы нет любви и благородства, тот жалкий урод, Шекспиров Калибан, недостойный имени человеческого, — но таких людей очень мало, может быть, вовсе нет; в ком обстоятельства убивают любовь и благородство, тот человек жалкий, несчастный, нравственно больной; кто преднамеренно подавляет в себе эти чувства, тот фантазер, чуждый положительности и противоречащий законам действительной жизни.

По отвержении фантазерства, требования и надежды человека делаются очень

умеренными; он становится снисходителен и отличается терпимостью, потому что излишняя взыскательность и фанатизм — порождения болезненной фантазии. Но из этого вовсе не следует, чтобы положительность ослабляла силу чувства и энергию требований, — напротив, те чувства и требования, которые вызываются и поддерживаются действительностью, гораздо сильнее всех фантастических стремлений и надежд: человек, мечтающий о воздушных замках, и в сотую долю не так сильно занят своими слишком радужными мечтами, как человек, заботящийся о постройке для себя скромного (лишь бы только уютного) домика, занят мыслью об этом домике. О том уж нечего и говорить, что мечтатель обыкновенно проводит время лежа на боку, а человек, одушевленный рассудительным желанием, трудится без отдыха для его осуществления. Чем действительнее и положительнее стремления человека, тем энергичнее борется он с обстоятельствами, препятствующими их осуществлению. И любовь и ненависть даются и возбуждаются в высшей степени теми предметами, которые принадлежат к области действительной жизни. Фантастическая Елена, при всей своей невообразимой красоте, не возбуждает в здоровом человеке и слабой тени того чувства, которое возбуждается действительною женщиною, даже не принадлежащею к числу блистательных красавиц. С другой стороны, зверства каннибалов, о которых мы, к счастью, знаем только по слухам, далеко не в такой степени волнуют нас, как довольно невинные в сравнении с ними подвиги Сквозников-Дмухановских и Чичиковых, совершаемые в наших глазах.

Белинский был человек сильный и решительный; он говорил очень энергически, с чрезвычайным одушевлением, но нелепою ошибкою было бы называть его, как то делали, бывало, иные, человеком неумеренным в требованиях или надеждах. Те и другие имели у него основание в потребностях и обстоятельствах нашей деятельности, потому, при всей своей силе, были очень умеренны. Нас здесь занимает русская литература, потому будем говорить о ней. Белинский восхищался «Ревизором» и «Мертвыми душами». Подумаем хорошенько, мог ли бы восхищаться этими произведениями человек, неумеренный в своих желаниях? Неужели в самом деле сарказм Гоголя не знает никаких границ? Напротив, стоит вспомнить хотя о Диккенсе, не говоря уже о французских писателях прошлого века, и мы должны будем признаться, что сарказм Гоголя очень скромен и ограничен. Белинский желал развития нашей литературе, — но какими пределами ограничивались его требования и надежды? Требовал ли он, чтоб наша литература при наших глазах стала так же глубока и богата, как, например, современная французская или английская (хотя и та и другая далеки от совершенства)? Вовсе нет: он прямо говорил, что в настоящее время нечего об этом думать, как о вещи невозможной; очень хорошо, по его мнению, было уж и то, что наша литература становится сколько-нибудь похожа в самом деле на литературу; успехи, ею совершаемые, были, по его мнению, очень быстры и похвальны, он постоянно радовался этой быстроте нашего развития, а ведь, по правде говоря, быстрота эта была так и довольно медленная: и в 1846 и 1856 году мы еще далеки от этой «зрелости», к которой стремимся. Да, Белинский был человек очень терпеливый и умеренный. Примеров тому можно найти множество: они на каждой странице его статей. — Напрасно также было бы воображать его критиком слишком строгим; напротив, он был очень снисходителен. Правда, он был одарен чрезвычайно верным и тонким вкусом, не мог не замечать недостатков и высказывал о них свое мнение без всяких пустых прикрас; но если хотя какое-нибудь положительное достоинство находилось в разбираемом произведении, он готов был за это достоинство извинять ему все недостатки, для которых существует хотя какое-нибудь извинение. Едва ли у кого из русских критиков было и столько терпимости к чужим мнениям, как у него: лишь бы только убеждения не были совершенно нелепы [и вредны], он всегда говорил о них с уважением, как бы ни разнились они от его собственных убеждений. Примеров тому множество. Укажем на один, о котором придется нам говорить — на полемику его с славянофилами, в которой со стороны Белинского постоянно было гораздо больше доброжелательства, нежели со стороны его противников. Он даже видел утешительное явление в том, что число приверженцев этой школы увеличивается. (Белинский, впрочем,

ошибся в этом случае: ныне оказалось, что славянофильство лишено способности привлекать последователей.) Точно так же он с полной готовностью признавал все достоинства произведений словесности, которые были написаны не в том духе, какой казался ему сообразнейшим с потребностью нашей литературы, лишь бы только эти произведения имели положительное достоинство. Для примера напомним его отзыв о романе г. Гончарова «Обыкновенная история». В приложении к настоящей статье мы поместили отрывок из последнего обзора русской литературы, написанного Белинским. Он припомнит читателям, что Белинский не признавал «чистого искусства» и поставлял обязанностью искусства служение интересам жизни. А между тем, он в том же самом разборе с равным благорасположением говорит о романе г. Гончарова, в котором видит исключительное стремление к так называемому чистому искусству, и о другом романе, явившемся около того времени, написанном в духе, который наиболее нравился Белинскому; он даже более снисходителен к «Обыкновенной истории». Можно также припомнить, с каким чрезвычайным сочувствием говорил всегда Белинский о Пушкине, хотя совершенно не разделял его понятий. Но бесполезно увеличивать число этих примеров, которых множество представляется каждому сохранившему отчетливое воспоминание о статьях Белинского.

Мнение, будто бы Белинский не очень был умерен в своих понятиях или сурово преследовал всякий образ мыслей, несогласный с его собственным, решительно несправедливо. В этом каждому легко убедиться, просмотрев несколько его статей. Фанатиков у нас в литературе было довольно много; но Белинский не только не имел никакого сходства с ними, а, напротив, постоянно вел с ними самую упорную борьбу, какого бы цвета ни был их фанатизм, к какой бы партии ни принадлежали они, — даже фанатиков так называемой «тенденции» он осуждал так же строго, как и фанатиков противоположного направления. [Для примера довольно вспомнить о том, как положительно выразил он свое неодобрение собраниям произведений двух молодых поэтов тогдашнего времени, которые пели о том, как «воспрянет человечество, плачущее кровавыми слезами», и о том, как надобно «карать жрецов лжи».]⁴⁵

Отчего же могло возникнуть мнение, будто Белинский не был человеком очень умеренных мыслей о нашей литературе и связанных с нею вопросах, между тем как чтение его статей неопровержимо убедит каждого, что он понимал вещи не иначе, как их вообще понимают почти все здравомыслящие люди в наше время? Тут надобно многое приписать неосновательным обвинениям, какие взводились на него личными его противниками, которых самолюбие было оскорблено его критикою; его называли они человеком неумеренным по тем же самым побуждениям и точно с такою же основательностью, как и твердили о нем, будто бы он нападал на старых наших писателей, тогда как, напротив, он восстанавливал их славу. Но этими личными и мелочными расчетами нельзя ограничить поводов, по которым возникло мнение, признаваемое нами несправедливым.

Требования Белинского были очень умеренны, но тверды и последовательны, высказывались с одушевлением, энергически. Нет надобности говорить, что самые резкие суждения могут быть прикрываемы цветистыми фразами. Белинский, человек прямого и решительного характера, пренебрегал этою хитростью. Он писал так, как думал, заботясь только о правде и употребляя именно те слова, которые точнее выражали его мысль. Дурное он прямо называл дурным, не прикрывая своего суждения дипломатическими оговорками и двусмысленными намеками. Потому людям, которым всякое правдивое слово кажется жестким, как бы ни было оно умеренно, мнения Белинского казались резкими: что делать, многие прямо считают всегда резкостью. Но те, которые понимают смысл читаемого, очень хорошо всегда понимали, что желания и надежды Белинского были очень скромны. Вообще он не требовал ничего такого, что не казалось бы совершенною необходимостью для

⁴⁵ Мы говорим об умеренности Белинского не для того, чтобы хвалить или осуждать его, а просто потому, что умеренность эта факт очень важный и неоспоримый, а между тем, слишком часто опускаемый из виду при суждениях о Белинском.

каждого человека с развитым умом. Этим и объясняется сильное сочувствие ему в публике, которая у нас вообще очень скромна в своих желаниях.

В спорах с противниками Белинский не имел привычки уступать, и в полемике, которую он вел, не было ни одного случая, когда спор не кончился бы совершенным поражением противника во всех пунктах; ни один литературный спор не оканчивался без того, чтобы противник Белинского не терял совершенно уважения лучшей части публики. Но должно только припомнить, с какими мнениями вел он борьбу, и надобно будет признаться, что иначе спор не мог кончаться. Белинский спорил только против мнений, положительно вредных и решительно ошибочных: нельзя указать ни одного случая, когда бы он считал нужным восставать против убеждений, которые были безвредны или не нелепы. Стало быть, вовсе не он, а его противники были виноваты в том, если полемика (обыкновенно начинаемая не Белинским) кончалась совершенным их поражением: зачем они защищали мнения, которых невозможно защищать и не должно защищать? Зачем они восставали против очевидных истин? Зачем они литературные вопросы так часто старались переносить в область юридических обвинений? Все случаи, когда Белинский вел упорную полемику, подводятся под одно определение: Белинский говорит, что $2 \times 2 = 4$; его за это обвиняют в невежестве, безвкусии и неблагонамеренности, намекая, что из провозглашаемого им парадокса — парадокс состоит в том, что $2 \times 2 = 4$ — например, в том, что произведения Пушкина по художественному достоинству выше произведений Державина, а «Герой нашего времени» выше «Брынского леса» или «Симеона Кирдяпы», — что из этого страшного парадокса произойдут самые пагубные последствия для русского языка, для отечественной литературы, и что — чего доброго! — всему миру грозит смертельная опасность от такой неосновательной и злонамеренной выдумки. При защите от таких нападений, конечно, невозможно было признавать, что на стороне нападающих есть хотя какая-нибудь частица справедливости. Если бы предметом их негодования выбиралось что-нибудь сомнительное, если бы замечались Белинскому какие-нибудь односторонности или недосмотры, дело могло бы быть ведено иначе: Белинский, соглашаясь или не соглашаясь на замечания противника, охотно признавался бы, что их слова не совершенно лишены здравого смысла, что мнения их заслуживают уважения: когда он замечал свои ошибки, он не колебался сам первый обнаруживать их. Но что оставалось ему делать, когда, например, один из его противников возмущался отсутствием всяких убеждений в статьях Белинского, когда тот же самый противник утверждал, что Белинский пишет, сам не понимая смысла своих слов, — потом твердил, что Белинский заимствует у него свои понятия (когда дело было совершенно наоборот, что очевидно каждому при сличении старого «Москвитянина» с «Отечественными записками»), — когда другие восставали на Белинского за мнимое неуважение к Державину и Карамзину (которых он первый оценил), и т. д., — тут, при всей готовности быть уступчивым, невозможно было увидеть в замечаниях противников ни искры правды, и невозможно было не сказать, что они совершенно ошибочны. Таково же бывало положение дела, когда Белинский, в свою очередь, начинал полемику: мог ли он не говорить, что мнения, против которых он восстает, совершенно лишены всякого основания, когда эти мнения были такого рода: «Гоголь писатель без всякого таланта, — лучшее лицо в «Мертвых душах» кучер Чичикова Селифан, — гегелева философия заимствована из «Завещания» Владимира Мономаха, — писатели, подобные г. Тургеневу и г. Григоровичу, достойны сожаления потому, что берут содержание своих произведений не из русского быта, — Лермонтов был подражателем г. Бенедиктова и плохо владел стихом, — романы Диккенса произведения уродливой бездарности, — Пушкин был плохой писатель, — величайшие поэты нашего века Виктор Гюго и г. Хомяков, — г. Соловьев не имеет понятия о русской истории, — немцы должны быть истреблены, — VII глава «Евгения Онегина» есть рабское подражание одной из глав «Ивана Выжигина», — лучшее произведение Гоголя его «Вечера на хуторе» (по мнению одних) или «Переписка с друзьями» (по мнению других), остальные же гораздо слабее, — Англия погибла около 1827 года, так что не осталось и следов ее существования, как не осталось следов Платоновой Атлантиды, — Англия единственно

живое государство в Западной Европе (мнение того же писателя, который открыл, что она погибла), — лукавый Запад гниет, и мы должны поскорее обновить его мудростью Сковороды, — Византия должна быть нашим идеалом, — просвещение приносит вред» и т. д., и т. д. — Можно ли найти хотя какую-нибудь частицу правды в таких суждениях? Можно ли делать им уступки? Восставать против них значит ли обнаруживать дух нетерпимости? Когда одному из людей, воображающих себя учеными, и пользовавшемуся сильным влиянием в журнале, который имел своею специальностью борьбу против Белинского и «Отечественных записок», вздумалось утверждать, что Галилей и Ньютон поставили астрономию на ложный путь, неужели можно было бы вести с ними спор таким образом: «В ваших словах есть много справедливого; мы должны сознаться, что в прежних наших понятиях об астрономических законах были ошибки; но, соглашаясь с вами в главном, мы должны сказать, что некоторые подробности в ваших замечаниях кажутся нам не совсем ясны»; говорить таким образом значило бы изменять очевидной истине и делать себя предметом общей насмешки. Возможно ли было говорить таким тоном и о тех суждениях, образцы которых представили мы выше, и которые в своем роде ничуть не хуже опровержения ньютоновой теории? Нет, тут невозможно соединять отрицание с уступчивостью, потому что нет ни малейшей возможности открыть в словах противника что-нибудь похожее на правду. Относительно таких мнений нет середины: или надобно молчать о них, или прямо, без малейших уступок, высказывать, что они лишены всякого основания. Разумеется, нападения на Галилея и Ньютона можно было оставить без внимания — не было опасности, чтобы кто-нибудь введен был ими в заблуждение. Но другие суждения не были так невинны — обнаружить их неосновательность было необходимо. Из того, что Белинский не видел возможности соглашаться, что Гоголь бездарный писатель и пьяного Селифана должно считать представителем русской народности, следует ли заключать, что он не имел терпимости?

Люди, которые восставали против Белинского, нападали на истины слишком очевидные и важные; сам он восставал только против того, что было решительно нелепо и вредно; будучи человеком твердых убеждений и прямого характера, он высказывал свои мнения сильно.

Но кто смешивает эти качества с неумеренностью мнений, тот совершенно ошибается. Напротив, мнения Белинского высказывались с особенною силою именно потому, что, в сущности, были очень умеренны.

Сделав это необходимое замечание о характере общих воззрений Белинского, мы должны были бы теперь заняться вопросом о том, как он смотрел на отношения литературы к обществу и занимающим его интересам. Но в одной из последних статей своих сам Белинский высказал свои мнения об этом предмете с такою полнотою и точностью, что лучше всего будет представить в приложении к нашей статье его собственные слова. А здесь остается нам сделать только несколько замечаний, которые послужат объяснением к предлагаемому отрывку из статьи Белинского.

Мнения, которые так сильно и убедительно выражены Белинским в этом отрывке, совершенно противоположны идеям трансцендентальной философии, в особенности системы Гегеля, основывавшей все свое эстетическое учение на том принципе, что искусство имеет исключительным предметом своим осуществление идеи прекрасного; искусство, по этим идеалистическим понятиям, должно было сохранять совершенную независимость от всех других стремлений человека, кроме стремления к прекрасному. Такое искусство называлось чистым искусством.

И в этом случае, как почти во всех других, гегелева система останавливалась на половине пути и, отказываясь от строгого вывода последствий из своих коренных положений, допускала в себя устаревшие мысли, противоречившие этим положениям. Так, она говорила, что истина существует только в конкретных явлениях, а между тем, в эстетике своей ставила верховною истинною идею прекрасного, как будто идея эта существует сама по себе, а не в живом, действительном человеке. Это внутреннее противоречие, повторявшееся

почти во всех других частях гегелевой системы, и послужило причиной ее неудовлетворительности. Действительно существует человек, а идея прекрасного есть только отвлеченное понятие об одном из его стремлений. А так как в человеке, живом органическом существе, все части и стремления неразрывно связаны друг с другом, то из этого и следует, что основывать теорию искусства на одной исключительной идее прекрасного значит впадать в односторонность и строить теорию, несообразную с действительностью. В каждом человеческом действии принимают участие все стремления человеческой природы, хотя бы одно из них и являлось преимущественно заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится не отвлеченным стремлением к прекрасному (идеею прекрасного), а совокупным действием всех сил и способностей живого человека. А так как в человеческой жизни потребности, например, правды, любви и улучшения быта гораздо сильнее, нежели стремление к изящному, то искусство не только всегда служит до некоторой степени выражением этих потребностей (а не одной идеи прекрасного), но почти всегда произведения его (произведения человеческой жизни, этого нельзя забывать) создаются под преобладающими влияниями потребностей правды (теоретической или практической), любви и улучшения быта, так что стремление к прекрасному, по натуральному закону человеческого действия, является служителем этих и других сильных потребностей человеческой природы. Так всегда производились все создания искусства, замечательные по своему достоинству. Стремления, отвлеченные от действительной жизни, бессильны; потому, если когда стремление к прекрасному и усиливалось действовать отвлеченным образом (разрывая свою связь с другими стремлениями человеческой природы), то не могло произвести ничего замечательного даже и в художественном отношении. История не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеею прекрасного; если и бываюи и бывали такие произведения, то не обращают на себя никакого внимания современников и забываются историей, как слишком слабые, — слабые даже и в художественном отношении.

Таков взгляд положительной науки, почерпающей свои понятия из действительности. Отрывок, представляемый нами в приложении, доказывает, что окончательный взгляд Белинского на искусство и литературу был совершенно таков. Он был уже совершенно чист от всякой фантастичности и отвлеченности.

Но мы видели, что сначала Белинский был страстным последователем гегелевой системы, сильную сторону которой составляет стремление к действительности и положительности (чем преимущественно и очаровывала она Белинского, как и всех сильных людей тогдашнего молодого поколения в Германии и отчасти у нас), а слабую сторону то, что это стремление остается неосуществленным, так что почти все содержание системы отвлеченно и недействительно. Вскоре после переезда своего в Петербург Белинский освободился от безусловного поклонения Гегелю; но мысль и исполнение, принцип и вывод следствий — два различные фазиса, всегда отделенные друг от друга долгим периодом развития. Сказать: «я понимаю, что действительность должна быть источником и мерилем наших понятий», и пересоздать все свои понятия на основании действительности — две вещи совершенно различные. Вторая задача, быть может, еще важнее первой и достигается только посредством продолжительного труда.

В петербургских журналах Белинский действовал около восьми лет. Следить за всеми постепенностями и подробностями развития его в это время значило бы анализировать все его статьи, — по крайней мере, сто или полтора десятка важнейших. Но и того еще недостаточно: нужно было бы прибегать к помощи соображений, которые могут быть доставлены только подробною биографиею. А наши статьи приняли уже и без того объем, гораздо обширнейший, нежели мы предполагали, начиная их; собиранием биографических сведений замедлилось бы их окончание на неопределенное время; рассмотрение всего написанного Белинским потребовало бы сотни и сотни страниц. Потому мы только в общих чертах обозначим главные два периода петербургской деятельности Белинского: в первой половине отвлеченный элемент в его статьях еще довольно силен; во второй половине он почти

совершенно и под конец этой половины совершенно исчезает, и система положительных воззрений становится совершенно последовательной. Материалы для характеристики первого периода будут нам доставлены обзором содержания нескольких статей Белинского, написанных в первое время по приезде в Петербург; подробное рассмотрение последних его статей послужит средством сделать, по возможности, полный очерк окончательных его понятий о русской литературе; годовые обзоры русской литературы, являвшиеся постоянно с 1841 года, и статьи о Пушкине, которые писались в продолжение трех лет (1843–1846), будут соединительными звеньями между первым и вторым очерком. Таким образом, мы, не упустив из виду важнейших точек зрения, окончим первую часть наших «Очерков» до конца нынешнего года.

Для первой книжки «Отечественных записок» 1840 года Белинский написал разбор комедии Грибоедова, около того времени вышедшей вторым изданием. Статья эта принадлежит к числу самых удачных и блестящих. Она начинается изложением теории искусства, написанным исключительно с отвлеченной, ученой точки зрения, хотя [в нем и ведется сильная борьба против мечтательности, и] все оно проникнуто стремлением к действительности и сильными нападениями на фантазерство, презирающее действительность. Вот для примера отрывок, следующий за объяснением (совершенно еще в духе Гегеля), что «произведения поэзии суть высочайшая действительность»:

Есть люди, которые от всей души убеждены, что поэзия есть мечта, а не действительность, и что в наш век, как *положительный* и *индустриальный*, поэзия невозможна. Образцовое невежество! Нелепость первой величины! Что такое мечта? Призрак, форма без содержания, порождение расстроенного воображения, праздной головы, колобродствующего сердца! И *такая* мечтательность нашла поэтов в Ламартинах и свои поэтические произведения в идеально-чувствительных романах, вроде «Аббадонны»; но разве Ламартин поэт, а не мечта, — и разве «Аббадонна» поэтическое произведение, а не мечта? И что за жалкая, что за устарелая мысль о *положительности* и *индустриальности* нашего века, будто бы враждебных искусству? Разве не в нашем веке явились Байрон, Вальтер Скотт, Купер, Томас Мур, Уордсворт, Пушкин, Гоголь, Мицкевич, Гейне, Беранже, Эленшлегер, Тегнер и другие? Разве не в нашем веке действовали Шиллер и Гете? Разве не наш век оценил и понял создание классического искусства и Шекспира? Неужели это еще не факты? Индустриальность есть только одна сторона многостороннего XIX века, и она не помешала ни дойти поэзии до своего высочайшего развития в лице поименованных нами поэтов, ни музыке в лице ее Шекспира — Бетховена, ни философии в лице Фихте, Шеллинга и Гегеля. Правда, наш век враг мечты и мечтательности, но потому-то он и великий век! Мечтательность в XIX веке так же смешна, пошла и приторна, как и сантиментальность. *Действительность* — вот пароль и лозунг нашего века, действительность во всем — и в верованиях, и в науке, и в искусстве, и в жизни. Могучий, мужественный век, он не терпит ничего ложного, поддельного, слабого, расплывающегося, но любит одно мощное, крепкое, существенное. Он смело и бестрепетно выслушал безотрадные песни Байрона и, вместе с их мрачным певцом, лучше решил отречься от всякой радости и всякой надежды, нежели удовольствоваться нищенскими радостями и надеждами прошлого века. Он выдержал рассудочный критицизм Канта, рассудочное положение Фихте; он перестрадал с Шиллером все болезни внутреннего субъективного духа, порывающегося к действительности путем отрицания. И зато в Шеллинге он увидел зарю бесконечной действительности, которая в учении Гегеля осияла мир роскошным и великолепным днем и которая еще прежде обоих великих мыслителей непонятая явилась непосредственно в созданиях Гете... («Отечественные записки», т. VIII, Критика, стр. 11–12.)

Хотя и говорится в этой статье постоянно, что поэзия нашего времени есть «поэзия действительности, поэзия жизни», но главною задачею новейшего искусства поставляется, однако же, задача, совершенно отвлеченная от жизни: «примирение романтического с классическим», потому что и вообще наш век есть «век примирения» во всех сферах. Самая действительность понимается еще односторонним образом: она обнимает собою только

духовную жизнь человека, между тем как вся материальная сторона жизни признается «призрачною»: «человек ест, пьет, одевается — это мир призраков, потому что в этом нисколько не участвует дух его»; человек «чувствует, мыслит, сознает себя органом, сосудом духа, конечною частью общего и бесконечного — это мир действительности» — все это чистый гегелизм. Но в объяснении теории надобно дать применение ее к произведениям искусства. Белинский выбирает образцами истинно поэтического эпоса повести Гоголя и потом подробно разбирает «Ревизора», как лучший образец художественного произведения в драматической форме. Этот разбор занимает большую половину статьи — около 30 страниц. Видно, что Белинскому нетерпеливо хотелось поговорить о Гоголе, и это одно уже служит достаточным свидетельством за направление, еще тогда преобладавшее в нем. Разбор этот написан превосходно, и трудно найти что-нибудь лучше его в своем роде. Но комедия Гоголя, которая так непреодолимо вызывает живые мысли, рассматривается исключительно в художественном отношении. Белинский объясняет, как одна сцена вытекает из другой, почему каждая из них необходима на своем месте, показывает, что характеры действующих лиц выдержаны, верны самим себе, вполне обрисованы самим действием без всяких натяжек со стороны Гоголя, что комедия полна живого драматизма, и т. д. Объяснив примером «Ревизора» качества художественного произведения, Белинский уже очень легко доказывает, что «Горе от ума» не может быть названо художественным созданием, он обнаруживает, что сцены этой комедии часто не связаны одна с другою, положения и характеры действующих лиц не выдержаны, и т. д. — словом, критика опять ограничивается исключительно художественною точкою зрения. На то, какое значение для жизни имеет «Ревизор» и имело «Горе от ума», не обращено почти никакого внимания. Во второй книге «Отечественных записок» того же года помещен разбор сочинений Марлинского, наделавший в свое время чрезвычайно много шума. Он написан также исключительно с художественной точки зрения.

Точно так же почти исключительно с художественной точки зрения рассматривается и «Герой нашего времени» Лермонтова (в книжках 7 и 8-й 1840 года). Белинский замечает, что Печорин порожден отношениями, в которых совершается развитие его характера, что он дитя нашего общества; но этим сказанным вскользь замечанием и ограничивается он, не вдаваясь в объяснение вопроса о том, почему именно такой, а не другой тип людей производится нашею действительностью. Он говорит только с общей исторической точки зрения, равно прилегающей ко всякому европейскому обществу, о том, что Печорины принадлежат периоду рефлексии, периоду внутреннего распада человека, когда гармония, влагаемая в человека природою, уже разрушена сознанием, но сознание не достигло еще полной власти над жизнью, чтобы дать ей новое, разумное единство, новую, высшую гармонию. Белинский прекрасно понимает характер Печорина, но только с отвлеченной точки зрения, как характер европейца вообще, дошедшего до известной поры духовного развития, и не отыскивает в нем особенностей, принадлежащих ему, как члену нашего, русского общества. Вот важнейшее из того, что говорит он о Печорине, — выписав то место из дневника Печорина, в котором он размышляет о прелести обладания молодою душою, о том, какое развлечение для его скуки и какую отраду для его гордости доставляют отношения к княжне Мери, о том, что нужно же иметь занятие для сил, требующих деятельности. Белинский восклицает:

Какой страшный человек этот Печорин! Потому, что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!..» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопчете? За что сердитесь? Право, нам кажется, вы пришли не в свое место, сели за стол, за которым вам не поставлено прибора... Не подходите слишком близко к этому человеку, не нападайте на него с такою запальчивою храбростью: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенных лицах ваших все прочтут суд ваш. Вы предаете его анафеме не за пороки — в вас их больше, и в вас они чернее и позорнее — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которою он говорит о них. Вы позволяете человеку

делать все, что ему угодно, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат, но, как пошлину за право торговли, требуете от него *моральных сентенций* о том, как должен человек думать и действовать, и как он в самом-то деле и не думает и не действует... И зато ваше инквизиторское ауто-да-фе готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их именами и показывать другим себя не в бальном костюме, не в мундире, а в халате, в своей комнате, в уединенной беседе с самим собою, в домашнем расчете с своею совестью. И вы правы: покажитесь перед людьми хоть раз в своем позорном неглиже, в своих засаленных ночных колпаках, в своих оборванных халатах, люди с отвращением отвернутся от вас, и общество извергнет вас из себя. Но этому человеку нечего бояться: в нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него. Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплодно страдаете. Пусть он клеветает на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клеветает на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клеветает на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостью, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд («Отеч[ественные] зап[иски]», т. XI, Критика, стр. 9-10).

Досказав содержание романа, он прибавляет:

Большая часть читателей, наверное, воскликнет: «Хорош же герой!» — А чем же он дурен? — смеем вас спросить.

Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких дум неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно! но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота: он бы и рад иметь, да не дается оно ему. И, притом, разве Печорин рад своему безверию? разве он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не готов ценою жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его?.. Вы говорите, что он эгоист? — Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? разве сердце его не жаждает любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения: страдание есть удел одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля, пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она

произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви... Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, — и кто же эти «все»? — пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулю и быстыдно ожидающему от него холостого выстрела? А его слезы и рыдания в пустынной степи, у тела издохшего коня? — нет, все это не эгоизм! Но его — скажете вы — холодная расчетливость, систематическая рассчитанность, с которою он обольщает бедную девушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность! — Так; но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, ни выставлать его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности: мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сантиментальных романах прошлого века. Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многих отношениях, дурное настоящее обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нем великое торжество духа над природою? — и хотите потом отрицать в нем всякое достоинство, когда он сокрушает, как зерно жернов, неосторожных, попавших под его колеса: не значит ли это противоречить самим себе? опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты; следовательно, порок его выходит из его достоинства («Отечественные записки», т. XI, Критика, стр. 33–34).

Точка зрения все еще слишком отвлеченна; она вполне прилагается к русской жизни, но только ровно настолько же, нисколько не более, как и к английской, французской и т. д. жизни. Но уже одни эти места могли бы служить достаточным речательством, что Белинский никогда не любил останавливаться на половине пути из боязни, что с развитием соединены свои опасности, как соединены они со всеми вещами на свете; все-таки эти опасности, по его мнению, вовсе не так страшны, как та нравственная порча, которая бывает необходимым следствием неподвижности; притом же они с неизмеримым избытком вознаграждаются положительными благами, какие дает развитие.

Точка зрения, с которой Белинский рассматривал в 1840 году произведения нашей поэзии, должна, как видим, назваться отвлеченною. Но мы ошиблись бы, если бы вывели из этого заключение, что заботы об отношениях литературы к обществу не преобладали уже и тогда в Белинском. В третьей книге «Отечественных записок» того же года он посвящает большую критическую статью разбору двух детских книг: с жаром он объясняет, каково должно быть истинное воспитание, обличает результаты неразумного воспитания, какое обыкновенно дается детям, и показывает, как велики обязанности родителей в отношении к детям. Не надобно говорить, что все это проникнуто самыми гуманными и плодотворными для нашей жизни понятиями. Вот отрывок, по которому можно судить о тоне и содержании статьи:

Воспитание! Оно везде, куда ни посмотрите, и его нет нигде, куда ни посмотрите. Конечно, вы его можете увидеть даже во всех слоях общества, от самого высшего до самого низшего, но как редкость, как исключение из общего правила. Отчего же это? Да оттого, что на свете бездна родителей, множество *paras et mamans*, но мало отцов и матерей. «Вот прекрасно!», — восклицаете вы: «какая же разница между родителями и отцом и матерью?» — Как какая? — взгляните летом на мух: какая бездна родителей, но где же отцы и матери? Грибоедов давно уже сказал:

Чтоб иметь детей,
Кому ума не доставало!

Право рождения — священное право на священное имя отца и матери — против этого

никто и не спорит; но не этим еще все оканчивается: тут человек еще не выше животного; есть высшее право — родительской любви. «Да какой же отец или какая мать не любит своих детей!» — говорите вы. Так; но позвольте вас спросить, что вы называете любовью? — как вы понимаете любовь? — Ведь и овца любит своего ягненка: она кормит его своим молоком и облизывает языком; но как скоро, он меняет ее молоко на злак полей — их родственные отношения оканчиваются. Ведь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она нещадно била по щекам старую Еремеевну и за то, что дитя много кушало, и за то, что дитя мало кушало; она любила его так, что если бы он вздумал ее бить по щекам, она стала бы горько плакать, что милое, ненаглядное детище только обколотит об нее свои ручонки. Итак, разве чувство овцы, которая кормит своим молоком ягненка, чувство г-жи Простаковой, которая, быв и овцою и коровою, готова еще сделаться и лошадкой, чтобы возить в колясочке свое двадцатилетнее дитя, — разве все это не любовь? — Да, любовь, но какая? — любовь чувственная, животная, которая в овце, как в животном, отличающемся и животную фигуру, имеет свою истинную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая в г-же Простаковой, как в животном, отличающемся человеческою фигуру, вместо овечьей, — бессмысленна, безобразна и отвратительна. Далее: ведь и Павел Афанасьевич Фамусов любил свою дочь, Софью Павловну: посмотрите, как он хлопочет, чтобы повыгоднее сбыть ее с рук, подороже продать... Продать? — какое ужасное слово!.. отец продает свою дочь, торгует ею, конечно, не по мелочи, но один раз навсегда, и не больше, как для одного человека, который будет называться ее мужем!.. Но ведь это он делает не для себя, а для ее же счастья? — скажут многие. Прекрасно! Но после этого и разбойник, который для приданого дочери зарежет перед ее свадьбою несколько человек, будет прав, потому что сделает это из любви к дочери? После этого и иная матушка, которая, не желая видеть в нищете свою нежно любимую дочь, научит или принудит ее сделать выгодный промысел из своей красоты, — тоже будет права, потому что поступит так из любви к дочери?.. И разве этого не бывает в самом деле? Разве старый подьячий, закореневший в лихоимстве и казнокрадстве, не поставлял первым и священным долгом своего родительского звания передать свое подлое ремесло нежно любимому сынку? Мы опять соглашаемся, что источник всего этого любовь, но *какая*, — вот вопрос («Отечественные записки», т. IX, Критика, стр. 4–5).

Вся статья о детских книгах имеет самое живое отношение к нашей действительности. И таких статей найдется у Белинского очень много уже и в то время.

Нет надобности говорить, что и взгляд Белинского в 1840 году на произведения беллетристики и поэзии мы называем отвлеченным только по сравнению с тем, что дано было нам его последующим развитием. Если же сравним его тогдашние статьи с предшествовавшей ему критикою, то найдем, что для того времени никто еще не проникался элементами нашей действительности так глубоко и живо, как и в то время была уже проникнута ими критика Белинского. Если он еще не останавливался исключительно на фактах, свойственных именно нашему, а не какому-нибудь другому быту, то постоянно он касался их и на каждой странице затрогивал частные вопросы нашей жизни. Доказательства тому постоянно встречаются даже в сделанных нами выписках, которые приводятся у нас в пример отвлеченности. Укажем, для примера, и на то, что, желая показать подробным разбором качества художественного произведения, Белинский выбирает не драму Шекспира, как сделал бы всякий другой на его месте, а комедию русского писателя. Из этого одного уже ясно было бы, что явления нашей жизни занимают его более, нежели что бы то ни было другое. Но — и это главное — не будем сами судить отвлеченным образом, а сообразим положение нашей литературы и публики в то время, когда Белинский начал писать в «Отечественных записках»: мы должны будем признаться, что вопросы, которые для настоящего времени представляются отвлеченными, тогда были действительными и живыми, как и теперь для русской публики самый живой и важный интерес имеют еще вопросы, которые в других странах давно уже считаются или отвлеченными, или мелкими, например, хотя бы литературные вопросы, за которыми все мы следим с таким живым

интересом и которые у других народов не имеют силы возбуждать такого напряженного участия. В каждой стране, у каждого времени свои интересы. Мы, например, радуемся, и справедливо радуемся, тому, что наши молодые люди, избирающие ученое поприще, снова начинают посещать Европу для довершения своего образования — явление, напоминающее времена Петра Великого; а французам, англичанам ровно нет никакого дела до того, ездят ли за границу их молодые ученые, или не ездят. Правда, у них число таких путешественников во сто раз больше, нежели у нас, — и, однако же, это нисколько не обращает на себя их внимания. Мы, например, восхищаемся и поучаемся «Горем от ума», «Ревизором», «Мертвыми душами», как произведениями, в которых очень полно и верно отразилась наша жизнь; а французы, англичане, немцы о произведениях своей литературы, в которых жизнь общества была бы воспроизведена в тех границах, как в «Ревизоре» и «Мертвых душах», сказали бы, что они отражают жизнь очень неполно и отрывочно, — они сказали бы даже, что эти произведения очень отвлеченные от жизни: ведь находят же немцы, что «Коварство и любовь» Шиллера произведение довольно отвлеченное, а в нем немецкая жизнь изображена полнее, нежели русская у Гоголя и Грибоедова⁴⁶. О французах и англичанах мы уже не говорим. Для них поэтические произведения имеют ныне вообще меньше живого значения, нежели для немцев.

Потребность стать по своим понятиям в уровень с образованною Европою и теперь у нас составляет один из важнейших вопросов жизни. Тем живее была она пятнадцать лет тому назад. Ныне роман Диккенса или Теккерея далеко не возбуждает того интереса у нас, какой бы возбуждал пятнадцать лет тому назад. Ныне, вероятно, никто не в состоянии был бы осилить «Витторию Аккоромбону» Тика, а пятнадцать лет тому назад и этот роман казался живым и интересным чтением. Переворот этот произведен Гоголем, Белинским и писателями, образовавшимися под их влиянием. Но само собою разумеется, что начало не бывает подобно концу, и Белинский должен был необходимо начать с того, чтобы знакомить нашу публику и литературу с современными понятиями об искусстве; должен был начать с того, чтобы толковать, что такое «художественное произведение», в чем состоят истинные достоинства романа, драмы и т. д., и т. д.; — ведь в то время, как он начал писать в «Отечественных записках», публика еще и не слыхивала об этих вещах. «Телескоп» читался мало: и, притом, в нем все еще было спутано в самом поэтическом беспорядке: современные понятия с отсталыми, восторженные похвалы Гоголю со статьями г. А. Хиджеу о малороссийском философе Сковороде. «Московского наблюдателя» не читал почти никто, по словам самого Белинского. Для истории литературы эти журналы являются предшественниками «Отечественных записок»; но для публики «Отечественные записки» были первым журналом, заговорившим о вещах, до того времени несслыханных: о прекрасном, об идее, о различии разумного и непосредственного существования, о действительности в поэзии, и т. д., и т. д.

Белинский по необходимости должен был начать дело с самого начала — с потопа и разделения язык, с объяснения того, что называется литературою, что такое называется поэтом, с подробных рассуждений о том, чем литературное произведение отличается от нелепой сказки или вздорного пустословия: все это нам нужно еще было узнать, все это возбуждало сомнения и недоумения, все приводило одних читателей в восторг, других в гнев; эти рассуждения, кажущиеся ныне отвлеченными, были в то время самую живую, насущною потребностью публики. Но да не возгордимся мы своими успехами: гордость пагубный грех; подумаем лучше о том, какими вопросами до сих пор мы сами интересуемся, будто важнейшими и живейшими: ведь книжка журнала составляет для самых живых из нас самое живое явление — да и то хорошо, потому что для многих из нас чуть ли не интереснейшая в газетах статья — номенклатура новых коллежских и надворных

⁴⁶ Читатели видят, конечно, что мы говорим единственно о полноте, а не о художественных совершенствах воспроизведения жизни. Быть может, по форме «Ревизор» живее, нежели «Коварство и любовь»: об этом каждый может думать, как ему угодно.

советников, — да и то хорошо: все-таки привыкают к печатной грамоте, все-таки убеждаются, что типографский станок хотя для чего-нибудь нужен.

Белинский должен был начать свое дело с самого начала, как начинал свое дело Ломоносов, — с рассуждений о том, что называется стихотворным размером и каков должен быть стихотворный размер; он должен был прежде всего объяснить нам, что такое литература, что такое критика, что такое журнал, что такое поэзия, и т. д. — Спору нет, что азбука — вещь отвлеченная: живого смысла еще нет в ее буквах; но для того, кто еще не знает их, настоятельнейшая потребность состоит в их изучении, и оно составляет самый живой и действительный вопрос его жизни. Так, для нашей публики было чрезвычайно хорошо то, что Белинский начал свои критические разборы в «Отечественных записках» не прямо с полного погружения в нашу действительность, а с общих рассуждений, которые по сравнению с характером его последующих статей могут назваться отвлеченными, но могут назваться таким именем также только по отвлеченному понятию о качествах критики вообще, а не по соображению действительных обстоятельств, которые, напротив, придавали им самое живое значение. Стоит только припомнить, какое сильное и живое действие производили они на публику и литературу, и мы убедимся, что именно то было нужно, что делал он.

Да и для самой критики Белинского нужно было, чтобы она довольно долго сосредоточивала свое внимание на теоретических вопросах: именно тем, что непоколебимо утвердилась в общечеловеческих понятиях, она приобрела силу пронизательно и верно смотреть на явления нашей действительности. В одной из последних своих статей Белинский отвечает на вопрос, возбужденный исключительными поклонниками нашей народной поэзии: не лучше ли было бы для нашей литературы, если б она началась прямо в духе народности, а не была сначала простым отражением западной европейской поэзии? Не лучше ли было бы, если б Ломоносов, вместо того чтоб изучать оды Гюнтера, изучал наши народные песни? — Из этого не произошло бы ровно никаких последствий не только полезных, но и ровно никаких. В том именно и состоит заслуга Ломоносова, что он познакомил нас с литературою; а если б он вздумал писать в духе народных песен (кроме того, что это было для него чистою невозможностью), он не дал бы нам ровно ничего нового и интересного, и его произведения остались бы так же чужды историческому развитию нашей литературы, как песни сибирских казаков о битвах с силами богдойскими (богдыханскими), сочиненные в духе песен о Владимире: они ровно ничего к ним не прибавили и ни на шаг не подвинули нашего развития. Только потому и мог впоследствии Лермонтов написать песню о купце Калашникове, что Ломоносов писал оды в роде Гюнтера, Карамзин повести в роде Мармонтеля, Пушкин поэмы в роде Байрона. Конец именно потому и конец, что он не похож на начало, — стало быть, начало должно же отличаться от конца, — иначе не было бы ни целей, ни стремлений, ни истории{*}.

{* «Но каким же чудом — спросят нас — внешнее, абстрактное заимствование чужого и искусственное перенесение его на родную почву, — каким чудом могло породить оно живой органический плод? — В ответ на это скажем, решение этого вопроса, без сомнения, интересно; но нам нет дела до него; для нас довольно сказать, что так, именно так было, что это исторический факт, достоверности которого не может и подумать опровергать тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтоб слышать. Писатели, в которых выразилось прогрессивное движение через освобождение литературы русской от ломоносовского влияния, нисколько не думали об этом; это делалось у них бессознательно; за них работал дух времени, которого они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, как поэта, благоговели перед его гением, старались подражать ему — и все-таки больше и больше отходили от него. Разительный пример этого — Державин. Но в том-то и состоит жизненность европейского начала, привитого к нашей народности Петром Великим, что оно не коснеет в мертвой стоячести, но движется, идет вперед, развивается. Если бы Ломоносов не вздумал писать од по образцу современных ему немецких поэтов и французского лирика

Жан-Батиста Руссо, не вздумал писать своей «Петриады» по образцу виргилиевой «Энеиды», где, вместе с Петром Великим, героем своей поэмы, сделал действующим лицом и Нептуна, засадив его с тритонами и наядами на дно прохладного Белого моря; если бы, говорим мы, вместо всех этих книжных, школярных несообразностей, он обратился бы к источникам нашей народной поэзии — к «Слову о полку Игоревом», к русским сказкам (известным теперь по сборнику Кирши Данилова), к народным песням, и, вдохновленный, проникнутый ими, на их чисто народном основании, решился бы построить здание новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопрос, по-видимому, важный, но в сущности препустой, похожий на вопросы вроде следующих: что было бы, если бы Петр Великий родился во Франции, а Наполеон — в России, или что было бы, если бы за зиму следовала не весна, а прямо лето? и т. п. Мы можем знать, что было и что есть, но как нам знать, чего не было или чего нет? Разумеется, и в сфере истории все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не так, как было: но ее великие события, имеющие влияние на будущность народов, не могут быть иначе, как именно так, как они бывают, разумеется, в отношении к главному их смыслу, а не к подробностям проявления. Петр Великий мог построить Петербург, пожалуй, там, где теперь Шлиссельбург, или, по крайней мере, хоть немного выше, т. е. дальше от моря, чем теперь; мог сделать новою столицею Ревель или Ригу: во всем этом играла большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и удобно сношаться с Европою. В этой мысли уже не было ничего случайного, ничего такого, что могло бы равно быть и не быть, или быть иначе, нежели как было. Но для тех, для кого не существует разумной необходимости великих исторических событий, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, если бы Ломоносов основал новую русскую литературу на родном начале? — и ответим им, что из этого ровно ничего не вышло бы. Однообразные формы нашей народной поэзии были достаточны для выражения ограниченного содержания племенной, естественной, непосредственной, полупатриархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло к ним, не улегалось в них; для него необходимы были и новые формы. Тогда спасение наше зависело не от народности, а от европеизма; ради нашего спасения тогда необходимо было не задушить, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, так сказать, задержать на время ее ход и развитие, чтобы привить к ее почве новые элементы. Пока эти элементы относились к нашим родным, как масло к воде, у нас, естественно, все было реторикою: и нравы и — их выражение — литература. Но тут было живое начало органического сращения, через процесс усвоения, и потому литература после абстрактного начала мертвой подражательности двигалась все к живому началу самобытности». («Соврем[енник]», 1847, № 1, стр. 7–9.)}

В критике Белинского как бы повторилась вся история русской литературы. Полевой, Надеждин были представителями каждый только одного фазиса развития. Критика Белинского прошла, как мы видим, несколько фазисов, и, начав с отвлеченных понятий, доведенных до крайности вследствие споров с друзьями г. Огарева, она достигла совершенной положительности. Если сравнить статью об «Очерках Бородинского сражения», напечатанную Белинским в последней книжке «Отечественных записок» 1839 года, с статьею о «Выбранных местах из переписки с друзьями», напечатанною во 2-й книжке «Современника» за 1847 год, нас удивит безмерное расстояние, отделяющее первую от последней; мы не найдем между ними ничего общего, кроме того, что обе написаны с жаром душевного убеждения, и написаны человеком очень даровитым; но дух и все содержание одной совершенно противоположны духу другой, как «Песня о Калашникове» составляет совершенную противоположность «Оде на взятие Хотина»; но как между Ломоносовым и Лермонтовым найдется связь, если мы будем изучать писателей, бывших им посредниками: нет нигде перерыва или пробела, всякий новый шаг вперед основывается на предыдущем, так и критика Белинского развивалась совершенно последовательно и

постепенно: статья об «Очерках Бородинского сражения» противоположна статье о «Выбранных местах», потому что они составляют две крайние точки пути, пройденного критиком Белинского; но если мы будем перечитывать его статьи в хронологическом порядке, мы нигде не заметим крутого перелома или перерыва: каждая последующая статья очень тесно примыкает к предыдущей, и прогресс совершается при всей своей огромности, постепенно и совершенно логически⁴⁷.

Годичные обзоры русской литературы, которые постоянно делал Белинский, могут служить для нас соединительными звеньями между первыми статьями и статьями, выразившими зрелые и окончательные его убеждения.

Обозрение за 1840 год («Отеч[ественные] зап[иски]», 1841 г., № 1) начинается размышлением о чрезвычайной бедности нашей литературы — мысль, которою внушена была первая из больших статей Белинского — «Литературные мечтания», напечатанная в «Молве». Но сознание этой бедности уже не вселяет в Белинского безнадежности: сознание недостатка есть уже залог его исправления. Белинский вспоминает о том, как «лет шесть тому назад» было высказано сомнение в существовании русской литературы, и, кратко пересказав содержание своих «Литературных мечтаний» (что и было нужно, потому что статья оставалась мало известна, а в истории развития понятий о литературе была очень важным фактом), останавливается на объяснении того, что называется литературою, и доходит до заключения, что у нас есть только начало литературы. Для существования литературы необходима публика. Он опять объясняет, что такое публика: это масса людей развитых, сильно сочувствующих литературе, которая выражает их твердые убеждения. У нас нет еще и такой публики, но есть уже начало ее в немногочисленных образованных людях, которые рассеяны по России; теперь они еще заслоняются массою людей неразвитых, но скоро их голос приобретет уважение в толпе, число их увеличится. Далее он объясняет, что такое критика и почему критика «Отеч[ественных] записок» возбуждает недоумение других журналов, которые, впрочем, мало похожи на журналы. Развитие этих элементарных понятий занимает почти всю статью; в конце ее не более пяти страниц уделены перечислению замечательных произведений прошедшего года.

В следующем годичном обзоре (1841 года, «Отеч[ественные] зап[иски], 1842, № 1) две трети страниц посвящены обширному очерку истории русской литературы от Кантемира до Гоголя. Очерк этот имеет форму разговора г. А. и г. Б.; г. А., выражающий мнения автора, говорит много нового сравнительно с «Литературными мечтаниями». Белинский уже видит внутреннюю историческую последовательность в явлениях нашей литературы; но все-таки содержание очерка имеет очень тесное родство с «Литературными мечтаниями», и общая тема выражается эпитафией, взятым из Пушкина:

Сокровища родного слова,
(Заметят важные умы)

⁴⁷ «Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить, ни в литературе, ни в жизни, отсутствия своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в него со временем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь. Не будем распространяться, каким образом это сделалось с Россиею, созданною Петром, и русскою литературою, созданною Ломоносовым; но что это действительно сделалось и делается с ними — это исторический факт, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедию Грибоедова, произведения Пушкина, Лермонтова и, в особенности, Гоголя, — сравните их с произведениями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общего, никакой связи. Между писателями, которых мы поименовали выше, и между Ломоносовым и его школою действительно нет ничего общего, никакой связи, если сравнить их, как две крайности; но между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете изучать в хронологическом порядке всех русских писателей от Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движение русской литературы заключалось в стремлении, хотя и бессознательном, освободиться от влияния Ломоносова и сблизиться с жизнью, с действительностью, следовательно, сделаться самобытною, национальною, русскою». («Соврем[енник]», 1847, № 1, Критика, стр. 3–4.)

Для лепетания чужого.
Пренебрегли безумно мы,
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки.
А не читаем книг своих.
— *Да где ж они? Давайте их!*

С обзором предыдущего года очерк этот имеет еще более близости, так что может назваться подробным развитием некоторых страниц его, которые кратко исчисляли прежних наших писателей, и заключение очерка совершенно могло бы быть заключением и прошлогодней статьи:

Вы говорите, что я нашел в нашей литературе даже внутреннюю историческую последовательность: правда, но все это еще не составляет литературы в полном смысле слова. Литература есть народное сознание, выражение внутренних, духовных интересов общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Несколько человек еще не составляет общества, а несколько идей, приобретенных знакомством с Европою, еще менее может назваться национальным сознанием. Наша публика без литературы; потому что в год пять-шесть хороших сочинений на несколько сотен дурных — еще не литература; наша литература без публики, потому что наша публика что-то загадочное; один читал Пушкина, другой в восторге от г. Бенедиктова, а третий был без ума от мистерий г. Тимофеева; один понимает Гоголя, другой еще в полном удовольствии от Марлинского, а третий не знает ничего лучше романов гг. Зотова и Воскресенского... Театральные судьи равно хлопают и «Гамлету» и водевилям г. Коровкина и «Параше» г. Полевого... И не думайте, чтоб это были люди разных сфер и классов общества, — нет, они все перемешаны и перетасованы, как колода карт... Исторический ход свой наша литература совершила в самой же себе; ее настоящей публикою был сам пишущий класс, и только самые великие явления в литературе находили более или менее разумный отзыв во всей массе грамотного общества... Но будем смотреть на литературу просто, как на постоянный предмет занятия публики, следовательно, как на непрерывный ряд литературных новостей: что ж это за литература! Да занимайте вы десять должностей, утопайте в практической деятельности, а на чтение посвятите время между обедом и кофе, — и тогда не на один день останетесь вы без чтения. В журналах все — переводы, а оригинального разве три-четыре порядочные повести в год, да несколько стихотворений, да книг с полдюжины, включая сюда и ученые, — вот и все. Тогда, читая в журналах статьи о процветании русской литературы, поневоле восклицаете, протяжно зевая: «Да где ж они? — давайте их!» («Отеч[ественные] зап[иски]», 1842 г., № 1, Крит[ика], стр. 37–38).

Но надежды на будущее высказываются решительнее, нежели в прошедшем году:

В нашей грустной эпохе много утешительного. Пора детских очарований теперь миновалась без возврата, и если теперь огромные авторитеты составляются иногда в один день, зато они часто и пропадают без вести на следующий же день... Теперь очень трудно стало прослыть за человека с дарованием: так много писано во всех родах, столько было опытов и попыток, удачных и неудачных, во всех родах, что действительно надо что-нибудь получить от природы, чтобы обратить на себя общее внимание... Пушкин и Гоголь дали нам такие критериумы для суждения об изящном, с которыми трудно от чего-нибудь размахаться... Хорошую сторону современной литературы составляет и обращение ее к жизни, к действительности: теперь уже всякое, даже посредственное дарование силится изображать и описывать не то, что приснится ему во сне, а то, что есть или бывает в обществе, в действительности. Такое направление много обещает в будущем. Но современная литература теряет оттого, что у ней нет головы; даже яркие таланты поставлены в какое-то неловкое положение: ни один из них не может стать первым и по необходимости теряется в числе, каково бы оно ни было. Гоголь давно ничего не печатает; Лермонтова уже нет.

Произведениям минувшего года посвящено в три или четыре раза более места, нежели в прошлый раз. Журналы оцениваются подробно, тон, которым говорится о них, гораздо живее, нежели прежде: тогда Белинский в общих чертах излагал свои понятия о недостатках русской журналистики вообще, теперь касается частных достоинств и недостатков каждого журнала. О многих из вышедших в прошлом году сочинениях говорится уже довольно подробно.

Изложив в первых двух отчетах свой общий взгляд на русскую литературу, в третьем (за 1842 год, «Отечественные записки», 1843 г., № 1) Белинский подробно говорит о русской критике и почти исключительно занимается последним (стало быть, имеющим наиболее живого интереса) периодом ее — романтической критикой. До какой степени понятия его близки к тем, которые выражал он в предыдущем году, можно убедиться, сличив с последнею из приведенных нами выписок следующее место из третьего отчета, заключающее в себе характеристику новой литературы сравнительно с литературою романтической эпохи:

Последний период русской литературы, период прозаический, резко отличается от романтического какою-то мужественною зрелостью. Если хотите, он не богат числом произведений, но зато все, что явилось в нем посредственного и обыкновенного, это или не пользовалось никаким успехом, или имело только успех мгновенный; а все то немногое, что выходило из ряда обыкновенного, ознаменовано печатью зрелой и мужественной силы, осталось навсегда и в своем торжественном, победоносном ходе, постепенно приобретая влияние, прорезывало на почве литературы и общества глубокие следы. Сближение с жизнью, с действительностию есть прямая причина мужественной зрелости последнего периода нашей литературы. Слово «идеал» только теперь получило свое истинное значение. Прежде под этим словом разумели что-то вроде *не любо не слушай, лгать не мешай* — какое-то соединение в одном предмете всевозможных добродетелей или всевозможных пороков. Если герой романа, так уж и собой-то красавец, и на гитаре играет чудесно, и поет отлично, и стихи сочиняет, и дерется на всяком оружии, и силу имеет необыкновенную:

Когда ж о честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем —
Глаза в крови, лицо горит.
Сам плачет, а мы все рыдаем!

Если же злодей, то не подходите близко: съест, непременно съест вас живого, изверг такой, какого не увидишь и на сцене Александрийского театра, в драмах наших доморощенных трагиков... Теперь под «идеалом» понимают не преувеличение, не ложь, не ребяческую фантазию, а факт действительности, такой, как она есть, но факт, не списанный с действительности, а проведенный через фантазию поэта, озаренный светом общего (а не исключительного, частного и случайного) значения, *возведенный в перл создания*, и потому более похожий на самого себя, более верный самому себе, нежели самая рабская копия в действительности верна своему оригиналу. Так на портрете, сделанном великим живописцем, человек более похож на самого себя, чем даже на свое отражение в дагерротипе, ибо великий живописец резкими чертами вывел наружу все, что таится внутри того человека, и что, может быть, составляет тайну для самого этого человека. Теперь действительность относится к искусству и литературе, как почва к растениям, которые она возвращает на своем лоне.

Литературным явлениям минувшего года посвящена уже половина статьи. О «Мертвых душах» Белинский не хочет говорить подробно, готовясь написать о них отдельную статью; но то, что говорит он о них, написано с точки зрения, сильно напоминающей разбор «Ревизора», сделанный за три года:

Как мнение публики, так и мнение журналов о «Мертвых душах» разделились на три стороны: одни видят в этом творении произведение, которого хуже еще не писывалось ни на

одном языке человеческом; другие, наоборот, думают, что только Гомер да Шекспир являются, в своих произведениях, столь великими, каким явился Гоголь в «Мертвых душах»; третьи (сам Белинский) думают, что это произведение действительно великое явление в русской литературе, хотя и не идущее, по своему содержанию, ни в какое сравнение с вековыми всемирно-историческими творениями древних и новых литератур Западной Европы. Кто эти — одни, другие и третьи, публика знает, и потому мы не имеем нужды никого называть по имени. Все три мнения равно заслуживают большого внимания и равно должны подвергаться рассмотрению, ибо каждое из них явилось не случайно, а по необходимым причинам. Как в числе исступленных хвалителей «Мертвых душ» есть люди, и не подозревающие в простоте своего детского энтузиазма истинного значения, следовательно, и истинного величия этого произведения, так и в числе ожесточенных хулителей «Мертвых душ» есть люди, которые очень и очень хорошо смекают всю огромность поэтического достоинства этого творения. Но отсюда-то и выходит их ожесточение. Некоторые сами когда-то тянулись в храм поэтического бессмертия; за новостью и детством нашей литературы, они имели свою долю успеха, даже могли радоваться и хвалиться, что имеют поклонников, — и вдруг является, неожиданно, непредвиденно, совершенно новая сфера творчества, особенный характер искусства, вследствие чего идеальные и чувствительные произведения наших поэтов вдруг оказываются ребяческой болтовнёю, детскими невинными фантазиями... Согласитесь, что такое падение, без натиска критики, без недоброжелательства журналов, очень и очень горько?... Другие подвизались на сатирическом поприще, если не с славою, то не без выгод иного рода; сатиру они считали своей монополией, смех — исключительно им принадлежащим орудием. — и вдруг остроты их не смешны, картины ни на что не похожи, у их сатиры как будто повыпали зубы, охрип голос, их уже не читают, на них не сердятся, они уже стали употребляться вместо какого-то аршина для измерения бездарности... Что тут делать? перечинить перья, начать писать на новый лад? — но ведь для этого нужен талант, а его не купишь, как пучок перьев... Как хотите, а осталось одно: не признавать талантом виновника этого крутого поворота в ходе литературы и во вкусе публики, уверять публику, что все написанное им — вздор, нелепость, пошлость... Но это не помогает; время уже решило страшный вопрос — новый талант торжествует, молча, не отвечая на брани, не благодаря за хвалы. Творение, которое возбудило столько толков и споров, разделило на котерии и литераторов и публику, приобрело себе и жарких поклонников и ожесточенных врагов, на долгое время сделалось предметом суждений и споров общества, — творение, которое прочтено и перечтено не только теми людьми, которые читают всякую новую книгу или всякое новое произведение, сколько-нибудь возбудившее общее внимание, но и такими лицами, у которых нет ни времени, ни охоты читать стихи и сказочки, где несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпении разных бедствий, и в довольстве, почете и счастии проводят остальное время жизни, — творение, которое в числе почти 3000 экземпляров все разошлось в какие-нибудь полгода; — такое творение не может не быть неизмеримо выше всего, что в состоянии представить современная литература, не может не произвести важного влияния на литературу. («Отеч[ественные] зап[иски]», 1843 г., № 1. Крит[ика], стр. 13–15.)

Белинского, как видим, еще занимает более всего эстетический вопрос: действительно ли Гоголь выше всех наших писателей и каковы отношения его к искусству. Главными причинами вражды отсталых писателей против Гоголя он находит литературные расчеты и, очевидно, еще полагает, что отношения Гоголя к нашей жизни не так сильно возбуждают ненависть отсталых критиков, как эти расчеты. Однако же он уже замечает, что по поводу «Мертвых душ» не только писатели, но публика разделилась на враждебные партии, говорит, что «Мертвые души» вовсе не то, что «сказочки, в которых несчастные любовники соединяются законными узами брака».

Отвлеченный элемент кажется все еще силен; но прямо за мнением о «Мертвых душах» следует (стр. 15) отзыв о собрании стихотворений одного из наших поэтов, который

прежними опытами показал способность писать прекрасные антологические стихотворения. Белинский в этом отзыве уже прямо говорит, что без «живого, кровного сочувствия к современному миру» нельзя быть в наше время замечательным поэтом.

Очерки истории русской литературы, представленные Белинским в первых двух его годичных обзорах, останавливались на поэтах эпохи Пушкина. В четвертом обзоре («Русская литература за 1843 год», — «Отечественные записки», 1844 г., № 1) он дает очерк деятельности наших прозаиков, явившихся в последнюю половину пушкинского периода, потому четвертый отчет его является как бы продолжением второго. Сравнивая их, можно найти много параллельных мест; от третьего отчета четвертый отличается еще меньше по своему духу. Мы не будем представлять примеров тождества в направлении того и другого; довольно того, что мы уже делали это два раза, и каждый желающий легко может к выпискам, приведенным у нас в доказательство близости каждого следующего отчета с предыдущим, отыскать десятки подобных мест. Но Гоголь занимает в четвертом обзоре более места, нежели все общее обозрение прошедшего периода прозаической литературы. Мнение, высказанное о нем Белинским в предыдущем году, сохраняется совершенно; но особенное развитие получают прежние краткие замечания о том, что «Мертвые души» должны иметь решительное влияние на литературу и публику; слово «должны иметь», конечно, уже заменяется словом «имеют», и к прежним объяснениям негодования, во многих возбужденного Гоголем, присоединяется новое, на которое в прошедшем году был сделан только легкий намек, — теперь же оно является на первом плане. Эта причина — живость и меткость гоголевского комизма:

Прежде сатира смело разгуливала между народом среди белого дня и даже не заботилась об инкогнито, но прямо и открыто называлась своим собственным именем, т. е. *сатирую*, — и никто не сердился на нее, никто даже не замечал ее гримас и кривляний. Отчего это? — оттого, что никто не узнавал себя в ней; оттого, что она нападала на пороки общие, которых всякий имеет полное право не принять на свой счет; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невинным школьным упражнением по классу реторики... И давно ли нравоописательные, нравственно-сатирические романы, юмористические статьи и статейки являлись стаями, как вороны на крышах домов, каркая на проходящих во все воронье горло? — и на них никто не сердился, даже как сердятся летом на докучных мух. Сочинитель гордо называл себя сатириком, гонителем людских пороков, — и гонимые люди без боязни подходили к своему гонителю, к дряхлому, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шее и охотно кормили его избытком своей трапезы. Отчего это? — оттого, что пороки, которые гнал сатирик, были совсем не пороки, а разве отвлеченные идеи о пороках, риторические тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, с которыми храбро и отважно сражался сатирический Дон-Кихот, — так же, как добродетель, за которую он ратовал, была для него воображаемою Дульцинеею, а для других — толстою, безобразною коровницею. Теперь нет сатиры, и только разве какой-нибудь старый сочинитель решится величаться вышедшим из моды именем «сатирика»: теперь пишутся романы и повести без всяких сатирических намерений, целей, — а, между тем, все на них сердятся. Отчего ж это? — оттого, что теперь и великие и малые таланты, и посредственность и бездарность — все стремятся изображать действительных, не воображаемых людей; но так как действительные люди обитают на земле, и в обществе, а не на воздухе, не в облаках, где живут призраки, то, естественно, писатели нашего времени вместе с людьми изображают и общество. Общество также — нечто действительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляют не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д. Человек, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей и в образе его действия. Писатели нашего времени не могут не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, они стремятся вникать в причины, отчего он таков или не таков, и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явления общие. Большинство же публики именно там-то и видит

личности, где их нет и быть не может. Прежние так называемые сатирики именно списывали с известных им лиц и казались в глазах всех не подлежащими упреку в личностях. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя в снятых с них копиях, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельств того или другого лица, и ограничивались общими чертами пороков, слабостей и странностей, которые, будучи отвлечены от живой личности, превращались в образы без лиц. Притом же, эти *сатирики* смотрели на пороки и слабости людей, как на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, как на что-то произвольное, что это лицо могло иметь и не иметь по своей воле и что приобрести или от чего избавиться оно легко могло по прочтении убедительной сатиры, где ясно, по пальцам, указана выгода и сладость добродетели и опасные, пагубные следствия порока. Вот почему эти добрые сатирики брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношения к обществу, и тормозили на досуге это созданное их воображением чучело. В основание своего сатирического дон-кихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозревая того, что их сатиры, опирающиеся на общественность, ужасно противоречили этой нравственности. Так, например, в числе первых добродетелей они полагали безусловное повиновение родительской власти и в то же время толковали юношеству, что брак по расчету — дело безнравственное, что низкопоклонство, лесть из выгод, взяточничество и казнокрадство — тоже дела безнравственные. Очень хорошо; но что же иному юноше делать, если он с малолетства, почти с материнским молоком всосал в себя мистическое благоговение к доходным должностям, теплым местам, к значительности в обществе, к богатству, к хорошей партии, блестящей карьере; если его младенческий слух был оглашен не словами любви, чести, самоотвержения, истины, а словами: *взял, получил, приобрел, надул, и т. п.*? Положим, что *такому* юноше природа не отказала в человеческих чувствах и стремлениях; положим, что в нем пробудилась любовь к достойной, но бедной, простого звания девушке, — любовь, запрещающая ему соединиться с противною ему богатою дурую, на которой, по расчетам, приказывают ему жениться; положим, что в юноше пробудилось человеческое достоинство, запрещающее *ему* кланяться богатому плуту или чиновному негодяю; положим, что в нем пробудилась совесть, запрещающая употреблять во зло вверенные ему высшею властью весы правосудия и расхищать вверенные его бескорыстию общественные суммы: что ему тут делать? Сатирик не затруднится от такого вопроса и, не задумавшись, ответит: «жениться на предмете любви своей, служить честно и верно отечеству...» Прекрасно; но где же повиновение родительской власти, где уважение к родительскому благословию, навеки нерушимому, где страх тяжкого отцовского проклятия?.. И потом, где уважение к общественному мнению, к общественной нравственности? Ведь общество не спрашивает вас, по любви или не по любви женились вы, а спрашивает, сколько вы взяли за женою и приличная ли она вам партия; общество не спрашивает вас, каким образом сделались вы богачом, когда ему известно, что ваш батюшка не оставил вам ни копейки, а за супругою вы взяли не бог знает что, или и вовсе ничего не взяли; общество знает только, что вы богач, и *потому* считает вас очень хорошим — «благонамеренным» человеком... Послушайся наш юноша сатирика, что бы вышло? — отец его бросил бы, жалуясь на неповиновение и презрение к его власти, потом он прошел бы, с женою и детьми, через все мытарства, через все унижения голодной, неопрятной, оборванной бедности; видел бы к себе презрение общества, а за свою правоту, за свое бескорыстие был бы заклемен от всех страшными названиями беспокойного, опасного и «неблагонамеренного» человека, вольнодумца и проч. и проч. И неужели вы, «благонамеренные» сатирики, бросите в него камень осуждения, если, истощаясь и обессилев в тяжелой и бесплодной борьбе, он дойдет до страшного убеждения, что его бедность, его несчастья — необходимые следствия отцовского гнева, заслуженная кара за презрение общественного мнения и общественной нравственности?.. Но, к счастью или к несчастью, — не знаем, право — такие случаи весьма редки, как исключения из общего правила. По большей части бывает так: юноша не долго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между «завиральными идеями» о бескорыстии и правоте и уважением

общества: он женится на ком прикажут дражайшие родители, живет с женою, как все, т. е. прилично содержит ее, воспитывает детей своих, как все, т. е. прилично кормит и одевает их, учит по-французски и танцевать, а после этого первого и важнейшего периода воспитания отдает в учебное заведение, потом выгодно пристраивает в службу, выгодно женит (или выдает замуж) и, умирая, отказывает им «благоприобретенное» на службе имение. И что же? В начале его поприща все превозносят его, как почтительного сына, в конце поприща — как нежного супруга, примерного отца, «благонамеренного» чиновника, и заключают так: «вот что значит уважение к общественной нравственности! вот что значит родительское благословение, навеки нерушимое!» Итак, наш «благонамеренный» сатирик, бич пороков, самым нелепым образом противоречил самому себе: поставив выше всех добродетелей повиновение не богу, не истине, а эгоистическим расчетам, он в то же время учил юношу следовать свободному выбору сердца, как знамени благословения божия, и запрещал ему торговать священнейшими склонностями своей души; поставив выше всякой награды любовь и уважение общества, он в то же время учил юношу оскорблять основные правила этого самого общества... Впрочем, он это делал, сам не зная, что делает, и потому его сатиры не производили никаких следствий.

Надобно обратить внимание особенно на последнюю половину этого отрывка: она написана в духе совершенной положительности.

Общая часть пятого обозрения («Отечественные записки», 1845 г., № 1) представляет свод того, что было говорено во втором и четвертом. Она может казаться чистым повторением сказанного Белинским в первых трех обозрениях; но кто внимательнее всмотрится в эти очень сходные мысли, заметит значительную разницу между понятиями, какие имел Белинский в 1842 и какие имел он в 1845. Труднее заметить различие между 1844 и 1845 годами; но и тут есть движение вперед. Чтобы показать его в примере, взятом наудачу, приводим самое начало пятого обозрения:

Вот уже пятое обозрение годового бюджета русской литературы представляем мы нашим читателям. Обязавшись перед Публикой быть верным зеркалом русской литературы, постоянно отдавая отчет во всякой вновь выходящей в России книге, во всяком литературном явлении, «Отечественные записки» не вполне исполнили бы свое назначение — быть полною и подробною летописью движения русского слова, если б не вменили себе в обязанность этих годичных обозрений, в которых обо всем, о чем продолжение целого года говорилось как о настоящем, говорить как о прошедшем, и в которых все отдельные и разнообразные явления целого года подводятся под одну точку зрения. Не ставим себе этого в особенную заслугу, потому что видим в этом только должное выполнение добровольно принятой на себя обязанности; но не можем не заметить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знают, что большая часть этих годичных обозрений постоянно наполнялась рассуждениями вообще о русской литературе и, следовательно, о всех русских писателях, от Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взгляд на прошлогоднюю литературу — главный предмет статьи, всегда занимал ее меньшую часть. Подобные отступления от главного предмета необходимы по двум причинам: во-первых, потому, что настоящее объясняется только прошедшим, и потому, что по поводу целой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и несколько статей, более или менее интересных; но о русской литературе за тот или другой год, право, не о чем слишком много или слишком интересно разговориться. И это-то составляет особенную трудность подобных статей. Легко пересчитывать богатства истинные или мнимые, много можно говорить о них; но что сказать о бедности, близкой к нищете? Да, о совершенной нищете, потому что теперь нет уже и мнимых, воображаемых богатств. А между тем, о чем же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературе? Ведь у нас литература составляет единственный интерес, доступный публике, если не упоминать о преферансе, говоря о немногих исключительных и как бы случайных ее интересах. Итак, будем же говорить о литературе, — и если, читатели, этот предмет уже кажется вам несколько истощенным и слишком часто истощаемым, если толки о нем уже доставляют вам только то магнитическое удовольствие,

которое так близко к усыплению, — поздравляем вас с прогрессом и пользуемся случаем уверить вас, что мы, в свою очередь, совсем не чужды этого прогресса и что, в этом отношении, вы не правы, если вздумаете упрекнуть нас в отсталости от духа времени и в наивной запоздалости касательно его интересов... Еще раз: будем рассуждать о русской литературе — предмет и новый и любопытный... («Отечественные записки», 1845 г., № 1, стр. 1–2.)

Эта ирония, с которою говорит Белинский о своих обозрениях, о своей обязанности критика, — чувство, совершенно различное от сарказма, с которым он говорил в 1841 году о русской литературе, сам будучи совершенно доволен тем, что изобличает эту бедность. Теперь он грустит уже не о бедности русской литературы: ему грустно, что надобно рассуждать об этой литературе; он чувствует, что границы литературных вопросов тесны, он тоскует в своем кабинете, подобно Фаусту: ему тесно в этих стенах, уставленных книгами, — все равно, хорошими или дурными; ему нужна жизнь, а не толки о достоинствах поэм Пушкина или недостатках повестей Марлинского и Полевого.

И действительно: главный предмет его статьи — стихотворения Языкова и г. Хомякова, которые привлекали его внимание вовсе не по эстетическим соображениям: нельзя же было в самом деле опасаться, что наши поэты станут образцы художественности видеть не в произведениях Пушкина и Лермонтова, а в стихотворениях Языкова и г. Хомякова, и начнут подражать их манере; этой опасности вовсе не предвиделось, но важно было отношение стихотворений Языкова и г. Хомякова к нашей жизни.

Неудовлетворительность литературных вопросов для Белинского отразилась в следующем году и на самом объеме его обзора: шестой отчет его («Отечественные записки», 1846 г., № 1) очень короток в сравнении с предыдущими. В главных частях своих он представляет развитие некоторых страниц предыдущего обозрения, говоривших, что только та мысль может назваться мыслью, которая имеет тесное родство с жизнью. Вот, например, отрывок, тесную связь которого с предыдущим обозрением легко заметит каждый читатель.

В наше время, — говорит Белинский, — особенно много людей, мечтающих и рассуждающих, о которых, впрочем, не всегда можно сказать, чтобы они были в то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и рассуждать о жизни — вот в чем заключается их жизнь.

Между этими «романтиками» бывают люди умные, даже очень, хотя и бесплодно умные. Они толкуют не о чувствах и не о себе только: они рассуждают вообще о жизни. Стремление весьма похвальное, когда оно имеет прочную основу, практический характер! Но романтики вообще враги всего практического, которое они с презрением отдали на долю «толпы», не понимая в своем ослеплении, что всякий гений, всякий великий деятель есть человек практический, хотя бы он действовал даже в сфере отвлеченного мышления. Разлад с действительностью — болезнь этих людей. В дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спешить жить, они, вместо этого, только рассуждают о жизни. Некоторые из них спохватываются, но поздно: именно в то время, когда человек не годится уже ни на что лучшее, как только на то, чтобы рассуждать о жизни, которой он никогда не знал, никогда не изведал. Толпа живет не мысля, и оттого живет пошло; но мыслить, не живя — разве это лучше? разве это не такая же или даже еще не большая уродливость?..

Но теперь все заговорили о действительности. У всех на языке одна и та же фраза: «надо делать!» И, между тем, все-таки никто ничего не делает! Это показывает, что во что бы ни нарядился романтик, он все остается романтиком. Не понимая этого, романтики обеими руками начали хвататься за маски и костюмы, — и вышел пестрый маскарад, где на один вечер так легко быть чем угодно — и турком, и жидом, и рыцарем. Некоторые, говорят, не шутя надели на себя терлик, охабень и шапку мурмолку; более благоразумные довольствуются только тем, что ходят дома в татарской ермолке, татарском халате и желтых сафьяновых сапожках — все же исторический костюм! Назвались они «партиями» и думают, что делать — значит рассуждать на приятельских вечерах о том, что только они — удивительные люди, и что кто думает не по их, тот бродит во тьме.

Во всем этом видно одно: стремление жить мимо жизни, глубокий внутренний разлад с действительностью. («Отечественные записки», 1846 г., № 1, «Критика», стр. 3–4.)

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» был помещен уже не в «Отечественных записках», как первые шесть годичных обзоров, а в «Современнике». На этом внешнем разделе деятельности Белинского мы и остановимся теперь, потому что в развитии его с 1841 года нельзя найти внутренних крутых поворотов, по которым можно было бы точно определить границы между двумя периодами его самостоятельной деятельности, указанными в начале нашей статьи.

Приложение

Отрывки из последней статьи Белинского: «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник». 1848 г., No№ 1 и 3)

Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу и на натурализм вообще с эстетической точки зрения, во имя чистого искусства, которое само себе цель и вне себя не признает никаких целей. В этой мысли есть основание; но ее преувеличенность заметна с первого взгляда. Мысль эта чисто немецкого происхождения; она могла родиться только у народа созерцательного, мыслящего и мечтающего и никак не могла бы явиться у народа практического, общественность которого для всех и каждого представляет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знают сами поборники его, и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует фактически. Оно в сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т. е. искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не иное что, как риторические упражнения на заданные темы. Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направлением общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего *типического*, — как бы верно и тщательно ни было списано с природы все, что в нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с природы, мало уметь писать, т. е. владеть искусством писца или писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, т. е. подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт. Кажется, чего бы легче было верно списать портрет человека? И иной целый век упражняется в этом роде живописи, а все не может списать знакомого ему лица так, чтобы и другие узнали, чей это портрет. Уметь списать верно портрет есть уже своего рода талант; но этим не оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого; сходство не подвергается ни малейшему сомнению в том смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей это портрет, а все как-то недовольны им, вам кажется, будто он и похож на свой оригинал и не похож на него. Но пусть с него же снимет портрет Тыранов или Брюллов — и вам покажется, что это зеркало далеко не так верно повторяет образ вашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но вся душа

оригинала. Итак, верно списывать с действительности может только талант и как бы ни ничтожно было произведение в других отношениях, но чем более оно поражает верностью натуре, тем несомненнее талант его автора. Что не все должно оканчиваться верностью натуре, особенно в поэзии, — это другой вопрос. В живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умение верно писать с натуры может служить часто признаком необыкновенного таланта. В поэзии это не совсем так: не умея верно писать с натуры, нельзя быть поэтом, но и одного этого умения тоже мало, чтобы быть поэтом, по крайней мере, замечательным.

Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь разделяется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другою живым образом, и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна. Говорят: для науки нужен ум и рассудок, для творчества — фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. А для искусства не нужна ума и рассудка? А ученый может обойтись без фантазии? Неправда! Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль; а в науке — ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной блестящей фантазии; но это вовсе не общее правило для художественных произведений. В творениях Шекспира не знаешь, чему больше дивиться — богатству ли творческой фантазии или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учености, которые не только не требуют фантазии, в которых эта способность могла бы только вредить; но никак этого нельзя сказать об учености вообще. Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир; может ли же оно быть какою-то одинокою, изолированную от всех чуждых ему явлений деятельностью? Может ли поэт не отразиться в своем произведении, как человек, как характер, как натура, — словом, как личность? Разумеется, нет, потому что и самая способность изображать явления действительности без всякого отношения к самому себе — есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера Скотта невозможно не увидеть в авторе человека, более замечательного талантом, нежели сознательно-широким пониманием жизни, тори, консерватора и аристократа по убеждениям и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких явлений извне. Поэт прежде всего — человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других. Шекспир был поэтом *старой веселой* Англии, которая, в продолжение немногих лет, вдруг сделалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движение имело сильное влияние на его последние произведения, наложив на них отпечаток мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он десятилетиями двумя позже, гений его остался бы тот же, но характер его произведений был бы другой. Поэзия Мильтона явно произведение его эпохи: сам того не подозревая, он в лице своего гордого и мрачного сатаны написал апофеозу восстания против авторитета, хотя и думал сделать совершенно другое. Так сильно действует на поэзию историческое движение обществ.

В наше время искусство и литература, больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общее, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется, не могло не изменить общего направления искусства во вред ему. Так самые гениальные поэты, увлекаясь решением общественных вопросов, удивляют иногда теперь публику сочинениями, которых художественное достоинство нисколько не соответствует их таланту или, по крайней мере, обнаруживается только в

частностях, а целое произведение слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Санда: *Le Meunier d'Angibault*, *Le Peche de Monsieur Antoine*, *Isidore* ⁴⁸. Но и здесь беда произошла собственно не от влияния современных общественных вопросов, а оттого, что автор существующую действительность хотел заменить утопией, и вследствие этого заставил искусство изображать мир, существующий только в его воображении. Таким образом, вместе с характерами возможными, с лицами, всем знакомыми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с риторикою. Но из этого еще нет причины вопить о падении искусства: тот же Жорж Санд после *Le Meunier d'Angibault* написал *Теверино*, а после *Изидоры* и *Le Peche de Monsieur Antoine* — *Лукрецию Флориани*. Порча искусства вследствие влияния современных общественных вопросов могла бы скорее обнаружиться на талантах низшей степени; но и тут она обнаруживается только в неумении отличать существующее от небывалого, возможное от невозможного, и еще более — в страсти к мелодраме, к натянутым эффектам. Что особенно хорошо в романах Евгения Сю? — верные картины современного общества, в которых больше всего видно влияние современных вопросов. А что составляет их слабую сторону, портит их до того, что отбивает всякую охоту читать их? — Преувеличения, мелодрама, эффекты, небывалые характеры, вроде принца Родольфа, — словом, все ложное, неестественное, ненатуральное, — а все это выходит отнюдь не из влияния современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на частности и никогда на целое произведение. С другой стороны, мы можем указать на романы Диккенса, которые так глубоко проникнуты задушевными симпатиями нашего времени и которым это нисколько не мешает быть превосходными художественными произведениями.

Мы сказали, что чистого, отрешенного безусловно, или, как говорят философы, *абсолютного* искусства никогда и нигде не бывало. Если нечто подобное можно допустить, так это разве художественные произведения тех эпох, в которые искусство было главным интересом, исключительно занимавшим образованнейшую часть общества. Таковы, например, произведения живописи итальянских школ в XVI столетии. Их содержание, по-видимому, преимущественно религиозное; но это большею частию мираж, и на самом деле предмет этой живописи — красота, как красота, больше в пластическом или классическом, нежели в романтическом смысле этого слова. Возьмем, например, мадонну Рафаэля, этот *chef d'oeuvre* итальянской жизни XVI века. Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой статье? Кто, стало быть, не был уверен, как в несомненной истине, что это произведение по превосходству романтическое, что лицо мадонны — высочайший идеал той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанию, и то в редкие мгновения чистого восторженного вдохновения?.. Автор предлагаемой статьи недавно видел эту картину. Не будучи знатоком живописи, он не позволил бы себе говорить об этой удивительной картине с целью определить ее значение и степень ее достоинства; но как дело идет только о его личном впечатлении и о романтическом или не романтическом характере картины, то он думает, что может позволить себе на этот счет несколько слов. Статьи Жуковского он не читал уже давно, может быть, больше десяти лет, но как до того времени он читал и перечитывал ее со всем страстным увлечением, со всею верою молодости, и знал ее почти наизусть, то и подошел к знаменитой картине с ожиданием уже известного впечатления. Долго смотрел он на нее. Оставлял, обращался к другим картинам и снова подходил к ней. Как ни мало знает он толку в живописи, но первое впечатление его было решительно и определено в одном отношении: он тотчас же почувствовал, что после этой картины трудно понять достоинства других и заинтересоваться ими. Два раза был он в Дрезденской галерее и в оба видел только эту картину, даже когда смотрел на другие и когда

48 «Мельник из Анжибо», «Грех господина Антуана», «Изидора» (франц.).

ни на что не смотрел. И теперь, когда ни вспомнит он о ней, она словно стоит перед его глазами, и память почти заменяет действительность. Но чем дольше и пристальнее всматривался он в эту картину, чем больше думал тогда и после, тем больше убеждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковским под именем рафаэлевой — две совершенно различные картины, не имеющие между собою ничего общего, ничего сходного. Мадонна Рафаэля — фигура строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо ее выражает ту красоту, которая существует самостоятельно, не заимствуя своего очарования от какого-нибудь нравственного выражения в лице. На этом лице, напротив, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ее фигура, исполнены невыразимого благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана и своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое, сдержанное, нет благости и милости, но нет гордости, презрения, а вместо всего этого какое-то не забывающее своего величия снисхождение. Это — как бы сказать — *ideal sublime du comme il faut*⁴⁹. Но ни тени неуловимого, таинственного, туманного, мерцающего, — словом, романтического; напротив, во всем такая отчетливая, ясная определенность, оконченность, такая строгая правильность и верность очертаний и вместе с этим такое благородство, изящество кисти! Религиозное созерцание выразилось в этой картине только в лице божественного младенца, но созерцание, исключительно свойственное только католицизму того времени. В положении младенца, в протянутых к предстоящим (разумею зрителей картины) руках, в расширенных зрачках глаз его видны гнев и угроза, а в приподнятой нижней губе горделивое презрение. Это не бог прощения и милости, не искупительный агнец за грехи мира, — это бог судящий и карающий... Из этого видно, что и в фигуре младенца нет ничего романтического; напротив, его выражение так просто и определено, так уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Разве только в лицах ангелов, отличающихся необыкновенным выражением разумности и задумчиво созерцающих явление божества, можно найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнее искать так называемого чистого искусства у греков. Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства. Но, тем не менее, красота в нем была больше существенною формою всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия, и гражданская жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе других к идеалу абсолютного искусства, но нельзя назвать его абсолютным, т. е. независимым от других сторон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гете, как на представителей свободного, чистого искусства; но это одно из самых неудачных указаний. Что Шекспир величайший творческий гений, поэт по преимуществу, в этом нет никакого сомнения; но те плохо понимают его, кто из-за его поэзии не видит богатого содержания, неистощимого рудника уроков и фактов для психолога, философа, историка, государственного человека и т. д. Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии. Вообще характер нового искусства — перевес важности содержания над важностью формы, тогда как характер древнего искусства — равновесие содержания и формы. Ссылка на Гете еще неудачнее, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажем это двумя примерами. В «Современнике» прошлого года напечатан был перевод гетевского романа *Wahlverwandchaften*⁵⁰, о котором и на Руси было иногда толковано печатно; в Германии же он пользуется страшным почетом, о нем написаны там горы статей и целые книги. Не знаем, до какой степени понравился он русской публике, и

⁴⁹ Возвышенный идеал благородства (*франц.*).

⁵⁰ «Сродство душ» (*нем.*).

даже понравился ли он ей: наше дело было познакомить ее с замечательным произведением великого поэта. Мы даже думаем, что роман этот больше удивил нашу публику, нежели понравился ей. В самом деле, тут многому можно удивиться!.. Девушка переписывает отчеты по управлению именем; герой романа замечает, что в ее копии, чем дальше, тем больше почерк ее становится похож на его почерк. «Ты любишь меня!» — восклицает он, бросаясь ей на шею. Повторяем: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публике не может не показаться странною. Но для немцев она несколько не странна, потому что это черта немецкой жизни, верно схваченная. Таких черт в этом романе найдется довольно; многие сочтут, пожалуй, и весь роман не за что иное, как за такую черту. Не значит ли это, что роман Гете написан до того под влиянием немецкой общественности, что вне Германии он кажется чем-то странно-необыкновенным? Но *Фауст* Гете, конечно, везде — великое создание. На него в особенности любят указывать, как на образец чистого искусства, не подчиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных законов. И, однако ж — не в осуд будь сказано почтенным рыцарям чистого искусства — *Фауст* есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества. В нем выразилось все философское движение Германии в конце прошлого и начале настоящего столетия. Недаром последователи школы Гегеля цитировали беспрестанно в своих лекциях и философских трактатах, стихи из *Фауста*. Недаром также, во второй части *Фауста*, Гете беспрестанно впадал в аллегорию, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Где ж тут чистое искусство?

Мы видели, что и греческое искусство только ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства, но не осуществляет его вполне; что же касается до новейшего искусства, оно всегда было далеко от этого идеала, а в настоящее время еще больше отдалилось от него; но это-то и составляет его силу. Собственно художественный интерес не мог не уступить места другим важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось служить им, в качестве их органа. Но от этого оно несколько не перестало быть искусством, а только получило новый характер. Отнимать у искусства право служить общественным интересам, значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, действительное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия.

Платон считал унижением, профанацией науки приложение геометрии к ремеслам. Это понятно в таком восторженном идеалисте и романтике, гражданине маленькой республики, где общественная жизнь была так проста и немногосложна; но в наше время она не имеет даже оригинальности милой нелепости. Говорят, Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых все основано было на беспощадном дранье розгами и варварском обращении с детьми. Что ж тут дурного, спросим мы, если Диккенс действовал в этом случае как поэт? Разве от этого романы его хуже в эстетическом отношении? Здесь ясное недоразумение; видят, что искусство и науки не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, вооружаясь статистическими числами, *доказывает*, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружаясь живым и ярким изображением действительности, показывает, в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе, действительно, много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один *доказывает*, другой показывает, оба *убеждают*, только один логическими

доводами, другой — картинами. Но первого слушают и понимают немногие, другого — все. Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не меньше науки. Тут и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить искусства, ни искусство науки.

Дурное, ошибочное понимание истины не уничтожает самой истины. Если мы видим иногда людей даже умных и благонамеренных, которые берутся за изложение общественных вопросов в поэтической форме, не имея от природы ни искры поэтического дарования, из этого вовсе не следует, что такие вопросы чужды искусству и губят его. Если бы эти люди вздумали служить чистому искусству, их падение было бы еще разительнее. Плох, например, был забытый теперь роман *Пан Подстолнич*, вышедший назад тому больше десяти лет и написанный с похвальной целью — представить картину состояния белорусских крестьян; но все же он был не совсем бесполезен, и хоть с страшною скукою, но прочли же его иные. Конечно, автор лучше достиг бы своей благородной цели, если бы содержание своего романа изложил в форме записок или заметок наблюдателя, не пускаясь в поэзию, но если бы он взялся написать роман чисто-поэтический, он еще меньше достиг бы своей цели.

Статья восьмая

Бывают писатели, пользующиеся незавидным счастьем ни в ком не возбуждать неудовольствия своими сочинениями, не вызывать никого на противоречие себе, не иметь противников. Незавидно это счастье, потому что оно достается только людям пустым, занимающимся единственно риторическими распространениями банальных фраз. Истина только потому и называется истиною, что противоположна заблуждению, лжи; а если существует заблуждение, то люди, его разделяющие, станут, конечно, возражать против истины; если есть ложь, то люди, ее поддерживающие, станут вооружаться против человека, ее разрушающего. Не только в искусстве, не только в нравственных, философских, общественных вопросах ни одна дельная мысль не может быть высказана, не подавая повода к возражениям, — даже в математических науках, столь точных и доказательных, истина никогда не принималась без противоречий со стороны многих. Ньютонов закон тяготения долго казался нелепостью большинству астрономов. «Небесная механика» Лапласа до сих пор возбуждает споры. Только учебники арифметики не находят противоречия, потому что все их содержание ограничивается осязательными истинами. Только писатели без убеждений, без образа мыслей, без содержания и смысла умеют говорить так, что ни в ком не пробуждают желания спорить против их пустословия.

Белинский, человек с твердыми убеждениями, — человек, высказавший много важных и новых в нашей литературе истин, не мог не иметь многих противников. Он касался живых вопросов; потому во многих людях, интересы которых основывались на господствующих заблуждениях, вражда против него доходила до непримиримого ожесточения. Не широки размеры русской литературы, но горы бумаги были исписаны возражениями и обвинениями против Белинского.

Каждый человек имеет свои недостатки, каждый может ошибаться; у всякого писателя есть свои слабые стороны. Надобно было бы предполагать, что в сотнях обвинений, в тысячах возражений против Белинского найдутся некоторые справедливые указания на его недостатки и ошибки: ведь, натурально, не был же он изъят от общей человеческой участи не быть непогрешительным [- непогрешительность составляет, как известно, исключительную привилегию одного только Далай-Ламы]. Между противниками Белинского были люди очень умные, напр., Н. А. Полевой, были люди, считавшиеся учеными (которых не исчисляем, потому что людям, считающимся учеными, нет числа: их у нас едва ли не больше, нежели людей грамотных). Много лет, со всевозможною старательностью, они искали у Белинского ошибок, чтоб иметь случай побранить его. Как бы, казалось, не найти? И находили. Но удивительны были эти находки. О некоторых обвинениях мы уже говорили:

это чистые выдумки, — например, фраза, будто бы он восстает против славных наших писателей, когда, напротив, он упрочил за ними в истории литературы почетное, быть может, даже слишком почетное место⁵¹; другая фраза, будто бы его требования были слишком велики, когда, напротив, они были чрезвычайно умеренны⁵², - странно и вспомнить о таких несообразных с фактами обвинениях. А это были едва ли еще не самые лучшие; другие еще гораздо более странны. Неудачность всех нападений на Белинского объясняется, впрочем, очень просто: во-первых, во всем существенном правда была на его стороне, как то всегда бывает в деятельности, служащей действительному прогрессу; а мелких недостатков не могли его противники открыть у него, потому что были люди отсталые [как Н. А. Полевой] или непроницательные и вообще не понимали действительного положения ученых вопросов, о которых шла речь, а жизненные вопросы понимали превратным или пристрастным образом. Оттого-то обвинения, которые высказывались ими, были направлены совершенно неудачно. Два-три примера мы уже видели. Не менее забавно то обвинение, которое относилось к предмету, изложенному нами во второй половине предыдущей статьи.

Каждый, кто перечитывает статьи Белинского в хронологическом порядке, видит, что они тесно связаны между собою, что в развитии его мнений нет ни перерыва, ни внезапных поворотов, что это развитие совершалось правильно и совершенно постепенно, почти неуловимым образом; а, между тем, находились люди, с удивительно меткостью обвинявшие Белинского в том, что «ныне он сам противоречит тому, что говорил за месяц». Как могло возникнуть мнение, столь очевидно противоречившее всем известной твердости и последовательности убеждений Белинского? Дело в том, что люди, не одаренные излишнею проницательностью, вечно останавливаются на отдельных фразах, не вникая в связь и смысл речи, и потому им постоянно грезятся противоречия. В одной статье Белинского говорилось, например, что, по сравнению с английскою, французскою, немецкою литературами, русская все еще очень *бедна*; в другой статье говорилось, что ныне стала она *богаче* содержанием, нежели была прежде. Вот и найдено противоречие: Белинский иногда говорит, что наша литература бедна, иногда, что она богата. Таковы-то всегда были противоречия, в которых упрекали Белинского. Иногда он и сам наводил своих обвинителей на подобные открытия: заметив какую-нибудь ошибку в той или другой из прежних своих статей, он без всякой ложной робости сам указывал эту ошибку. Особенную радость доставил его противникам следующий случай. Когда вышел «Тарантас» гр. Соллогуба, Белинскому сначала показалось, что автор верит в разумность тех преобразований в нравах, предположения о которых излагаются в его книге, и в кратком извещении о выходе «Тарантаса» мнение о книге произносится с этой точки зрения. Когда Белинский внимательнее вдумался в идею «Тарантаса», ему показалось, что во многих странных мнениях можно оправдать автора, предположив, что он высказывает их иронически; потому в большой критической статье о «Тарантасе» (которая помещена в следующей книжке «Отечественных записок») было сказано: «Берем назад свои слова» — какой превосходный случай кричать о шаткости убеждений Белинского! А, между тем, стоит только сличить рецензию, которая отвергалась критическою статьею, с соответствующими местами этой последней, и мы увидим, что различие между ними ничтожно: если бы сам Белинский не высказал, что взгляд его изменился, никто бы того и не мог заметить {*}.

⁵¹ [Именно он, а не кто другой. Нет ни малейшего сомнения, что если бы не указал Белинский истинные заслуги Ломоносова, Державина, Карамзина, в настоящее время эти писатели не пользовались бы и десятою частью того уважения, каким пользуются теперь, благодаря Белинскому].

⁵² Нет сомнения, что если теперь желания образованнейшей части публики таковы, что могут быть удовлетворены очень легко (доказательства тому были даны публикою в последнее время очень осознательным образом), за это надо много благодарить Белинского, всеми силами старавшегося приучить нас предпочитать действительное, хотя б и скромное удовлетворение фантазерским желаниям, и положительно указавшего нам меру разумных требований.

{* В краткой рецензии («Отечественные записки», 1845 г., № 4) говорилось: «Тарантас» графа Соллогуба — сочинение оригинальное и интересное. Это пестрый калейдоскоп парадоксов. Иногда оригинальных, иногда странных, заметок самых верных, наблюдений самых тонких, с выводами, иногда поражающими своею истинностью, мыслей необыкновенно умных, картин ярких, художественно набросанных, рассуждений дельных, чувств горячих и благородных, иногда доводящих автора до крайности и односторонности в убеждениях. Это книга живая, пестрая, одушевленная, разнообразная, — книга, которая возбуждает в душе читателя вопросы, тревожит его убеждения, вызывает его на споры и заставляет его с уважением смотреть даже и на те мысли автора, с которыми он не соглашается. Это не роман, не повесть, не путешествие, не философский трактат, не журнальная статья, но и то, и другое, и третье вместе. Автор является в своей книге и литератором, и художником, и публицистом, и мыслителем».

А в критической статье, появившейся через месяц («Отечественные записки», 1845 г., № 5), было сказано:

«Многие видят в «Тарантасе» какое-то двойственное произведение, в котором сторона непосредственного, художественного представления действительности превосходна, а сторона воззрений автора на эту действительность, его мыслей о ней, будто бы исполнена парадоксов, оскорбляющих в читателе чувство истины. Подобное мнение несправедливо. Те, кому оно принадлежит, не довольно глубоко вникли в идею автора, и *объективную* верность, г. какую изобразил он характер одного из героев «Тарантаса» — *Ивана Васильевича* — приняли за выражение его личных убеждений, тогда как на самом деле автор «Тарантаса» столько может отвечать за мнения героя своего *юмористического* рассказа, сколько, например, Гоголь может отвечать за чувства, понятия и поступки действующих лиц в его Ревизоре или Мертвых душах. Между тем ошибочный взгляд лучшей части читателей на «Тарантас» очень понятен: при первом чтении может показаться, будто бы автор не чужд желания, хотя и не прямо, а предположительно, высказать через Ивана Васильевича некоторые из своих воззрений на русское общество, — и тем легче увлечься подобным, ошибочным мнением, что необыкновенный талант автора и его мастерство живописать действительность лишают читателя способности спокойно смотреть на картины, которые так быстро и живо проходят перед его глазами. Мы сами на первый раз увлеклись резким противоречием, которое находится между этими беспрестанно сменяющимися и беспрестанно поражающими новым удивлением картинами и между странными — чтобы не сказать: нелепыми — мнениями Ивана Васильевича. Это заставило нас забыть, что мы читаем не легкие очерки, не силуэты, а произведение, в котором характеры действующих лиц выдержаны художественно и в котором нет ничего произвольного, но все необходимо проистекает из глубокой идеи, лежащей в основании произведения. Таким образом, берем назад свое выражение в рецензии о «Тарантасе» (в 4-й книжке «Отечественных записок»), что в нем, вместе с дельными мыслями, много и парадоксов. Только в XV и XVI главах автор «Тарантаса» говорит с читателем от своего лица; и вот — кстати заметить — эти-то главы больше всего сбивают читателя с толку, раздвоя в его уме произведение графа Соллогуба и ужасая его множеством страшных парадоксов. Но мы не скажем, чтоб это были парадоксы, это скорее мнения, с которыми нельзя согласиться безусловно и которые вызывают на спор. Последнее обстоятельство дает им полное право на книжное существование: с чем можно спорить и что стоит спора, то имеет право быть написанным и напечатанным. Есть книги, имеющие удивительную способность смертельно наскучить читателю, даже говоря все истину и правду, с которою читатель вполне соглашается; и наоборот, есть книги, которые имеют еще более удивительную способность заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностью их направления с его убеждениями; они служат для читателя поверкою его собственных верований, потому что, прочитав такую книгу, он или вовсе отказывается от своего убеждения, или умеряет его, или, наконец, еще более в нем утверждает. Такой книге

охотно можно простить даже парадоксы, тем более если они искренны и автор их далек от того, чтоб подозревать в них парадоксы. Вот другое дело — парадоксы умышленные, порожденные эгоистическим желанием поддержать вопиющую ложь в пользу касты или лица: такие парадоксы не стоят опровержения и спора; презрительная насмешка — единственное достойное их наказание...»

Разница, как видим, состоит единственно в том, что прежде Белинскому многие из мыслей, излагаемых Иваном Васильевичем, казались мнениями самого автора; потом ему вздумалось, что можно предполагать в изложении этих мнений тонкую иронию со стороны графа Соллогуба и что только в двух главах (рассказывающих воспитание Василия Ивановича и Ивана Васильевича) граф Соллогуб прямо излагает свои собственные понятия, — только из этих глав можно заключить об истинных мнениях автора: в других случаях кажущиеся парадоксы, быть может, скрывают под собою иронию. Но от этого нового предположения изменяется только суждение о соображениях, руководивших автором «Тарантаса», и только. Взгляд самого Белинского на вещи нимало не изменяется от того, будет ли он спорить против одного Ивана Васильевича, или будет думать, что мысли, высказываемые Иваном Васильевичем, отчасти разделяет и автор «Тарантаса». И, действительно, критическая статья о «Тарантасе» беспощадно опровергает парадоксы, все равно, от лица ли Ивана Васильевича, или от лица автора они высказываются. Вот, например, начало разбора XV главы, рассказывающей биографию Василия Ивановича: ирония критика нимало не смягчается тем, что мнения, им опровергаемые, излагаются прямо от лица автора:

«Изобразив с такою поразительною верностью «воспитание» *Василия Ивановича* и сказав, что даже и оно не испортило его доброй природы, автор удивляется тому, что все наши деды и прадеды воспитывались так же, как и Василий Иванович, а, между тем, не в пример нам, были отличнейшие люди, с твердыми правилами, что особенно доказывается тем, что они «крепко хранили не по логическому убеждению, а по *какому-то странному (?)* внушению (!) любовь ко всем нашим отечественным постановлениям» (стр. 179). Здесь автор что-то темновато рассуждает; но сколько можем мы понять, под отечественными постановлениями он понимает старые обычаи, которых наши деды и прадеды, действительно, крепко держались. Кому не известно, чего стоило Петру Великому сбрить бороду только с малейшей части своих подданных? Впрочем, добродетель, которая возбуждает такой энтузиазм в авторе «Тарантаса» и которая заключается в крепком хранении старых обычаев, именно из того и вытекала, что наши деды и прадеды, как говорит граф Соллогуб, были точно «люди неграмотные» (стр. 179). Мы не можем прийти в себя от удивления, не понимая, чему же автор тут удивляется... Эта добродетель и теперь еще сохранилась на Руси, именно между старообрядцами разных толков, которые, как известно, в грамоте очень не сильны. Китайцы тоже отличаются этою добродетелью, именно потому, что они, при своей грамотности, ужасные невежды и обскуранты. Но еще больше китайцев отличаются этою добродетелью бесчисленные породы бессловесных, которые совсем не способны знать грамоте, и которые до сих пор живут точь-в-точь, как жили их предки с первого дня создания... Вот, если бы автор «Тарантаса» нашел где-нибудь людей просвещенных и образованных, но которые крепко держатся старых обычаев, и удивился бы этому, тогда бы мы несколько не удивились его удивлению и вполне разделили бы его...

Мы не будем говорить, как *Василий Иванович* служил в Казани, плясал на одном балу *казачка* и влюбился в свою даму; но мы не можем пропустить *рацеи* его «дражайшего родителя», в ответ на «покорнейшую просьбу «послушнейшего» сына о благословении на брак: «Вишь, щенок, что затеял; еще на губах молоко не обсохло, а уж о бабе думает». От матери он услышал то же самое. Воля мужа была ей законом. «Даром, что пьяница», думала она, «а все-таки муж». При этом, автор не мог удержаться от восклицания: «так думали в старину»! Хорошо думали в старину! прибавим *мы* от себя. Когда милый «тятенька» Василия Ивановича умер от сивухи, добрые его крестьяне горько о нем плакали: картина была умилительная... Автор очень остроумно замечает, что «любовь мужика к барину есть

любовь врожденная и почти неизъяснимая»; мы в этом столько же уверены, как и он... Наконец, *Василий Иванович* женился и поехал в Мордасы; на границу поместья все мужики, стоя на коленях, ожидали молодых с хлебом и солью. «Русские крестьяне, — говорит автор, — не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность, и жалок тот, кто видит в них только лукавых, бессловесных рабов и не верует в их искренность» (стр. 187). Об этом предмете мы опять думаем точно так же, как сам автор. Если б *Василий Иванович* спросил у своего старосты, отчего крестьяне так радуются, староста, наверное, ответил бы:

. они
На радости, тебя увидя, пляшут. }

Обстоятельство это само по себе вовсе не важно, и только такой строгий к себе человек, как Белинский, мог почесть нужным указывать ошибку и незначительную и незаметную. А если б вздумалось ему совершенно прикрыть ее, это было бы очень легко: стоило только употребить в критической статье оборот такого рода: «в предыдущей книжке мы сказали, что «Тарантас» наполнен парадоксами», и, перефразировав прежнее суждение, продолжать: «да, автор часто вдается в крайности, в односторонность, — это тем страннее, что сам он очень часто и удачно подсмеивается над этою односторонностью, выставляя с тонкою ирониею нелепость понятий своего героя, *Ивана Васильевича*». Читатель согласится, что посредством этого оборота легко было бы выразить все, что выражено в выписанном нами отрывке критической статьи, и с тем [вместе] сохранить совершенное внешнее согласие этой статьи с прежним отзывом. Так постоянно и делают почти все писатели. Только немногие, слишком твердые в своих основных убеждениях, слишком ясно понимающие, что они идут во всем существенном по прямой дороге, не боятся сами выставлять на вид все свои ошибки⁵³.

История с «Тарантасом», нами рассказанная, была самым важным из тех случаев, на которые ссылались противники Белинского в доказательство шаткости его мнений; другие доводы их были еще забавнее; но было бы слишком долго припоминать эти другие случаи. Наша литература вообще имеет еще слишком мало опытности, и только этим объясняется возможность до чрезвычайности странных недоразумений и невероятных промахов, примеры которых так часты в ней. В самом деле, правдоподобное ли дело, чтобы писателя, подобного Белинскому, могли обвинять в шаткости мнений, когда скорее можно было говорить о чрезвычайном упорстве его? Ни в одной из западноевропейских литератур, более опытных, такое странное недоразумение невозможно.

Мы не без намерения останавливаемся на обвинениях против Белинского, хотя они по

⁵³ Говоря строго, надобно признаться, что ошибки в настоящем случае не было вовсе и что Белинский не имел основательной причины брать назад прежние слова. Автор «Тарантаса», очевидно, подсмеивается во многих случаях над *Иваном Васильевичем*; но столь же очевидно, что во многих случаях он выставляет его суждения, как основательные и справедливые. Потому обе фразы: «В парадоксах «Тарантаса» скрывается ирония» и «парадоксы эти высказываются, как положительная истина», — обе эти фразы равно могут быть употреблены, равно близки к правде: на одних страницах «Тарантаса» выставляется нелепым то самое, что на других представляется глубокою мудростью. Противоречие в книге, а не в критике.

Мы изложили дело в том виде, как оно было понято большинством тогдашней публики и литераторов, принявших оговорку Белинского в серьезном смысле. На самом же деле ближе к правде было бы другое понятие о ее смысле. Критическая статья о «Тарантасе» написана очень едко; нелепость мнений *Ивана Васильевича* обнаруживается в ней самым колким образом. Потому слова: «эти мнения не должны быть приписываемы автору, он сам вместе с нами смеется над ними и написал книгу свою именно с той целью, чтоб обнаружить их нелепость», — слова эти, по всей вероятности, внушены только желанием оказать возможную пощадку писателю, эти слова внушены деликатностью, — другого смысла не следовало бы и искать в них. Таким образом, все громкие выходки против Белинского, будто бы в самом деле отказывавшегося от мнения, высказанного за месяц, — все эти выходки были, по-настоящему, основаны на недогадливости о смысле его оговорки. Примерами такой недогадливости богата бедная история нашей литературы.

своей совершенной пустоте не заслуживают ни малейшего внимания; для характеристики положения нашей литературы они имеют свою цену. Важность исторического явления определяется не только его безотносительным содержанием, но и сравнением его с другими окружающими явлениями. Отсталость, мелочность или пустота направлений, которые существовали в русской литературе вне критики Белинского, заставляют нас вдвойне дорожить этою критикою⁵⁴.

Чем внимательнее будем мы сравнивать в хронологическом порядке все статьи, написанные Белинским, тем очевиднее будет обнаруживаться, что развитие его понятий совершалось совершенно логически, постепенным, почти неуловимым образом. Но и представленное в предыдущей статье сравнение шести годовых отчетов его о русской литературе, в «Отеч[ественных] записках», служит уже достаточным доказательством тому. Продолжать это сравнение и на два последние отчета, помещенные в «Современнике», было бы излишне, потому что никто не утверждал, чтобы в последнее время мнения Белинского изменялись; напротив того, под конец его жизни многие стали говорить, что Белинский начал повторяться, что его новые статьи не более, как перифразы прежних — мнение, столь же основательное, как и все упреки, рассмотренные нами прежде. Повторим: наша литература так молода и неопытна, что беспрестанно встречаются в ней самые наивные недоразумения, для разъяснения которых надобно бывает серьезно и подробно рассуждать о самых элементарных понятиях.

Белинский писал критические статьи о русской литературе в продолжение четырнадцати лет. Они рассеяны по нескольким журналам. Читатели журналов постоянно сменяются одни другими. Из пятидесяти человек, читавших «Отечественные записки» 1845 года, едва ли один был знаком с «Телескопом» 1835 года и едва ли пять человек следили за «Отеч[ественными] записками» с 1840 года; из десяти человек, читавших «Современник» 1847 года, едва ли один читал «Отеч[ественные] записки» за все предыдущие годы. Возможно ли было бы в статье «Отеч[ественных] зап[исок]» 1845 года уклониться от необходимого объяснения того или другого понятия на том основании, что оно уже объяснено в «Телескопе» 1835 года, когда из людей, для которых писана статья 1845 года, только очень немногие были знакомы с этим прежним объяснением? Критическая статья пишется для публики, она должна иметь в виду, что различные годы даже одного и того же журнала имеют постоянно изменяющийся круг читателей. Оттого повторения в критических статьях неизбежны. Так всегда и бывает у всех писателей, занимающихся критикою. Конечно, если соединить в один переплет все статьи Белинского, многие страницы этого сборника будут заключать повторения, — но должно помнить, что эти статьи были рассеяны по сотням книг. Избегать повторений было бы в критическом писателе странным педантством — без повторений ни одна из его статей не была бы понятна и для десятой доли своих читателей. Возьмите любой сборник критических статей автора, писавшего в продолжение многих лет, и вы увидите, что половина его страниц заключает повторение сказанного в другой половине. У нас теперь в моде критические статьи Маколея — укажем хотя на них: просматривая этот сборник, вы в двадцати местах найдете одни и те же рассуждения о временах Елисаветы, о реформации в Англии, о влиянии на ход английской истории островитянского положения Англии, о влиянии того обстоятельства, что в Англии долго не было постоянной армии, и т. д., и т. д. Но в Англии никому не может притти в голову упрекать за то Маколея, говорить, что он повторяется, что он исписался; а у нас

⁵⁴ Нет надобности повторять, что Белинского должно считать только деятельнейшим представителем направления, считавшего между своими последователями почти всех даровитых, и образованных русских писателей, и что, говоря «вне критики Белинского были только пустота и отсталость», мы говорим только: «вне направления, представителем которого в критике был Белинский, нет ничего замечательного или плодотворного», а вовсе не имеем желанья уменьшать заслуги полезных деятелей того времени, разделявших с Белинским честь быть выразителями живых мыслей. Белинский был, как мы уже говорили, только один, первый или деятельнейший из многих.

говорилось это о Белинском, и говорившие не подозревали, что говорят несообразно с здравым смыслом.

Впрочем, мало сказать, что повторения для Белинского были столь же необходимы, как, например, для Маколей: они были для русского критика гораздо необходимее, нежели для английского. Это зависит от различного положения и литературы нашей, и публики.

Мнения, которые излагает Маколей, излагаются сотнями других английских писателей; они занесены в книги, которые находятся в библиотеке каждого, имеющего библиотеку хотя из сотни книг (а число таких людей в Англии в тысячу раз больше, нежели у нас), — и, однако же, Маколею было необходимо двадцать раз повторять одну и ту же мысль. У нас не то. Мнений, которые излагались Белинским, вы не могли найти ни в одной русской книге, ни в одном журнале, кроме того, в котором писал он.

Европейская публика привыкла к деятельной умственной жизни. Она приготовлена ко всякой новой мысли, готова с первого раза заметить и оценить ее. У нас — мы хотели бы сказать: у нас то же самое, но факты говорят совершенно не то. У нас даже старые мысли, если только в них есть что-нибудь живое, возбуждают недоумение, будто неслыханная новость, — вот и свидетельство о том, с каким успехом бывали замечены и оценены эти старые мысли, когда являлись в нашей литературе новыми. Нам нужно твердить, твердить и твердить, чтобы в нашем внимании, в нашей памяти утвердилось, наконец, то, о чем мы читаем.

Не спорим, есть у нас люди, составляющие исключение из этого правила, — слишком грустно было бы, если бы и того не было, — но журнальные статьи пишутся не для людей, составляющих исключение. А если кто вздумал бы сомневаться в справедливости сказанного нами, то очень легко привести доказательства, не покидая речи о Белинском: сколько в последние годы было случаев, что одних писателей хвалили, других осуждали за новые будто бы мысли, а между тем, эти мысли были заимствованы из статей Белинского, да, в довершение эффектности доказательства в нашу пользу, обыкновенно принадлежали к числу мыслей, которые чаще всего повторял он. Примеров легко набрать десятки. Укажем только один истинно восхитительный: когда была мода на библиографию, прославившиеся в то время библиографы были превозносимы особенно за то, что чрез них критическая история нашей литературы воздвигается на основании совершенно новом — на основании разработки фактов, о необходимости которой (будто бы) прежде у нас и не думали, считая (будто бы) подробное исследование фактов бесполезным. К этим похвалам присоединялись упреки Белинскому за то, что он, сам (будто бы) пренебрегая разработкою фактов, доказывал (будто бы) бесполезность ее. Говорить это можно было, только забыв или вовсе никогда не имея понятия, что при всяком удобном случае Белинский твердил о необходимости разработки фактов, возбуждал к ней неумолимо, ободрял каждый сколько-нибудь сносный опыт в этом роде. Надобно прибавить, что он сам неумолимо занимался этою разработкою и собрал для истории нашей литературы во сто раз больше фактов, нежели кто-нибудь из современных ему или позднейших писателей по части истории литературы. Таких восхитительных примеров можно было бы найти очень много в журналах наших за пятидесятые годы. Эти ошибки, кажется, слишком ясно доказывают, что память у нас довольно коротка и что слишком упорно нужно твердить нам одну и ту же мысль, чтобы она сколько-нибудь вошла в наше сознание.

По необходимому условию критической деятельности, у Белинского часто встречаются повторения основных мыслей, и те, которые видели в этом неизбежном качестве всякой критики особенный недостаток Белинского, обнаруживали только свое незнакомство с понятиями об условиях, сообразно с которыми должен действовать критик. Но те, которые выводили из этих повторений заключение, что в последние годы Белинский только повторял сказанное им прежде, не прибавляя ничего нового, что он исписался, — эти строгие судьи обнаруживали, что они не в состоянии даже понимать смысла читаемых статей и в своих суждениях руководятся только отыскиванием сходных слов. В 1842 году Белинский говорил о значении Ломоносова и в 1847 также — этого было для них довольно: они решали, что в

1847 году он не сказал о Ломоносове ничего больше, как то, что говорил за пять лет. А, между тем, стоило бы только сравнить соответствующие страницы в двух обзорах, и они увидели бы, что в 1847 году Белинский, кратко упоминая о тех вопросах по поводу Ломоносова, которые объяснил прежде, главное внимание обращает на вопросы, которых прежде не касался. Общего между двумя этими эпизодами только то, что они говорят об одном писателе и написаны по одному и тому же общему понятию о характере его сочинений, — они согласны между собою в общем взгляде на Ломоносова; но их содержание, частные мысли, в них развиваемые, совершенно различны. В 1842 году Белинский доказывал, что оды Ломоносова внушены не жизнью, а подражанием иноземной риторической поэзии. Почему так было и могло ли быть иначе при тогдашнем положении русской умственной жизни, об этом он не говорил в 1842 году. В 1847 году, кратко упомянув, что поэзия Ломоносова есть поэзия подражательная, Белинский не останавливается на этом факте, а объясняет его необходимость, доказывает, что именно по своей подражательности оды Ломоносова [и] удовлетворяли потребностям того времени, что подражание явлениям цивилизованной жизни было тогда для нас необходимейшим и плодотворнейшим делом — спрашивается: неужели содержание этого эпизода не совершенно ново в сравнении с содержанием прежнего эпизода? Чудно устроен свет, и хорошо, что не нашим противникам Белинского пришлось решать вопрос об отношении, например, Нибура к Титу Ливию или Адама Смита к Ксенофону: они тотчас бы открыли, что английский экономист не более, как повторил греческого, а немецкий историк — латинского. В самом деле, предметы одни и те же у них: Нибур и Тит Ливий, оба говорят о Ромуле и Нуме, о Цинциннате и Камилле; Адам Смит и Ксенофонт, оба говорят о государственных доходах и расходах, о земледелии и ремеслах. Какое нам дело до того, что в сочинении одного рассматриваются одни вопросы, в сочинении другого — совершенно другие? Обе книги имеют один общий предмет, одинаковое заглавие — чего же больше? Не ясно ли, что позднейшая из двух книг должна быть повторением более старой? зачем вникать в смысл? — это дело небезопасное, да и не всякому оно по силам.

Кто вникает в смысл, не ограничивая своего разума исключительно именами и словами, тому, конечно, всегда казался чистою нелепостью упрек Белинскому за повторение старого или даже и за неподвижность. Трудно даже поверить, чтобы кому-нибудь могло притти на мысль выбрать такую тему для своих филиппик; а между тем, Белинского, действительно, постоянно упрекали в том, что он вечно повторяет одно и то же, хотя для всякого, читавшего его статьи, поразительнейшею чертою в деятельности этого писателя должно было бы представляться постоянное стремление его вперед. Вообще, говоря об упреках, какие делались Белинскому, чувствуешь себя совершенно неловко, — как бы рассуждал о том, справедливо ли упрекать Волгу за то, что вода стоит в ней неподвижно. Что делать с таким мнением о неподвижности воды Волги? Объяснять его неуместность кажется оскорбительным для глаз и здравого смысла; а, между тем, попробуйте не отвечать, если кто-нибудь выскажет его, — и человек, высказавший этот остроумный упрек, будет воображать, что он остается прав. А если таких остроумных людей много, то на совести вашей будет лежать тяжелый грех, когда вы оставите их в заблуждении.

Мы приведем еще только один пример в опровержение странного заблуждения, о котором упомянули сейчас.

Ряд статей Белинского о Пушкине, без всякого сомнения, представляет одно стройное целое; все эти статьи написаны под влиянием одной мысли, по одному общему плану, и, кажется, до сих пор никому еще не приходило в голову утверждать, чтобы статьи эти в чем-нибудь противоречили одна другой или чтобы общий план не был в них строго соблюден. Однако же, перечитывая статьи о Пушкине, из которых первая помещена в шестой книге «Отеч[ественных] зап[исок]» 1843 года, а последняя в одиннадцатой книге 1846 года, невозможно не заметить, что взгляд Белинского постепенно становится все шире и глубже, а содержание статей все решительнее проникается интересами национальной жизни. Так, например, в начале первой статьи значение Пушкина объясняется

преимущественно с художественной точки зрения, а в заключении последней статьи сильнее, нежели чисто художественное достоинство произведений Пушкина, выставляется на вид значение его деятельности для нашего общества, в котором его поэзию пробуждалась гуманность⁵⁵. Четвертая статья, рассматривающая лицейские стихотворения Пушкина, занимается преимущественно формальным объяснением той связи, в какой манера Пушкина находится с манерами предшествовавших ему поэтов. Шестая, говорящая о «Руслане и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и «Братьях-разбойниках», ограничивается чисто литературными суждениями об этих произведениях; но в седьмой статье («Цыганы», «Полтава») понятия Алеко о любви уже служат поводом к эпизоду о нравственных понятиях, а в восьмой и девятой статьях, заключающих разбор «Онегина», эпизоды подобного рода занимают уже наибольшее число страниц. Так, перечитывая статьи, составляющие, по-видимому, совершенно однородное целое, строго выполненные по заранее обдуманному плану, мы можем видеть, как расширяется круг предметов, говорить о которых Белинский считает своею главною обязанностью, и как чисто литературный взгляд его все более и более оживляется, соединяясь с заботою о других потребностях общества, как самая литература все яснее и яснее является Белинскому служительницею интересов не столько искусства, сколько общества.

Заговорив о тех упреках, какие делались Белинскому, мы хотим покончить с этим предметом и для того должны сказать несколько слов относительно обвинения, столь же неосновательного в сущности, как и все предыдущие, но имевшего, по крайней мере, тень внешнего правдоподобия для людей, которые судят об уме и других дарованиях писателя не по его сочинениям, а по формальным обстоятельствам его жизни.

Лавуазье был генеральный откупщик, один из самых дельных и деятельных по финансовой части директоров огромного коммерческого предприятия; но он создал новейшую химию, и никто в Европе не вздумал отвергать его заслуги науке на том основании, что-де он был промышленник, некогда ему было основательно заниматься химиею. Вильгельм Гумбольдт был дипломат, был министр; но он написал гениальные сочинения по филологии, — и никто в Европе не думал отвергать достоинство этих сочинений на том основании, что-де некогда было Гумбольдту основательно заниматься филологию: он писал депеши, вел переговоры и писал резолюции на деловых бумагах. Анкетиль Дюперрон был матросом, потом слугою в Ост-Индии, — но он первый изучил бендский язык и познакомил Европу с огнепоклонническою цивилизациею), — и опять никто не вздумал спорить против него на том основании, что-де некогда матросу и лакею заниматься науками. Яков Бем, получив такое воспитание, которое едва научило его читать и писать, занялся для своего пропитания сапожным мастерством и до конца жизни шил очень хорошие сапоги, но, кроме того, написал гениальные философские творения, и опять-таки никто в Европе не думает говорить, что должны быть они плохи, потому-де, что куда же сапожнику быть хорошим философом: его дело тачать сапоги и сучить драгву.

Это происходит от недогадливости умных и образованных людей в Европе. Они, бедняжки, не подумали о самом легком и верном средстве судить, хороши ли ученые сочинения такого-то автора. А вернейшее средство это состоит в том, чтобы спросить у автора: «покажики нам свои дипломы, скажи-ка, где ты кончил курс, какие ученые общества приняли тебя в число своих членов, какую должность ты занимаешь?» Есть дипломы у

⁵⁵ Вот окончание последней из статей о Пушкине: «Закключаем. Пушкин был по преимуществу поэт, художник и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал нам поэзию как искусство, как художество. Потому он навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии, учителем искусства. К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека. Несмотря на генеалогические свои предрассудки, Пушкин по самой натуре, своей был существом любящим, симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человеком». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в нем было много детски-кроткого, мягкого и нежного, и все это отразилось в его изящных созданиях».

автора, занимает он ученую должность — значит, и ученые его сочинения прекрасны.

Это правило с успехом было у нас применяемо к Н. А. Полевому, но еще с большим успехом к Белинскому. «Человек-де был, не получивший никаких дипломов, — ну, и значит, не мог основательно писать об ученых предметах».

Белинский не был ни сапожником или матросом, ни дипломатом или банкиром, никакое житейское ремесло не отвлекало его от книг, но у него не было дипломов; какая же тут может быть ученость, посудите сами.

Да посмотрите, догадливые судьи, на самые сочинения и решайте вопрос об учености писателя по его творениям.

Этого способа проверки своих знаний Белинский не может бояться. Будущие биографы Белинского расскажут нам, когда и чем именно он занимался и как пользовался доступными ему средствами для приобретения знаний, — мы пишем не биографию, нас занимают здесь не люди, а только их сочинения, — и потому для нас довольно знать, что изучение сочинений Белинского самым неоспоримым образом опровергает всякие сомнения в основательности его знаний. У нас мало было писателей, которых можно было бы сравнить с ним в этом отношении. Кажется, нельзя сказать, чтобы круг вопросов, обнимаемых его сочинениями, был тесен, а, между тем, положительно видишь, перечитывая его статьи, что обо всех вопросах, каких ни касался он, он имел понятия очень основательные, которым могли бы позавидовать многие ученые писатели.

Что же касается его специальной науки — истории русской литературы, он был и до сих пор остается первым знатоком ее. В этом отношении никто из наших ученых не мог до сих пор сравниться с ним. Вообще, надо признаться, Белинский, будучи значительнейшим из всех наших критиков, был и одним из замечательнейших наших ученых. Это факт, неоспоримо доказываемый его сочинениями. Сомневаться в том значит обнаруживать или недостаток научного образования в себе, или свое незнакомство с сочинениями Белинского.

Для иных (впрочем, можно быть уверенным, очень немногих) может показаться излишнею суровостью с нашей стороны то, что мы не делали ни малейших уступок в пользу людей, осыпавших Белинского упреками и обвинениями, — неужели, в самом деле, эти люди были совершенно неправы? — Совершенно неправы, — и тут нет ничего особенного или странного для людей, имеющих понятие об истории, которая очень часто говорит о случаях совершенно подобных, часто показывает нам, что одна из борющихся партий была совершенно права, а все обвинения, взводившиеся на нее противниками, были совершенно ложны, происходя единственно от недалёковидности, невежества, неблагонамеренности и тому подобных отрицательных качеств. «Но неужели, — могут спросить нас далее, — вы хотите доказать, что критическая деятельность Белинского — полное осуществление абсолютного идеала критики?» — Дело вовсе не в том. Каждый писатель сын своего века, и когда развитие мысли с течением времени становится выше той степени, которая была свойственна его эпохе, когда являются воззрения более полные и глубокие, нежели каковы были его воззрения, тогда, конечно, его произведения перестают быть совершенно удовлетворительными. Мы нимало не сомневаемся в том, что будущее развитие человеческой мысли далеко превзойдет свою полнотою и глубиною все, что произвела мысль нашего века; мы уверены и в том, что русской литературе предстоит великое развитие и что для того времени, когда настанет эта эпоха высшего развития, будет казаться неудовлетворительным все существовавшее или существующее ныне в русской литературе, в том числе и критика Белинского. Соображая аналогический ход развития других литератур, мы можем даже предусматривать, какие именно стороны нашей нынешней литературы будут казаться слабыми для того времени, можем предвидеть и то, чем критика, соответствующая духу того времени, будет отличаться от критики Белинского: она будет гораздо требовательнее, и, сравнительно с нею, критика Белинского будет казаться слишком умеренною в своих требованиях, слишком уклончивою или даже слишком слабою по выражению этих требований: предметы, о которых тогда будет вести речь русская литература, будут важнее, нежели были до сих пор, — потому и критика будет находить

недостойным своего внимания многое, что кажется в нынешней литературе делом великой важности. Но эта эпоха еще впереди, и скоро ли настанет она, трудно решить: что будет, можно предвидеть, скоро ли и каким образом будет, нельзя сказать. [Мы знаем так же верно, как $2 \times 2 = 4$, что за ночью последует день, и кто доживет до светлого дня, конечно будет наслаждаться сиянием, более ярким и живительным, нежели какой давали светила ночи, которые озаряют ныне путь наш во мраке.]

* * *

Предварительные объяснения наши кончены, и мы теперь можем приступить к подробному изложению литературных мнений Белинского. В этом деле мы постоянно будем приводить его собственные слова, и труд наш ограничивается только выбором важнейших мест из его последних статей. Для большей точности мы не будем даже отступать ни от того порядка, в котором писаны были они, ни от того порядка, в котором излагаются эти мысли в каждой статье: мы просто представим извлечение из последних статей Белинского, зная, что это будет приятнее всего для читателей, полезнее всего для литературы.

Начинаем наши извлечения анализом статьи Белинского, помещенной в «Петербургском сборнике» — «Мысли и заметки о русской литературе».

Безотносительное достоинство нашей литературы, по мнению Белинского, еще не очень велико. Это понятие важно, потому что мы, радуясь своим успехам, слишком склонны воображать, что уже недалеко осталось нам до того, чтобы стоять наряду с образованнейшими народами и отдыхать на воображаемых лаврах. Необходимо напоминать нам, что эта высокая мечта не более, как мечта. Если мы чем можем по справедливости гордиться, то, без сомнения, литературою: она составляет лучшую сторону нашей жизни; а между тем, и литература наша до сих пор находится в состоянии, близком к младенчеству. Но, несмотря на свою слабость, для нас она имеет чрезвычайную важность:

Какова бы ни была наша литература, во всяком случае, ее значение для нас гораздо важнее, нежели как может оно казаться; в ней, в одной ей, вся наша умственная жизнь и вся поэзия нашей жизни. Только в ее сфере перестаем мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся к людям и с людьми.

В нашем обществе преобладает дух разъединения: у каждого нашего сословия все свое, особенное — и платье, и манеры, и образ жизни, и обычаи, и даже язык. Дух разъединения враждебен обществу: общество соединяет людей, каста разъединяет их. Этот дух особенности так силен у нас, что даже и новые сословия, возникшие из нового порядка дел, основанного Петром Великим, не замедлили принять на себя особенные оттенки. Чему удивляться, что дворянин на купца, а купец на дворянина вовсе не походят, если иногда почти то же различие существует и между ученым и художником?.. У нас еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются верными благородной решимости не понимать, что такое искусство и зачем оно; у нас еще много художников, которые и не подозревают живой связи их искусства с наукою, с литературою, с жизнью. И потому сведите *такого* ученого с *таким* художником, и вы увидите, что они будут или молчать, или перекидываться общими фразами... Несомненно то, что у нас есть сильная потребность общества и стремление к обществу; а это уже важно. Реформа Петра Великого не уничтожила, не разрушила стен, отделявших в старом обществе один класс от другого; но она подкопалась под основание этих стен и если не повалила, то наклонила их на бок, — и теперь со дня на день они все более и более клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственным своим щебнем и мусором, так что починять их значило бы придавать им тяжесть, которая, по причине подрывного их основания, только ускорила бы их, и без того неизбежное, падение. И если теперь разделенные этими стенами сословия не могут переходить через них, как через ровную мостовую, зато легко могут перескакивать через них там, где они особенно пообвалились или пострадали от проломов. Все это прежде делалось медленно и незаметно, теперь делается и быстрее и заметнее — и близко время, когда все это

очень скоро и начисто сделается. Железные дороги пройдут и под стенами и через стены, туннелями и мостами; усилением промышленности и торговли они переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в те живые и тесные отношения, которые невольно сглаживают все резкие и ненужные различия.

Но начало этого сближения сословий между собою, которое есть начало образующегося общества, отнюдь не принадлежит исключительно нашему времени: оно сливается с началом нашей литературы. Общественное просвещение потекло у нас вначале ручейком мелким и едва заметным, но зато из высшего и благороднейшего источника — из самой науки и литературы. Наука у нас и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда как образование только еще не разрослось, но уже укоренилось. Лист его мелок и редок, ствол не высок и не толст, но корень уже так глубок, что его не вырвать никакой буре, никакому потоку, никакой силе вырубите этот лесок в одном месте, но корень даст отпрыски в другом, и вы скорее устанете вырубать, нежели устанет он давать новые отпрыски и разрастаться...

Говоря об успехах образования нашего общества, мы говорим об успехах нашей литературы потому, что наше образование есть непосредственное действие нашей литературы на понятия и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде особенного класса в обществе, который от обыкновенного среднего *сословия* отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе.

Различие литературного образования общества перешло в жизнь и разделило людей на различно действующие, мыслящие и убежденные поколения, которых живые споры и полемические отношения, выходя из принципов, а не из материальных интересов, являют собою признаки возникающей и развивающейся в обществе духовной жизни. И это великое дело есть дело нашей литературы!..

Литература была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей. Она началась сатирою и в лице Кантемира объявила нещадную борьбу невежеству, предрассудкам, сутяжничеству, ябеде, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она застала в старом обществе не как пороки, но как правила жизни, как моральные убеждения. Каков бы ни был талант Сумарокова, но его сатирические нападки на «крапивное семя» всегда будут заслуживать почетного упоминания от историка русской литературы. Комедии Фонвизина были еще более заслугою перед обществом, нежели перед литературою. Отчасти то же можно сказать и об «Ябеде» Капниста. Басня потому так хорошо и принялась у нас, что она принадлежит к сатирическому роду поэзии. Сам Державин, поэт по преимуществу лирический, был в то же время и сатирическим поэтом, как, например, в «Фелице», «Вельможе» и других пьесах. Наконец пришло время, когда в нашей литературе сатира перешла в юмор, который высказывается в художественном воспроизведении житейской действительности. Конечно, смешно было бы предполагать, чтоб сатира, комедия, повесть или роман могли исправить порочного человека; но нет сомнения, что они, открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробуждению его самосознания, покрывают порочного презрением и позором. Недаром же многие у нас не могут без ненависти слышать имени Гоголя и его «Ревизора» называют «безнравственным» сочинением, которое следовало бы запретить. Равным образом, теперь уже никто не будет так простодушен, чтобы думать, что комедия или повесть может взяточника сделать честным человеком: нет! кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстело, не сделаешь прямым; но ведь у взяточников так же бывают дети, как и у не взяточников: те и другие, еще не имея причин считать безнравственными яркие изображения взяточничества, восхищаются ими и незаметно для самих себя обогащаются такими впечатлениями, которые не всегда оказываются бесплодными в их последующей

жизни, когда они делаются действительными членами общества. Впечатления юности сильны, и юность то и принимает за несомненную истину, что прежде всего поразило ее чувство, воображение и ум. И вот каким образом действует литература уже не на одно образование, но и на нравственное улучшение общества. Как бы то ни было, но этот факт не подлежит никакому сомнению, что только в последнее время у нас начало делаться заметным число людей, которые нравственные убеждения стараются осуществлять на деле, в ущерб своим личным выгодам и во вред своему общественному положению...

Не менее этого неоспорим и тот факт, что литература служит у нас точкою соединения людей, во всех других отношениях *внутренне* разъединенных. Мещанин Ломоносов за свой талант и свою ученость достигает важных чинов, и вельможи допускают его в свой круг. Бедный дворянин Державин за свой талант сам делается вельможею, — и между людьми, с которыми сблизил его литература, он нашел не одних меценатов, но и друзей. Казанский купец Каменев, написавший балладу «Громвал», приехав в Москву по делам, пошел познакомиться с Карамзиным, а через него перезнакомился со всем московским литературным кругом. Это было назад тому *сорок лет*, когда купцы хаживали только в передние дворянских домов, и то по делам, с товарами или за должком, об уплате которого смиренно докучали. Первые журналы русские, которых и самые имена теперь забыты, издавались кружками молодых людей, сблизившихся между собою чрез общую им всем страсть к литературе. Образованность равняет людей. И в наше время уже нисколько не редкость встретить дружеский кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец, и мещанин, — кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают друг в друге просто людей. Вот истинное начало образованной общественности, созданное у нас литературою! Кто из имеющих право на имя человека не пожелает от всей души, чтоб эта общественность росла и увеличивалась не по дням, а по часам, как росли наши сказочные богатыри! Как все живое, общество должно быть органическим, то есть множеством людей, связанных между собою *внутренне*. Денежные интересы, торговля, акции, балы, собрания, танцы — тоже связь, но только внешняя, следовательно не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренне связывают людей общие нравственные интересы, сходство в понятиях, равенство в образовании и, при этом, взаимное уважение к своему человеческому достоинству. Но все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия...

Любовь к крайностям в суждениях, — одно из свойств еще не установившейся натуры русской: русский человек любит или не в меру хвастаться, или не в меру скромничать.

Пристаньте к одной из этих партий, она сейчас же произведет вас в великие люди, в гении, тогда как другая возненавидит и объявит бездарным человеком. Но, во всяком случае, имея врагов, вы будете иметь и друзей. Держась же беспристрастного, *трезвого* мнения об этом предмете, вы восстановите против себя обе стороны. Одна из них обременит вас своим модным, попугайным презрением; другая, пожалуй, объявит вас человеком беспокойным, опасным, подозрительным, ренегатом и будет писать на вас литературные донесения — разумеется, публике... Самое неприятное тут то, что вы не будете поняты, и в ваших словах будут находить то неумеренные похвалы, то неумеренную брань, но не будут видеть в них верной характеристики факта действительности, как он есть, со всем его добром и злом, достоинствами и недостатками, со всеми противоречиями, которые он носит в самом себе. Это особенно прилагается к нашей литературе, которая представляет собою столько крайностей и противоречий, что, сказав о ней что-нибудь утвердительно, тотчас же должно сделать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели рассуждать, легко может показаться отрицанием или противоречием. Так, например, сказав о сильном и благотворном влиянии нашей литературы на общество и, следовательно, о ее великой для нас важности, мы должны оговориться, чтобы этому влиянию и этой важности не приписали больших размеров, нежели какие мы разумели, и, таким образом, не вывели бы

из наших слов такого заключения, что мы не только имеем литературу, но еще и богатую литературу, которая смело может стать наравне с любой европейской литературой. Подобное заключение было бы всячески ложно. У нас есть литература, и литература, богатая талантами и произведениями, если брать в соображение ее средства и молодость, — но наша литература существует только для нас: для иностранцев же она еще вовсе не литература, и они имеют полное право не признавать ее существования, потому что они не могут через нее изучать и узнавать нас, как народ, как общество. Литература наша слишком молода, неопределенна и бесцветна для того, чтобы иностранцы могли видеть в ней факт нашей умственной жизни...

Для иностранцев интереснее других были бы в хороших переводах те создания Пушкина и Лермонтова, которых содержание взято из русской жизни. Таким образом *Евгений Онегин* был бы для иностранцев интереснее *Моцарта и Сальери*, *Скупого рыцаря* и *Каменного гостя*. И вот почему самый интересный для иностранцев русский поэт есть Гоголь. Этот успех понятен: кроме огромности своего художнического таланта, Гоголь строго держится в своих сочинениях сферы русской *жизнейской* действительности. А это-то всего и интереснее для иностранцев: они хотят через поэтазнакомиться с страной, которая произвела его. В этом отношении Гоголь — самый, национальный из русских поэтов, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причине самой национальности его сочинений, и в лучшем переводе не может не ослабиться их колорит.

Но и этим успехом не должно слишком заноситься. Для поэта, который хочет, чтоб гений его был признан везде и всеми, а не одними только его соотечественниками, национальность есть первое, но не единственное условие: необходимо еще, чтоб, будучи *национальным*, он в то же время был и *всемирным*, то есть, чтобы национальность его творений была формою, телом, плотью, физиономиею, личностью духовного и бесплотного мира общечеловеческих идей. Другими словами: необходимо, чтоб национальный поэт имел великое историческое значение не для одного только своего отечества, но чтобы его явление имело *всемирно-историческое* значение. Такие поэты могут являться только у народов, призванных играть в судьбах человечества всемирно-историческую роль, то есть своею национальною жизнью иметь влияние на ход и развитие всего человечества. И потому, если, с одной стороны, без великого гения от природы нельзя быть всемирно-историческим поэтом, то, с другой стороны, и с великим гением иногда можно быть не всемирно-историческим поэтом, то есть иметь важность только для одного своего народа. Здесь значение поэта зависит уже не от него самого, не от его деятельности, направления, гения, но от значения страны, которая произвела его. С этой точки зрения, у нас нет ни одного поэта, которого *мы* имели бы право поставить наравне с первыми поэтами Европы.

Таланты есть повсюду и всегда; но не одни только таланты нужны для того, чтобы литература имела положительное достоинство: только содержание придает истинную цену ее произведениям.

Почти каждый образованный француз считает необходимым иметь в своей библиотеке всех своих писателей, которых общественное мнение признало классическими. И он читает и перечитывает их всю жизнь свою. У нас — что греха таить? — не всякий записной литератор считает за нужное иметь старых писателей. И вообще у нас все охотнее покупают новую книгу, нежели старую; старых писателей у нас почти никто не читает, особенно те, которые всех громче кричат о их гении и славе. Это отчасти происходит оттого, что наше образование еще не установилось и образованные потребности еще не обратились у нас в привычку. Но тут есть и другая, может быть, еще более существенная причина, которая не только объясняет, но частично и оправдывает это нравственное явление. Французы до сих пор читают, например, Рабле или Паскаля, писателей XVI и XVII века; тут нет ничего удивительного, потому что этих писателей и теперь читают и изучают не одни французы, но и немцы и англичане — словом, люди всех образованных наций. Язык этих писателей, и особенно Рабле, устарел: но *содержание* их сочинений всегда будет иметь свой живой интерес, потому что оно тесно связано со смыслом и значением целой исторической эпохи.

Это доказывает ту истину, что только *содержание* может спасти от забвения писателя.

Источник, из которого возникает богатая литература, — богатство и сила умственной жизни в обществе. У нас этого еще нет:

Вообще, вместе с удивительными и быстрыми успехами в умственном и литературном образовании, проглядывает у нас какая-то незрелость, какая-то шаткость и неопределенность. Истины, в других литературах давно сделавшиеся аксиомами, давно уже не возбуждающие споров и не требующие доказательств, у нас все еще не подвергались суждению, еще не всем известны.

Вспомните только, что произведение, верно схватывающее какие-нибудь черты общества, считается у нас часто пасквилем то на общество, то на сословие, то на лица. От нашей литературы требуют, чтобы она видела в действительности только героев добродетели да мелодраматических злодеев, и чтобы она и не подозревала, что в обществе может быть много смешных, странных и уродливых явлений. Каждый, чтобы ему было широко и просторно жить, готов, если б мог, запретить другим жить. Явился у нас писатель, юмористический талант которого имел до того сильное влияние на всю литературу, что дал ей совершенно новое направление. Его стали порочить. Хотели уверить публику, что он — Поль-де-Кок, живописец грязной, неумытой и непричесанной природы. Он не отвечал никому и шел себе вперед. Публика, в отношении к нему, разделилась на две стороны, из которых самая многочисленная была решительно против него, что, впрочем, несколько не мешало ей раскупить, читать и перечитывать его сочинения. Наконец, и большинство публики стало за него: что делать порицателям? Они начали признавать в нем талант даже большой, хотя, по их словам, идущий не по настоящему пути, но, вместе с этим, стали давать знать и намекали прямо, что он, будто бы, унижает все русское, оскорбляет почтенное сословие чиновников, и т. п. Все мнения находят у нас место, простор, внимание и даже последователей. Что же это, если не незрелость и не шаткость общественного мнения? Но, со всем этим, истина и здравый вкус все-таки идут твердыми шагами и овладевают полем этой беспорядочной битвы мнений. Все это доказывает, что и литература и общество наше еще слишком молоды и незрелы, но что в них кроется много здоровой жизненной силы, обещающей богатое развитие в будущем.

Статья девятая и последняя

Продолжаем наши извлечения из статей Белинского. Нам остается анализировать два последние его годовые обозрения русской литературы — на 1846 и 1847 годы. («Соврем[енник]», 1847 г., № 1, и 1848 г., No№ 1 и 3.) Эти два обозрения вместе со статьей «Петербургского сборника», отрывки из которой привели мы в прошедшем месяце, представляют довольно полное выражение общих литературных воззрений Белинского. Для первого раза эти извлечения с достаточною ясностью возобновляют в памяти читателей личность гениального нашего критика [,- в настоящее время, и это уже должно считаться делом великой важности: мы много выиграем, если будем даже только помнить, что некогда говорилось нам, что некогда одобрялось всеми нами]. Придет время, кто-нибудь скажет нам что-нибудь новое, что-нибудь лучшее [,- а теперь... теперь мы счастливы и довольны, когда можем называть хорошим хотя то, что было хорошо десять лет тому назад. Нечего сказать, завидное положение литературы и критики; нечего сказать, великой похвалы заслуживают быстрые успехи общества]. В нашем обществе, в нашей литературе есть свежие силы, есть стремление вперед, есть залогов для развития более живого и широкого, нежели все предыдущее [,- люди живого настоящего, выступайте же вперед бодрее, решительнее! Говорите громче и сильнее! Ваши речи уже слышатся между нами, — но как еще невнятны для большинства публики речи одних из вас, как неопределенны речи других! Одним из вас надобно говорить слышнее, другим говорить определительнее, и тогда публика пойдет за вами. Говорите же, и пусть воспоминания о Белинском утратят свой живой интерес для современности]. Чем скорее это будет, тем лучше. А пока, — пока он все еще остается

незаменим для нашей литературы [, и надобно нам слушать то, что говорил он].

* * *

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» начинается замечаниями о том, что характер современной русской литературы состоит в более и более тесном сближении с жизнью и действительностью и что подобная характеристика может быть уместна только относительно литературы очень молодой, мало еще развившейся и начавшейся в подражание иностранным литературам, а не из самостоятельной национальной жизни, что отрешение от подражательности, постепенное достижение самобытности есть главная черта в истории нашей литературы, что и доказывается фактами. Выписки из этой части обзора были нами приводимы в предыдущих статьях. Наконец, говорит Белинский, в произведениях Гоголя и писателей, им воспитанных, наша литература явилась самобытною, стала верным изображением русской действительности и оттого получила в глазах общества важное значение, какого прежде по отсутствию живого содержания, она не имела. В беллетристике старое риторическое направление совершенно бессильно; но вне беллетристики оно проявляется так называемым славянофильством.

Известно, что в глазах Карамзина Иоанн III был выше Петра Великого, а допетровская Русь лучше России новой. Вот источник так называемого славянофильства, которое мы, впрочем, во многих отношениях считаем весьма важным явлением, доказывающим, в свою очередь, что время зрелости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена детства литературы всех занимают вопросы, если даже и важные сами по себе, то не имеющие никакого дельного применения к жизни. Так называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности. Как оно их касается и как оно к ним относится — это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убеждение, которое, как всякое убеждение, заслуживает полного уважения, даже и в таком случае, если с ним вовсе не согласны. Много можно сказать в пользу славянофильства, говоря о причинах, вызвавших его явление; но, рассмотревши его ближе, нельзя не увидеть, что существование и важность этой литературной котерии чисто отрицательные, что она вызвана и живет не для себя, а для оправдания и утверждения именно той идеи, на борьбу с которою обрекла себя. Поэтому нет никакого интереса говорить с славянофилами о том, чего они хотят, да и сами они неохотно говорят и пишут об этом, хотя и не делают из этого никакой тайны. Дело в том, что положительная сторона их доктрины заключается в каких-то туманных, мистических предчувствиях победы Востока над Западом [, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности, всеми вместе и каждым порознь]. Но отрицательная сторона их учения гораздо более заслуживает внимания, не в том, что они говорят против гниющего будто бы Запада [Запада славянофилы решительно не понимают, потому что меряют его на восточный аршин], но в том, что они говорят против русского европеизма, а об этом они говорят много дельного, с чем нельзя не согласиться хотя наполовину, как, например, что в русской жизни есть какая-то двойственность, следовательно, отсутствие нравственного единства; что это лишает нас резко выразившегося национального характера, каким [, к чести их,] отличаются почти все европейские народы, что это делает нас какими-то междоумками, которые хорошо умеют мыслить по-французски, по-немецки и по-английски, — но никак не умеют мыслить по-русски, и что причина всего этого в реформе Петра Великого. Все это справедливо до известной степени. Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него. Этого славянофилы не делали и не сделали; но зато они заставили если не сделать, то делать это своих противников. И вот где их истинная заслуга. Заснуть в самолюбивых мечтах, о чем бы они ни были — о нашей ли народной славе, или о нашем европеизме, равно бесплодно и вредно, потому что сон есть не жизнь, а только грезы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прервет такой сон. В самом деле, никогда

изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем. Мы как будто испугались за нашу жизнь, за наше значение, за наше прошедшее и будущее, и скорее хотим решить великий вопрос: *Быть или не быть?* Тут уже дело идет не о том, откуда пришли варяги — с запада или с юга, из-за Балтийского, или из-за Черного моря, а о том, проходит ли через нашу историю какая-нибудь живая органическая мысль, и если проходит, какая именно; какие наши отношения к нашему прошедшему, от которого мы как будто оторваны, и к Западу, с которым мы как будто связаны. И результатом этих хлопотливых и тревожных исследований начинает оказываться, что, во-первых, мы не так резко оторваны от нашего прошедшего, как думали, и не так тесно связаны с Западом, как воображали. С другой стороны, обращаясь к своему настоящему положению, смотря на него глазами сомнения и исследования, мы не можем не видеть, как, во многих отношениях, смешно и жалко успокоил нас наш русский европеизм насчет наших русских недостатков, забелив изарумянив, но вовсе не изгладив их. И в этом отношении поездки за границу чрезвычайно полезны нам: многие из русских отправляются туда решительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная кем, и потому самому с искренним желанием сделаться русскими. Что же все это означает? — Неужели славянофилы правы, и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала междоумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо воротиться к общественному устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?..

Нет, это означает совсем другое, а именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, так сказать, эпоху реформы и воротиться к предшествовавшим ей временам — неужели это значит развиваться самобытно? Смешно было бы так думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, как и переменить порядок годовых времен, заставив за весною следовать зиму, а за осенью — лето. Это значило бы еще признать явление Петра Великого, его реформу и последующие события в России (может быть, до самого 1812 года — эпохи, с которой началась новая жизнь для России), признать их случайными, каким-то тяжелым сном, который тотчас исчезает и уничтожается, как скоро проснувшийся человек открывает глаза. Но так думать сродно только господам Маниловым. Подобные события в жизни народа слишком велики, чтоб быть случайными, и жизнь народа не есть углая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Вместо того, чтоб думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признав неотразимую и неизменяемую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями. Не об изменении того, что совершилось без нашего ведома и что смеется над нашею волею, должны мы думать, а об изменении самих себя на основании уже указанного нам пути высшею нас волею. Дело в том, что пора нам перестать казаться, а начать *быть*, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами и европейские формы и внешность принимать за европеизм. Скажем более: пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно человеческое, и, на этом основании, все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого.

Повторяем: славянофилы правы во многих отношениях; но тем не менее их роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина их странных выводов заключается в том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета, и, находя листья безвкусными, объявляют

плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить на другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая петровская Россия так же молода, как и Северная Америка, что в будущем ей представляется гораздо больше, чем в прошедшем. Они забыли, что в разгаре процесса часто особенно бросаются в глаза именно те явления, которые, по окончании процесса, должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться результатом процесса. В этом отношении Россию нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвет и плод. Без всякого сомнения, русскому легче усвоить себе взгляд француза, англичанина или немца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взгляд, с которым равно легко знакомит его и наука и современная действительность, тогда как он, в отношении к самому себе, еще загадка, потому что еще загадка для него значение и судьба его отечества, где все зародыши, зачатки. и ничего определенного, развившегося, сформировавшегося. Разумеется, в этом есть нечто грустное, но зато как много и утешительного в этом же самом! Дуб растет медленно, зато живет века. Человеку сродно желать скорого свершения своих желаний; но скороспелость ненадежна: нам более, чем кому другому, должно убедиться в этой истине. Известно, что французы, англичане и немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, — тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами, другие выводят из этого весьма печальные заключения о бесхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра: потому что, говорят они, у кого нет своей жизни, тому легко подделываться под чужую, у кого нет своих интересов, тому легко принимать чужие; но подделываться под чужую жизнь не значит жить, понять чужие интересы не значит усвоить их себе. В последнем мнении много правды, но не совсем лишено истины и первое мнение, как ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажем, что решительно не верим в возможность крепкого политического и государственного существования народов, лишенных национальности, следовательно, живущих чисто-внешнею жизнью. В Европе есть одно такое искусственное государство, склеенное из многих национальностей; но кому же неизвестно, что его крепость и сила до поры и времени?.. Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но каково это слово, какова мысль, — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими...

Что же касается до многосторонности, с какою русский человек понимает чуждые ему национальности, — в этом заключаются равно и его слабая и его сильная стороны. Слабая потому, что этой многосторонности действительно много помогает его настоящая независимость от односторонности собственных национальных интересов. Но можно сказать с достоверностью, что эта независимость только *помогает* этой многосторонности; а едва ли можно сказать с какой-нибудь достоверностью, чтобы она *производила* ее. По крайней мере, нам кажется, что было бы слишком смело приписывать положению то, что всего более должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение,

высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания...

...На свете нет ничего безусловно важного или неважного. Против этой истины могут спорить только те исключительно теоретические натуры, которые до тех пор и умны, пока носятся в общих отвлеченностях, а как скоро спустятся в сферу приложений общего к частному, словом, в мир действительности, тотчас оказываются сомнительными насчет нормального состояния их мозга. Итак, все на свете только относительно важно или не важно, велико или мало, старо или ново. «Как, — скажут нам, — и истина, и добродетель — понятия относительные?» Нет, как *понятие*, как *мысль*, они, безусловны и вечны; но как осуществление, как факт, они относительны. Идеи истины и добра признавались всеми народами, во все века; но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век. Поэтому безусловный, или абсолютный, способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным, или отвлеченным. Ничего нет легче, как определить, чем должен быть человек в нравственном отношении; но ничего нет труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем бы ему, по теории нравственной философии, следовало быть.

Вот точка зрения, с которой мы находим признаки зрелости современной русской литературы в явлениях, по-видимому, самых обыкновенных. Присмотритесь, прислушайтесь: о чем больше всего толкуют наши журналы? — о народности, о действительности. На что больше всего нападают они? — на романтизм, мечтательность, отвлеченность. О некоторых из этих предметов много было толков и прежде, да не тот они имели смысл, не то значение. Понятие о «действительности» совершенно новое; на «романтизм» прежде смотрели, как на альфу и омегу человеческой мудрости, и в нем одном искали решения всех вопросов; понятие о «народности» имело прежде исключительно литературное значение, без всякого приложения к жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно в сфере литературы, но разница в том, что литературра-то теперь сделалась эхом жизни. Как судят теперь об этих предметах — вопрос другой. По обыкновению, одни лучше, другие хуже, но почти все одинаково в том отношении, что в решении этих вопросов видят как будто собственное спасение. В особенности, вопрос о народности сделался всеобщим вопросом и проявился в двух крайностях. Одни смешали с народностью старинные обычаи, сохранившиеся теперь только в простонародии, и не любят, чтобы при них говорили с неуважением о курной и грязной избе, о редьке и квасе, даже о сивухе; другие, сознавая потребность высшего национального начала и не находя его в действительности, хлопочут выдумать свое, и неясно, намеками указывают нам на *смирение*, как выражение русской национальности. С первыми смешно спорить; но вторым можно заметить, что смирение есть, в известных случаях, весьма похвальная добродетель для человека всякой страны; для француза, как и для русского, для англичанина, как и для турка; но что *она* едва ли может одна составить то, что называется «народностью». Притом же этот взгляд, может быть, превосходный в теоретическом отношении, не совсем уживается с историческими фактами. Удельный период наш отличается скорее гордынею и драчливостью, нежели смирением. Татарам поддались мы совсем не от смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестьем, как и для всякого другого народа), а по бессилию, вследствие разделения наших сил родовым, кровным началом, положенным в основание правительственной системы того времени. Иоанн Калита был хитер, а не смирен; Симеон даже прозван был «гордым»; а эти князья были первоначальниками силы Московского царства. Димитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением. Только слабый Федор составляет исключение из правила. И вообще, как-то странно видеть в смирении причину, по которой ничтожное Московское княжество сделалось сперва Московским царством, а потом Российской империей, приосенив крыльями двуглавого орла, как свое достояние, Сибирь, Малороссию, Белороссию, Новороссию, Крым, Бессарабию, Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Кавказ.

Конечно, в русской истории можно найти поразительные черты смирения, как и других добродетелей, со стороны правительственных и частных лиц; но в истории какого же народа нельзя найти их, и чем какой-нибудь Людовик IX уступает в смирении Феодору Иоанновичу?.. Толкуют еще о *любви*, как о национальном начале, исключительно присущем одним славянским племенам, в ущерб галльским, тевтонским и иным западным. Эта мысль у некоторых обратилась в истинную мономанию, так что кто-то из этих «некоторых» решился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью отделались мы не только от татар, но и от нашествия Наполеона. Мы, напротив, думаем, что любовь есть свойство человеческой природы вообще и так же не может быть исключительною принадлежностью одного народа или племени, как и дыхание, зрение, голод, жажда, ум, слово. Ошибка тут в том, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основание европейским государствам, тотчас же породила там чисто юридический быт, в котором само насилие и угнетение приняло вид не произвола, а закона. У славян же, напротив, господствовал обычай, вышедший из «кротких и любовных» патриархальных отношений. Но долго ли продолжался этот патриархальный быт и что мы знаем о нем достоверного? Еще до удельного периода встречаем мы в русской истории черты вовсе не любовные — хитрого воителя Олега, сурового воителя Святослава, потом Святополка (убийцу Бориса и Глеба), детей Владимира, восставших на своего отца, и т. п. Это, скажут, занесли к нам варяги и — прибавим мы от себя — положили этим начало искажению любовного патриархального быта. Из чего же в таком случае и хлопотать? Удельный период так же мало период любви, как и смирения; это скорее период резни, обратившейся в обычай. О татарском периоде нечего и говорить: тогда лицемерное и предательское смирение было нужнее и любви и настоящего смирения. Пытки, казни периода Московского царства и последующих времен, [до самого царствования Екатерины Великой], опять посылают нас искать любви в доисторические времена славян. Где ж тут любовь, как национальное начало? Национальным началом она никогда и не была, но была человеческим началом, поддерживавшимся в племени его историческим, или, лучше сказать, его неисторическим положением. Положение изменилось, изменились и патриархальные нравы, а с ними исчезла и любовь, как бытовая сторона жизни. Уж не возвратиться ли нам к этим временам? Почему ж бы и не так, если это так же легко, как старику сделаться юношей, а юноше — младенцем?.. Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — Конечно, то, что мы называем его духовностью, то есть чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается в человеке низшим, случайным, относительным, преходящим? — Конечно, его тело. Известно, что наше тело мы с детства привыкли презирать, может быть, потому именно, что, вечно живя в логических фантазиях, мы мало его знаем. Врачи, напротив, больше других уважают тело, потому что больше других знают его. Вот почему от болезней чисто нравственных они лечат иногда средствами чисто материальными, и наоборот. В этом отношении они похожи на умного агронома, который с уважением смотрит не только на богатство получаемых им от земли зерен, но и на самую землю, которая их произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючий навоз, который усилил плодотворность этой земли. — Вы, конечно, очень цените в человеке чувство? — Прекрасно! так цените же и этот кусок мяса, который трепещет в его груди, который вы называете сердцем и которого замедленное или ускоренное биение верно соответствует каждому движению вашей души. — Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении и перед этою массой мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются, чрез позвоночный хребет, нити нерв, которые суть органы ощущения и чувств. Иначе, вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины, или — что еще хуже — сочините свои, небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она

проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить [физический процесс нравственного развития]. Но это внутренний мир физиологической жизни человека; все его сокровенные от нас действия, как результат, выказываются наружу в лице, взгляде, голосе, даже манерах человека. А между тем, что такое лицо, глаза, голос, манеры? Ведь это все — тело, внешность, следовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что ведь все это — не чувство, не ум, не воля? — так! но ведь во всем этом мы *видим* и *слышим* и чувство, и ум, и волю. Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, *личность*. Посмотрите, сколько нравственных оттенков в человеческой натуре: у одного ум едва заметен из-за сердца, у другого сердце как будто поместилось в мозгу; этот страшно умен и способен на дело, да ничего сделать не может, потому что нет у него воли; а у того страшная воля, да слабая голова, и из его деятельности выходит или вздор, или зло. Перечесать этих оттенков так же невозможно, как перечесать различия физиономий: сколько людей, столько и лиц, и двух совершенно схожих людей найти еще менее возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожие между собою. Когда вы влюблены в женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ее ума и сердца: иначе, когда вам укажут на другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предмет своей любви для нового, как оставляют хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на чувство любви, но когда любят человека, любят его всего, не как идею, а как живую личность; любят в нем особенно то, чего не умеют ни определить, ни назвать. В самом деле, как бы определили и назвали вы, например, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физиономии, его голоса, словом, все то, что составляет его особенность, что делает его не похожим на других и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе, зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? — Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что называли вы в нем духовным и нравственным, — а умерло только грубо материальное, случайное? Но об этом-то случайном и рыдаете вы горько, потому что воспоминания о прекрасных качествах человека не заменят вам человека, как умирающего от голода не насытит воспоминание о роскошном столе, которым он недавно наслаждался. Я охотно соглашусь с спиритуалистами, что мое сравнение грубо, но зато оно верно, а это для меня главное. Державин сказал:

Так! весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить.

Против действительности такого бессмертия нечего сказать, хотя оно и не утешит людей, близких поэту; но что передает поэт потомству в своих созданиях, если не свою личность? Не будь он личность больше, чем кто-нибудь, личность по преимуществу, его создания были бы бесцветны и бледны. От этого творения каждого великого поэта представляют собой совершенно особенный, оригинальный мир, и между Гомером, Шекспиром, Байроном, Сервантесом, Вальтер Скоттом, Гете и Жорж Сандом общего только то, что все они — великие поэты...

Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению и без которой все — или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели; но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами. Это такая же тайна, как и жизнь: все ее видят, все ощущают себя в ее недрах, и никто не скажет вам, что она такое. Так точно, ученые, хорошо зная действие и силы деятелей природы, каковы электричество, гальванизм, магнетизм, и потому нисколько не сомневаясь в их существовании, все-таки не умеют сказать, что они такое. Страннее всего, что все, что мы можем сказать о личности, ограничивается тем, что она ничтожна перед чувством, волею,

добродетелью, красотой и тому подобными вечными и непреходящими идеями; но что без нее, преходящего и случайного явления, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродетели, ни красоты, так же, как не было бы ни бесчувственности, ни глупости, ни бесхарактерности, ни порока, ни безобразия...

Что *личность* в отношении к *идее* человека, то *народность* в отношении к *идее* человечества. Другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу, я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики... Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому.

Человеческое присуще человеку потому, что он — человек; но оно проявляется в нем не иначе, как, во-первых, на основании его собственной личности и в той мере, в какой она его может вместить в себе, а во-вторых, на основании его национальности. Личность человека есть исключение других личностей и, по тому самому, есть ограничение человеческой сущности: ни один человек, как бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпает самим собою не только всех сфер жизни, но даже и одной какой-нибудь ее стороны. Ни один человек не только не может заменить самим собою всех людей (т. е. сделать их существование ненужным), но даже и ни одного человека, как бы он ни был ниже его в нравственном или умственном отношении; но все и каждый необходимы всем и каждому. На этом и основано единство и братство человеческого рода. Человек силен и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — *национальность*. Она есть самобытный результат соединения людей, но не есть их произведение: ни один народ не создал своей национальности, как не создал самого себя. Это указывает на кровное, родовое происхождение всех национальностей. Чем ближе человек или народ к своему началу, тем ближе он к природе, тем более он ее раб; тогда он не человек, а ребенок, не народ, а племя. В том и другом человеческое развивается по мере их освобождения от естественной непосредственности. Этому освобождению часто способствуют разные внешние причины; но человеческое тем не менее приходит к народу не извне, а из него же самого, и всегда проявляется в нем национально.

Собственно говоря, борьба человеческого с национальным есть не больше, как риторическая фигура; но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается чрез заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса. В наше время народные вражды и антипатии погасли совершенно. Француз уже не питает ненависти к англичанину только за то, что он англичанин, и наоборот. Напротив, со дня на день более и более обнаруживается в наше время сочувствие и любовь народа к народу. Это утешительное, гуманное явление есть результат просвещения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все народы похожими один на другой, как две капли воды. Напротив, наше время есть, по преимуществу, время сильного развития национальностей. Француз хочет быть французом, и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и интересуется им. В таких точно отношениях находятся теперь друг к другу все европейские народы. А, между тем, они нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно-бессильных и ничтожных. Древняя Эллада была наследницею всего предшествовавшего ей древнего мира. В ее состав вошли элементы египетские и финикийские, кроме основного пелазгического. Римляне приняли в себя, так сказать, весь древний мир и все-таки остались римлянами, и если пали, то не от внешних заимствований, а от того, что были последними представителями исчерпанного всю жизнь свою древнего мира, долженствовавшего обновиться через христианство и тевтонских

варваров. Французская литература рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила их заимствованиями, — и все-таки оставалась национально-французской. Все отрицательное движение французской литературы XVIII века вышло из Англии, но французы до того умели усвоить его себе, наложив на него печать своей национальности, что никто и не думает оспаривать у их литературы чести самобытного развития. Немецкая философия пошла от француза Декарта, нисколько не сделавшись от этого французской.

Таково отношение Белинского к вопросу о народности. Он думает, что в сущности о ней нечего и заботиться народу, имеющему нравственные силы. Она так же неотъемлема и несокрушима, как физиологические особенности народа, потому что и сама, подобно им, врождена от природы. Мнимая борьба человеческого с национальным, — продолжает он, — в сущности есть только борьба нового со старым, современного с отжившим.

Итак, толковать о народности едва ли не значит попусту терять слова; но в стремлении, из которого возникли эти толки, есть смысл: он заключается в том, что каждый народ должен заниматься изучением и улучшением своей действительной жизни. Начатки этого направления видит Белинский теперь в нашей литературе, а в этих начатках — близость ее к зрелости и возмужалости. Наша литература, с появлением Гоголя, занялась делом. «В этом отношении дошла она до такого положения, что успехи ее в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие».

Этим оканчивается общая часть предпоследнего годичного обзора русской литературы. Следующий, последний обзор («Соврем[енник]», 1848, No№ 1 и 3) является, в своей общей части, как бы продолжением предыдущего. Читатели помнят, что направление, которое теперь властвует в нашей литературе, получило, при своем появлении, название натуральной школы и что десять лет тому назад натуральная школа была предметом ожесточенных нападений со стороны всех отсталых писателей. Теперь мы видим, что поднялись против так называемого отрицательного направления толки, совершенно подобные тем, какие прежде поднимались против натуральной школы. Вся разница только в замене термина «натуральная школа» другим, а предмет недовольствия отсталых критиков остается один и тот же. Белинский отвечает на все упреки против натуральной школы с полнотою, которая не оставляет места никаким сомнениям; он историей доказывает неизбежность нынешнего направления литературы, эстетикою совершенную законность его, нравственными потребностями нашего общества необходимость его:

Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы; нисколько не преувеличивая дела, по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, т. е. большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах; а какие журналы пользуются большею известностью, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят; на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу?

Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не раз и всегда будет. Карамзин первый произвел разделение в едва возникавшей тогда русской литературе. До него все были согласны во всех литературных вопросах, и если бывали разногласия и споры, они выходили не из мнений и убеждений, а из мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжизненность тогдашней так называемой литературы. Карамзин первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь, из школы в общество. Тогда, естественно, явились и партии, началась война на перьях, раздалась вопли, что Карамзин и его школа губят русский язык и вредят

добрым русским нравам. В лице его противников, казалось, вновь восстала русская упорная старина, которая с таким судорожным и тем более бесплодным напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого. Но большинство было на стороне права, т. е. таланта и современных нравственных потребностей, вопли противников заглушались хвалебными гимнами поклонников Карамзина. Все группировалось около него, и от него все получало свое значение и свою значительность, все — даже его противники. Он был героем, Ахиллом литературы того времени. Но что вся эта тревога в сравнении с бурей, которая поднялась с появлением Пушкина на литературном поприще? Она так памятна всем, что нет нужды распространяться о ней. Скажем только, что противники Пушкина видели в его сочинениях искажение русского языка, русской поэзии, несомненный вред не только для эстетического вкуса публики, но и — поверят ли теперь этому? — для общественной нравственности!.. Что же за причина, что противники всякого движения вперед во все эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и теми же словами?

Причина этого скрывается там же, где надо искать и происхождения натуральной школы — в истории нашей литературы. В лице Кантемира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу на верности натуре. В Державине (его оды «К Фелице», «Вельможе», «На счастье» едва ли не лучшие его произведения, по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше оригинального, русского, нежели в его торжественных одах), в баснях Хемницера и в комедиях Фонвизина отозвалось направление, представителем которого, по времени, был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральной, по мере того, как становится более поэтической. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною; натурализм становится отличительною характеристическою чертою его поэзии. Зато он первый и подвергся упрекам за изображения «низкой природы». Наконец, явился Пушкин, поэзия которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение относится к стремлению. Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли элементы жизни действительной. Цыганский табор с оборванными шатрами между колесами телег, с пляшущим медведем и нагими детьми в перекидных корзинках на ослах был тоже неслыханною дотоле сценою для кровавого трагического события. Но в «Евгении Онегине» идеалы еще более уступили место действительности. Тут уже натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дрязгами; около двух или трех лиц, опоэтизированных или несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище, как уроды, как исключения из общего правила, а как лица, составляющие большинство общества. И все это в романе, писанном стихами! Что же в это время делал роман в прозе?

Он всеми силами стремился к сближению с действительностью, к натуральности. Между этими попытками были очень замечательные; но тем не менее все они отзывались переходною эпохою, стремились к новому, не оставляя старой колеи. Весь успех заключался в том, что, несмотря на вопли староверов, в романе стали появляться лица всех сословий, и авторы старались подделываться под язык каждого. Это называлось тогда *народностью*. Но эта народность слишком отзывалась маскарадностью: русские лица низших сословий походили на переряженных бар, а бары только именами отличались от иностранцев. Нужен был гениальный талант, чтобы навсегда освободить русскую поэзию, изображающую русские нравы, русский быт, из-под чуждых ей влияний. Пушкин много сделал для этого; но докончить, довершить дело предоставлено было другому таланту. С появлением «Миргорода» и «Арабесок» (в 1835 году) и «Ревизора» (в 1836) начинается полная известность Гоголя и его сильное влияние на русскую литературу. Влияние теорий и школ было одною из главных причин, почему многие сначала спокойно, без всякой враждебности, искренно и добросовестно видели в Гоголе не более, как писателя забавного, но тривиального и незначительного, и вышли из себя уже вследствие восторженных похвал, расточавшихся ему другою стороною, и важного значения, которое он быстро приобретал в

общественном мнении. В самом деле, как ни ново было в свое время направление Карамзина, оно оправдывалось образцами французской литературы. Как ни странно поразили всех баллады Жуковского, с их мрачным колоритом, с их кладбищами и мертвецами, но за них были имена корифеев немецкой литературы. Сам Пушкин, с одной стороны, был подготовлен предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себе легкие следы их влияния, а, с другой стороны, его нововведения оправдывались общим движением во всех литературах Европы и влиянием Байрона — авторитета огромного. Но Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Все теории, все предания литературные были против него, потому что он был против них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть о их существовании; а это для многих значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснее сделать нашу мысль, посмотрим, в каких отношениях находится Гоголь к другим русским поэтам. Конечно, и в тех сочинениях Пушкина, которые представляют чуждые русскому миру картины, без всякого сомнения, есть элементы русские; но кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Галуб», могли быть написаны только русским поэтом, и что их не мог бы написать поэт другой нации? То же можно сказать и о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены исключительно изображению мира русской жизни, и у него нет соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, не украшает вследствие любви к идеалам или каких-нибудь заранее принятых идей, или привычных пристрастий, как, например, Пушкин в «Онегине» идеализировал помещичий быт. Конечно, преобладающий характер его сочинений — отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала, и этот идеал у Гоголя также не свой, т. е. не туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал. Но нельзя же не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя уже никак невозможно предположить вопроса: как доказать, что они могли быть написаны только русским поэтом и что их не мог бы написать поэт другой нации? Изображать русскую действительность, и с такою поразительною верностью и истиною, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в этом-то более всего и состоит народность нашей литературы.

Литература наша началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, *натуральною*. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только чрез исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя; но это-то люди старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства, как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые ставит друг к другу автор созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением.

Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставив свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унижить названием натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь

ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще делаются выходки против него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют ее? Обвинений не много, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают *углы*, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новых писателей, обвинители с торжеством указывают на прекрасные времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитриева, избравших для своих сочинений предметы высокие и благородные. Мы же напомним им, что первая замечательная русская повесть была написана Карамзиным, и ее героиня была оболыщенная петиметром крестьянка — *бедная Лиза*... Но там, скажут они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступит самой благовоспитанной *барышне*. Вот мы и дошли до причины спора: тут виновата, как видите, старая пиитика. Она позволяет изображать, пожалуй, и мужиков, но не иначе, как одетых в театральные костюмы, обнаруживающих чувства и понятия, чуждые их быту, положению и образованию, и объясняющихся таким языком, которым никто не говорит, а тем более крестьяне. Старая пиитика позволяет изображать все, что вам угодно, но только предписывает при этом изображаемый предмет так украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ее урокам, поэт может пойти дальше прославленного Дмитриевым маляра Ефрема, который Архипа писал Сидором, а Луку — Кузьмою: он может снять с Архипа такой портрет, который не будет походить не только на Сидора, но и ни на что на свете, даже на комок земли. Натуральная школа следует совершенно противоположному правилу: возможно близкое сходство изображаемых ею лиц с их образцами в действительности не составляет в ней всего, но есть первое ее требование, без выполнения которого уже не может быть в сочинении ничего хорошего. Требование тяжелое, выполнимое только для таланта! Как же, после этого, не любить и не чтить старой пиитики тем писателям, которые когда-то умели и без таланта с успехом подвизаться на поприще поэзии? Как не считать им натуральной школы самым ужасным врагом своим, когда она ввела такую манеру писать, которая им недоступна? Это, конечно, относится только к людям, у которых в этот вопрос вмешалось самолюбие; но найдется много и таких, которые по искреннему убеждению не любят естественности в искусстве, вследствие влияния на них старой пиитики. Эти люди с особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначение. «Бывало, — говорят они, — поэзия поучала забавляя, заставляла читателя забывать о тягостях и страданиях жизни, представляла ему только картины приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли и картины бедности, но бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притом же, к концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек, и во имя милого или милой сердца водворяли довольство и счастье там, где были бедность и нужда, и благодарные слезы орошали благодетельную руку — и читатель невольно подносил свой батистовый платок к глазам и чувствовал, что он становится добрее и чувствительнее... «А теперь! посмотрите, что теперь пишут! мужики в лаптях и сермягах, часто от них несет сивухой, баба — род центавра, по одежде не вдруг узнаешь, какого это пола существо; *углы* — убежище нищеты, отчаяния и разврата, до которых надо доходить по двору, грязному по колени; какой-нибудь пьянюшка-подьячий или учитель из семинаристов, выгнанный из службы, — все это списывается с природы, в наготе страшной истины, так что если прочтешь — жди ночью тяжелых снов»... Так или почти так говорят маститые питомцы старой пиитики. В сущности их жалобы состоят в том, зачем поэзия перестала бесстыдно лгать, из детской сказки превратилась в быль, не всегда приятную, зачем отказалась она быть гремушкой, под которую детям приятно и прыгать и

засыпать... Странные люди, счастливые люди! им удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости быть несовершеннолетними, недорослями, — и вот они требуют, чтобы и все походили на них! Да читайте свои старые сказки — никто вам не мешает; а другим оставьте занятия, свойственные совершеннолетию. Вам ложь — нам истина; поделимся без спору, благо вам не нужно нашего пая, а мы даром не возьмем вашего... Но этому любовному разделу мешает другая причина — эгоизм, который считает себя добродетелью. В самом деле, представьте себе человека обеспеченного, может быть, богатого; он сейчас пообедал сладко, со вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах с чашкою кофе перед пылающим камином, тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает его веселым, — и вот берет он книгу, лениво переворачивает ее листы, — и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован... И есть от чего! книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он, что есть *углы*, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство, может быть, недавно еще знавшее довольство, — что есть на свете люди, рождением, судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет на зелено вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния... И нашему счастливцу неловко, как будто совестно своего комфорта... А все виновата скверная книга: он взял ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку... Прочь ее! «Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что в жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для того, чтобы забыть это!» — восклицает он. — Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный свой голод, стоны страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон... Представьте теперь в таком же положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок приближался, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч, что-то замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать; с сигарой в зубах, веселый и довольный, лежит он на диване и от нечего делать руки его лениво протягиваются к книге. Опять та же история! Проклятая книга рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, с детства привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям, женатого на отставной любовнице родителя своего барина. [И ему-то, незнакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов...] Скорее прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще в таком комфортном состоянии человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а лет под пятьдесят как-то очутился в чинах, имеет «малую толику». Все читают — надо и ему читать; но что находит он в книге? — свою биографию, да еще как верно рассказанную, хотя, кроме его самого, темные похождения его жизни — тайна для всех и ни одному *сочинителю* неоткуда было узнать их... И вот он уже не взволнован, а просто взбешен и с чувством достоинства облегчает свою досаду таким рассуждением: «Вот как пишут ныне! вот до чего дошло вольнодумство! Так ли писали прежде? Штиль ровный, гладкий, все о предметах нежных или возвышенных, читать сладко и обидеться нечем!»

Есть особенный род читателей, который [по чувству аристократизма] не любит встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона, не любит грязи и нищенств, по их противоположности с роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школе не иначе, как с высокомерным презрением, ироническою улыбкою... Кто они такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся «подлою чернью» [которая в их глазах ниже хорошей лошади?] Не спешите справляться о них в герольдических книгах или при дворах европейских: вы не найдете их гербов, они [не ездят ко двору, и] если видали большой свет, то не иначе, как с улицы, сквозь ярко освещенные окна, насколько позволяли сторы и занавески...

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» восклицают [аристократы известного разряда.] В их глазах писатель — ремесленник, которому как что закажут, так он и делает. Им и в голову не входит, что, в отношении к выбору предметов сочинения, писатель не может руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственным произволом, ибо

искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А чем объяснить, что один любит изображать предметы веселые, другой — мрачные, если не натурою, характером и талантом поэта? Кто что любит, чем интересуется, то и знает лучше, а что лучше знает, то лучше и изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов: оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают его с ремеслом. Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. [А разве мужик не человек?..] Божественное слово любви и братства не втуне огласило мир. То, что прежде было обязанностью только призванных лиц или добродетелью немногих избранных натур, — это самое делается теперь обязанностью обществ, служит признаком уже не одной добродетели, но и образованности частных лиц. Посмотрите, как в наш век везде заняты все участью низших классов, как частная благотворительность всюду переходит в общественную, как везде основываются хорошо организованные, богатые верными средствами общества для распространения просвещения в низших классах, для пособия нуждающимся и страждущим, для отвращения и предупреждения нищеты и ее неизбежного следствия — безнравственности и разврата. Это общее движение, столь благородное, столь человеческое, столь христианское, встретило своих порицателей в лице поклонников тупой и косной патриархальности. Они говорят, что тут действуют мода, увлечение, тщеславие, а не человеколюбие. Пусть так, да когда же и где же в лучших человеческих действиях не участвовали подобные мелкие побуждения? Но как же сказать, что только такие побуждения могут быть причиною таких явлений? Как думать, что главные виновники таких явлений, увлекающие своим примером толпу, не одушевлены более благородными и высокими побуждениями? Разумеется, нечего удивляться добродетели людей, которые бросаются в благотворительность не по чувству любви к ближнему, а из моды, из подражательности, из тщеславия; но это добродетель в отношении к обществу, которое исполнено такого духа, что и деятельность суетных людей умеет направлять к добру! Это ли не отрадное в высшей степени явление новейшей цивилизации, успехов ума, просвещения и образованности?

Могло ли не отразиться в литературе это новое общественное движение, — в литературе, которая всегда бывает выражением общества! В этом отношении литература сделала едва ли не больше: она скорее способствовала возбуждению в обществе такого направления, нежели только отразила его в себе, скорее упредила его, нежели только не отстала от него. Нечего говорить, достойна ли и благородна ли такая роль; но за нее-то и нападают на литературу иные. Мы думаем, что довольно показали, из каких источников выходят эти нападки и чего они стоят... («Соврем[енник]», 1848 г., т. VII «Русская литер[атура]», стр. 10–26).

После того Белинский оправдывает натуральную школу с эстетической точки зрения, развивая истинные понятия о сущности и значении искусства. Этот эпизод был уже представлен нами в приложении к седьмой главе «Очерков».

Мы привели в извлечении все важнейшие страницы общей части обоих последних годовых обозрений Белинского. Во второй половине того и другого обозрения, где дается оценка замечательнейших литературных явлений предшествовавшего года, особенного внимания заслуживает одна общая черта: ученые труды, преимущественно по русской истории, рассматриваются с такою же подробностью, как и беллетристические произведения. Этого прежде не было: об ученых книгах представлялись только краткие суждения. В самом деле, в последнее время деятельности Белинского одна отрасль нашей ученой литературы, именно разработка русской истории, благодаря трудам новой исторической школы (гг. Соловьев, Кавелин и др.), получила для общества важность, какой не имела прежде. С того времени это общее сочувствие к ученым вопросам постепенно возрастает, и мало-помалу наше общество начинает расширять круг своих умственных интересов. В последнее время мы даже видели, что журнал, вызывающий к себе внимание

публики преимущественно статьями ученого содержания, пользуется в публике вниманием не меньшим того, какое обращено на журналы, успех которых основан преимущественно на беллетристике и беллетристической критике. Пятнадцать, даже десять лет тому назад едва ли было бы возможно такое явление. Нет сомнения, что этот новый прогресс в умственной жизни нашей публики благотворным образом отразится и на развитии всей нашей литературы. Белинский предугадывал это, и вот причина того, что в последнее время он почел необходимым расширить горизонт своих годовых обзоров, обратив на труды по русской истории столько же внимания, как и на произведения изящной словесности. Если бы в настоящее время мы имели критиков, подобных ему, конечно, они увидели бы возможность и необходимость еще более расширить круг нашей критики.

Выписки наши из статей Белинского были многочисленны и обширны. Легко было бы заменить их изложением их содержания; но читатель, вероятно, одобряет тот метод, которому мы следовали. Наши статьи имели целью не только историческое изложение различных направлений русской критики: мы хотели также указать на основания, от которых не должна уклоняться современная критика, если не хочет впасть в бессилие, мелочность, пустоту. Справедливые понятия об этом были высказываемы у нас Белинским, и на его критику до сих пор надобно смотреть не только как на замечательное историческое явление, но также и как на руководительный пример. Наши собственные слова не имели бы того авторитета, какой имеют его слова. Кроме того, если бы мы не приводили его мнений его собственными словами, иным, быть может, вздумалось бы говорить, что мы приписываем Белинскому мнения, которых он не имел: мы уже говорили, что память у многих из нас очень коротка. Выписки из Белинского предупреждают возможность такого сомнения и придают мыслям, которые должны быть считаемы справедливыми, авторитет, который немногие решатся отвергать.

Два важные принципа особенно должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях: понятие об отношениях литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие. Оба эти принципа были выставлены Белинским, как важнейшие основания нашей критики, разъясняемы со всею силою его диалектики и постоянно применяемы им к делу, успех которого и зависел в значительной степени от их соблюдения. С того времени, как писал Белинский, развитие наше не сделало еще столь значительных успехов, чтобы его мысли потеряли прямое отношение к нашему настоящему, и кто заботится об истине, по необходимости до сих пор держится литературных воззрений, представителем которых был он в нашей критике.

Во всех отраслях человеческой деятельности только те направления достигают блестящего развития, которые находятся в живой связи с потребностями общества. То, что не имеет корней в почве жизни, остается вяло и бледно, не только не приобретает исторического значения, но и само по себе, без отношения к действию на общество, бывает ничтожно. Когда дело идет о стремлениях и фактах, принадлежащих к сферам материальной, научной и общественной жизни, эта истина признается бесспорно всеми. Когда дело идет о живописи, скульптуре, архитектуре, также ни один сколько-нибудь сведущий человек не будет спорить против мысли, что каждое из этих искусств достигало блестящего развития только тогда, когда это развитие условливалось общими требованиями эпохи. Скульптура процветала у греков только потому, что была выражением господствующей черты в их жизни, — выражением страстного поклонения красоте форм человеческого тела. Готическая архитектура создала дивные памятники только потому, что была служительницею и выразительницею средневековых стремлений. Итальянская школа живописи произвела дивные картины только потому, что была выразительницею стремлений общества в том веке и в той стране, служила духу века, состоявшему в слиянии классического поклонения красоте человеческого тела с заоблачными стремлениями средних веков.

Странным исключением из общего закона была бы литература, если бы могла производить что-нибудь замечательное, отрешаясь от жизни. Но мы уже говорили в одной из

прежних статей, что таких случаев никогда и не бывало. Каким же образом может находить себе защитников так называемая теория «чистого искусства» (искусства небывалого и невозможного), требующая от литературы, чтобы она исключительно заботилась только о форме? Тут все основано на том, что приверженцы так называемого чистого искусства сами не замечают истинного смысла своих желаний или хотят вводить других в заблуждение, говоря о чистом искусстве, которого никто не знает и никто, ни сами они, не желает. Не останавливаясь на общей фразе, которою заведомо или без ведома для самих себя прикрывают они свои истинные желания, надобно ближе всмотреться в факты, свидетельствующие о их стремлениях, надобно посмотреть, в каком духе сами они пишут и в каком духе написаны произведения, одобряемые ими, и мы увидим, что они заботятся вовсе не о чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение. Дело в том, что есть люди, для которых общественные интересы не существуют, которым известны только личные наслаждения и огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом. Для этих изящных эпикурейцев жизнь ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзией Анакреона и Горация: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины, — больше не нужно для них ничего. Само собою разумеется, что для таких темпераментов равно скучны все предметы, выходящие из круга эпикурейских идей; они хотели бы, чтобы и литература ограничивалась содержанием, которым ограничивается их собственная жизнь. Но прямо выразить такое желание значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытия служат им фразы о чистом искусстве, независимом, будто бы, от интересов жизни. Но, скажите, разве хороший стол, женщины и приятная беседа о женщинах не принадлежат к житейским фактам наравне с нищетою и пороком, злоупотреблениями и благородными стремлениями? Разве поэзия, если бы решилась ограничиться застольными песнями и эротическими беседами, не была бы все-таки выразительницею известного направления в жизни, служительницею известных идей? Она говорила бы нам: «пойте и любите, наслаждайтесь и забавляйтесь, не думая ни о чем больше»; она была бы проповедницею эпикуреизма, а эпикуреизм точно так же философская система, как стоицизм и платонизм, как идеализм и материализм, и проповедывать эпикуреизм значит просто-напросто быть проповедником эпикуреизма, а не служителем чистого искусства.

Итак, вот к чему сводится вопрос о так называемом чистом искусстве: не к тому, должна или не должна литература быть служительницею жизни, распространительницею идей, — она не может ни в каком случае отказаться от этой роли, лежащей в самом существе ее, — нет, вопрос сводится просто к тому: должна ли литература ограничиваться эпикурейскою тенденцией), забывая обо всем, кроме хорошего стола, женщин и беседы на аттический манер с миртовыми венками на головах собеседников и собеседниц?⁵⁶ Ответ, кажется, не может быть затруднителен. Ограничивать литературу изящным эпикуреизмом значит до нелепости стеснять ее границы, впадать в самую узкую односторонность и нетерпимость. Нет нужды на односторонность отвечать другою односторонностью; за остракизм, которому защитники так называемого чистого искусства хотели бы подвергнуть все другие идеи и направления литературы, кроме эпикурейского, нет нужды платить остракизмом, обращенным против эпикурейской тенденции, хотя она скорее всякой другой тенденции заслуживала бы осуждения, как нечто праздное и пошловатое. Нет, избегая всяких односторонностей, скажем, что эпикурейское настроение духа, существуя в жизни, имеет право выражаться и в литературе, которая должна обнимать собою всю жизнь. Но справедливость требует сказать, что вообще эпикуреизм может играть важную роль в жизни только немногих людей, расположенных к нему по натуре и обставленным в жизни

⁵⁶ Само собою разумеется, мы здесь говорим только о том, какой смысл имеет теория чистого искусства в наше время. Здесь нас занимает настоящее, а не давно минувшее.

исключительно благоприятными обстоятельствами; потому и в литературе эпикурейское направление может приходиться по вкусу только немногим счастливым празднотлюбцам, а для огромного большинства людей такая тенденция всегда казалась и будет казаться безвкусна или даже решительно противна. Если же речь переходит к настоящему времени, то надобно заметить, что оно решительно неблагоприятно для эпикуреизма, как время разумного движения [и борьбы], а не праздного застоя, и так как эпикуреизм в жизни для нашего времени есть занятие холодно-эгоистическое, следовательно, вовсе не поэтическое, то и в литературе эпикурейское направление нашего времени, по необходимости, запечатлевается холодною мертвенностью. Поэзия есть жизнь, действие, [борьба], страсть; эпикуреизм в наше время возможен только для людей бездейственных, чуждых исторической жизни, потому в эпикуреизме нашего времени очень мало поэзии. И если справедливо, что живая связь с разумными требованиями эпохи дает энергию и успех всякой деятельности человека, то эпикуреизм нашего времени не может создать в поэзии ровно ничего сколько-нибудь замечательного. Действительно, все произведения, написанные нашими современниками в этой тенденции, совершенно ничтожны в художественном отношении: они холодны, натянуты, бесцветны и риторичны.

Литература не может не быть служительницей того или другого направления идей: это назначение, лежащее в ее натуре, — назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться. Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто должностующее быть чуждым житейских дел, обманываются или притворяются: слова «искусство должно быть независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу. Мы видели, чего хотят защитники теории чистого искусства в наше время, и едва ли можно думать, чтобы их слова могли иметь какое-нибудь влияние на литературу, как скоро смысл этих слов открыт. Нашему времени нет никакой охоты для эпикуреизма забыть обо всем остальном, и литература никак не может подчиниться этому узкому и мелкому направлению, чуждому здоровым стремлениям века.

[Как и всякая другая достойная внимания умственная или нравственная деятельность, литература по самой натуре не может не быть служительницей стремлений века, не может не быть выразительницей его идей. Вопрос состоит только в том, каким идеям должна служить она, — таким ли, которые, не имея важного места в жизни века, сообщат и литературе, ими ограничивающейся, характер пустоты, празднословия, или тем идеям, которыми движется век. Ответ на это нимало не затруднителен: только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоящим потребностям эпохи. У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления. Жизнь и славу нашего времени составляют два стремления, тесно связанные между собою и служащие дополнением одно другому: гуманность и забота об улучшении человеческой жизни. К этим двум основным идеям примыкают, от них получают свою силу все остальные частные стремления, свойственные людям нашего века: вопрос о народности, вопрос о просвещении, государственные, юридические стремления оживляются этими идеями, решаются на основании их, вообще интересуют собою современного человека только по мере связи их с тенденцией к гуманности и улучшению человеческой жизни. Даже отдельные науки приобретают или теряют свою относительную важность по мере того, в какой степени служат они господствующим потребностям века. То же самое замечаем в судьбе искусств: если живопись ныне находится вообще в довольно жалком положении, главною причиною тому надобно считать отчуждение этого искусства от современных стремлений. Другие искусства более или менее подверглись той же участи, как живопись, и по той же самой причине. Из всех искусств одна только литература сохраняет свое могущество и свое достоинство, потому что одна она поняла необходимость освежать свои силы живыми вдохновениями века. В самом деле, все те люди, которыми гордится новая европейская

литература, — все без исключения вдохновляются стремлениями, которые движут жизнью нашей эпохи. Произведения Беранже, Жорж Санда, Гейне, Диккенса, Теккерея внушены идеями гуманности и улучшения человеческой участи. А те таланты, деятельность которых не проникнута этими стремлениями, или остались безвестны, или приобрели известность вовсе не выгодную, не создав ничего заслуживающего славы. Теперь, например, почти каждому читателю покажется нелепостью, если кто вздумал бы признавать великий талант в каком-нибудь Александре Дюма (старшем). «Это пустой болтун; романы его нелепы и ничтожны во всех отношениях и преимущественно в художественном отношении», скажет каждый. А между тем, этот писатель без сомнения наделен от природы очень большим талантом, — но талант этот остался чужд стремлениям века, — и результатом было ничтожество его произведений.]

Нельзя насильно дать себе одушевления тем, что не возбуждает одушевления в нашей натуре. Или врожденные качества темперамента, или опыт жизни, размышление и наука, а не произвольное напряжение фантазии приводят человека к живому сочувствию всякой доброй, здоровой и благородной идее. Есть люди, неспособные искренно одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг них: для таких писателей бесполезно было бы накладывать на себя маску патетического одушевления современными вопросами, — пусть они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае. Но те писатели, в которых природа или жизнь соединила с талантом живое сердце, — те писатели должны дорожить в себе этим прекрасным сочетанием таланта с мыслью, дающею силу и смысл таланту, дающею жизнь и красоту его произведениям. Они должны сознавать, что их благородное сердце, их просвещенный ум ведут их по прямой, по единственной дороге к славе, внушая им потребность действовать на пользу исторического развития, быть служителями идей гуманности и улучшения человеческой жизни.

Это равно относится к литературе каждой страны, от Испании до России, от Швеции до Италии. Но кроме общих условий, зависящих от самой природы предмета, для литературной деятельности каждого народа есть свои частные условия, зависящие от особенных обстоятельств народной жизни.

[В странах, где умственная и общественная жизнь достигла высокого развития, существует, если можно так выразиться, разделение труда между разными отраслями умственной деятельности, из которых у нас известна только одна — литература. Потому как бы ни стали мы судить о нашей литературе по сравнению с иноземными литературами, но в нашем умственном движении играет она более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская литература в умственном движении своих народов, и на ней лежит более обязанностей, нежели на какой бы то ни было другой литературе. Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности. В Германии, например, повесть пишется почти исключительно для той публики, которая не способна читать ничего, кроме повестей, — для так называемой «романной публики». У нас не то: повесть читается и теми людьми, которые в Германии никогда не читают повестей, находя для себя более питательное чтение в различных специальных трактатах о жизни современного общества. У нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературами более просвещенных народов. То, о чем говорит Диккенс, в Англии, кроме его и других беллетристов, говорят философы, юристы, публицисты, экономисты и т. д., и т. д. У нас, кроме беллетристов, никто не говорит о предметах, составляющих содержание их рассказов. Потому если бы Диккенс и мог не чувствовать на себе, как беллетристе, прямой обязанности быть выразителем стремлений века, так как не в одной беллетристике могут они находить себе выражение, — то у нас беллетристу не было бы такого оправдания. А если Диккенс или Теккерей все-таки считают прямою обязанностью беллетристики касаться всех вопросов, занимающих общество, то

наши беллетристы и поэты должны еще в тысячу раз сильнее чувствовать эту свою обязанность. Лермонтов жалеет о тех временах, когда поэт был необходим народу во всех важных делах жизни:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Ты нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И отзыв мыслей благородных
Звучал как колокол на башне вековой
Среди торжеств и бед народных.

Для нас это время еще не прошло. Быть может, Англии легко было бы обойтись без Диккенса и Теккерея, но мы не знаем, как могла бы Россия обойтись без Гоголя. Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто кроме поэта говорил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто кроме романиста говорил России о том, что слышала она от Гоголя?

Это как мы выразились, энциклопедическое значение русской литературы имеет своим следствием то оригинальное состояние, в котором находится она относительно условий своего развития.]

В Германии, Англии, Франции, где умственная жизнь развилась уже на множество отдельных самостоятельных отраслей, дальнейшие успехи каждой умственной деятельности зависят преимущественно от появления гениальных людей. В Германии, например, ныне нет беллетристов, подобных Диккенсу и Теккерю, и в этом состоит единственная причина жалкого состояния немецкой беллетристики, которое и продлится до той поры, пока явятся гениальные писатели. Условия, от которых зависит дальнейшее развитие русской литературы, совершенно не таковы. Они лежат в публике. Литература может вызывать публику к умственной деятельности, но не может ни заменить собою публику, ни существовать без поддержки со стороны публики. Мы говорим не о материальной поддержке (хотя и в этом отношении русская литература находится в положении вовсе неудовлетворительном: в пятнадцать лет вышли только два издания Пушкина, и оба издания вместе не составляют и 10 000 экземпляров), но о нравственной поддержке, которая гораздо важнее и, к сожалению, до сих пор еще очень слаба, чтобы не сказать: совершенно ничтожна. Помещались стихи в журналах — публика читала стихи, находила, что книжка журнала без стихов как-то не полна; вдруг журналы стали являться без стихов — публика ничего не сказала против этого; потом опять появились в журналах стихи — публика нашла, что, действительно, журнал выигрывает, помещая стихотворения. — Теперь пишутся романы из простонародного быта — публика находит это направление полезным. Прекрасно. Но пусть перестанут писаться романы из простонародного быта, что скажет публика? — Теперь публика более всего интересуется русскими повестями. Превосходный роман Теккерея не читается с такою жадностью, как посредственная русская повесть; а когда является повесть действительно хорошая, восторг публики беспредельно. Но если бы вдруг перестали писаться русские повести, как вы думаете, что сказала бы русская публика?

[Пожалела бы втихомолку, и ничего не сказала бы вслух. В самом деле, ведь можно жить не только без повестей, но и без литературы, — и не только без литературы, но и без хлеба, не правда ли? Лебеда и дубовая корка не лишены ни вкуса, ни питательности.

Это не должно так продолжаться. Скромность и молчаливость, конечно, хорошие качества, но во всем вредно излишество, вредна и в литературных делах излишняя скромность со стороны публики. «Дали нам — мы очень рады и благодарны; не дают нам — что ж делать?» Как «что делать»? Должно требовать. Власть публики в литературных делах всеильна. Чего хочет публика, тем и бывает литература. Но желание должно же быть выражаемо, — иначе, как узнать его? Кто молчит, о том предполагают, что он ничего не

хочет. Желание должно быть выражаемо сильно, неотступно — только неотступному желанию нельзя не повиноваться, а когда оно выражается слабо, робко, кому нужна обращать внимание? Когда литература или не достигает своего истинного значения, или уклоняется от него, в том всегда бывает виновна только публика, не кто другой. Общество не имеет права слагать с себя ответственность за недостатки, от которых терпит. Ведь ему нужно только выразить твердую, непреклонную волю, чтобы устранить всякий недостаток. Не говорите, что нет талантов — таланты есть, но что ж будут они делать, не находя нравственной поддержки в публике? А если бы и казалось вам, что нужны более многочисленные или более блестящие таланты для возвышения литературы, и за ними не будет остановки. Ведь дело известное, что в гениальных людях никогда не бывало еще недостатка, если только было открытое поприще для деятельности этим людям. Не говорите и того, что критика дурно исполняет свое дело — в этом опять кто же виноват, если не вы, составляющие публику? Ведь критика должна опираться на публику и совершенно зависит от настойчивости ее требований. Если вы не требуете неотступно, чтобы критика исполняла свое дело как должно, то какое же основание имеете вы ожидать от нее чего-нибудь?

Публика должна сознать свои права на литературу, и тогда литература неуклонно пойдет вперед. Без того все успехи литературы случайны и непрочны.]

Нельзя упрекать нашу публику в отсутствии сочувствия к литературе; нельзя упрекать ее и в неразвитости вкуса. Напротив, от особенного положения нашей литературы, составляющей самую живую сторону нашей духовной деятельности, и от состава нашей публики, к которой принадлежат все наиболее развитые люди, в других странах мало интересующиеся беллетристикою и поэзией, — от этих особенностей происходит то, что ни одна в мире литература не возбуждает в образованной части своего народа такой горячей симпатии к себе, как русская литература в русской публике, и едва ли какая-нибудь публика так здраво и верно судит о достоинстве литературных произведений, как русская. Сам Байрон не был для англичанина предметом такой гордости, такой любви, как для нас Пушкин. Издание сочинений Байрона не было для англичанина национальное дело, каким недавно были для нас издания Пушкина и Гоголя. Вот вам факты относительно сочувствия публики; а за развитость ее вкуса ручаются тысячи случаев. Не говорим об оценке публикою наших собственных писателей, которая вообще очень справедлива. Но какую замечательную здравость вкуса обнаруживает постоянно наша публика и в оценке иностранных писателей! Французы восхищаются до сих пор Виктором Гюго и Ламартином — кто у нас разделяет эту ошибку? Англичане до сих пор ставят Бульвера наравне с Диккенсом и Теккереем — у нас кто не видит разницы между этими писателями? Нечего нам гордиться таким превосходством: оно происходит единственно оттого, что у нас занимается чисто литературными вопросами та часть общества, которая в Англии и Франции уже не хочет удостоивать своим вниманием этих, как там кажется, мелочей. Но как бы то ни было, от чего бы то ни происходило, не подлежит сомнению, что наша публика обладает, в нынешнем своем составе, двумя драгоценнейшими для развития литературы качествами: горячим сочувствием к литературе и замечательно верным взглядом на нее. Недостаёт нашей публике только одного: сознания [своих прав на литературу, а от этого-то и зависит весь успех дела. Хорошо идет литература — публика в восторге; дурно идет литература — публика молчит.

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Да помилуйте, ведь нам уже чуть ли не полтора столетия, по счету поклонников реформы Петра Великого, а по счету славянофилов чуть ли не две тысячи лет, — долго ли же нам еще скромничать?

Оставляя литературу без нравственной поддержки, на произвол случайных обстоятельств, публика не имеет права удивляться ее колебаниям. Общественное мнение должно было бы управлять литературою, неотступно требуя, чтобы она была его

выразительницею; но общественное мнение молчит или много-много если шепчет какие-то невнятные речи, — очень натурально, что литература зависит от каприза случайностей, подчиняется влиянию предрассудков, не имея твердой опоры. Публика мало знает о закулисном положении нашей литературы; положение это, по правде признаться, не может возбуждать другого чувства, кроме сострадания. Мы говорим не об интригах самолюбий и мелочных расчетов, не о котериях и личных враждах, — все это общая принадлежность каждого человеческого дела, все это может возвышать или унижать только второстепенных, незначительных людей и остается без влияния на деятельность истинно замечательных талантов, возвышающихся над этими дрязгами: при том же, эти дрязги довольно известны публике, — можно сказать, только они одни из всех закулисных обстоятельств литературы и известны публике. Но есть отношения и обстоятельства гораздо более важные, о которых публика не имеет предчувствия, которые тяготеют над всеми без исключения талантами, и особенно над более замечательными талантами, и которые могут быть — и как легко могут быть! — отвращены только более живым влиянием общественного мнения на литературу. Чтобы публика могла знать, какого рода эти обстоятельства, укажем только два-три обстоятельства из этих закулисных отношений, — обстоятельства еще очень маловажные и невинные сравнительно с другими.

Знает ли, например, наша публика о том, какие знаменитости, какие авторитеты признаются почти единогласно в литературном кругу? Читатель захохотал бы, если бы ему назвать имена этих знаменитостей, которых публика давно оценила по достоинству, признав их писателями бездарными или пустыми. Но мы не будем называть их — литературное жеманство так вошло в наши нравы, что невозможно и подумать без страха о такой дерзости, — нет сомнения, что и те робкие и общие указания, которые мы позволяем себе, уже покажутся в литературе нашей ужасною дерзостью. Скажем только, что публика ошибается, думая, что в литературном мире наиболее уважаются те имена, которые наиболее уважаются в публике, — как можно? у нас есть великие поэты, замечательные беллетристы, всеми уважаемые критики, над стихотворениями, повестями, статьями которых публика давно смеется или дремлет. Они свысока третируют тех, которые высоко стоят во мнении публики, и эти люди слушают их советов, восхищаются их произведениями, чуть не считают себя мелкими людьми сравнительно с ними, великими писателями. О, если бы публика знала, каким авторитетам поклоняется литературный мир!

Даровитый поэт пишет пьесы, на которых не видно следа пошлой рутины; даровитый беллетрист написал повесть, уклоняющуюся от пошлой рутины, — публика придет в восторг от этих произведений, а знаете ли, каково бывает мнение литературного мира о них? Они осуждаются почти всеми авторитетами этого мира. Печатно это осуждение не выскажется, — ведь мы умеем быть скромными и всем говорить печатные комплименты, — но сколько словесных осуждений, сколько словесных мудрых замечаний выслушает от нас писатель, осмелившийся быть оригинальным! Когда-то мы припомнили читателям курьезный случай: один знаменитый критик и поэт доброго старого времени отказался поместить в своем журнале повесть Гоголя и не хотел говорить о «Ревизоре», опасаясь унизить свое достоинство рассуждением о таком глупом фарсе, — подобные суждения каждый день совершаются в литературном мире. Рутинка господствует в нем. И поверьте, если истинно замечательные писатели пользуются каким-нибудь уважением в литературном мире, то вовсе не по доброй воле наших авторитетов, а вопреки их желанию и убеждению: только смутные отголоски общественного мнения склоняют этих авторитетов на некоторые уступки в пользу таланта и оригинальности: без того владычество посредственности и тривиальности было бы безгранично. Знаете ли вы, что сам Гоголь до сих пор еще не признан в литературном мире за великого писателя? Если бы это было можно, его с удовольствием втоптали бы в грязь, и нынешние печатные похвалы ему почти всегда только невольная уступка общественному мнению.

«Это невероятно», — скажет читатель. Что и говорить, разумеется, невероятно. «Какое жалкое состояние литературных мнений!» — прибавит читатель, — разумеется, жалко было

бы оно, если б существовали даже одни те причины к сожалению, которые указаны нами. Но высказанное нами маловажно сравнительно с тем, о чем мы скромно молчим, подражая скромности общества. Да, читатель, положение нашей литературы способно возбудить сожаление в самом апатическом человеке.

Не торопитесь же осуждать русского писателя: о, если б вы знали, как неблагоприятны для развития его таланта обстоятельства и отношения, в которых он действует, вы подивились бы не бессилию, а силе его; вы подивились бы не тому, что он идет медленным и колеблющимся шагом, а тому, что он еще хотя как-нибудь идет. Не торопитесь осуждать русского писателя за недостатки его произведений, читатель: осуждайте за них себя. Вы виновны в жалком положении русской литературы: от вас она ждет и все еще не может дожждаться нравственной поддержки. Ведь литература бывает сильна только тогда, когда опирается на публику, — а наша публика оставляет ее на произвол судьбы. От вас, читатель, зависит развитие русской литературы: выразите непреклонную волю вашу, чтобы она развивалась, и только тогда будет она иметь возможность развиваться.]

* * *

Девять лет, прошедшие после смерти Белинского, были бесплодные для истории критики, и мы останавливаемся на обозрении деятельности Белинского, потому что нечего больше сказать о русской критике, лучшим и современным выражением которой остаются до сих пор его статьи. Но словесность наша не совершенно бездействовала в это время. Напротив, поэты и беллетристы, образовавшиеся в школе Белинского или действующие в духе, представительницею которого была его критика, достигли первенства в нашей литературе только уже в последние годы его жизни или после его смерти. В критике не нашлось людей, способных продолжать начатое им; но словесность, как могла, продолжала развиваться в направлении, на которое указывал он. В те годы писатели нового направления еще только завоевывали себе прочное положение в литературе; теперь они решительно господствуют в ней. Если обстоятельства позволят нам исполнить во всем размере план, по которому начаты наши «Очерки» и первая часть которого — обозрение критики — нами кончена, то мы должны будем обозревать, во второй части нашего труда, деятельность русских поэтов и беллетристов, начиная с Гоголя до настоящего времени. Отдельные издания произведений некоторых из этих писателей доставляют нам случай определить их значение для литературы в отдельных статьях, которые, однако ж, будут иметь непосредственное отношение к общей системе наших «Очерков».

Стихотворения Кольцова

Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским. Москва. 1856 г.

К числу утешительных литературных событий, которыми богато последнее время, принадлежит и новое издание «Стихотворений Кольцова» с портретом автора... и проч.».

Оно перепечатано с прежнего без всяких прибавлений или опущений.

Что нового можем сказать мы о Кольцове? Жизнь его превосходно рассказана в предисловии, которое написано его другом; она дивно рассказана и самим Кольцовым в пьесе «Расчет с жизнью», посвященной этому другу, В. Г. Белинскому:

Жизнь, зачем ты собой
Обольщаешь меня?
Почти век я прожил,
Никого не любя.

В душе страсти огонь
Разгорался не раз;
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.

Моя юность цвела
Под туманом густым, —
И что ждало меня,
Я не видел за ним.

Только тешилась мной
Злая ведьма-судьба;
Только силу мою
Сокрушила борьба;

Только зимней порой
Меня холод знобил;
Только волос седой
Мои кудри развил;

Да румянец лица
Печаль рано сожгла,
Да морщины на нем
Ядом слез провела.

Жизнь! Зачем же собой
Обольщаешь меня?
Если б силу бог дал,
Я разбил бы тебя!

В биографии недостает подробностей о последних месяцах жизни Кольцова, проведенных в Воронеже. Обязанность пополнить этот пробел в биографии и вообще сообщить нам подробнейшие воспоминания о жизни Кольцова лежит на его воронежских друзьях. Из них назовем бывшего воспитанника Московского университета А. И. Малышева, сына того доктора, который лечил Кольцова во время его болезни, ухаживал за ним, как за своим сыном.

Или мы должны представить характеристику произведений Кольцова, оценку его произведения? Это опять уже сделано Белинским, и напрасно было бы желание сказать что-нибудь более полное и верное. Мы не можем сделать ничего лучшего, как представить несколько отрывков из его превосходной статьи.

Кольцов родился для поэзии, которую он создал. Он был сыном народа в полном значении этого слова. Быт, среди которого он воспитался и вырос, был тот же крестьянский быт, хотя несколько и выше его. Кольцов вырос среди степей и мужиков. Он не для фразы, не для красного словца, не воображением, не мечтою, а душою, сердцем, кровью любил русскую природу и все хорошее и прекрасное, что, как зародыш, как возможность, живет в натуре русского селянина. Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях. Он *знал его* быт, его нужды, горе и радость, прозу и поэзию его жизни, — знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому, что сам, и по своей натуре, и по своему положению, был вполне русский человек. Он носил в себе все элементы русского духа, в особенности — страшную силу в страдании, и в наслаждении, способность бешено предаваться и печали, и веселию, и, вместо того, чтобы

падать под бременем самого отчаяния, способность находить в нем какое-то буйное, удалое, размашистое упоение, а если уже пасть, то спокойно, с полным сознанием своего падения, не прибегая к ложным утешениям, не ища спасения в том, чего не нужно было ему в его лучшие дни. В одной из своих песен он жалуется, что у него нет воли,

Чтоб в чужой стороне
На людей поглядеть;
Чтоб порой пред бедой
За себя постоять;
Под грозой роковой
Назад шагу не дать,
И чтоб с горем в пиру
Быть с веселым лицом;
На погибель итти —
Песни петь соловьем.

Нет, в том не могло не быть такой воли, кто в столь мощных образах мог выразить тоску по такой воле...

Нельзя было теснее слить своей жизни с жизнью народа, как это само собою сделалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спелым колосом, и на чужую ниву смотрел он с любовью крестьянина, который смотрит на свое поле, орошенное его собственным потом. Кольцов не был земледельцем; но урожай был для него светлым праздником: прочтите его «Песню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствия к крестьянскому быту в его «Крестьянской пирушке» и в песне:

Что ты спишь, мужичок!
Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит:
Вслед за нею зима
В теплой шубе идет.
Путь снежком порошит.
Под санями хрустит.
Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют!

Кольцов знал и любил крестьянский быт так, как он есть на самом деле, не украшая и не поэтизируя его. Поэзию этого быта нашел он в самом этом быте, а не в риторике, не в пиитике, не в мечте, даже не в фантазии своей, которая давала ему только образы для выражения уже данного ему действительностью содержания. И потому в его песни смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи, — и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии. Любовь играет в его песнях большую, но далеко не исключительную роль: нет, в них вошли и другие, может быть, еще более общие элементы, из которых слагается русский простонародный быт. Мотив многих его песен составляет то нужда и бедность, то борьба из-за копейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачеху. В одной песне крестьянин садится за стол, чтобы подумать, как ему жить одинокому; в другой выражено раздумье крестьянина, на что ему решиться — жить ли в чужих людях, или дома браниться с стариком-отцом, рассказывать ребятишкам сказки, богатеть, стереться. Так, говорит он, хоть оно и не тово, но уж так бы и быть, да кто пойдет за нищего? «Где избыток мой зарыт лежит?» И это раздумье разрешается в саркастическую

русскую иронию:

Куда глянешь — всюду наша степь;
На горах — леса, сады, дома;
На дне моря — груды золота;
Облака идут — наряд несут!..

Но если где идет дело о горе и отчаянии русского человека, там поэзия Кольцова доходит до высокого, там обнаруживает она страшную силу выражения, поразительное могущество образов.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучит душу мука смертная,
Вон из тела душа просится.

И какая же вместе с тем сила духа и воли в самом отчаянии:

В ночь, под бурей, я коня седлал.
Без дороги в путь отправился —
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться...

И после этой песни, «Измена суженой», прочтите песню: «Ах, зачем меня» — какая разница! Там буря отчаяния сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здесь грустное воркование горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нежной женской души, осужденной на безвыходное страдание...

Когда форма есть выражение содержания, она связана с ним так тесно, что отделить ее от содержания значит уничтожить самое содержание; и наоборот: отделить содержание от формы значит уничтожить форму. Эта живая связь, или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи с формой и формы с идеею бывает достоянием только одной гениальности. Простой талант всегда опирается или преимущественно на содержание, и тогда его произведения недолговечны со стороны формы, или преимущественно блистает формой, и тогда его произведения эфемерны со стороны содержания; но главное, и в том и в другом случае, богатые мыслию или щеголяющие внешнею красотою, они лишены оригинальности формы, свидетельствующей о самобытности мысли. Здесь-то всего яснее и открывается, что обыкновенный талант основан на способности подражания, на способности увлечения образцами, — и в *этом заключается причина* недолговечности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство гениальности, есть черта, которая отделяет гениальность от простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателя в языке поэта, не должна быть искусственною или изысканною: тогда она увлекает только на минуту и потом тем более делается предметом осмеяния и презрения, чем больше сперва имела успеха. Поэт должен быть оригинален, сам не зная, как, и если должен о чем-нибудь заботиться, так это не об оригинальности, а об истине выражения: оригинальность придет сама собой, если в таланте его есть гениальность. Истинная оригинальность в изобретении, а следовательно и в форме, возможна только при верности действительности и истине.

Кольцов никогда не проговаривается против народности, ни в чувстве, ни в выражении. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадает в сантиментальность, даже и там, где оно становится нежным и трогательным. В выражении он также верен русскому духу. Даже в слабых его песнях никогда не найдется фальшивого русского выражения; но лучшие его песни представляют собою изумительное богатство самых роскошных, самых

оригинальных образов в высшей степени русской поэзии. С этой стороны, язык его столько же удивителен, сколько и неподражаем. Где, у кого, кроме Кольцова, найдете вы такие обороты, выражения и образы, какими, например, усыпаны, так сказать, две песни Лихача-Кудрявича? У кого, кроме Кольцова, можно встретить такие стихи:

Грудь белая волнуется,
Что реченька глубокая —
Песку со дна не выкинет.
В лице огонь, в глазах туман...
Сверкает степь, горит заря...

* * *

На гумне — ни снопа,
В закромах — ни зерна,
На дворе, по траве,
Хоть шаром покати.

* * *

Из клетей домовой
Сор метлою посмел
И лошадок, за долг,
По соседям развел.

* * *

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

* * *

Не держи ж, пусти, дай волюшку,
Там опять мне жить, где хочется,
Без таланта — где таланится,
Молодым кудрям счастливится?

* * *

Отчего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Мы не выбирали этих отрывков, но брали, что прежде попадалось на глаза.

Выписывать все хорошее значило бы большую часть пьес Кольцова в одной и той же книге напечатать вдвойне.

Мы не говорим уже о неподражаемом превосходстве собственно лирических песен — талант Кольцова был по преимуществу лирический; но не можем не указать на повествовательный характер пьес: «Измена суженой», «Деревенская беда», «Бегство», обе песни Лихача-Кудрявича и на страстно-драматический характер пьес: «Хуторок» и «Ночь».

Из написанного о Кольцове заметим еще статью покойного В. Майкова (брат поэта), помещенную в двух последних книжках «Отечественных записок» за 1846 год. Она направлена, по-видимому, против статьи Белинского, но в сущности представляет развитие мыслей, высказанных Белинским, и некоторые места в ней прекрасны.

Вообще, скажем мы, по энергии лиризма с Кольцовым из наших поэтов равняется только Лермонтов; по совершенной самобытности Кольцов может быть сравнен только с Гоголем.

Чернышевский Николай Гаврилович

Стихотворения Н. Огарева

[Lib.ru/Классика:](#) [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]

[Оставить комментарий Чернышевский Николай Гаврилович \(yes@lib.ru\)](#) Год: 1856
Обновлено: 27/01/2009. 20к. [Статистика.Статья: КритикаЛитературная критика](#)

Top of Form

Оценка: **8.00*3** Ваша оценка: шедеврзамечательноочень хорошохорошонормальноНе читалтерпимопосредственноплохоочень плохоне читать

Bottom of Form

Н. Г. Чернышевский

Стихотворения Н. Огарева

Господин Огарев никогда не пользовался шумною популярностью. Правда, критика всегда с почетом говорила о нем, когда ей приводилось перечислять «лучших наших поэтов в настоящее время»; правда, публика всегда уважала талант господина Огарева, и ей даже полюбились некоторые из стихотворений, подписанных его именем, — кто не помнит прекрасных пьес: «Старый дом», «Кабак», «Nocturno», «Младенец» (*Сидела мать у колыбели*), «Обыкновенная повесть» (*Была чудесная весна*), «Еще любви безумно сердце просит», «Старик, как прежде, в час привычный», «Проклясть бы мог свою судьбу», и многих других? Так; но, тем не менее, публика наша, еще в такой свежести сохранившая наивную готовность увлекаться, не увлекалась поэзией г. Огарева, и наша критика, в последние годы творившая себе столько кумиров, не рассыпалась перед г. Огаревым в тех непомерных панегириках, на которые бывала она так щедра в последние годы. Произведения г. Огарева не делали шуму. Ему всегда принадлежало только тихое сочувствие, да и то не слишком многочисленной части публики.

Нет вероятности, чтобы даже и теперь, когда стихотворения его, до сих пор остававшиеся рассеянными по журналам, собраны в одну книгу, положение его в современной литературе изменилось. Без сомнения, все журналы похвалят его, — но умеренно; публика будет читать его книгу — также умеренно. Все скажут: «хорошо»; никто не выразит восторга. Поэт не будет ни огорчен, ни удивлен. Он и не требует себе шумной славы: он писал не для нее, не рассчитывал на нее, быть может, и не думал, что имеет права на нее.

Поэт может быть доволен. Но мы, — мы не хотим быть довольны за него этою полуизвестностью, этим одобрением без горячего чувства, этим почетом без лаврового

венка. Мы не восстаем ни против нынешней публики, ни даже против нынешней критики: быть может, та и другая правы с своей точки зрения. Но мы должны сказать, что через тридцать, через двадцать лет, — быть может, и ближе, — это изменится. Холодно будут тогда вспоминать или вовсе не будут вспоминать о многих из поэтов, кажущихся нам теперь достойными панегириков, но с любовью будет произноситься и часто будет произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будет разве тогда, когда забудется наш язык. Г-ну Огареву суждено занимать страницу в истории русской литературы, чего нельзя сказать о большей части из писателей, ныне делающих более шума, нежели он. И когда, быть может, забудутся все те стихотворения, которым пишем и читаем мы похвалы, будет повторяться его «Старый дом»:

Старый дом, старый друг, посетил я
Наконец в запустеньи тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой,
И в саду не шумел лист зеленый —
Желтый тлел он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло.
Штукатурка обилась кругом.
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были —
Здесь ворчал недовольный старик;
Мы беседы его не любили —
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало.
Здесь мы жили умом и душой;
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба светлая выросла там...
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я. —
На кладбище я будто стоял, —
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал...

«Конечно, «Старый дом» прекрасен; но в наше время было написано довольно много

других пьес, которые надобно поставить выше его, или по мысли, или по отделке. За что же ему суждено прожить дольше, нежели всем им?» Не знаем, есть ли в нынешней русской литературе произведения более прекрасные; но дело в том, что «Старый дом» принадлежит истории, как принадлежат ей вообще жизнь и произведения г. Огарева: счастье, или, вернее сказать, достоинство, которое достается на долю немногим избранникам. Да, г. Огарев имеет право занимать одну из самых блестящих и чистых страниц в истории нашей литературы. Мы отчасти излагаем эти права, говоря в «Очерках гоголевского периода» о развитии русской литературы в сороковых годах и о соединении в «Отечественных записках» (1840–1846) замечательнейших людей тогдашнего молодого поколения. Но там, конечно, мы говорим не в частности о г. Огареве, а вообще о школе, к которой принадлежал он. Здесь мы пользуемся случаем, чтобы в поэзии его показать отпечаток школы, в которой воспитался его талант.

Знали ли вы когда-нибудь восторженную дружбу? Если не владело вами это чувство хотя в поре молодости, вы, быть может, улыбнетесь. Но нет, не спешите смеяться: смеяться и мы любим, но не над тем, что было необходимо и оказалось благотворно в историческом развитии. Патрокл не Дафнис, созданный праздностью: он необходимое лицо в «Илиаде». Сколько известно, никто не доказывал противного. Да и Троя, если не им взята, то без него не была бы взята. Быть может, теперь наше развитие имеет довольно твердые опоры и без восторженных чувств (а быть может, по недостатку их и замедлилось оно). Но то несомненно, что двадцать лет тому назад энтузиазм этот был очень сильным деятелем в нравственном развитии нашего общества, или, чтобы выразиться точнее, лучших его представителей; и преимущественно его энергическому стремлению обязана своею силою деятельность людей, которым, в свою очередь, мы обязаны тем, что в настоящее время имеем хотя какую-нибудь литературу, хотя какие-нибудь убеждения, хотя какую-нибудь потребность мыслить. Но мы, кажется, отклонились от предмета: ведь мы хотели говорить об одной из сторон поэзии г. Огарева. Чтобы найти переход к ней от этого эпизода, скажем, что этим энтузиазмом проникнут был и г. Огарев. Честь ему за то, что он остался верен своему чувству: доказательство верности — стихотворение, которое поставлено первым в его книге, как бы заменяя посвящение:

Друзьям

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,
Мы в жизнь вошли с неробкою душой,
С желаньем истины, добра желаньем,
С любовью, с поэтической мечтой;

И с жизнью рано мы в борьбу вступили,
И юных сил мы в битве не щадили.
Но мы вокруг не встретили участия,
И лучшие надежды и мечты,

Как листья средь осеннего ненастья,
Пропали и сухи и желты, —
И грустно мы остались между ними...
Сплетая дружно голыми ветвями...

В лирической поэзии личностью автора затмеваются обыкновенно все другие личности, о которых говорит он. У г. Огарева напротив: когда он говорит о себе, вы видите, что из-за его личности выступают личности тех, которых любил или любит он; вы чувствуете, что и собою дорожит он только ради чувств, которые питал он к другим. Даже любовь, под которую чаще всего скрывается себялюбие, у него чиста от эгоистического

оттенка. Тем более у него преданности в дружбе, которая и вообще часто отличается от других чувств человека сильнейшим участием этого качества. Когда г. Огарев говорит о своих друзьях, он говорит действительно о них, а не о себе; да когда говорит и о себе, то всегда чувствуется отсутствие всякого себялюбия, чувствуется, что наслаждение жизни для такой личности заключается в том, чтобы жить для других, быть счастливым от счастья близких и скорбеть их горем, как своим личным горем.

Действительно, таковы были люди, тип которых отразился в поэзии г. Огарева, одного из них.

И вот, между прочим, одно из качеств, по которым она останется достоянием истории: в ней нашел себе выражение важный момент в развитии нашего общества. Лицо, чувства и мысли которого вы узнаете из поэзии г. Огарева, лицо типическое. Вот как оно обрисовано перед вами сполна в прекрасной пьесе «Монологи»:

I

И ночь и мрак! Как все томительно-пустынно!
Бессонный дождь стучит в мое окно,
Блуждает луч свечи, меняясь с тенью длинной,
И на сердце печально и темно.

Былые сны! душе расстаться с вами больно;
Еще ловлю я призраки вдали,
Еще желание кипит в груди неволью;
Но жизнь и мысль убила сны мои.

Мысль, мысль! как страшно мне теперь твое движенье,
Страшна твоя тяжелая борьба!
Грозней небесных бурь несешь ты разрушенье,
Неумолима, как сама судьба,

Ты мир невинности давно во мне сломила,
Меня навек в брожение вовлекла,
За верой веру ты в душе моей сгубила,
Вчерашний свет мне тьмою назвала.

От прежних истин я отрекся правды ради,
Для светлых снов на ключ я запер дверь,
Лист за листом я рвал заветные тетради,
И все, и все изорвано теперь.

Я должен над своим бессилием смеяться
И видеть вкруг бессилие людей,
И трудно в правде мне внутри себя признаться,
А правду высказать еще трудней.

Пред истиной покой исчез,
И гордость личная, и сны любви,
И впереди лежит пустынная дорога,
Да тщетный жар еще горит в крови.

II

Скорей, скорей топи средь диких волн разврата
И мысль, и сердце, ношу чувств и дум!
Насмейся надо всем, что так казалось свято,
И смело жизнь растрать на пир и шум!

Сюда, сюда бокал с играющею влагой!
Сюда, вакханка! слух мне очаруй
Ты песней, полною разгульною отвагой!
На золото продай мне поцалуй...

Вино кипит, и жжет меня лобзанье...
Ты хороша, о, слишком хороша!
Зачем опять в душе проснулось страданье
И будто вздрогнула душа?

Зачем ты хороша? забытое мной чувство,
Красавица, зачем волнуешь вновь?
Твоих томящих ласк постыдное искусство
Ужель во мне встревожило любовь?

Любовь, любовь!.. о, нет, я только сожаленье,
Погибший ангел, чувствую к тебе...
Поди: ты мне гадка! я чувствую презренье
К тебе продажной, купленной рабе!

Ты плачешь? Нет, не плачь. Как, я тебя обидел?
Прости, прости мне — это пар вина;
Когда б я не любил, ведь я б не ненавидел.
Постой, душа к тебе привлечена.

Ты боле с уст моих не будешь знать укора.
Забудь всю жизнь, прожитую тобой,
Забудь весь грязный путь порока и позора,
Склонись ко мне прекрасной головой,

Страдалица любви, страдалица желанья!
Я на душу тебе навею сны,
Ее вновь оживит любви моей дыханье,
Как бабочку дыхание весны.

Что ж ты молчишь, дитя, и смотришь в удивленьи,
А я не пью мой налитый бокал?
Проклятие! опять ненужное мученье
Внутри души я где-то отыскал!

Но на плечо ко мне она склоняся, дремлет,
И что во мне — ей непонятно то.
Недвижно я гляжу, как сон ей грудь подъемлет,
И глупо трачу сердце за ничто!

III

Чего хочу?.. Чего?.. О, так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что, кажется порой, их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.

Чего хочу? — всего, со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвигов хочу!
Еще хочу любить с безумною тоскою,
Весь трепет жизни чувствовать хочу!

А втайне чувствую, что все желанья тщетны,
И жизнь скупа, и внутренно я хил;
Мои стремления замолкнут безответны.
В попытках я запас растрочу сил.

Я сам себе кажусь, подавленный страданьем.
Каким-то жалким, маленьким глупцом,
Среди безбрежности затерянным созданием,
Томящимся в брожении пустом...

Дух вечности обнять за раз не в нашей доле,
А чашу жизни пьем мы по глоткам;
О том, что выпито, мы все жалеем боле.
Пустое дно все больше видно нам;

И с каждым днем душе тяжеле устарелость,
Больнее помнить, и страшней желать,
И кажется, что жизнь — отчаянная смелость,
Но биться пульс не может перестать.

И дальше я живу в стремленьи безотрадном,
И жизни крест беру я на себя
И весь душевный жар несу в движеньи жадном,
За мигом миг хватая и губя.

И все хочу!.. Чего?.. О, так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что, кажется порой, их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.

IV

Как школьник на скамье, опять сижу я в школе
И с жадностью внимаю и молчу;
Пусть длинен знания путь, но дух мой крепок волей,
Не страшен труд — я верю и хочу.

Вокруг все юноши: учительское слово,
Как я, они все слушают в тиши;

Для них все истина, им все еще так ново,
В них судит пыл неопытной души.

Но я уже сюда явился с мыслью зрелой,
Сомнением испытанный боец,
Но не убитый им... Я с призраками смело
И искренно расчелся наконец;

Я отстоял себя от внутренней тревоги,
С терпением пустился в новый путь
И не собьюсь теперь с рассчитанной дороги —
Свободна мысль, и силой дышит грудь.

Что Мефистофель мой, завистник закоснелый?
Отныне власть твою разрушил я.
Болезненную власть насмешки устарелой;
Я скорбью многой выкупил себя.

Теперь товарищ мне иной дух отрицанья;
Не тот насмешник черствый и больной,
Но тот всеильный дух движенья и созданья,
Тот вечно юный, новый и живой.

В борьбе бесстрашен он, ему губить — отрада,
Из праха он все строит вновь и вновь,
И ненависть его к тому, что рушить надо,
Душе свята, так, как свята любовь.

Быть может, многие из нас приготовлены теперь к тому, чтобы слышать другие речи, в которых слабее отзывалось бы мученье внутренней борьбы, в которых раньше и всевластнее являлся бы новый дух, изгоняющий Мефистофеля, — речи человека, который становится во главе исторического движения с свежими силами; но когда-то мы услышим такие речи? — да и в самом ли деле многие из нас приготовлены к тому, чтобы слышать и понять их? И те, которые действительно готовы, знают, что если они могут теперь сделать шаг вперед, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для них борьбою их предшественников, и больше, нежели кто-нибудь, почтут деятельность своих учителей. Онегин сменился Печориным, Печорин — Бельтовым и Рудиным. Мы слышали от самого Рудина, что время его прошло; но он не указал нам еще никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника. Мы ждем еще этого преемника, который, привыкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нее; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышалась бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями.

И вот потому-то между прочим, что он один из представителей своей эпохи, г. Огареву принадлежит почетное место в истории русской литературы — слава, которая суждена очень немногим из нынешних деятелей. Есть у него и другие права — о них мы отчасти говорим в наших «Очерках» и подробнее будем говорить когда-нибудь, при первой возможности.

Но мы все говорим об историческом значении деятельности г. Огарева, а еще не сказали своего мнения о чисто поэтическом достоинстве его стихотворений. Правда, кто знает, что такое истинная слава, тот право на доброе слово истории поставит выше всякого блеска. Но ведь историческое значение поэта должно же отчасти основываться на чисто

поэтическом достоинстве его произведений. Мы не касались этой стороны произведений г. Огарева, потому что надеемся через несколько времени поместить статью, в которой будет разобран поэтический талант г. Огарева.

Детство и отрочество. Военные рассказы

Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого, СПб. 1856

Военные рассказы. Графа Л. Н. Толстого. СПб. 1856

«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта графа Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим голосом, и, повторяя ее, была совершенно верна правде дела.

Но неужели ограничиться этим суждением, которое, правда, заметило в таланте графа Толстого черты, действительно ему принадлежащие, но еще не показало тех особенных оттенков, какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства», «Отрочества», «Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров» и «Военных рассказов»? Наблюдательность, тонкость психологического анализа, поэзия в картинах природы, простота и изящество — все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева, — определять талант каждого из этих писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе недостаточно для того, чтобы отличить их друг от друга; и повторить то же самое о графе Толстом еще не значит уловить отличительную физиономию его таланта, не значит показать, что этот прекрасный талант отличается от многих других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее.

Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности их отчасти заключается в том, что талант графа Толстого быстро развивается, и почти каждое новое произведение обнаруживает в нем новые черты. Конечно, все, что сказал бы кто-нибудь о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточным после «Ревизора», и суждения, высказывавшиеся о г. Тургеневе как авторе «Андрея Колосова» и «Хоря и Калиныча», надобно было во многом изменять и дополнять, когда явились его «Записки охотника», как и эти суждения оказались недостаточными, когда он написал новые повести, отличающиеся новыми достоинствами. Но если прежняя оценка развивающегося таланта непременно оказывается недостаточною при каждом новом шаге его вперед, то по крайней мере для той минуты, как является, она должна быть верна и основательна. Мы уверены, что не дальше, как после появления «Юности», то, что мы скажем теперь, будет уже нуждаться в значительных пополнениях; талант графа Толстого обнаружит перед нами новые качества, как обнаружил он севастопольскими рассказами стороны, которым не было случая обнаружиться в «Детстве» и «Отрочестве», как потом в «Записках маркера» и «Двух гусарах» он снова сделал шаг вперед. Но талант этот, во всяком случае, уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшею внимательностью. Посмотрим же, какие особенные черты он уже имел случай обнаружить в произведениях, которые известны читателям нашего журнала.

Наблюдательность у иных талантов имеет в себе нечто холодное, бесстрастное. У нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить, как думает об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на этот вопрос: «Можно думать различно; мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит в вас этот быт? я и сам не могу решить, удивления или негодования он заслуживает». Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятьливость. У новых наших писателей

такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях. Не с равной охотой наполняют они свою фантазию всеми образами, какие только встречаются на их пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в черты, которые принадлежат сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г. Тургенева особенно привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзией жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь, по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексией о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином.

Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играет слишком второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти в совершенном подчинении анализу чувства. Из тех страниц, где она выступает заметнее, едва ли не самая замечательная — памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне Мери, когда он замечает, что она совершенно увлеклась им, бросив кокетничанье с Грушницким для серьезной страсти.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь и т. д. — Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

— Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез... и т. д.

Тут яснее, нежели где-нибудь у Лермонтова, уловлен психический процесс возникновения мыслей, — и, однако ж, это все-таки не имеет ни малейшего сходства с теми изображениями хода чувств и мыслей в голове человека, которые так любимы графом Толстым. Это вовсе не то, что полумечтательные, полурефлексивные сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются перед нашими глазами, когда мы читаем повесть графа Толстого, — это не имеет ни малейшего сходства с его изображениями картин и сцен, ожиданий и опасений, проносящихся в мысли его действующих лиц: размышления Печорина наблюдаются вовсе не с той точки зрения, как различные минуты душевной жизни лиц, выводимых графом Толстым, — хотя бы, например, это изображение того, что переживает человек в минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потом в минуту последнего сотрясения нерв от этого удара.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «маркела!» и слова одного из солдат, шедших сзади: «как раз на бастион прилетит!»

Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то голос.

Михайлов и Праскухин прилегли к земле. Праскухин, зажмурясь, слышал только, как бомба где-то очень близко, шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом — бомбу не рвало Праскухин испугался: не напрасно ли он струсил? может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с удовольствием увидел, что Михайлов, около самых ног его, недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его. Он закрыл лицо руками.

Прошла еще секунда, — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а если в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А, может быть, одного Михайлова убьет: тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе... меня!»

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении в чепце с лиловыми лентами, человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний чувство настоящего — ожидание смерти — ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди: он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! я только контужен», было его первую мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавили голову. В глазах его мелькали солдаты, и он бессознательно считал их: «один, два, три солдата; а вот, в подвернутой шинели, офицер», думал он. Потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки. А вот еще выстрелили; а вот еще солдаты — пять, шесть, семь солдат, идут все мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его. Он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди: это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», подумал он, и все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня!» — но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало слушать себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, — а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал, усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

Это изображение внутреннего монолога надобно, без преувеличения, назвать удивительным. Ни у кого другого из наших писателей не найдете вы психических сцен, подмеченных с этой точки зрения. И, по нашему мнению, та сторона таланта графа Толстого, которая дает ему возможность уловлять эти психические монологи, составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу. Мы не то хотим сказать, что граф Толстой непременно и всегда будет давать нам такие картины: это совершенно зависит от положений, им изображаемых, и, наконец, просто от воли его. Однажды написав «Метель», которая вся состоит из ряда подобных внутренних сцен, он в другой раз написал «Записки маркера», в

которых нет ни одной такой сцены, потому что их не требовалось по идее рассказа. Выражаясь фигуральным языком, он умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во всем постоянно. Так, певец, обладающий в своем диапазоне необыкновенно высокими нотами, может не брать их, если то не требуется его партией, — и все-таки какую бы ноту он ни брал, хотя бы такую, которая равно доступна всем голосам, каждая его нота будет иметь совершенно особенную звучность, зависящую, собственно, от способности его брать высокую ноту, и в каждой ноте его будет обнаруживаться для знатока весь размер его диапазона.

Особенная черта в таланте графа Толстого, о которой мы говорили, так оригинальна, что нужно с большим вниманием всматриваться в нее, и тогда только мы поймем всю ее важность для художественного достоинства его произведений. Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если так можно выразиться, описательный характер, — берет определенное, неподвижное чувство и разлагает его на составные части, — дает нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу. В произведениях великих поэтов мы, кроме этой стороны его, замечаем и другое направление, проявление которого действует на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это — уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайние звена этой цепи, только начало и конец психического процесса, — это потому, что большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о результатах, проявлениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях, а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в монологах, которые, по-видимому, чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым совершаются ассоциации представлений, — мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения, — почти всегда монологи, если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешнею отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собою; его монологи в сущности принадлежат к тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем или споры маркиза Позы с Дон-Карлосом. Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс, — и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело.

Конечно, эта способность должна быть врождена от природы, как и всякая другая способность; но было бы недостаточно остановиться на этом слишком общем объяснении: только самостоятельную [нравственную] деятельность развивается талант, и в той деятельности, о чрезвычайной энергии которой свидетельствует замеченная нами особенность произведений графа Толстого, надобно видеть основание силы, приобретенной его талантом. Мы говорим о самоуглублении, о стремлении к неутомимому наблюдению над самим собою. Законы человеческого действия, игру страстей, сцепление событий, влияние обстоятельств и отношений мы можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но все знание, приобретаемое этим путем, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не изучим сокровеннейших законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем [собственном] самосознании. Кто не изучил человека в самом себе, никогда

не достигнет глубокого знания людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, доказывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание читателя, но еще, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений. Мы не ошибемся, сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей проницательным взглядом.

Драгоценно в таланте это качество, едва ли не самое прочное из всех прав на славу истинно замечательного писателя. Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстом, глубокое изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более эффектными качествами, — глубиной идеи, интересом концепций, сильными очертаниями характеров, яркими картинами быта — и в тех произведениях его, которые уже известны публике, этими достоинствами постоянно возвышался интерес, — но для истинного знатока всегда будет видно — как очевидно и теперь, — что знание человеческого сердца — основная сила его таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством. Есть в таланте г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью, — чистота нравственного чувства. Мы не проповедники пуританизма; напротив, мы опасаемся его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что делает сердце суровым, жестким; самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведет за собою десятки лицемеров, прикрывающихся его именем. С другой стороны, мы не так слепы, чтобы не видеть чистого света высокой нравственной идеи во всех замечательных произведениях литературы нашего века. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени во всех замечательных своих произведениях, без исключения, есть благородное проявление чистейшего нравственного чувства. Не то мы хотим сказать, что в произведениях графа Толстого чувство это сильнее, нежели в произведениях другого какого из замечательных наших писателей: в этом отношении, все они равно высоки и благородны, но у него это чувство имеет особенный оттенок. У иных оно очищено страданием, отрицанием, просветлено сознательным убеждением, является уже только как плод долгих испытаний, мучительной борьбы, быть может целого ряда падений. Не то у графа Толстого: у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексией и опытом жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести. Мы не будем сравнивать того и другого оттенка в гуманическом отношении, не будем говорить, который из них выше по абсолютному значению — это дело философского или социального трактата, а не рецензии — мы здесь говорим только об отношении нравственного чувства к достоинствам художественного произведения и должны признаться, что в этом случае непосредственная, как бы сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юношества, свежесть нравственного чувства придает поэзии особенную — трогательную и грациозную — очаровательность. От этого качества, по нашему мнению, во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого. Не будем доказывать, что только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать «Детство» и «Отрочество» с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям. Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно каждому, что без непорочности

нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем другой пример — в «Записках маркера»: историю падения души, созданной с благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту.

Благотворное влияние этой черты таланта не ограничивается теми рассказами или эпизодами, в которых он выступает заметным образом на первый план: постоянно служит она оживительницею, освежительницею таланта. Что в мире поэтичнее, прелестнее чистой юношеской души, с радостною любовью откликающейся на все, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она? Кто не испытывал, как освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается все существо присутствием девственного душою существа, подобного Корделии, Офелии или Дездемоне? Кто не чувствовал, что присутствие такого существа навеивает поэзию на его душу, и не повторял вместе с героем г. Тургенева (в «Фаусте»):

Своим крылом меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет сень
Для очарованной души...

Такова же сила нравственной чистоты и в поэзии. Произведение, в котором веет ее дыхание, действует на нас освежительно, миротворно, как природа, — ведь и тайна поэтического влияния природы едва ли не заключается в ее непорочности. Много зависит от того же веяния нравственной чистоты и грациозная прелесть произведений графа Толстого.

Эти две черты — глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, [всегда] останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии.

Само собою разумеется, что всегда останется при нем и его художественность. Объясняя отличительные качества произведений графа Толстого, мы до сих пор не упоминали об этом достоинстве, потому что оно составляет принадлежность, или, лучше сказать, сущность поэтического таланта вообще, будучи, собственно, только собирательным именем для обозначения всей совокупности качеств, свойственных произведениям талантливых писателей. Но стоит внимания то, что люди, особенно много толкующие о художественности, наименее понимают, в чем состоят ее условия. Мы где-то читали недоумение относительно того, почему в «Детстве» и «Отрочестве» нет на первом плане какой-нибудь прекрасной девушки лет восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась в какого-нибудь также прекрасного юношу... Удивительные понятия о художественности! Да ведь автор хотел изобразить детский и отроческий возраст, а не картину пылкой страсти, и разве вы не чувствуете, что если б он ввел в свой рассказ эти фигуры и этот патетизм, дети, на которых он хотел обратить ваше внимание, были бы заслонены, их милые чувства перестали бы занимать вас, когда в рассказе явилась бы страстная любовь, — словом, разве вы не чувствуете, что единство рассказа было бы разрушено, что идея автора погибла бы, что условия художественности были бы оскорблены? Именно для того, чтобы соблюсти эти условия, автор не мог выводить в своих рассказах о детской жизни ничего такого, что заставило бы нас забыть о детях, отвернуться от них. Далее, там же мы нашли нечто вроде намека на то, что граф Толстой ошибся, не выставив картин общественной жизни в «Детстве» и «Отрочестве»; да мало ли и другого чего он не выставил в этих повестях? в них нет ни военных сцен, ни картин итальянской природы, ни исторических воспоминаний, нет вообще многого такого, что можно было бы, но не уместно и не должно было бы рассказывать: ведь автор хочет перенести нас в жизнь ребенка, — а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятия о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и

условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Детстве» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если бы изображена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в «Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — Диккенса, в Пушкине — Гоголя! Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что если бы, например, Пушкин в «Каменном госте» вздумал изображать русских помещиков или выражать свое сочувствие к Петру Великому, «Каменный гость» вышел бы произведением нелепым в художественном отношении. Всему свое место: картинам южной любви в «Каменном госте», картинам русской жизни — в «Онегине», Петру Великому — в «Медном всаднике». Так и в «Детстве» или «Отрочестве» уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту, — а патриотизму, геройству, военной жизни будет свое место в «Военных рассказах», страшной нравственной драме — в «Записках маркера», изображению женщины — в «Двух гусарах». Помните ли вы эту чудную фигуру девушки, сидящей у окна ночью, помните ли, как бьется ее сердце, как сладко томится ее грудь предчувствием любви?

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестящий серебряным сиянием.

Все ее привычные занятия и интересы явились вдруг перед ней совершенно в новом свете: старая, капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки, — вся эта все та же, столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых, — все это вдруг показалось не *то*, все это показалось *скучно*, не *нужно*. Как будто кто-нибудь сказал ей: «дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», — говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог быть любимым, — идеал, ни разу не обрезанный, для того, чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас вложило провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастьем чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастьем. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи боже мой! — думала она, — неужели я даром потеряла счастье и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» И она вглядывалась в высокое светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая

звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит, правда», — подумала она. Туманная, дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени деревьев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда, — утешала она себя, — а вот если соловей запоет нынче ночью, то значит вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться», — подумала она, И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило, и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкло. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой, широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие утешительные слезы, налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

Граф Толстой обладает истинным талантом. Это значит, что его произведения художественны, то есть в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не безобразит он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности. Нужно иметь много вкуса, чтобы оценить красоту произведений графа Толстого; но зато человек, умеющий понимать истинную красоту, истинную поэзию, видит в графе Толстом настоящего художника, то есть поэта с замечательным талантом.

Этот талант принадлежит человеку молодому, с свежими жизненными силами, имеющему перед собою еще долгий путь — многое новое встретится ему на этом пути, много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, — какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь дает его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное донныне графом Толстым нашей литературе, только залогом того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залого!

Чернышевский Николай Гаврилович

Губернские очерки

Lib.ru/Классика: [\[Регистрация\]](#) [\[Найти\]](#) [\[Рейтинги\]](#) [\[Обсуждения\]](#) [\[Новинки\]](#)
[\[Обзоры\]](#) [\[Помощь\]](#)

[Оставить комментарий](#)Чернышевский Николай Гаврилович (yes@lib.ru) Год: 1857
Обновлено: 27/01/2009. 114к. [Статистика](#).[Статья:](#) [Критика](#)[Литературная критика](#)

Top of Form

Оценка: **7.63*5** Ваша оценка: шедеврзамечательноочень хорошохорошонормальноНе читалтерпимопосредственноплохоочень плохоне читать

Bottom of Form

Аннотация:

Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М. Е.

Салтыков.

Н. Г. Чернышевский

Губернские очерки

Губернские очерки. Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М. Е. Салтыков. Два тома. Москва. 1857

Давно уже не являлось в русской литературе рассказов, которые возбуждали бы такой общий интерес, как «Губернские очерки» Щедрина, изданные г. Салтыковым. Главная причина громадного успеха этих рассказов очевидна каждому. В них очень много правды, — очень живой и очень важной.

Мы не будем говорить о том, как много чести приносит русскому обществу то, что правда принята им с таким одобрением и участием. Не будем говорить и о том, как отрадно каждому, любящему свое отечество, это общее чувство, служащее свидетельством господства честной мысли в нашем обществе [столь часто осуждаемом и многими сторонами своего быта заслуживающем осуждения]. Это понимается каждым.

Не будем много говорить и о том замечательном обстоятельстве, что правда, высказываемая надворным советником Щедриным, правда, часто очень горькая, не вызвала со стороны немногих, которым она должна быть неприятна, тех ожесточенных нападений, какими двадцать и пятнадцать лет тому назад встречены были «Ревизор» и «Мертвые души». Значит, не даром прошел для нас опыт жизни; значит, или исчезли, или чувствуют себя ныне бессильными люди, которые [еще так недавно и так нагло] осмеливались говорить, что правда может быть вредна [что лезть и обман надобно предпочитать правде]. Это ослабление голосов, враждебных правде, не есть обстоятельство случайное, обнаружившееся только в последние годы, не есть явление непрочное по своей случайности: год за годом можно следить, как уменьшалась сила и самонадеянность литературных аристархов, находивших выгоднейшим для себя поддерживать незнание [и самообольщение]. Кроме друзей Пушкина, представителем которых в критике был князь Вяземский, и нескольких молодых людей, писавших в «Телескопе», все журналы негодовали на «Ревизора». Через пять лет пользовался уже бесспорным превосходством в мнении публики тот журнал, который с восторгом встретил «Мертвые души». Но большинство нашей журналистики снова осудило Гоголя. Прошло еще пять лет, и не только большинство публики, но уже и большинство литераторов крепко стояло за г. Тургенева, когда он печатал «Бурмистра», «Контору», «Малиновую воду», «Бирюка» и проч. Но все еще очень многие и очень громкие голоса восставали против рассказов г. Тургенева. Теперь, если кто хотел, то никто не решился сказать что-нибудь против духа правды, оживляющего «Очерки» г. Щедрина. Когда десять лет тому назад была напечатана «Деревня» г. Григоровича, скольким упрекам подвергся автор! Но уж очень немногие решились выразить свое недовольство его «Рыбаками», которые явились через семь лет после того, а когда еще через три года, в прошедшем году, он написал «Переселенцев», никто не отважился и сказать, что не следует писать о переселенцах или можно писать иначе. Этих примеров довольно, чтобы засвидетельствовать постепенное усилие той стороны в нашем обществе и между нашими писателями, которая хочет правды, и постепенное изнеможение тех людей, которым противна правда. Кому интересно, тот может, припоминая суждения публики и журналов о каждом замечательном явлении нашей беллетристики, проследить, как с каждым новым годом возрастало убеждение в необходимости истины [для благосостояния нашей родины].

Мы только упоминаем об этом замечательном факте, но не останавливаемся на нем, потому что в настоящее время он очевиден для каждого. Бесполезно доказывать то, в чем никто не сомневается.

Но если для всех уже очевидно теперь, что необходимо для нас знать о себе правду,

если большинство, одобряющее писателей, выказывающих ее, так огромно, что бывшие противники ее или сознаются в том, что прежняя вражда их была не справедлива, или лишились отважности защищать свое несправедливое дело, то далеко еще не все согласны в том, какой существенный смысл имеют сочинения, одобряемые всеми за правдивость. Все согласны в том, что факты, изображаемые Гоголем, г. Тургеневым, г. Григоровичем, Щедриным, изображаются ими верно, и для пользы нашего общества должны быть приводимы перед суд общественного мнения. Но сущность беллетристической формы, чуждой силлогического построения, чуждой выводов в виде определительных моральных сентенций, оставляет в уме многих читателей сомнение о том, с каким чувством надобно смотреть на лица, представляемые нашему изучению произведениями писателей, идущих по пути, проложенному Гоголем; сомнение о том, должно ли ненавидеть или жалеть этих Порфириев Петровичей, Иванов Петровичей, Фейеров, Пересечкиных, Ижбурдиных и т. д.; надобно ли считать их людьми дурными по своей натуре, или полагать, что дурные их качества развились вследствие посторонних обстоятельств, независимо от их воли. Сколько можно заключать из журнальных отзывов и из разговоров, которые каждый из нас много раз имел случай слышать в обществе по поводу произведений, подобных «Губернским очеркам» Щедрина, надобно думать, что очень значительная часть, — быть может, большинство публики, склоняется на сторону первого мнения. Подьячий, рассказывающий надворному советнику Щедрину о «прошлых временах», восхищается тем, что в эти «прошлые времена» все было шито и крыто, взяточники не опасались никаких преследований и наживались очень спокойным образом; он восхищается бессовестными проделками Ивана Петровича и с некоторою гордостью вспоминает, что сам был не последним сподвижником этого удивительного изобретательного взяточника. Проделки, отчасти одобряемые, отчасти совершенные подьячим-рассказчиком, каждому образованному и честному человеку кажутся вредными для общества, гнусными, преступными; чувство негодования, ими возбуждаемое, очень легко переходит в чувство нравственного беспощадного осуждения человеку, совершившему или одобряющему эти дела, и очень многие из людей, восхищающихся «Губернскими очерками», объявляют его человеком очень дурным, совершенно бессовестным. Иные, пожалуй, скажут, что этот подьячий даже находит положительное удовольствие в совершении мошеннических проделок и низких преступлений; что он влечется к ним не одною только выгодой, но и душевным расположением. Он сам подает основание к такому понятию о себе; он прямо говорит, что в его времена люди, которых он хвалит, главное удовольствие свое находили не просто в том, что много получают денег, а в том, что получают их хитрым мошенничеством. «Вот-с какие люди бывали в наше время, говорит он: — это не то что грубые взяточники или с большой дороги грабители; нет, все народ — аматёр был. Нам и денег, бывало, ненадобно, коли сами в карман лезут; нет, ты подумай, да прожект составь, а потом и пользуйся, пожалуй». Одного из своих сослуживцев, который не был аматёром мошенничества, а просто из любви к деньгам брал взятки, подьячий этот просто осуждал, как профана, не понимающего высших наслаждений мошенничества. «Мы, чиновники, этого Фейера не любили, — говорит он: — у него все это как-то уж больно просто выходило, — так, ломит нахрапом с плеча, да и все. Что ж и за удовольствие этак-то служить!» Не правда ли, он сам выставляет себя бесом, любящим зло не только из выгод, доставляемых злом, но и для самого зла? Возьмем другой пример: Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров, коммерческие люди, рассуждают о своих делах. Они прямо говорят, что коммерческий расчет должен состоять в мошенничестве. Они жалуются на медленность и расходы, соединенные с доставкой хлеба в Петербург водяным путем; но на замечание, что железные дороги избавят нашу торговлю от этих тяжелых затруднений, они прямо отвечают: «Для нас чугулки все равно, что разорение. Это (устроить железные дороги) для нас было бы все единственно, что в петлю лезть. Это все враги нашего отечества выдумали, чтоб нас как ни на есть с колеи сбить. Основательный торговец никогда в экое дело не пойдет, даже и разговаривать-то об нем не будет, по той причине, что это все одно, что против себя говорить». Почему же так? Потому что при перевозке товаров по железной

дороге нет возможности ни обсчитывать рабочих в расчете, ни нарушать контракты на поставку товаров, сваливая вину на Волгу, потопившую или задержавшую суда. Торговле будет придано гораздо более живости и обширности, она будет доставлять более выгод, — нужды нет; все-таки железные дороги не нравятся Ижбурдину и его товарищам, потому что прекращают возможность мошенничества. Не ясно ли, что эти люди не просто корыстолюбивые, а любящие зло для самого зла, — любящие зло, хотя бы оно было даже вредно для них самих? Почти такие же черты можно отыскать почти во всех других людях, изображаемых Щедриным. Почти все они могут представляться, и действительно представляются многим из читателей, изъеденными нравственною порчею до глубины души, не сохранившими в себе никакого человеческого чувства [представляются гнусными извергами и мошенниками, скорее похожими на вампиров или бесов, нежели на людей. Из губернских очерков и других подобных им произведений нашей литературы, начиная с Гоголя, очень многие выносят убеждение, что Россия населена чудовищами, имеющими только наружность человека, но лишенными всех качеств человеческой души, всякого понятия о добре и правде].

Такой взгляд на людей, изображаемых Гоголем и его последователями, внушается негодованием, источник которого, конечно, благороден. Но тем не менее надобно сказать, что подобный взгляд поверхностен, что если мы внимательнее всмотримся в большинство людей, выводимых Гоголем и его последователями, то долимы будем отказаться от слишком строгого приговора против этих людей. Мы не найдем возможности называть их людьми добродетельными: в самом деле, они совершают очень много дурных поступков, имеют много дурных привычек, держатся многих дурных правил, но все-таки нельзя сказать, чтобы большинство этих людей не имело в себе также многих хороших чувств. Чтобы убедиться в том, попробуем внимательнее посмотреть на людей, встречающихся нам в рассказах Щедрина. Мы берем его «Губернские очерки» для этого испытания, потому что ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей, картины нашего быта не рисовались красками, более мрачными. Никто (если употреблять громкие выражения) не карал наших общественных пороков словом, более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностью. У него нет ни одного веселого или легкого выражения, не только целого очерка, — у него нет не только целого рассказа, похожего на «Коляску», или на «Тяжбу», или на «Лакейскую» Гоголя, — нет двух строк, которые бы ни были пропитаны грустным чувством. Он писатель, по преимуществу [скорбный] и негодующий. Если кто из наших беллетристов, то, конечно, он приводит вас к самым тяжелым мыслям, к самым безотрадным заключениям. Посмотрим же, однако, каковы будут выводы о большинстве людей, им изображаемых, если мы пристальнее всмотримся в жизнь этих людей.

В каждом обществе есть люди с дурным сердцем, с душой решительно низкою. И в древнем Риме, отечестве героев, были трусы, и в Германии, классической стране честности, есть люди коварные [недобросовестные]. Есть они и во Франции, и в Англии и в Соединенных Штатах. Есть такие люди и в нашем обществе. Попадают они и в числе лиц, выводимых Щедриным. Таков, например, Порфирий Петрович, принадлежащий к семейству Чичиковых, но отличающийся от Павла Ивановича Чичикова тем, что не имеет его мягких и добропорядочных форм и более Павла Ивановича покрыт грязью всякого рода; такова, например, мать приятного семейства, Марья Ивановна Размановская; таковы два-три из числа преступников, находимых Щедриным в городской тюрьме; таков особенно безымянный господин, элегантный и просвещенный, монолог которого мы читаем в очерке, имеющем заглавие «Озорники», — гнуснее этого человека читатель не находит во всей книге Щедрина. Этих людей защищать нельзя. Они действительно злы и ненавистны. Но в толпе лиц, выводимых Щедриным, они составляют очень малочисленное меньшинство, как действительно составляют меньшинство довольно малочисленное и в нашем обществе. Другие люди не таковы: в них вы откроете подле дурных качеств и некоторые черты, примиряющие нас с их личностью. Дурные поступки и привычки их извиняются

обстоятельствами их жизни и нравственную близорукостью, навеянную на них туманной средой, в которой развились и живут они. Они часто не замечают разницу между хорошим и дурным, не умеют понимать дурноты многого дурного; но тех-то дел, дурноту которых они понимают, они стараются не делать; они отвращаются от таких дел, гнушаются ими; если же, по слабости характера, или по ошибке, или по тяжелому стечению обстоятельств, случится им сделать поступок, дурные стороны которого они понимают, то они осуждают себя за этот поступок и осуждают искренно. Таких людей нельзя назвать дурными по сердцу. Кроме того, они даже не лишены некоторых возвышенных и бескорыстных стремлений. «Как? в подьячем, рассказывающем о прошлых временах, или в Ижбурдине с товарищами, вы находите вместе с дурными чертами и некоторые качества, заслуживающие извинения? — заметит иной читатель, безусловно их осудивший: — вы находите, что эти люди могут делаться людьми честными и, чего доброго, — вы, пожалуй, скажете, могут сделаться даже людьми добродетельными: не слишком ли много этим сказано?» Это мы посмотрим. Но прежде всего напомним, что не оправдывать или извинять их пороки мы хотим, а говорим только, что даже и в этих порочных людях человеческий образ не совершенно погиб, и, при других обстоятельствах, могли бы и эти люди отстать от своих дурных привычек.

Вот, например, разберем поближе обстоятельства и жизнь подьячего, рассказывающего о прошлых временах, и, быть может, мы увидим, что он в сущности не такой бессовестный и бездушный человек, как может представляться на первый взгляд. Если мы вздумаем судить по понятиям, отвлеченным от жизни, то, конечно, надобно будет сказать, что он мог найти в различных честных промыслах средство приобретать недостающие ему деньги. Он мог заняться каким-нибудь ремеслом. Так; но все эти занятия считаются неблагородными, и общество строго осудило бы заседателя. Можно ли порицать человека за то, что он, по своим понятиям, не выше того общества, в котором вырос и живет, или не имеет такой энергии характера, чтобы пойти наперекор общественным предрассудкам? Но одни ли предрассудки удерживали подьячего от других занятий? Нет, такие занятия были бы для него опасны: они повредили бы его службе. О нем подумали бы, что он службою занимается только для формы, пренебрегает ею для своего ремесла, и он скоро прослыл бы неисправным, нерадивым человеком. Это помешало бы его повышению по службе, а может быть, повлекло бы за собою и потерю того места, которое он уже занимал. Как бы то ни было, этот человек прежде всего чиновник и больше всего должен дорожить своею служебною карьерою. Можно ли осуждать его за то, что он не решается заняться делом, которое было бы вредно его служебной карьере? Кроме того, действительно ли была ему возможность заняться каким-нибудь ремеслом? Нечего говорить о том, что ремесло требует изучения, а он не научен ничему. Но возьмем другое условие. Производителю нужны покупщики, а где бы он нашел их? Существующему запросу на товары уже удовлетворяют цеховые ремесленники и торговцы. Он не нашел бы покупателей для своих произведений или должен был бы продавать в убыток. И так заседателю земского суда неприлично пред обществом, вредно по службе, убыточно в экономическом отношении и, наконец, невозможно по личной его неприготовленности искать пособий для своего существования в каком-нибудь торговом или промышленном занятии. Но почему бы не заняться ему ходатайством по частным делам? Опять-таки практическая невозможность. Ходатайствовать по мелким делам вовсе невыгодно, как видим по образу жизни отставных уездных чиновников вроде Ризположенского (в комедии г. Островского «Свои люди — сочтемся») и Перегоренского (в «Губернских очерках»). Единственное вознаграждение, на которое они могут рассчитывать, — несколько рюмок или стаканов водки: домашний быт ходатая по делам не улучшится от таких вознаграждений. А ходатайство по важным делам нашему рассказчику о прошлых временах не поручат; для того выберут агента поважнее, нежели уездный чиновник или столоначальник губернского места. Но самое важное обстоятельство здесь та привычка, которую мы очень хорошо узнаем из Гоголя и его последователей. Люди, заинтересованные в каком-нибудь деле, находят, что гораздо удобнее для них обращаться с своими желаниями прямо к тем людям, в руках которых находится производство их дел, и считают вовсе

невыгодным для себя иметь каких-либо других ходатаев по делам. При наших провинциальных нравах адвокаты совершенно излишни. Их советы совершенно заменяются усердием чиновников, производящих дело, которые всегда готовы помочь добрым советом тяжущемуся: они объяснят ему, как начать дело, какое направление давать ему, на какие законы опираться, какие средства употребить для направления дела в его пользу, — к чему же тут еще ходатай по делам, из людей посторонних производству дела.

Таким образом, посторонних средств к увеличению своих доходов для нашего подьячего не существовало. Он должен был извлекать все свои доходы единственно из своих должностных занятий. Он видел, как поступают другие, и видел для самого себя необходимость поступить таким же образом. Следовать примеру, дело очень натуральное, и никто не должен обременять какими-либо упреками человека, поступающего так, как поступают все. Хороша ли, дурна ли общая привычка, во всяком случае она уничтожает всякую заслугу или вину в человеке, ее держащемся. Но довольно ли сказать, что общая привычка только *извиняет* отдельного человека, ей следующего? Обычай никогда не возникает без причины; он всегда создается необходимою силою исторических обстоятельств. Если товарищи нашего рассказчика о прошлых временах и их предшественники с незапамятных времен подчинялись той же самой дурной привычке, как и он, — надобно думать, что были какие-нибудь обстоятельства, не допускаящие их изменить этой привычке. Одно из этих обстоятельств указывает нам сам подьячий-рассказчик: «Жили мы как у Христа за пазушкой, говорит он. Съездишь, бывало, в год раз, в губернский город, поклонись чем бог послал благодетелям, и знать больше ничего не хочешь». В другом месте, начиная рассказывать о городничем Фейере, он замечает: «Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как собственно он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь — он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку совет, да ею же кого следует и удавит». Иначе сказать каждое общественное положение, давая человеку известные права, вместе с тем налагает на него и известные обязанности. Кто не хочет или не может исполнять обязанностей, возлагаемых на него положением, в которое он поставлен, тот должен лишиться и занятого им положения. В этом нет ничего несправедливого.

Возвратимся же к нашему рассказчику о прошлых временах. Мы заговорили о том, что он был бы не совсем прав, если бы не подчинился общепринятым привычкам. Мы надеемся, что наши слова не будут поняты читателями в ложном смысле. Мы не сомневаемся в том, что многие привычки бываю соединены с некоторыми невыгодами и нуждаются в благоразумных изменениях. Мы хотим только сказать, что не всякому прилично действовать в противность общепринятым обычаям. Возьмем пример незначительный — наши моды. Фрак — костюм неудобный и неприличный. Надобно было бы желать, чтобы он был заменен сюртуком, пальто или каким-нибудь другим подобным костюмом. Если бы знаменитые люди в истории мод, д'Орсе или Бруммель, вздумали решительно восстать против фрака и начали бы являться на балы в сюртуках, очень вероятно, что их дело осталось бы не без влияния на моду. Но каковы будут результаты, если это захочет сделать какой-нибудь г. Иванов, Петров или Шапошников, и без того допускаемый в так называемое лучшее общество почти только из милости? Пусть он попробует явиться на бал в сюртуке или пальто, — его все назовут невежею; знакомые его деликатно намекнут ему, чтобы он удалился из общества, куда явился в неприличном костюме, и если он не послушается этих дружеских замечаний, сделанных ему шепотом, то они будут повторены уже вовсе не дружеским тоном другими людьми. Произойдет сцена, неприятная для хозяина дома, неприятная для всего собравшегося общества, а более всех неприятная для самого г. Иванова, Петрова или Шапошникова. Как бы ни были разумны и блестящи оправдания с его стороны, как бы ни были хороши его намерения, он все-таки принужден будет удалиться из общества, нравы; которого оскорбил, спокойствие которого возмутил. Не легко будет потом ему возвратиться к себе снисходительное внимание, которым его до сих пор удостоивали, не легко будет снова получить доступ в лучшее общество, хотя бы он искренно раскаялся в своем

неблагоразумном поступке. Если же он будет упорствовать в своей решимости — являться в сюртуке там, где все во фраках, то, конечно, он будет навсегда, изгнан из таких собраний, и общественное мнение, по всей справедливости, объявит его человеком, которого нельзя принимать ни в какое порядочное общество. Вероятно, нет надобности прибавлять, что пример, поданный так неудачно и неприлично г. Ивановым или Петровым, не найдет ни одного подражателя; что пока памятен будет этот пример, каждый из людей, подобных этому Петрову и Иванову по своему положению в общества, будет ужасаться при одной мысли восстать против фрака.

Мы взяли такое дело, исполнению которого нет решительно никаких препятствий, кроме привычки. Но только в таких ничтожных, чисто формальных вещах, как вопрос о фраке и сюртуке, привычка не имеет важных фактических оснований. Как скоро житейский вопрос имеет хотя малейший хороший или дурной смысл, общее привычное решение его бывает непременно основано на каких-нибудь важных житейских фактах. Возьмем, например, хотя бы дело о нашей старинной привычке пускаться в дорогу, набрав с собою многое множество всякой провизии. Тарантас завален булками, хлебами, жареными гусями и тому подобным. Неудобства возникают чувствительные: сесть неловко, поворотиться нельзя стесненному путнику; вздумал он опереться, — под локтем трещат банки с вареньем или солеными огурцами; вздумал протянуть ногу — грязный сапог втиснулся в индюшку или в сдобный пирог. Через день, зимою — все припасы замерзли и потеряли вкус, летом — начали портиться и неприятно отзываются на нервы обоняния. Все это справедливо, но что ж делать? Как было не брать с собою всех этих припасов, когда по дорогам не было возможности достать кусок белого хлеба, не везде можно было найти хотя бы десяток яиц или крынку молока?

Вы видите, что недостаточно было объяснить нашему путнику неудобства, которым его подвергает старая привычка. Быть может, он сам не хуже вас и без вас понимал все эти неудобства; быть может, он даже посмеялся бы над вашею охотою доказывать и раскрывать неудобства, и без того всем известные и очевидные. Тут надобно было сделать нечто другое. Это нечто другое уже и сделано на многих дорогах: устроены порядочные гостиницы; и, как видите, на этих дорогах без всяких толков со стороны поэтов, романистов, философов и филантропов или быстро исчезает, или уже совершенно исчезла привычка забирать с собою из дому груз съестных припасов. Можно прибавить еще одно замечание. Гостиницы не везде возникли по щучьему веленью, по Иванову прошенью: во многих местах они заведены мудрою предусмотрительностью администрации, и благое содействие, ею оказанное, было основанием всех улучшений в способах и привычках наших разъездов по родине.

Мы не имеем особенной склонности защищать предрассудки, но нельзя не сказать, что так называемые люди без предрассудков не всегда с достаточной внимательностью рассматривают основания, из которых возник обычай, кажущийся предрассудком. Вот хотя бы и в настоящем случае. Надобно ожидать, что многие, имевшие терпение дочитать нашу статью до настоящей страницы, скажут: «Подъячего все-таки нельзя оправдать. Если ему нельзя было соединить своей карьеры с исполнением непреклонных нравственных убеждений, то зачем он избрал эту карьеру? Есть на свете много других честных занятий, не оставляющих честного человека без средств к довольству в жизни. Он увлекся предрассудком, заставляющим предпочитать службу всякому другому роду занятий». Предрассудок этот существует не у нас одних. Он очень силен также во Франции и в Германии. И в тех странах постоянно слышатся очень рациональные и многословные доказательства против него. Помнится, когда-то Тьер в очень длинной и блестящей речи доказывал, что напрасно молодые люди во Франции непременно хотят быть чиновниками: «будьте купцами, будьте ремесленниками, будьте земледельцами, — говорил он своим юным соотечественникам. — Поверьте, что этот род занятий будет и выгоднее для вас и полезнее для вашей родины». Затем он обращался к отцам и матерям и заклинал их всем священным на земле и на небе: любовью к отечеству, любовью к детям, не допускать к себе и мысли о том, чтобы воспитывать детей для чиновничества, и ни под каким видом не

дозволять этим неопытным птенцам совращаться с полезного и почтенного поприща земледельческого, промышленного и т. п. Не оказали ни малейшего действия эти благонамеренные увещания. Вероятно, потому, что факты не уступают никаким увещаниям, а подчиняются только силе других фактов. Поэтому надобно думать, что во Франции и Германии предпочтение чиновнической карьеры всякому другому роду занятий не есть только предрассудок, а основывается на каких-нибудь фактах. И не трудно отыскать эти факты. Во Франции, например, еще не очень давно, только личность тех людей, которые занимались государственной службой, была ограждена от оскорблений и унижений всякого рода. Какой-нибудь интендант мог ни за что, ни про что посадить в тюрьму самого почтенного и богатого негоцианта и постоянно третировал его почти так же, как своего лакея. На интенданта нельзя и сердиться за то. У него и его подчиненных была в руках решительно вся власть, и очень натурально было ему, человеку, облеченному властью, смотреть на людей, не имевших никакой власти, как на людей другой, низшей породы. А как скоро образовалось такое понятие о различии пород, ход дела известен. С людьми низшей породы, конечно, не будут обращаться так, как с подобными себе. Пример тому мы видим в отношениях между различными расами в Северо-Американских Штатах: белый с белым там чрезвычайно деликатен, но с черным обращается он совершенно иначе. Некогда было предпочтение службы всем другим занятиям и в Англии. Там оно основывалось на другой причине, известной нашим читателям из рассказов Маколея. С служебными должностями были соединены огромные доходы. В конце XVII века не было в Англии ни одного негоцианта, ни даже землевладельца, который доходами своими равнялся бы лорду наместнику Ирландии или лорду президенту. Мало было землевладельцев или негоциантов, которые получали бы по пяти тысяч фунтов; но в государственной службе было много таких мест, которые доставляли по 5 000 фунтов дохода. В Англии факты, на которых основывалось предпочтение службы всякому другому занятию, давно исчезли. Вслед за ними исчезло и пренебрежение всякою другою карьерою для служебной. Во Франции те отношения, о которых упомянули мы, не совсем еще исчезли. Потому еще продолжает существовать во французском обществе и предпочтение службы всем другим занятиям. Вообще надобно сказать, что общественные предубеждения и пристрастия быстро исчезают из нравов народа, как скоро уничтожаются факты, которыми они поддерживались. Если же какой-нибудь обычай, по-видимому, неразумный и невыгодный, упорно держится в народных нравах, то не спешите называть его просто следствием предубеждений. Надобно прежде поискать, не опирается ли он на каких-нибудь фактах? Осуждать национальные обычаи очень легко, но зато и совершенно бесполезно. Упреками делу не поможешь. Надобно отыскать причины, на которых основывается неприятное нам явление общественного быта, и против них обратить свою ревность. Основное правило медицины: «отстраните причину, тогда пройдет и болезнь», *sublata causa, tollitur morbus*.

Мы не расположены осуждать подьячего прошлых времен за его пристрастие к службе уже и потому, что если бы он оставил службу, его место было бы занято другим, который находился бы точно в таком же положении. Следовательно, тут изменение могло бы быть только в фамилии лица, а не в сущности дела.

[Но с другой стороны мы вовсе не расположены придавать особенную важность мнениям тех людей, которые слишком много стали бы говорить о недостаточности жалованья, получаемого подьячим прошлых времен. В этом случае примером может служить Франция. Там очень много говорили и говорят о недостаточности жалованья, получаемого огромным большинством служащих людей, и при этом ссылаются на Соединенные Штаты, где последний чиновник получает очень значительное содержание. Но при этом сравнении забывают французы о том, что число чиновников во Франции в пятьдесят раз больше, нежели в Соединенных Штатах. Когда однажды вздумали было во Франции серьезно приняться за этот вопрос, то оказалось, что во Франции число людей, состоящих на гражданской службе, простирается до полумиллиона человек, и оказались несбыточными мечты обеспечить достаточным жалованьем такую громадную орду. Все увидели

недостаточность французского бюджета на удовлетворение требованию, по-видимому очень справедливому, и основательные люди пришли к той мысли, что обширность и многосложность французского государственного механизма ставит эту страну в положение совершенно отличное от положения Соединенных Штатов по вопросу о жалованье. Дело в том, что нельзя по произволу переделывать стену здания, которая казалась неприятною для французов. Она связана с другими частями здания.]

Мы опять далеко уклонились от нашего подьячего прошлых времен, вовсе не подозревавшего, что кто-нибудь может сказать ему: зачем ты предпочел службу какому-нибудь ремеслу? Наверное, он нашел бы такой вопрос нелепым, и весь тот городок, в котором он служил, также в один голос объявил бы этот нелепый вопрос действительно нелепым. Так или иначе, наш подьячий служил и не мог не сообразоваться на службе с общепринятыми правилами. Посмотрим же теперь, какова была его служба и справедливо ли было бы сказать, что он действовал на службе против своей совести или оскорбил чем-нибудь общее мнение, которым воспитался и руководился. Он человек не без грехов; но что же в том особенного? Все мы смертны и грешны. Героев добродетели во все времена и у всех народов очень мало. Он брал взятки, это правда. Но его товарищи делали то же самое, и даже те люди, с которых он брал взятки, были убеждены, что без благодарности ни одно дело никем не делается. Все они осуждали только таких взяточников, которые, взяв деньги, не исполняют дело, за которое получена взятка, или прибегают к особенному обману, или к особенным жестокостям. Он ничего такого не делал. Рассмотрим его похождения. Он приехал в Шарковскую область для собрания подати. Поселяне знают, что подать нужно заплатить, но они просят его подождать до того времени, пока они продадут новый хлеб. Согласиться или не согласиться на эту просьбу — в его власти: он имеет право требовать подати теперь же. За каждую добровольную уступку человек может ожидать вознаграждения от тех, в пользу кого делается уступка. Так думают поселяне, так думает и он. Потому обеим сторонам кажется очень естественным требование нашего подьячего прежних времен, чтобы ему за его снисходительность дали приличное вознаграждение. Конечно, как и при всякой сделке, тут происходят споры о цифре. Конечно, сторона, дающая вознаграждение, не совсем охотно расстается с деньгами; но и тут нет ничего особенного: сама по себе уплата ни для кого ни в каком случае не есть что-либо приятное. Против такого понятия читатель заметит, что точка зрения, с которой смотрят на изложенное нами дело подьячий и поселяне, совершенно фальшива. Конечно, эти люди ошибаются в своих понятиях, но дело не в том. При обсуждении вопроса: честно или бесчестно поступает человек, должно смотреть не на то, справедливы ли его убеждения, а на то, действительно ли он поступает сообразно своим убеждениям.

Перечитав рассказы подьячего прошлых времен, мы видим, что он во всех делах поступал согласно своему убеждению о сущности своего звания, своих прав и своих обязанностей и что это убеждение разделялось теми людьми, с которыми он заключал свои сделки. Потому образ его действий вообще не заслуживал особенного порицания.

Как человек, не отличавшийся ни гениальным умом, ни железным характером, он иногда подчинялся влиянию людей, натура которых была сильнее его натуры, — и в том нет ничего особенно бесчестного. Когда эти сильнейшие натуры бывали дурны, наш подьячий вовлекался в такие поступки, которых не сделал бы сам по себе. Однако ж и тут мы не видим, чтобы он слишком далеко уклонялся от правил, внушаемых ему его убеждениями. Разберем самое дурное из этих дел. Чтобы читатель не мог предполагать укрывательства каких-нибудь обстоятельств из пристрастия к нашему подьячему, мы вполне выпишем весь этот эпизод.

«Жил у нас в уезде купчина миллионщик, фабрику имел кумачную, большие дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прибыли, да и только! так держит ухо остро, что на-поди. Разве только иногда чайком попотчует, да бутылочку холодненького разопьет с нами — вот и вся корысть. Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца-купчишку на дело натравить — не идет, да и все тут, даже зло

взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает.

Что же бы вы думали? Едем мы однажды с Иваном Петровичем на следствие: мертвое тело нашли неподалеку от фабрики. Едем мы это мимо фабрики и разговариваем меж себя, что вот, подлец, дескать, ни на какую штуку не лезет. Смотрю я, однако, мой Иван Петрович задумался, и как я в него веру большую имел, так и думаю: выдумывает он что-нибудь, право, выдумывает. Ну, и выдумал. На другой день, сидим мы это утром и опохмеляемся.

— А что, — говорит:- дашь половину коли купец тебе тысячи две отвалит?

— Да что ты, Иван Петрович, в уме ли — две тысячи!

— А вот увидишь; садись и пиши:

Свиногорскому 1-й гильдии купцу, Платону Степановичу Троекурову. Ведение. По указаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше) вышепоименованное мертвое тело, по подозрению в насильственном убийстве с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить».

— Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!

— Уж делай, что говорят.

Да только засвистал свою любимую: «При дороженьке стояла», а как был чувствителен и не мог эту песню без слез слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.

Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.

— Не угодно ли, мол, чаю откусать?

— Какой, брат, тут чай! — говорит Иван Петрович: — тут нечего чаю, а ты пруд спускать вели.

— Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите?

— Как разорять! видишь, следствие приехали делать, — указ есть.

Слово за словом, купец, видит, что шутки тут плохие, хоть и впрямь пруд спускай; заплатил три тысячи, — ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поехали, крючками в воде потыкали и тела, разумеется, никакого не нашли. Только я вам скажу, на угощеньи, когда уж были мы все выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было: верите ли, так обозлилась борода, что даже заковенел весь! Ведь этакое, подумаешь, ожесточение в людях бывает».

Дело очень дурное, скажет читатель, и мы скажем вместе с ним, только прибавим: очень дурное по нашим понятиям, но не по мнению людей, в нем участвовавших: с их точки зрения также было в этом деле обстоятельство, не совсем похвальное, но каково это обстоятельство, мы узнаем от них самих. Чиновникам не было прибыли от богатого фабриканта. Чиновники считали фабриканта дурным человеком за то, что он не исполняет своих обязанностей относительно к ним (наш подьячий прямо называет его подлецом); сам фабрикант смотрел на себя не как на человека, отклоняющего несправедливые притязания, а как на человека, который, по своему уму и своей ловкости, умеет уклоняться от исполнения невыгодных для него обязанностей. Чиновники обижены, купец гордится своим торжеством над ними. («Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца-купчишку на дело натравить — не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает»). Наконец чиновники перехитрили купца и получили от него прибыль. Купец озлобился; но за что? За то ли, что с него взяли деньги? Нет. Хотя ему неприятно было платить, но он полагал, что обязан заплатить. Отдав деньги, он начинает пировать вместе с чиновниками и вместе с ними напивается пьян. Этого он не сделал бы, если бы считал себя обиженным. Как человек гордый, он ушел бы из-за стола, если б чувствовал себя обиженным; как человек хитрый, он бы нашел благовидный предлог

уйти. Но этого не было. Как видим, до сих пор обе стороны остаются довольны любовною сделкою. Но когда все было навеселе, Иван Петрович рассказал фабриканту свою хитрую выдумку — похвастался тем, что перехитрил его. Тут фабрикант обиделся, рассердился. За что же рассердился? Очевидно, за то, что нашелся человек хитрее его и хвастается в глаза ему тем, что перехитрил его. Мы с самого начала сказали, что между людьми, выводимыми в «Очерках» Щедрина, есть люди дурные, достойные порицания, что Иван Петрович принадлежит к таким людям, что мы не хотим защищать его. Иван Петрович действительно был виноват и в этом случае; однако в чем же состоит его проступок в этом деле? Он похвастался, он затронул амбицию человека, — это не деликатно. Но, осуждая не деликатность Ивана Петровича, не забудем, что он начал хвастаться, когда был уже навеселе. Пока он был трезв, он был скромн. И тут, как во многих случаях, лишняя чарка испортила дело.

За пристрастие к чарке осуждает Ивана Петровича и наш подьячий, как осуждали, конечно, все благомыслящие люди. Если бы вы увидели те пирушки, в которых участвовал наш подьячий, эти пирушки показались бы вам, без сомнения, грязны и гадки. Но это потому, что вы человек другого воспитания, других привычек. Не будьте слишком строги к людям, не имевшим случая приобрести изящные манеры и тон лучшего общества. Ведь вы не осуждаете вашего приятеля, когда он за обедом выпивает стакан бургонского или шампанского? Вы находите дурным только то, если ваш приятель пьет неумеренно. Точно так же судит и наш подьячий. Он строго осуждает Ивана Петровича за подобный порок: «был в Иване Петровиче грех, — говорил подьячий, — к напитку имел не то что пристрастие, а так какое-то остервенение. Конечно, и все мы этого придерживались, да все же в меру: сидишь себе да благодушествуешь, и много-много что в подпитии; ну, а он, я вам доложу, меры не знал, напивался даже до безобразия лица». Видите ль, наш подьячий не только не пьяница, он гнушается пьяницами. Видите ли, если случилось ему в дружеской беседе выпить несколько рюмок, то никогда не напивался он до пьяна. Ни один из друзей, ни мать, ни жена, конечно, не осуждали его за то, что он не отказывается от рюмки водки.

[Теперь мы достаточно приготовлены к тому, чтобы беспристрастно смотреть на подьячего старых времен. Но у нас остается еще одно сомнение: вы готовы считать его бессовестным взяточником, как готовы были считать его грязным пьяницей. Последнее предубеждение ваше против него оказалось несправедливым. Несправедливым окажется и первое, если вы внимательнее вслушаетесь в его слова. Взятка, по его мнению], есть любовная сделка. [Понятие это принадлежало не ему одному, а всему обществу, в котором он жил. Припомним то, что говорили мы выше. Для того, чтобы сделка не была достойна порицания, по законам всех народов и по единодушному мнению всего человеческого рода, при ее заключении *должны быть* соблюдены два условия. Во-первых, согласие на нее должно быть совершенно добровольно с обеих сторон. Во-вторых, обе стороны должны иметь твердое намерение исполнить то дело, совершение которого поставляется им в обязанность заключаемым договором. Точно так думал и наш подьячий, и не только думал, но и поступал согласно этим правилам.] Он никогда не прибежал для заключения сделки к мерам, которые *бы* казались насильственными в глазах его и общества, среди которого он жил («истязаний и вымогательств» он не употреблял сам и не одобрял в Иване Петровиче). Мало того, свои желанья он выражал деликатным и ласковым образом. («И все это ласковым словом», — говорит он сам.) Итак, он был человек мягкого характера. За уступки и льготы, которые давал он поселянам, получал он вознаграждение — это правда, но каким образом получал его? Приедет он в село по какому-нибудь делу; поселяне просят, чтобы он скорее отпустил их. «Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивы, отчего ж им и удовольствие не сделать? а коли больно много артачиться станут, ну, и еще погодят денек, другой. Главное тут дело характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, просил, а тут шалишь! по три пятака, дешевле и не моги и думать». [Не ясное ли дело, что он человек не только добрый, но и не корыстолюбивый до излишества. Ведь с самого начала он

мог потребовать по три пятака, и, однако ж, он не требует. Он удовольствуется двумя пятаками, чтобы мужичкам не было обидно. К явному ущербу для себя он рад сделать им удовольствие, если только видит, что они люди хорошие, сговорчивые, как и сам он. Не только он честно соблюдает первое условие справедливости всякого договора, именно: предоставление цен добровольному соглашению без всякого насилия, он даже готов делать уступки с своей стороны, готов требовать меньше, нежели мог бы получить. Это уже черта качества высшего, нежели простая справедливость. Это — черта великодушия. Не менее безукоризненно поведение нашего подьячего и относительно другого условия любовных сделок, именно: относительно точного выполнения обязательств, принятых на себя по договору. Об этом не нужно много говорить. Каждый читатель, не понаслышке, а по опыту знающий быт, описываемый Щедриным, не усомнится в том, что наш подьячий прошлых времен, подобно огромному большинству своих товарищей, очень точно исполнит те дела, исполнить которые обязался договором. Эту безукоризненную точность он, его товарищи и все те люди, с которыми имели они дела, справедливо ставили выше того обычая, по которому иные люди, чуждавшиеся добровольных сделок, не оказывали людям, в них нуждавшимся, того содействия, которое могли бы оказать. «Брали мы, правда, что брали, говорит подьячий, да ведь и то сказать: лучше что ли денег-то не брать, да и дела не делать?»]

Таким образом, самый предубежденный против нашего подьячего читатель должен согласиться, что в общественной деятельности этого подьячего не было ничего, считавшегося дурным или нечестным во мнении как этого подьячего с его товарищами, так и тех людей, которые имели с ними дело. Напротив, были черты, свидетельствовавшие о мягкости, доброте характера, о благорасположении ко всякому хорошему человеку, о желании каждому принести пользу. [Мы опасаемся одного. Наша публика имеет склонность находить иронический и тонкий смысл в том, что говорится совершенно прямо. Быть может, кому-нибудь вздумается полагать, что мы шутим, защищая личность подьячего прошлых времен. Шутка эта была бы очень плоска. Мы говорим совершенно прямо и просто, употребляя все слова в прямом их смысле]. Поступки, совершаемые подьячим, дурны. Люди с подобными ему понятиями вредны для общества. Но из этого не следует, чтобы сами по себе эти люди непременно были дурными людьми. Повторяем то, что уже несколько раз говорили выше. Хвалить и бранить можно только людей эксцентрических, поступающих не так, как поступает огромное большинство людей в их время и в их положении. Привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего; на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения. В каждом классе общества, какой бы стране, какому бы времени ни принадлежало это общество, каковы бы ни были понятия и привычки, им приобретенные вследствие исторических обстоятельств, огромное большинство людей [все-таки остается людьми не дурными по сердцу. Если вам не нравятся некоторые понятия и привычки этих людей, подумайте о том, на каких обстоятельствах основываются эти дурные привычки. Постарайтесь изменить эти обстоятельства, и тогда вы увидите, что быстро исчезнут дурные привычки. По природе своей огромное большинство людей] всегда имеет склонность к доброжелательству и правде. [Если в том или в другом веке, в той или другой стране вы замечаете в целом ли народе или в известных классах общества обычаи, несообразные с этими врожденными и неотъемлемыми склонностями человеческой природы, не вините в том людей, вините обстоятельства их исторической жизни]. [Если мы успели убедиться в том, что подьячий прошлых времен, хотя и держался привычек, вредных для общества, не делал, однако же, в своей должностной жизни ничего такого, что давало бы нам право приписывать лично ему какие-нибудь особенно дурные душевные качества, — если мы успели убедиться в этом, то еще гораздо легче будет нам убедиться, что в частной своей жизни он был человеком положительно хорошим. Он жил в приязни со своими товарищами и обществом. Не говорите, что то была приязнь, связывающая шайку грабителей. Во-первых, не одни сотоварищи принадлежали к числу его

приятелей. Тут были не только люди, с которыми он делился взятками, но также и люди, с которых он брал взятки. И кроме того, конечно, много таких людей, которые не давали ему и не брали с него взятки. Уездный город не есть одна какая-нибудь шайка. Он состоит из множества кружков, интересы которых различны и даже противоположны. Целого общества вовлечь в состав кружка нельзя, а наш подьячий пользовался добрым мнением не только в своем городе, но и в целом уезде. О том сотовариществе, к которому он принадлежал, мнения были, конечно, различны. Те классы людей, которые терпели от привычек, общих всему сотовариществу, конечно, смотрели на все это сотоварищество враждебными глазами. Но лично о нашем подьячем никто не говорил ничего дурного. В те времена, когда велась постоянная война между Англиею и Франциею, конечно, каждый француз говорил, что вообще англичане нация корыстолюбивая и чуть не преступная. Многие из французов, конечно, готовы были бы стереть с лица земли всю Англию со всеми ее жителями. Но, однако же, встречаясь с каким-нибудь мистером Броуном или Джонсоном, француз, ненавидевший англичан, должен был признаваться, что в частности этот мистер Джонсон или Броун человек честный и хороший].

Нет надобности доказывать, что наш подьячий старых времен был хорошим семьянином. С этой стороны он очень точно обрисован г. Островским в последней его комедии. Белогубов — большой руки взяточник; но посмотрите на него в домашнем быту, и вы убедитесь, что он человек очень добрый и в родственных отношениях даже благородный. Тот, кто щедро помогает своей бедной теще, при всей несносной сварливости ее характера, кто не жалеет ничего, чтобы помочь бедной свояченице и ее мужу, хотя этот муж постоянно оскорблял и оскорбляет его самым чувствительным образом, тот, воля ваша, не есть дурной человек.

Мы очень долго останавливались на рассказах подьячего о прошлых временах, [стараясь показать, что этот подьячий и огромное большинство его товарищей вовсе не были людьми дурными]. Не знаем, нужно ли было так подробно доказывать нашу мысль, справедливость которой очевидна для каждого, опытом изведавшего жизнь и людей и не остановившегося на бесплодном чувстве разочарованности, чувстве, приличном неопытному юноше, воображающему себя и всех на свете героями и красавцами, но нелепо в человеке, который уже привык смотреть на свет глазами беспристрастного наблюдателя. Лично нам казалось бы даже скучно толковать о таких несомненных вещах. [Но у нас многие привыкли говорить о том, что язва взяточничества неисцелима, что весь многочисленный класс так называемых взяточников состоит из каких-то извергов, недостойных имени человеческого и никогда ни при каких обстоятельствах не могущих сделаться из людей гибельных для общества людьми достойными уважения и действительно полезными для своей родины.]

Было бы утомительно и бесполезно столь же долго останавливаться на других типах взяточников, выводимых Щедриным, кроме тех немногих, дурных по сердцу людей, на которых мы указали в начале статьи и которые могут служить для рельефности картины, но по своей малочисленности не могут иметь особенной важности в общественных вопросах: о каждом из остальных взяточников надобно сказать почти то же самое, что о подьячем прошлых времен. Сходства между ними гораздо больше, нежели разницы, которая вообще ограничивается только различием темпераментов: у одного характер вспыльчивый, у другого — спокойный; у одного — прямой, у другого — скрытный; у одного — веселый, у другого — печальный или скучный; у одного — смелый, у другого — боязливый. С точки зрения, на которую мы стали, эта разница не имеет первостепенной важности. Известно, что различие темпераментов не мешает почти одинаковому подчинению всех людей общественным привычкам и понятиям и неотразимому влиянию общих исторических фактов. Вместо того, чтобы о каждом из этих людей повторять почти то же самое, что мы должны были сказать о подьячем прошлых времен, мы взглянем на представителей другого класса людей, послушаем беседу трех негоциантов о том, «что такое коммерция?» Мы уже замечали, что, подобно подьячему прошлых времен, Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров могут представляться поверхностному взгляду людьми, лишенными всякого понятия о честности,

«аматёрами» зла, по выражению подъячего прошлых времен. Каждый из них совершенно хладнокровно и даже с похвальбою говорит о своих мошенничествах. Каждый думает только о том, как бы придумать обман похитрее. Но когда мы беспристрастно выслушаем их показания о причинах, принуждающих их вести свои дела подобным образом, то придем к заключению такому же, какое сделали о подъячем прошлых времен. [Лично каждый из них не виноват в том, что ведет свои дела так, а не иначе. Обстоятельства не дают им возможности иначе вести торговлю. Обычай, которому они следуют, так всеобщ и необходим, что они даже не имеют понятия о лучшем способе торговли.]

Людям, составляющим огромное большинство публики, частный быт наших купцов менее известен по опыту, нежели быт чиновников. Почти каждый из нас имеет в числе своих близких знакомых несколько провинциальных чиновников. Это составляет важную выгоду для отвержения предрассудков против нравственных качеств чиновничьего класса. Находя в числе своих знакомых чиновников людей, достойных полного уважения в частном быту, каждый из нас уже до некоторой степени расположен выслушать апологию чиновничьего класса вообще. Не таково отношение большинства публики к классу купцов. Быть может, половина наших читателей не имела с купцами никаких других сношений, кроме деловых. Сошлемся же на свидетельство тех из наших читателей, которые имели случай близко сходитья с купцами, как добрые знакомые, бывали в купеческих семействах, подобно Щедрину, домашними людьми. Конечно, ни один из них не откажется согласиться с Щедриным, выводящим в рассказе «Христос воскрес» светлые личности этого сословия. Мы нимало не расположены считать купеческий, или мещанский, или крестьянский быт идеалом русской жизни, мы совершенно признаем верность тех красок, какими рисуются купцы в «Ревизоре» и «Женитьбе» Гоголя, в комедии г. Островского «Свои люди — сочтемся» и в сцене Щедрина «Что такое коммерция?» Но беспристрастие обязывает нас сказать, что люди, подобные Подхалюзину (в комедии г. Островского), должны быть отнесены к исключениям, довольно малочисленным. Все те добрые качества, которыми любит гордиться русский народ, принадлежат также огромному большинству наших купцов. Каковы бы ни были их нравы и привычки, но вообще они люди не только доброжелательные, но и положительно добрые. Готовность помочь и услужить сильна почти в каждом из них. Дай бог, чтобы в других классах нашего народа и в людях других земель было так сильно развито сознание обязанности — дать средства к приобретению независимого положения тем людям, доброй службе которых обязан бывает человек своим собственным благосостоянием: редкий из наших провинциальных купцов, если имеет верного приказчика, не заботится о том, чтобы вывести его в люди, поставить на ноги, сделать его самого купцом. Каковы бы ни были отношения обыкновенного купеческого образа мыслей к понятию гуманности, но должно сказать, что с прислугою своею купцы обращаются очень гуманно. Каждый, кто знаком с нравами купцов, легко увеличит этот слишком краткий эпизод еще многими чертами, внушающими уважение к добрым качествам нашего купеческого сословия в частной жизни. Если мы обратимся к изучению картины делового, общественного быта наших купцов, представляемой сценою Щедрина «Что такое коммерция?», прежде всего мы увидим зависимость купеческих дел от чиновников. Очень многие из наших купцов занимаются подрядами и поставками. В большей части провинций таково главное занятие большей части значительнейших купцов. По общему закону торговли во всех странах, образ ведения коммерческих дел определяется тем порядком, каким ведут их первостепенные торговцы. Кроме того, каждый торговый человек имеет по своим делам ежедневную надобность в полицейском управлении и судебном покровительстве. Таким образом, привычки, издавна приобретенные чиновничьим классом, определяют своим характером и порядок нашей торговли. После этого важнейшего обстоятельства надобно принять в соображение медленность и неверность торговых оборотов, происходящую от употребительных доселе средств сообщения. Хлебная операция до сих пор требовала у нас целого года времени, иногда почти двух лет. При таком продолжительном сроке оборотов все шансы могут измениться. Почти таково же положение двух других важнейших после хлеба отраслей

нашей торговли — торговли салом и льном. Удивительно ли, что, под влиянием двух столь важных обстоятельств, купечество наше принуждено было прибегать к оборотам, чуждым правильной торговле? [Если характер этих оборотов заключает в себе нечто предосудительное или нечто не совсем выгодное для национального благосостояния, то купечество наше вынуждено было приобрести эти привычки необходимостью вещей, а не каким-нибудь самопроизвольным побуждением]. Не забудем и того обстоятельства, на которое часто с прискорбием указывают политико-экономисты. У нас нет старинных больших торговых домов. Обыкновенно богатые наши торговцы бывают люди, не наследовавшие никакого капитала, а бывшие в молодости торговцами очень бедными. Нет ничего удивительного, что они сохраняют привычки мелочной торговли и тогда, когда посредством оборотов, ей свойственных, приобрели значительный капитал. Дети их обыкновенно спешат променять торговую деятельность на служебную. Эта привычка сильно осуждается многими. Но мы уже видели, что обычай всегда проистекает из фактов быта. Осуждать людей за то, что они подчиняются влиянию фактов, невозможно. Справедливо только то, что некоторые факты имеют влияние, невыгодное для общества. От перехода разбогатевших купеческих родов к другим занятиям вся внутренняя торговля наша находится в руках людей, которые или не имеют значительных капиталов, или сохранили привычку вести свои дела тем порядком, каким ведут их люди, не имеющие капиталов. При недостатке капиталов торговец не может вести своих дел правильным образом. Необходимость заставляет прибегать его к изворотливости. Значительные торговцы в других странах, противодействующие такому порядку своим примером и торговым влиянием, у нас почти всегда сами следуют той системе, какой держатся незначительные торговцы. Если мы сообразим силу всех этих обстоятельств, то не будем понапрасну обвинять личный характер людей торгового класса. [Не оттого держатся они неправильных привычек в коммерческих делах, что привычки эти приятны им, но оттого, что подобный образ действия налагается на них силою обстоятельств, не зависящей от личной воли.] Мы опять прибегнем к сравнению, заимствованному от одежды и путешествий. Если вам придется в январе месяце ехать из Казани в Москву в обыкновенных наших санях, я не имею права предполагать в вас недостатка вкуса за то, что вы надеваете безобразные меховые сапоги. Быть может, вы человек, отличающийся чрезвычайною любовью к изяществу, во всяком случае достоверно то, что вы не хуже моего чувствуете тяжесть меховых сапог и неудобство ходить в них. Но что же вам делать? Возможно ли вам отправляться в вашу дорогу без этих неуклюжих и тяжелых сапог? Я не имею даже права осуждать вас, если вы презрительно посмеетесь над моими выходками против ваших меховых сапог. Но лучше не сердитесь на меня, а спокойно отвечайте, что когда у вас будет теплый возок и медвежье одеяло для ног, то вы без всяких указаний с моей стороны будете путешествовать зимою в тех самых легких, удобных и красивых сапогах, которые носите дома.

Купцы, выводимые Щедриным, сами указывают нам обстоятельства, под влиянием которых установились привычки их торговли. Мы заимствуем из их разговоров две-три страницы. Палахвостов, старик, начавший с гроша и наторговавший себе большое состояние, с некоторою насмешкою замечает Ижбурдину, человеку средних лет, только еще стремящемуся к цели, уж достигнутой Палахвостовым, что он, Ижбурдин, мечется во все стороны, хватается за все отрасли торговли, а не торгует одним предметом, как, например, хлебом. Подле этих двух главных лиц сидят: Сокуров, юноша, мечтающий о том, как он будет жить на благородную ногу, когда получит наследство после старика Сокурова, купца миллионера, и Праздношатающийся, нечто вроде фельетониста с европейскими понятиями обо всем, между прочим и о торговле. Ижбурдин отвечает на замечание Палахвостова указанием невозможности заниматься одною отраслью торговли человеку, не имеющему большого капитала:

«Да куды же я с одним-то предметом сунусь! Ноньче, вон, пошли везде выдумки — ничего и сообразить-то нельзя. Цена-то сегодня полтина, а завтра она рубль; ты думаешь, как бы тебе польза, ан выходит, что тебе же шею наколотят;

вот и торгуй! Теперича, примерно, кожевенный товар в ходу, сукно тоже требуется, — ну мы и сукно по малости скупаем, и кожи продаем: все это нашей совести дело-с. Намеднись, доложу я вам, был я в Лежневе на ярмонке, — и что-то там комиссионеров наехало, ровно звезд небесных: все сапожный товар покупать. Конечно-с, ихнее дело простое. Казна им, примерно, хоть рубль отпускает, так ему надо, чтоб у него полтина или так сорок копеек пользы осталось. А с мужиком ему дело иметь несподручно. Этот хоть, может, и больше пользы даст, да оно не спокойно: неровен час, следствие или другая напасть — всем рот-от не зажмешь. Опять же и отчетностью они запутаны; поди да каждого расписываться заставляй, да урезонивай, чтобы он тебе, вместо полтины, рубль написал. А как с опытным-то дело заведешь, оно и шито и крыто; первое дело, что хлопот никаких нет, а второе, что предательству тут быть невозможно, почему, как купец всякий знает, что за такую механику и ему заодно с комиссионером не сдобровать. Эта штука для нас самая выгодная; тут, можно сказать, не токмо что за труд, а больше за честь пользы получаешь.

Сокуров (*важничая*). Да; с казной дело иметь выгоднее всего; она, можно сказать, всем нам кормилица... (*Наливает вино в бокалы. К Праздношатающемуся.*) Не прикажете ли, не имеем счастья знать, по имени и по отчеству...

Праздношатающийся. С охоту. (*Пьет.*) А где вы это, господа, такой здесь тенериф достааете... отличный! И жжет и першит... славно! точно водка.

Ижбурдин. Из Архангельска-с; мы тоже и тамotka дела имеем-с.

Праздношатающийся. (*к Сокурову*). Вот-с вы изволили выразиться, что с казною дело иметь выгодно. Не позволите ли узнать, почему вы так заключаете?

Сокуров. Да-с, это точно-с, сами изволите знать... казна... выгодно...

Палахвостов. Во то-то, молодец! брешешь! выгодно, а почему — объяснить не умеешь.

Ижбурдин. А вот позвольте... вы, верно, комиссионер?

Праздношатающийся. (*обижаясь*). Почему же комиссионер?... Я просто для своего удовольствия... Желательно, знаете, этак, по торговой части заняться...

Ижбурдин. Так вы приказный? Понимаем-с. Это точно, что нынче приказные много насчет торговли займуются — капиталы завелись... Так вот, изволите ли видеть, с казной потому нам дело иметь естественнее, что тут, можно сказать, риску совсем не бывает. В срок ли, не в срок ли выставить, — казна все мнёт. Конечно-с, тут не без расходов, да зато и цены совсем другие, не супротив обыкновенных-с. Ну, и опять-таки оттого для нас это дело сподручно, что принимают там все, можно сказать, по-божески. Намеднись вон я полушубки в казну ставил; только разве что кислотой от них пахнет, а по прочему и звания-то полушубка нет — тесто тестом; поди-ка я с этими полушубками не токмо что к торговцу хорошему, а на рынок — насмех бы подняли! Ну, а в казне все изойдет, по той причине, что потребление там большое. Вот тоже случилось мне однажды муку в казну ставить. Я, было, в те поры и барки уж нагрузил: сплыть бы только, да и вся недолга. Ан тут подвернулся прикащик от купцов заграничных — цену дает славную. Думал я, думал, да перекрестимшись и отдал весь хлеб прикащику.

Праздношатающийся. А как же с казной-то?

Ижбурдин. С казной-то? А вот как; пошел я, запродавши хлеб-от, к писарю станowego, так он мне, за четвертак, такое свидетельство написал, что я даже сам подивился. И наводнение, и мелководие тут; только нашествия неприятельского не было. (*Все смеются*). Так оно и доподлинно скажешь, что казна матушка всем нам кормилица... Это точно-с. По той причине, что если б не казна, куда же бы нам с торговлей-то деваться? Это все единственно, что деньги в ланбарт положить, да и сидеть самому на печи, сложа руки.

Праздношатающийся (*глубокомысленно*). Да, это так... недостаток предприимчивости... Это, так сказать, болезнь русского купечества... Это, знаете... (*Палахвостов улыбается*). Вы смеетесь? Но скажите, отчего же? Отчего же англичане, например, французы...

Ижбурдин. А оттого это, батюшка, что на все свой резон есть-с. Положим,

вот хоть я предприимчивый человек. Снарядил я, примерно, корабль или там подрядился к какому ни на-есть иностранцу выставить столько-то тысяч кулей муки. Вот-с и искупил я муку, искупил дешево — нече сказать, это все в наших руках — погрузил ее в барки... Ну-с, а потом-то куда ж я с ней денусь?

Праздношатающийся. Как куда?

Ижбурдин. Да точно так-с. Позвольте полюбопытствовать, изволили вы по Волге плавать? Так это точно, что вы на этот счет сумнение иметь можете; а вот как мы в эвтом деле, можно сказать, с младенчества произошли, так и знаем, какая это река-с. Это река, доложу я вам, с позволения сказать-с. Сегодня она вот здесь, а на другой, сударь, год, в эвтом месте уж песок, а она во-куда побегла. Никак тут и не сообразишь. Тащишься-тащишься этта с грузом-то, индо злость тебя одолеет. До Питера-то из наших мест года в два не доедешь, да и то еще бога благодари, коли угодники тебя доехать допустят. А то вот не хочешь ли на мели посидеть или совсем затонуть; или вот рабочие у тебя с барок поубегут — ну, и плати за все в три-дорога. Какая же тут, сударь, цена? Могу ли я теперича досконально себя в эвтаком деле рассчитать? Что вот, мол, купил я по том-то, провоз будет стоить столько-то, продам по такой-то цене? А неустойка? Ведь англичанин-то не казна-с; у него нет этих ни мелководий, ни моровых поветриев; ему вынь да положь. Нет-с; наша торговля еще, можно сказать, в руках божьих находится. Вывезет Волга-матушка — ну, и с капиталом; не вывезет — зубы на полку клади».

Если вы не прислушивались внимательно к откровенным разговорам Ижбурдина и его товарищей, вы, пожалуй, предположите, судя по его привычкам, что он держится своего порядка коммерческих оборотов по личной склонности к такому порядку. Если вы незнакомы с ним ни по каким другим делам, кроме коммерции, вы можете вообразить, что он человек без души и совести. Но когда, узнав его поближе как человека, вы найдете в нем очень много хороших качеств и еще больше прекрасных зародышей, остающихся неразвитыми и ожидающих только благоприятной поры для своего развития, вы, быть может, посовеститесь думать о нем так презрительно, как привыкли думать. Быть может, вы признаетесь, что вы поступили бы подобно ему, если бы находились в его положении; быть может даже, вы сказали бы, что этот человек, каковы бы ни были в настоящее время его коммерческие обороты, не только человек положительно добрый в душе, но и способный совершенно переродиться.

А быть может, вы человек, привыкший осуждать и хвалить поступки людей, не принимая в соображение силу обстоятельств, при которых невозможно образоваться в обществе благородным привычкам или невозможно отстать от дурных привычек. В таком случае вы прямо назовете пустяками мнение, высказанное нами. На такой решительный приговор позвольте отвечать вам рассказом о действительном случае. Рассказ этот уместен здесь. Он познакомит читателей с чертою из жизни человека, все силы которого были посвящены благу его родины.

Дмитрий Иванович Мейер, скончавшийся в Петербурге в начале прошлого года, профессор здешнего университета, около десяти лет занимал кафедру гражданских законов в Казанском университете. Постоянную мыслью его было улучшение нашего юридического быта силою знания и чести. Здесь не место говорить о его трудах по званию профессора, о его чрезвычайно сильном и благотворном влиянии на слушателей, которые все на всю жизнь сохранили благоговение к его памяти. Цель нашего рассказа требует только заметить, что задушевным его стремлением было соединение юридической науки с юридической практикой. Он устроил при своих лекциях в университете консультацию и сам занимался ведением судебных дел, разумеется, без всякого вознаграждения (это был человек героического самоотвержения), с целью показать своим воспитанникам на практике, как надобно вести судебные дела. Одно из таких дел и будет предметом нашего рассказа.

В том городе, где жил Мейер, был купец, раз или два с большою пользою для себя совершавший проделку, на которую решается Большаков (в комедии г. Островского). Приобретя опытность в этом выгодном упражнении, он вздумал еще раз объявить себя

банкротом и предложил своим кредиторам получить по пяти или по десяти копеек за рубль. Прежние проделки такого рода удачно сходили ему с рук. Никто не мог или не хотел уличить его в злостном банкротстве. Он думал, что и теперь дело кончится по прежним примерам. Но Мейер сказал кредиторам, что готов взять на себя управление делами конкурса. Вице-губернатором был тогда человек благонамеренный, и Мейер мог вести дело строгим законным порядком. Долгого времени, большого труда стоило ему привести в порядок счета торговца, веденные по общему обычаю, безалаберным образом и, сверх того, умышленно запутанные и наполненные фальшивыми цифрами. Все средства подкупа, обмана и промедления были употреблены должником и его партизанами. Все напрасно. Мейера нельзя было ни запугать, ни обольстить, ни обмануть. Он сидел над счетными книгами и записками и, наконец, привел дело в ясность. Он доказал злостность банкротства, и банкрот был арестован. Месяц проходил за месяцем в известных переговорах между банкротом и его партизанами. Все их усилия оказывались напрасными. Банкрот сидел под арестом, Мейер был непоколебим. Так прошло около года. Наконец банкрот убедился, что не может ни обольстить Мейера, ни пересилить его. Он заплатил долги своим кредиторам и был выпущен из-под ареста. И прямо из-под ареста явился в квартиру Мейера. Как вы думаете, с какими словами? «Благодарю тебя, уважаю тебя, — сказал он своему бывшему сопернику:— на твоём примере увидел я, что значит быть честным. Через тебя я узнал, что я поступал дурно. У нас так принято делать, как делал я. Ты мне раскрыл глаза. Теперь я понимаю, что дурно и что хорошо. Из всех людей, с которыми имел я дело, я верю тебе одному. Во всех своих делах я буду слушаться тебя, а ты не оставь меня своим советом».

Факт, нами рассказанный, могут засвидетельствовать все, жившие тогда в том городе, где находился Мейер и производилось дело. Обратите же внимание на этого банкрота, вы, которые не верите в коренное благородство, во врожденную любовь и уважение к правде в душах, по-видимому, самых загубелых и испорченных. В лице этого банкрота соединены были все те признаки, которыми может доказываться совершенная испорченность сердца, совершенная неспособность виновного обновиться для честной жизни: соединились все обстоятельства и побуждения, которые могут сделать признание правды противным самолюбию и эгоизму человека. Злостное банкротство есть одно из тех преступлений, которые требуют наибольшей ожесточенности сердца. Оно совершается не в минуту гнева или увлечения, оно совершается хладнокровно, обдуманно. Обдуманная решимость погубить многих людей должна господствовать в сердце преступника не несколько часов или дней, а целые месяцы, быть может, целые годы; потому что для исполнения его преступной мысли нужно ему очень долго хлопотать, чтобы, с одной стороны, получить все деньги от своих должников, с другой стороны — задолжать, как можно более, своим кредиторам и, не роняя своего кредита, значительно уменьшить, наличный запас товаров в своих магазинах. Привести к желаемому концу эти различные операции, из которых одна препятствует другой, очень затруднительно для торговца. Наконец, когда цель достигнута, когда в магазинах нет товаров, когда получены все деньги с должников и роздано множество векселей, начинаются новые, труднейшие испытания, против которых устоит только самая черствая душа. Преступник объявляет себя банкротом и с этой минуты каждый день должен выдерживать самые возмутительные сцены. К нему являлись люди, им разоряемые, они плачут перед ним, умоляют его, осыпают его проклятиями, — он должен оставаться хладнокровным и непоколебимым в своей решимости. Самый закоснелый разбойник, совершивший десятки убийств, содрогается сердцем от мольбы своих жертв и говорит, что если бы сцена убийства не была делом минуты, он не мог бы выдержать ее. Для банкрота подобные сцены непрерывно тянутся в течение недель и месяцев, и он непреклонно выдерживает свой характер. В этом страшном деле наш банкрот был не новичок. Не в первый раз занялся он им, когда встретил противником себе Мейера. Возвысить такого человека до любви к справедливости и добру было, кажется, делом гораздо более неправдоподобным, нежели обратить шайку разбойников в героев добродетели. И в чьем лице приходилось этому банкроту полюбить справедливость и доброту? В лице того

человека, которого из всех людей в мире он должен наиболее ненавидеть. Наш банкрот считал себя непобедимым хитрецом — Мейер, раскрыв все его уловки, жесточайшим образом оскорбил его самолюбие; Мейер разорил его, надолго лишил его свободы, подверг жестоким страданиям продолжительного ареста — и этого жесточайшего гонителя и врага своего должен был полюбить человек с закоснелой душой, им оскорбленный, разоренный, измученный. Дело совершенно неправдоподобное для тех поверхностных наблюдателей, которые не знают, как много остатков и зародышей добра и благородства таится в душе самого дурного из дурных людей, которые забывают, что самый закоснелый злодей все-таки человек, т. е. существо, по натуре своей, склонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всем дурным, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанию, заблуждению или по влиянию обстоятельств сильнейших, нежели его характер и разум, но никогда не могущее, добровольно и свободно, предпочесть зло добру. Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер. Такие люди, как Мейер, составляют редкое исключение во всяком обществе в каждое время. Их пример, конечно, самым благотворным образом действует на каждого, кто вступает в близкие отношения с ними. Сила их личности такова, что для человека, совлеченного в сферу ее действия, уравновешивается, часто даже превосгается влиянием ее влияния всех других обстоятельств, действующих в противном направлении. Но число баярдов, людей «без страха и упрека», как Мейер, всегда и везде было так невелико, что сила их личного влияния могла отражаться лишь на незначительной части общества, которому они принадлежали. Пример жизни отдельного героя добродетели увлекает лишь нескольких отдельных людей, но не целые общества. Напрасно успокаивать себя мечтою: пусть явятся добродетельные люди, и пример их исправит общество. В истории обществ пример не может иметь такой силы. Он важен, если указывает практический способ достичь цели, которой и без того каждому хотелось уже достигнуть, имея на то средства. Васко-де-Гама обогнул мыс Доброй Надежды, и тысячи кораблей устремились вслед за ним. Но это потому только, что уже и без Васко-де-Гамы, и прежде него всем хотелось доходить морем до Индии, а корабли были уже готовы. Но никогда в истории не может иметь пример такой силы, чтобы им устранялось действие закона причинности, по которому нравы народа сообразуются с обстановкою народной жизни. Десятки тысяч гордых своим достоинством и деятельных англичан живут в Индии среди народа, обстоятельства жизни которого сложились так, что главными чертами нравов его стала низость и лень. Обстоятельства эти до сих пор не устранены, и, как видим, индейцы по-прежнему остаются низки и ленивы, хотя имеют перед глазами множество примеров противных качеств в англичанах. Но пусть англичане позаботятся об отстранении тех фактов, влиянием которых развратились и унизились индейцы; [пусть постараются они вразумить индейцев, что нелепо факирство, что нелепы касты; пусть введут они законы, которыми возвращались бы человеческие права париям; пусть позаботятся об ограждении индийского земледельца и промышленника от презрительного обхождения и притеснений со стороны высших каст, и] тогда немного нужно будет лет для того, чтобы воскресли в индийском народе трудолюбие, уважение перед законом, любовь к справедливости и чувство человеческого достоинства. Но оставим Ост-Индию и англичан. Пусть они воображают, что лучшее средство им утвердиться в Ост-Индии не приобретение преданности от индейцев, а приобретение Герата и Кандугара. Пусть они забывают, что если Великобритания с своими тридцатью миллионами населения не опасается никакого иноземного нашествия, то Индия с своими полутора миллионами населения не нуждалась бы, конечно, ни в каких Гератах, если бы признавала пользу защищать учреждения, которыми была бы обязана англичанам. Это дело одних предположений, которые мы сами готовы назвать праздными. И какое нам дело до всех этих азиатцев? Пусть себе ленятся. У них такой благодатный климат, что им очень можно лениться. Если бы, например, г. Буеракин жил в Ост-Индии, его нравы чрезвычайно хорошо пришлись бы к тропическому климату, и мы не сказали бы ни слова против его образа жизни. Он мечтает. Это было бы очень удобно и прилично на берегах Нербудды, под тенью

бананов. Но мы думаем, что ему очень скучно мечтать в селе Заовражье и что раньше или позже, соскучившись мечтать, он, подобно Ижбурдину и подьячему прошлых времен, вздумает заняться делом. Конечно, он будет поступать не так, как эти невежды. Он человек благородный и просвещенный. Он захочет перенести в жизнь свои гуманные убеждения. О людях с гуманными убеждениями существует у нас поверье, будто они люди вовсе не практические и, принявшись за дело, сочинят такую путаницу, что для замешанного в нее народа будет тяжелее, нежели когда бы попался он в руки подьячему прошлых времен или даже самому Ивану Петровичу. В литературе было очень много заслуженных насмешек над такими людьми; и Щедрин, подобно другим нашим сатирикам, очень строго и справедливо уличает представителя непрактических людей с возвышенными стремлениями в очерке «Неумелые». Но Буеракин не таков. Он человек проницательный. Если он захочет взяться за дело, он сумеет вести дело, как нужно по его мнению. До сих пор мы очень мало касались воззрений самого Щедрина на людей, им изображаемых. Типы и факты, о которых мы говорили, так просты, что между порядочными людьми не может быть никакого личного различия в понятиях о них. Никто не станет восхищаться подьячим прошлых времен и Ижбурдиным с товарищами. Но на людей, подобных Буеракину, можно смотреть различно. Слова его гуманны. Людям, зависящим от него, приходится жить очень плохо. Очень многие, не колеблясь, скажут, что он человек дурной, говорящий одно, делающий другое, лжец и лицемер. Мнение очень натуральное. Но Щедрин не разделяет его, и в том надобно видеть одно из убедительных доказательств редкого знания жизни и умения ценить людей. У Щедрина Буеракин вовсе не лицемер. Он не только говорит о благе общем, он действительно желает его, насколько понимает. Скажем больше: в том кругу жизни, который зависит от него, он приводит в исполнение те мысли, которые кажутся ему справедливыми. Справедливо сам Буеракин называет себя человеком отменно добрым. Весь тон рассказа свидетельствует, что Щедрин разделяет это мнение. Как честный докладчик, Щедрин нимало не скрывает тех дурных вещей, которые допускаются или даже делаются Буеракиными. Об этих вещах говорит он с справедливым негодованием, и, однако же, все-таки видно, что он расположен к Буеракину, хотя за многое строго осуждает его. Щедрин не мог бы иметь «добрым приятелем» человека дурного.

Каким же образом человек добрый и хороший, человек с очень просвещенным образом мыслей и проницательным умом может дозволить делать такие дурные вещи, как Буеракин? Многие скажут: это потому, что он человек бесхарактерный, слабый, изленившийся. Сам Буеракин отчасти намекает на такое объяснение, конечно выгоднейшее для его доброго имени. Он, видите ли, представляет себя чем-то вроде Гамлета, человека сильного только в бесплодной рефлексии, но слабого на дело, по причине отсутствия воли. Это уж не первый Гамлет является в нашей литературе, — один из них даже так и назвал себя прямо по имени «Гамлетом Щигровского уезда», а наш Буеракин, по всему видно, хочет быть «Гамлетом Крутогорской губернии». Видно, немало у нас Гамлетов в обществе, когда они так часто являются в литературе, — в редкой повести вы не встретите одного из них, если только повесть касается жизни людей с так называемыми благородными убеждениями.

Однако ж мы не остановимся на одном прозвании таких людей; нам мало имени, мы хотим знать дело, — мы хотим знать, почему Гамлет — Гамлет, то есть человек при всех прекрасных качествах своей души делающийся мучением для самого себя и причиною гибели для тех, судьба которых от него зависит, и которым он очень искренно желает добра, — например, причиною гибели Офелии и Лаэрта. Одною слабостью характера при силе ума, склонного к рефлексии, этого дела не объяснишь: мало ли людей с слабым характером, сильным умом и склонностью к рефлексии проживают свой век очень счастливо для себя и для близких к себе? Есть тут другое обстоятельство: Гамлет находится в фальшивом или, проще сказать, ненатуральном положении. Он, как сын, должен был бы любить свою мать и, однако же, должен ненавидеть ее, как убийцу своего отца. Он искренно и очень горячо любит Офелию — и, однако же, не считает приличным для себя жениться на ней. Положение обоих дел так противоестественно, что может наделать чепухи в голове

человека и не имеющего склонности к рефлексии, может повести к поступкам нелепо непоследовательным и пагубным для него самого и для других даже такого человека, который не отличается особенною слабостью воли. Только немногие негодяи, одаренные очень редкою бессовестностью, или еще менее многочисленные счастливицы, одаренные железным стоицизмом, могли бы поступать благоразумно и быть счастливы на месте Гамлета. Из ста человек девяносто девять, будучи в его положении, точно так же мучились бы, наделали бы точно таких же бед и себе и другим. Различие темпераментов относительно таких дел имеет мало важности. В том и заключается всемирное значение драмы Шекспира, что в Гамлете вы видите самих себя в данном положении, каков бы ни был ваш темперамент.

Взглянем же с этой точки зрения на нашего Буеракина. Оставим на время психологические особенности его характера. Всмотримся только в его положение, и для вас будет ясно, почему он, говоря так хорошо, поступает так дурно. Отношения его к людям, судьба которых от него зависит, так же не натуральны, как отношения Гамлета к Офелии. Любить женщину и не желать назвать ее своею женою, желать добра людям и вместе с тем брать у них необходимое им, для удовлетворения твоим прихотям, — которое из этих двух положений кажется вам менее противоестественно, менее фальшиво? На наши глаза оба они равно не натуральны, равно дурны.

Многие обвиняют Буеракина в неверности своим убеждениям; быть может, и вы, читатель, назвали его лицемером? В таком случае вы выразились неосторожно и неосновательно. Измена убеждениям! Мизантропы говорят, что это нравственное преступление совершается людьми гораздо реже, нежели как кажется; что человек, сознательно изменяющий своим основным убеждениям, человек, у которого мысль раздвоилась с желанием, такое же редкое явление, как человек, у которого правая половина лица не похожа на левую. Берне, — кажется, он не слишком выгодно думал о людях и достаточно бранил их, — Берне прямо говорит, что едва ли когда-нибудь хотя один человек изменял своим убеждениям. Едва ли не придется согласиться с Берне, если только не будешь обольщаться общими фразами, принимающими различные оттенки смысла в различных устах, и станешь внимательно присматриваться к точному содержанию убеждений. Часто сам человек не замечает истинного содержания своих убеждений, воображает, что он думает вовсе не то, что в самом деле он думает, — вот хотя бы, например, Буеракин. Он от искренней души называет себя «негодным» человеком, то есть негодным для жизни и для принесения пользы ближнему, и воображает, что в самом деле считает себя человеком негодным. А на самом деле неужели таково его убеждение о себе? Постороннему человеку это виднее, нежели ему самому. Послушайте только, что он отвечает через несколько строк Щедрина на вопрос о его лени и бездействии. Щедрин говорит: вы ничего не делаете и воображаете, что ничего полезного нельзя сделать.

«— Угадали, — говорит Буеракин: — угадали. Но от вас ускользнули некоторые подробности, которые я и постараюсь объяснить вам. Первое дело, которым я занимаюсь, — это мое искреннее желание быть благодетельным помещиком. Это дело не трудное, и я достигаю достаточно удовлетворительных результатов, коль скоро как можно менее вмешиваюсь в дела управления. Вы, однако ж, не думайте, чтоб я поступал таким образом из беспечности или преступной лени. Нет, у меня такое глубокое убеждение в совершенной ненужности вмешательства, что и управляющий мой существует только для вида, для очистки совести, чтоб не сказали, что овцы без пастыря ходят... Поняли вы меня?»

— Ну, тут еще не много работы...

— Больше, нежели вы предполагаете...»

Конечно, в этом монологе есть оттенок иронии, но под ирониею скрывается положительно доброе мнение о своей деятельности. Да и каков смысл самой иронии? Он очень ясен. «Правда, я делаю кое-что хорошее; но столько ли еще хорошего способен был бы

я сделать, если б дано было мне более обширное поприще деятельности!» — А как же он сам себя, за минуту, называл «негодным» человеком? — Это ничего. Когда человек, не переводя духа, говорит о себе: «Правда, я дрянь, но все-таки я хороший человек», — в этой фразе нет нисколько противоречия. Не много нужно пронизательности, чтобы видеть, какое именно слово этой, по-видимому, противоречивой фразы положительно выражает мнение говорящего. Это слово: «я хороший человек». Предыдущая половина фразы нимало ему не противоречит; напротив, она только усиливает его значение, имея такой смысл: «Ныне обстоятельства не дают обнаружиться моему превосходству во всем его объеме. Я не могу делать ничего достойного моих великих качеств. Теперь вы смотрите на меня, как на человека замечательного: но как вы удивились бы моей гениальности и моему благородству, если бы обстоятельства когда-нибудь позволили проявиться всему богатству моей натуры!» В сущности Буеракин вовсе не считает себя человеком недействительным и бесполезным. Напротив, мысль о противоречии его поступков его убеждениям не приходит ему и в голову. Напротив, он гордится своим образом действий, как совершенно сообразным с его убеждениями. Приведенная нами выписка убедит каждого, что наружность ленивца действительно не мешает ему быть человеком деятельным. Внимательное рассмотрение его убеждений докажет, что какова бы ни была его деятельность, но она сообразна с его убеждениями.

В самом деле, положение человека имеет решительное влияние на характер его убеждений. Чрез всю историю можно проследить тот неизменный факт, что при переходе человека из наблюдательного, теоретического положения к практической деятельности он обыкновенно очень во многом начинал следовать примеру своих предместников в этом практическом положении, хотя прежде осуждал их образ действий. Односторонние и поверхностные теоретики называют это недобросовестностью. Но факт, столь всеобщий, не может зависеть от личных слабостей или пороков отдельных людей. Он должен необходимо иметь какие-нибудь основания в самой необходимости вещей. Дело в том, что с каждой новой точки зрения перспектива изменяется. Какому-нибудь французскому публицисту очень легко было осуждать английских министров за то, что они, лет пятнадцать тому назад, вели войну с Китаем для поддержания торговли опиумом. С своей точки зрения публицист был прав. Но если б ему самому случилось сделаться английским министром, он, по всей вероятности, продолжал бы войну за опиум, которую прежде так строго осуждал. Он сказал бы: «Конечно, торговля опиумом безнравственна, но она уже существует и не может быть искоренена моими усилиями, потому что сами китайцы ее хотят поддерживать. Если б англичане перестали продавать китайцам опиум, китайцы нашли бы себе других продавцов — американцев, французов, португальцев. Притом же честь английского флага была оскорблена китайцами. Этого нельзя оставить без наказания. Наконец, война ведется вовсе не за опиум, а за то, что китайцы нарушили договоры, с нами заключенные». И опять, с своей точки зрения, этот человек был бы прав. Добросовестность его в обоих случаях одинакова, различен только его взгляд на вещи, и различие этого взгляда зависит от разности положений. В первом случае, как французский публицист, он не имел ни охоты, ни нужды принимать особенно близко к сердцу частные интересы Англии. Он решал дело единственно на основании идеи справедливости. Во втором случае, как английский министр, он должен заботиться об этих интересах. Если они не близки к его сердцу, тогда именно он был бы человеком недобросовестным и дурным. Его прежние товарищи, французские журналисты, скажут: «Он изменил своим прежним убеждениям!» Он будет отвечать им: «Нимало не изменял. По-прежнему я думаю, что справедливость выше всего. Но, вы согласитесь, справедливость требует, чтобы английский министр принимал в соображение интересы Англии. Торговля опиумом несправедлива. Но нелепо было бы англичанам передать эту торговлю в руки своих соперников. Если бы она могла быть прекращена, мы отказались бы от нее. Но прекратиться она не может. Ее поддерживают сами китайцы. Они повсюду ищут опиума. Или вы хотите, чтобы мы завоевали Китай для истребления в китайцах насильственными мерами привычки к курению опиума? Завоевание Китая нами было бы

единственным средством прекратить торговлю опиумом. Видите ли, в какое противоречие вы впадаете? Для прекращения нашей войны с Китаем вы требуете, чтобы мы завоевали Китай. Вы не хотите понимать настоящего положения дел и требуете вещей несообразных и невозможных, — вещей более несправедливых, нежели самая война за опиум. Прежде я, подобно вам, не знал фактов, судил по отвлеченной теории. Я нимало не изменил своим прежним убеждениям. Справедливость выше всего. Но в чем справедливость? — вот вопрос. Чтобы разрешить его, нужно знать факты. Прежде я, подобно вам, не знал их; теперь знаю. Вот вся разница между вами и мною». С своей точки зрения, он будет совершенно прав.

Итак, два различные положения необходимо ведут к двум различным взглядам на вещи. С изменением положения человека изменяется его точка зрения, изменяется и характер его убеждений. Но к чему нам говорить об Англии и англичанах? Иной может сказать, что в наше время люди дурны, что в наше время нет твердости убеждений. Лучше мы сошлемся на другой пример, заимствуемый из мира непоколебимых убеждений и непреклонных характеров, из мира римского. Лет тысячи за две до нашего времени Цицерон наделал страшного шума, нападая на гнусные, по его мнению, поступки Верреса в Сицилии. Страшно дурным человеком выставил он несчастного Верреса: нарушителем всех законов, нарушителем всякой правды и совести, грабителем, убийцей и т. д., и т. д. По словам Цицерона, оказывалось, что никогда еще в мире не бывало негодяя и злодея, подобного Верресу. Веррес трусил и бежал из Рима, не защищаясь. Совершенно напрасно. Почему бы ему не защищаться? Разве не было у него оправданий? Он мог бы сказать Цицерону, например, следующее: «Мой друг! вы не были пропретором в Сицилии, Вы не знаете этих людей. Войдите в мое положение. Я желал бы знать, что вы сами стали бы делать на моем месте? Вы говорите об уважении к законам. Я сам уважаю их не меньше, нежели вы. Я был в Риме Praetor Urbanus⁵⁷. Скажите, нарушал ли я тогда законы? Допускал ли я подкуп и клятвопреступление в суде? Нет. Вы этого не можете сказать. Вы видите, в городе, где возможно правосудие и законность, я строго держался этих священных принципов. Но знаете ли вы Сицилию? В этой стране нет понятия о честности, о законности. Если бы вы, мой друг, вздумали там решать какую-нибудь тяжбу по римским законам, говорящим, что приговор должен быть основан на документах и на показаниях свидетелей, вы, мой друг, ни одного дела не решили бы справедливо: вам представили бы фальшивые документы, облеченные в строго легальную форму; вам представили бы ложных свидетелей, показания которых были бы неопровержимы по правилам легальности; знаете ли вы, мой друг, что в Сицилии за какие-нибудь десять сестерциев составят вам какой угодно фальшивый документ, что вы на рынке найдете тысячи людей, готовых дать какое угодно показание в вашу пользу за пять сестерциев? Пропретор Сицилии имеет подчиненных ему судей и администраторов — все они продажные плуты; вы можете сколько угодно сменять и наказывать этих людей, — преемники их будут точно таковы же. Таковы, mon cher⁵⁸ (как говорят в Галлии), нравы сицилианцев. Вас обманывали бы на каждом шагу. Если бы вы восстановили против себя этих людей, вас поймали бы в такую ловушку, что вы лишились бы и своего пропреторства и головы. Теперь вы обвиняете меня в административных злоупотреблениях — наказанием может мне за то служить только изгнание из вашего города Рима (в котором я и жить не хочу — мне гораздо приятнее жить в Афинах, между образованными людьми, нежели в вашем полудиком Риме), — а если бы я восстановил против себя людей, с которыми я имел дело в Сицилии, этих взяточников и плутов, они обвинили бы меня в измене Риму, и я, mon cher, рисковал бы головою. И какой полезной цели я достиг бы, восстанавливая против себя всех и каждого в Сицилии? Неужели мне удалось бы в самом деле водворить вашу законность и справедливость? Знакомы ли вы, mon

⁵⁷ Городской претор (лат.).

⁵⁸ Дорогой мой (франц.).

cher, с иберийцем Сервантесом? Вы хотите, чтобы я разыгрывал в Сицилии роль Дон-Кихота. Carissime!⁵⁹ глупо сражаться с ветряными мельницами. Поверьте: не нам с вами остановить могущественное действие крыльев, движимых силами стихий. Благоразумному человеку лучше всего быть мельником и брать за свой труд по горсти от медуны, доставляемого на обработку в его мельницы».

Мы не знаем, что мог бы отвечать Цицерон на эти возражения? Юлий Цезарь, конечно, не смутился бы ими. Он просто сказал бы: «Надобно с Сицилией поступить так, как я поступил с Транспаданскою Галлией. Я дал жителям ее право римского гражданства. Теперь транспаданцы управляются собственными сановниками. Нет у них ни пропреторов, ни тех порядков или беспорядков, которые существовали до моего времени». Но Цицерон был враг Юлия Цезаря и его благотворных для римского государства действий. Он осуждал Юлия Цезаря как врага Римской республики; он старался запутать Юлия Цезаря в дело Катилины. Он хотел задушить Юлия Цезаря рукою палача, как задушил Лентула. Он не мог бы согласиться с мнением Юлия Цезаря о деле Верреса и сицилианцев.

Вот, в этом деле мы имеем трех людей, занимающих различные положения. Веррес — пропретор, Цицерон — юрист, очень благонамеренный, но ровно ничего не понимающий в историческом ходе событий своего времени; Юлий Цезарь — государственный человек. Сообразно различию своих положений каждый из них смотрит на дело совершенно различными глазами. Веррес думает: «Сицилианцами нельзя управлять с соблюдением законности и справедливости. Но, между тем, нужно же как-нибудь управлять ими. Я поставлен в необходимость управлять ими так, как я управляю». У него исходный пункт — нравы сицилианцев. Цицерон говорит: «Законы должны быть уважаемы. Кто нарушает их, тот злодей и должен быть наказан. Ты, Веррес, нарушал законы, ты злодей и должен быть наказан». У него исходная точка — буква закона. Обстоятельств он не принимает в соображение. С своей точки зрения каждый из них прав. Но и тот и другой поставлены своим положением на одностороннюю точку зрения. И оба, могущие быть равно добросовестными, равно гибельные люди для Сицилии. Веррес управляет Сицилией незаконно, но думает, что иначе управлять ею нельзя. Цицерон хочет, чтобы Сицилия управлялась по законам, но не понимает, что это невозможно при том состоянии и на тех условиях, в каких поручена Сицилия Верресу. Но есть третья точка зрения, принадлежащая Юлию Цезарю, государственному человеку, положение которого внушает ему принимать в соображение как требования легальности, которыми исключительно занят юрист Цицерон, так и обстоятельства дел, которыми исключительно занят администратор Веррес. Юлий Цезарь говорит: «В настоящем положении дел Сицилией нельзя управлять законно и справедливо. В этом прав Веррес. Но незаконное управление пагубно и несправедливо: в этом прав Цицерон. Итак, нужно изменить положение дел в Сицилии. Средства к тому я уж показал, дал Транспаданской Галлии права римского гражданства. Этим я улучшил нравы транспаданцев и водворил в Транспаданской Галлии законный порядок, которого прежде не существовало в ней».

Все это мы говорили к тому, чтобы показать, как различные точки зрения на предмет необходимо вытекают из различных положений человека. Различие темперамента, даже (страшно сказать) различие в нравственных качествах человека ничтожно бывает перед влиянием его положения на образ его мыслей. Веррес был дурной человек (положим, хотя на то нет неопровержимых доказательств), но подобно ему в его положении действовали и все другие римские проквесторы, пропреторы и проконсулы, — и Катон, и Брут, и сам Цицерон, когда был проконсулом. — Цицерон был хороший человек (положим, хотя многие в том сомневаются), — в таком случае Гортензий, выступивший ему противником в тяжбе Верреса, был, вероятно, дурной человек. Но Цицерон и Гортензий оба в совершенно одинаковом духе обрабатывали римское право. И, конечно, никто не скажет, чтобы

⁵⁹ Мой дражайший (*итал.*).

нравственные недостатки юристов когда-нибудь отражались в духе законов, им составляемых. Хотя бы юрист был убийца и разбойник, он никогда не напишет законов, покровительствующих убийству и разбою. Джеффриз, с которым наши читатели знакомы из Маколея, был величайший в мире злодей и негодяй. Каждое его действие было преступно; но, однако же, истолкования закона, которые составлял он, по обязанности канцлера, составлены совершенно верно духу английского законодательства и до сих пор уважаются английскими юристами. В нравственном отношении Юлий Цезарь был, конечно, ниже Цицерона; по всей вероятности, был ниже Верреса. По крайней мере Верреса не ловили переодетого в женское платье в комнатах жен его приятелей, как ловили Цезаря; Веррес не поступал с своими товарищами по преторству так нагло и бессовестно, как Цезарь с своим товарищем по консульству, Бибулом. Но он был истинно государственный человек, и этого было довольно. Каков бы ни был он сам, но его правление было мудро и благотельно для государства. Цицерон пробовал братья за правление и, при всей своей честности, каждый раз делал страшную беду своему отечеству, только потому, что не мог становиться на точку зрения государственного человека.

Если положение человека имеет столь решительную силу над его деятельностью, над миром фактов столь твердых, определительных, неуступчивых, то, конечно, не меньше силы должно оно оказывать над его убеждениями, предметом столь общим, гибким, изменчивым. Утопить или вытащить из воды человека — вот факты: в них нет двусмыслия, в них невозможна ошибка. Я топлю человека: я не могу ошибаться в смысле своего действия. Я никак не могу скрыть от себя, что я лишаю его жизни. Я вытаскиваю его из воды — опять для меня невозможны никакие недоразумения. Я совершенно определительно знаю, что я спасаю ему жизнь. Таковы ли отношения человека к общим мыслям, к отвлеченным понятиям? Каждое слово, входящее в формулу моих убеждений, допускает столько различных оттенков смысла, принимает столько истолкований! Тут очень легки произвольные недоразумения пред самим собой; тут открыто, при всей добросовестности человека, самое широкое поле заблуждения пред самим собой. У трех людей в различных положениях на устах одна и та же фраза, о которой каждый из них говорит, что она выражает основное его убеждение: «я хочу справедливости», говорят и Веррес, и Цицерон, и Юлий Цезарь. Значит ли это, что они сходятся в своих убеждениях и стремлениях? Не торопитесь объявлять их людьми одинакового образа мыслей. Прежде разберите, в каком смысле представляется эта фраза каждому из них. Говоря «я хочу справедливости», Веррес говорит: «я хочу, чтобы меня оправдали за мое управление Сицилией. Несправедливо было бы наказать человека за то, что он не соблюдал формальностей, соблюдение которых было для него физически невозможно». Тою же самую фразою «я хочу справедливости» Цицерон говорит совершенно иное: «я хочу, чтобы наказан был Веррес. Справедливость требует, чтобы человек, нарушивший законы, был наказан по законам». Опять тою же самую фразою «я хочу справедливости» Юлий Цезарь говорит совершенно иное: «я хочу низвергнуть Помпея и Цицерона. Справедливость требует, чтобы государство было управляемо сообразно с своими потребностями. Помпей и Цицерон совершенно не понимают этих потребностей и вводят Рим в бесконечные бедствия. Справедливость требует, чтобы они удалились от дел, заниматься которыми неспособны, и чтобы эти дела поручены были человеку, который один в целом Риме способен вести их надлежащим образом с выгодой для государства, то есть поручены были мне. А что касается до тяжбы Цицерона с Верресом, это нелепость, основанная на тупоумных односторонностях той и другой партии. Справедливость требовала бы объявить торжественно на форуме и Цицерона и Верреса глупцами; но так как это дело пустое, то лучше его бросить». Да, очень различен бывает смысл одних и тех же слов в различных устах.

Весь этот эпизод, быть может, слишком длинный, клонится к тому, чтобы [защитить] Буеракина, давно нами покинутого под тяжестью обвинения, будто бы его действия противоречат его убеждениям. Нам кажется, что обвинение против него взведено совершенно напрасно. Если вы, читатель, пренебрегаете Буеракиным, как человеком

двуличным, как эгоистом, жертвующим своими убеждениями своей лени или выгоде, вы введены в совершенное заблуждение, и притом очень грубое заблуждение, поверхностным предположением, будто бы Буеракин смотрит на вещи такими же глазами, как вы (я предполагаю, что вы смотрите на вещи такими же глазами, как я, — предположение также, быть может, ошибочное); вы введены в ошибку тем, что он употребляет фразы, которые употребляете вы, что он любит слова, входящие в состав этих фраз, точно так же, как вы. Но с чего же взяли вы, что под этими словами он понимает то же самое, что понимаете вы? Вникните хорошенько в выражения, которыми он окружает свои слова, одинаковые с вашими словами, и вы убедитесь, что в сущности он придает этим словам тот самый смысл, о каком свидетельствуют его поступки; вы увидите, что теоретическая сторона жизни этого человека совершенно соответствует практической; вы увидите, что Буеракин человек, верный в жизни своим убеждениям. Ключ к убеждениям Буеракина находится в тех фразах, которые произносит он по случаю ссоры между Абрамом Семенычем и Федором Карлычем. По его мнению, Федор Карлыч прав, и сверх того без Федора Карлыча плохо пришлось бы самому Абраму Семенычу и его товарищам, как людям непривычным и неспособным к порядочной жизни. Кроме того, Буеракин совершенно убежден, что может положиться на Федора Карлыча, который верно соблюдает выгоды его, Буеракина, всего образа его мыслей и всей его жизни. Если вы убедитесь в том, вам трудно будет не признать полной добросовестности Буеракина. Вам могут не нравиться его убеждения, но вы не откажете ни убеждениям этим в искренности, ни лицу его в строгой честности и благонамеренности.

Мы много раз упоминали о том, что различие темпераментов и личных наклонностей не имеет столь важного влияния на образ жизни и деятельность людей, как многие предполагают. У Владимира Константиныча Буеракина есть родственник, с которым знакомит нас Щедрин в монологе, имеющем эпиграф: «*vir bonus dicendi peritus*»⁶⁰. Темпераментом этот родственник совершенно отличается от Владимира Константиныча. У Владимира Константиныча есть наклонность к созерцательной жизни. У его кузена, напротив, чрезвычайно развита практичность. Тот — Платон, этот — Аристотель или даже Фемистокл. Так мы их и будем называть в нашей параллели, отчасти из подражания Плутарху, отчасти для краткости. Платон живет дикарем в деревне, Фемистокл — душа общества в губернском городе. Платон, как мы положительно знаем, человек холостой и любит волочиться. Фемистокл, по всей вероятности, женат, очень любит свою жену и совершенно верен ей (точно так же, как подруге, которую имеет, конечно, независимо от жены). У Платона нет детей; а если бы и были, то, без сомнения, пошли бы по миру нищими. У Фемистокла, без сомнения, есть очень миленькие дети, и отец так заботится о них, что хотя и достанется им наследство после их родственника Платона, но отец, не жалея своих сил, старается еще более обеспечить их будущность. Платона все считают злоязычником и избегают встречи с ним, хотя в душе, а часто и на словах, все над ним смеются и никто его не боится, все, напротив, помыкают им. Фемистокл чрезвычайно любезен и осторожен в обращении, все находят удовольствие быть с ним в обществе, но все боятся его. Одну только общую точку можно отыскать в личностях Платона и Фемистокла: оба они чрезвычайно обходительны с людьми, низшими их по званию, и вообще очень гуманны в своем обращении. Словом сказать — трудно найти контраст более полный и резкий, нежели контраст между Платоном и Фемистоклом, но, однако же, при всем бесконечном различии в темпераментах и наклонностях, речь Фемистокла могла бы служить продолжением и во всяком случае должна служить дополнением к речам Платона. Чтобы убедить в том читателя, мы приведем начало этой мастерской речи, одной из лучших в книге Щедрина:

«Если вы думаете, что мы имеем дело с этою грязью, *avec cette canaille*⁶¹, то

⁶⁰ Муж добродетельный, владеющий словом (*лат.*).

⁶¹ с этой канальей (*франц.*)

весьма ошибаетесь. На это есть писаря, ну, и другие там; это их обязанность, они так и созданы... Мы все слишком хорошо воспитаны, мы обучились разным наукам, мы мечтаем о том, чтобы у нас все было чисто, у нас такие опрятные взгляды на администрацию... согласитесь сами, что даже самое *comme il faut* запрещает нам мараться в грязи. Какой-нибудь Иван Петрович или Фейер — это понятно; они там родились, там и выросли; ну, а мы совсем другое. Мы желаем, чтобы и формуляр наш был чист, и репутация не запятнана — *vous comprenez?*⁶².

Повторяю вам, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вот я призыву мужика, да так и начну его собственными руками обдирать... Фи! Вы забыли, что от него там бог знает чем пахнет... да и не хочу я совсем давать себе этот труд. Я, просто, призываю писаря или там другого, *et je lut dis: «mon cher, tu me dots tant et tant!»*⁶³ — ну, и дело с концом. Как уж он там делает — это до меня не относится.

Я сам терпеть не могу взяточничества — фуй, мерзость! Взятки опять-таки берут только Фейеры да Трясучкины, а у нас на это совсем другой взгляд. У нас не взятки, а администрация; я требую только *должного*, а как оно там из них выходит, до этого мне дела нет. Моя обязанность только исчислить статьи: гоньба там, что ли, дорожная повинность, рекрутство... *Tout cela doit rapporter»*⁶⁴.

Много материалов для размышления представляет книга, «собранная и изданная г. М. Е. Салтыковым». Из двух или трех сот типов, представляемых записками его Щедрина, мы рассмотрели только три. Из двадцати трех статей, составляющих «Губернские очерки», мы коснулись только некоторых страниц из пяти очерков. Тот, кто захотел бы обсудить все замечательное и важное в «Записках» Щедрина, должен был бы к двум томикам его «Губернских очерков» прибавить двадцать огромных томов комментариев. Работа, — читатель, вероятно, ожидает, что мы скажем: громадная или утомительная? Нет, работа легкая и до такой степени заманчивая для пишущего, что трудно нам теперь сказать себе: «довольно, довольно, и без того статья уже длинна, вероятно, слишком длинна».

Читатели, по всей вероятности, совершенно разочарованы в своих предположениях содержанием нашей статьи. Читатели, вероятно, ожидали, что по поводу книги Щедрина мы будем говорить об общественных вопросах, которые возбуждаются «Губернскими очерками». Другие, быть может, думали, что мы коснемся художественных вопросов, ими возбуждаемых. Первая задача действительно имеет значительную привлекательность. Но пусть простят нас читатели. Гораздо интереснее показалось нам сосредоточить все наше внимание исключительно на чисто психологической стороне типов, представляемых Щедриным. Мы охотно признаемся, что этот личный наш вкус, быть может, ошибочен; но что ж делать? У каждого человека есть свои любимые пристрастия, есть свои любимые теории, есть свои любимые мысли, о которых он готов говорить кстати и некстати. У нас два таких пристрастия: во-первых, склонность к разрешению чисто психологических задач, во-вторых, склонность к извинению человеческих слабостей. [С этими двумя мыслями мы взяли за «Губернские очерки». Признаемся, нас очень мало интересовали все эти так называемые общественные язвы, раскрываемые в «Губернских очерках». Сказать ли откровенно? Мы даже придерживались той теории, что не дело беллетриста заниматься исцелением этих язв. Быть может, мы достойны за то названия людей, отставших от века, быть может, какой-нибудь остроумец найдет какую-нибудь точку сходства между нами и подъячим прошлых времен, а быть может, иной и благонамеренный, но слишком желчный человек скажет, что мы скорее защищаем, нежели осуждаем злоупотребления, против

⁶² вы понимаете? (франц.)

⁶³ и я ему говорю: «дорогой мой, ты мне должен столько-то и столько-то» (франц.).

⁶⁴ Все это должно приносить доход (франц.).

которых так благородно восстает Щедрин. Быть может даже, иной честный читатель пришлет нам негодующее письмо, в котором объяснит, что статья с таким направлением, как наша, была бы приличнее «Северной пчеле», нежели «Современнику». Упреки эти были бы горьки, но, по совести, мы не можем сказать, чтобы они были совершенно незаслуженны; пусть это решат другие, в своем деле никто не судья!] Нам показалось, что, защищая людей, мы не защищали злоупотреблений. Нам казалось, что можно сочувствовать человеку, поставленному в фальшивое положение, даже не одобряя всех его привычек, всех его поступков. Удалось ли нам провести эту мысль с достаточной точностью, пусть судят другие.

Что же касается литературных достоинств книги, изданной г. Салтыковым, — о них также пусть судят другие. «Губернские очерки» мы считаем не только прекрасным литературным явлением, — эта благородная и превосходная книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни.

«Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, и полезнейшими, и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и проницательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперед говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной.

Чернышевский Николай Гаврилович

Русский человек на rendez-vous

Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки]
[Обзоры] [Помощь]

Оставить комментарий Чернышевский Николай Гаврилович (yes@lib.ru) Год: 1858
Обновлено: 27/01/2009. 56к. Статистика.Статья: КритикаЛитературная критика

Top of Form

Оценка: **4.63*88** Ваша оценка: шедеврзамечательноочень хорошохорошонормальноНе
читалтерпимопосредственноплохоочень плохоне читать

Bottom of Form

Аннотация:

Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»

Н. Г. Чернышевский

Русский человек на rendez-vous

Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»

«Рассказы в деловом, избличительном роде оставляют в читателе очень тяжелое впечатление; потому я, признавая их пользу и благородство, не совсем доволен, что наша литература приняла исключительно такое мрачное направление».

Так говорят довольно многие из людей, по-видимому, неглупых или, лучше сказать, говорили до той поры, пока крестьянский вопрос не сделался единственным предметом всех мыслей, всех разговоров. Справедливы или несправедливы их слова, не знаю; но мне случилось быть под влиянием таких мыслей, когда начал я читать едва ли не единственную хорошую новую повесть, от которой по первым страницам можно уже было ожидать совершенно иного содержания, иного пафоса, нежели от деловых рассказов. Тут нет ни крючкотворства с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных злодеев, объясняющих изящным языком, что они — благодетели общества, ни мещан,

мужиков и маленьких чиновников, мучимых всеми этими ужасными и гадкими людьми. Действие — за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица повести — люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные: проникнутые благороднейшим образом мыслей. Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты. Но последние страницы рассказа не похожи на первые, и по прочтении повести остается от нее впечатление еще более безотрадное, нежели от рассказов о гадких взяточниках с их циническим грабежом. Они делают дурно, но они каждым из нас признаются за дурных людей; не от них ждем мы улучшения нашей жизни. Есть, думаем мы, в обществе силы, которые положат преграду их вредному влиянию, которые изменят своим благородством характер нашей жизни. Эта иллюзия самым горьким образом отвергается в повести, которая пробуждает своей первой половиной самые светлые ожидания.

Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не видя этой девушки; его мысль весь день, всю ночь рисует ему ее прекрасный образ, настало для него, думаете вы, то время любви, когда сердце утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, мы видим Джульетту, счастьем которых ничто не мешает, и приближается минута, когда навеки решится их судьба, — для этого Ромео должен только сказать: «Я люблю тебя, любишь ли ты меня?» И Джульетта прошепчет: «Да...» И что же делает наш Ромео (так мы будем называть героя повести, фамилия которого не сообщена нам автором рассказа), явившись на свидание с Джульеттой? С трепетом любви ожидает Джульетта своего Ромео; она должна узнать от него, что он любит ее, — это слово не было произнесено между ними, оно теперь будет произнесено им, навеки соединятся они; блаженство ждет их, такое высокое и чистое блаженство, энтузиазм которого делает едва выносимой для земного организма торжественную минуту решения. От меньшей радости умирали люди. Она сидит, как испуганная птичка, закрыв лицо от сияния являющегося перед ней солнца любви; быстро дышит она, вся дрожит; она еще трепетнее потупляет глаза, когда входит он, называет ее имя; она хочет взглянуть на него и не может; он берет ее руку, — эта рука холодна, лежит как мертвая в его руке; она хочет улыбнуться; но бледные губы ее не могут улыбнуться. Она хочет заговорить с ним, и голос ее прерывается. Долго молчат они оба, — и в нем, как сам он говорит, растаяло сердце, и вот Ромео говорит своей Джульетте... и что же он говорит ей? «Вы передо мною виноваты, — говорит он ей; — вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше». Что это такое? Чем она виновата? Разве тем, что считала его порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Это изумительно! Каждая черта в ее бледном лице говорит, что она ждет решения своей судьбы от его слова, что она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидает теперь только того, чтоб он сказал, что принимает ее душу, ее жизнь, и он ей делает выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая жестокость? Что это за низкая грубость? И этот человек, поступающий так подло, выставлялся благородным до сих пор! Он обманул нас, обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном. Этот человек дряннее отъявленного негодяя.

Таково было впечатление, произведенное на многих совершенно неожиданным оборотом отношений нашего Ромео к его Джульетте. От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог

поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком.

Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу. Быть может, если бы характер этот был таков, каким желали бы видеть его люди, недовольные грубостью его на свидании, если бы он не побоялся отдать себя любви, им овладевшей, повесть выиграла бы в идеально-поэтическом смысле. За энтузиазмом сцены первого свидания последовало бы несколько других высокопоэтических минут, тихая прелесть первой половины повести возвысилась бы до патетической очаровательности во второй половине, и вместо первого акта из «Ромео и Джульетты» с окончанием во вкусе Печорина мы имели бы нечто действительно похожее на Ромео и Джульетту или по крайней мере на один из романов Жоржа Санда. Кто ищет в повести поэтически-цельного впечатления, действительно должен осудить автора, который, заманив его возвышенно сладкими ожиданиями, вдруг показал ему какую-то пошло-нелепую суетность мелочно-робкого эгоизма в человеке, начавшем вроде Макса Пикколомини и кончившем вроде какого-нибудь Захара Сидорыча, играющего в копеечный преферанс.

Но точно ли ошибся автор в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к подобному положению, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись перед нами. В «Фаусте» герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней — это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его; речь несколько минут шла уже так, что ему следовало непременно сказать это, но он, видите ли, не догадался и не посмел сказать ей этого; а когда женщина, которая должна принимать объяснение, вынуждена, наконец, сама сделать объяснение, он, видите ли, «замер», но почувствовал, что «блаженство волною пробегает по его сердцу», только, впрочем, «по временам», а собственно говоря, он «совершенно потерял голову» — жаль только, что не упал в обморок, да и то было бы, если бы не попалось кстати дерево, к которому можно было прислониться. Едва успел оправиться человек подходит к нему женщина, которую он любит, которая высказала ему свою любовь, и спрашивает, что он теперь намерен делать? Он... он «смутился». Не удивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как «поведением», нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в «Фаусте»; почти то же и в «Рудине». Рудин вначале держит себя несколько приличнее для мужчины, нежели прежние герои: он так решителен, что сам говорит Наталье о своей любви (хоть говорит не по доброй воле, а потому, что вынужден к этому разговору); он сам просит у ней свидания. Но когда Наталья на этом свидании говорит ему, что выйдет за него, с согласия и без согласия матери все равно, лишь бы он только любил ее, когда произносит слова: «Знайте же, я буду ваша», Рудин только и находит в ответ восклицание: «О боже!» — восклицание больше конфузное, чем восторженное, — а потом действует так хорошо, то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья принуждена сама пригласить его на свидание для решения, что же им делать. Получивши записку, «он видел, что развязка приближается, и втайне смущался духом». Наталья говорит, что мать объявила ей, что скорее согласится видеть дочь мертвой, чем женой Рудина, и вновь спрашивает Рудина, что он теперь намерен делать. Рудин отвечает по-прежнему «боже мой, боже мой» и прибавляет еще наивнее: «так скоро! что я намерен делать? у меня голова кругом идет, я ничего сообразить не могу». Но потом соображает, что следует «покориться». Названный трусом, он начинает упрекать Наталью, потом читать ей лекцию о своей честности и на замечание, что не это должна она услышать теперь от него, отвечает, что он не ожидал такой решительности. Дело кончается тем, что оскорбленная девушка отворачивается от него, едва ли не стыдясь своей любви к трусу.

Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев — особенность повестей г.

Тургенева? Быть может, характер именно его таланта склоняет его к изображению подобных лиц? Вовсе нет; характер таланта, нам кажется, тут ничего не значит. Вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же, как лица г. Тургенева. Например, характер таланта г. Некрасова вовсе не таков, как г. Тургенева; какие угодно недостатки можете находить в нем, но никто не скажет, чтобы недоставало в таланте г. Некрасова энергии и твердости. Что же делает герой в его поэме «Саша»? Натолковал он Саше, что, говорит, «не следует слабеть душою», потому что «солнышко правды взойдет над землею» и что надобно действовать для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он «болтал пустое». Припомним, как поступает Бельтов: и он точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление. Подобных примеров набрать можно было бы очень много. Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, — большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: «Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим», — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что «как же можно так скоро», и «притом же они — честные люди», и не только честные, но очень смирные и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не ждали и не ожидали» и проч.

Таковы-то наши «лучшие люди» — все они похожи на нашего Ромео. Много ли беды для Аси в том, что г. N. никак не знал, что ему с ней делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость; много ли беды в этом для Аси, мы не знаем. Первою мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало; напротив, и слава богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео оттолкнуло от него девушку еще тогда, когда не было поздно. Ася погрузит несколько недель, несколько месяцев и забудет все и может отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин ее. Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео — действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас. Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда, подобно другим, станет ограничиваться прекрасными рассуждениями, пока не представляется случая приняться за исполнение речей, а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как делают все. Только тогда и будут ею довольны; а теперь сначала, конечно, всякий скажет, что эта девушка очень милая, с благородной душой, с удивительной силой характера, вообще девушка, которую нельзя не полюбить, перед которой нельзя не благоговеть; но все это будет говориться лишь до той поры, пока характер Аси выказывается одними словами, пока только предполагается, что она способна на благородный и решительный поступок; а едва сделает она шаг, сколько-нибудь оправдывающий ожидания, внушаемые ее характером, тотчас сотни голосов закричат: «Помилуйте, как это можно, ведь это безумие! Назначать rendez-vous молодому человеку! Ведь она губит себя, губит совершенно бесполезно! Ведь из этого ничего не может выйти,

решительно ничего, кроме того, что она потеряет свою репутацию. Можно ли так безумно рисковать собою?» «Рисковать собою? это бы еще ничего, — прибавляют другие. — Пусть она делала бы с собой, что хочет, но к чему подвергать неприятностям других? В какое положение поставила она этого бедного молодого человека? Разве он думал, что она захочет повести его так далеко? Что теперь ему делать при ее безрассудстве? Если он пойдет за ней, он погубит себя; если он откажется, его назовут трусом и сам он будет презирать себя. Я не знаю, благородно ли ставить в подобные неприятные положения людей, не подавших, кажется, никакого особенного повода к таким несообразным поступкам. Нет, это не совсем благородно. А бедный брат? Какова его роль? Какую горькую пилюлю поднесла ему сестра? Целую жизнь ему не переварить этой пилюли. Нечего сказать, одолжила милая сестрица! Я не спорю, все это очень хорошо на словах, — и благородные стремления, и самопожертвование, и бог знает какие прекрасные вещи, но я скажу одно: я бы не желал быть братом Аси. Скажу более: если б я был на месте ее брата, я запер бы ее на полгода в ее комнате. Для ее собственной пользы надо запереть ее. Она, видите ли, изволит увлекаться высокими чувствами; но каково расхлебывать другим то, что она изволила наварить? Нет, я не назову ее поступок, не назову ее характер благородным, потому что я не называю благородными тех, которые легкомысленно и дерзко вредят другим». Так пояснится общий крик рассуждениями рассудительных людей. Нам отчасти совестно признаться, но все-таки приходится признаться, что эти рассуждения кажутся нам основательными. В самом деле, Ася вредит не только себе, но и всем, имевшим несчастье по родству или по случаю быть близкими к ней; а тех, которые для собственного удовольствия вредят всем близким своим, мы не можем не осуждать.

Осуждая Асю, мы оправдываем нашего Ромео. В самом деле, чем он виноват? разве он подал ей повод действовать безрассудно? разве он подстрекал ее к поступку, которого нельзя одобрить? разве он не имел права сказать ей, что напрасно она запутала его в неприятные отношения? Вы возмущаетесь тем, что его слова суровы, называете их грубыми. Но правда всегда бывает сурова, и кто осудит меня, если вырвется у меня даже грубое слово, когда меня, ни в чем не виноватого, запутают в неприятное дело; да еще пристают ко мне, чтоб я радовался беде, в которую меня втянули?

Я знаю, отчего вы так несправедливо восхитились было неблагородным поступком Аси и осудили было нашего Ромео. Я знаю это потому, что сам на минуту поддался неосновательному впечатлению, сохранившемуся в вас. Вы начитали о том, как поступали и поступают люди в других странах. Но сообразите, что ведь то другие страны. Мало ли что делается на свете в других местах, но ведь не всегда и не везде возможно то, что очень удобно при известной обстановке. В Англии, например, в разговорном языке не существует слова «ты»: фабрикант своему работнику, землевладелец нанятому им землекопу, господин своему лакею говорит непременно «вы» и, где случится, вставляют в разговоре с ними *sir*, то есть все равно, что французское *monsieur*, а по-русски и слова такого нет, а выходит учтивость в том роде, как если бы барин своему мужику говорил: «Вы, Сидор Карпыч, сделайте одолжение зайдите ко мне на чашку чая, а потом поправьте дорожки у меня в саду». Осудите ли вы меня, если я говорю с Сидором без таких subtilностей? Ведь я был бы смешон, если бы принял язык англичанина. Вообще, как скоро вы начинаете осуждать то, что не нравится вам, вы становитесь идеологом, то есть самым забавным и, сказать вам на ушко, самым опасным человеком на свете, теряете из-под ваших ног твердую опору практической действительности. Опасайтесь этого, старайтесь сделаться человеком практическим в своих мнениях и на первый раз постарайтесь примириться хоть с нашим Ромео, кстати уж зашла о нем речь. Я вам готов рассказать путь, которым я дошел до этого результата не только относительно сцены с Асей, но и относительно всего в мире, то есть стал доволен всем, что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь (кроме неудач в делах, лично для меня выгодных), ничего и никого в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы), — словом сказать, я расскажу вам, как я сделался из желчного меланхолика человеком до того

практическим и благонамеренным, что даже не удивлюсь, если получу награду за свою благонамеренность.

К начал с того замечания, что не следует порицать людей ни за что и ни в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе мыслей не мог далеко уйти от общества, в котором он воспитался и живет, и в самом энергичном человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет вода. В среднем кругу принято красить яйца к пасхе, на масленице есть блины, — и все так делают, хотя иной крашенных яиц вовсе не ест, а на тяжесть блинов почти каждый жалуется. Так не в одних пустяках, и во всем так. Принято, например, что мальчиков следует держать свободнее, нежели девочек, и каждый отец, каждая мать, как бы ни были убеждены в неразумности такого различия, воспитывают детей по этому правилу. Принято, что богатство — вещь хорошая, и каждый бывает доволен, если вместо десяти тысяч рублей в год начнет получать благодаря счастливому обороту дел двадцать тысяч, хотя, здраво рассуждая, каждый умный человек знает, что те вещи, которые, будучи недоступны при первом доходе, становятся доступны при втором, не могут приносить никакого существенного удовольствия. Например, если с десятью тысячами дохода можно сделать бал в 500 рублей, то с двадцатью можно сделать бал в 1 000 рублей: последний будет несколько лучше первого, но все-таки особенного великолепия в нем не будет, его назовут не более как довольно порядочным балом, а порядочным балом будет и первый. Таким образом даже чувство тщеславия при 20 тысячах дохода удовлетворяется очень немногим более того, как при 10 тысячах; что же касается до удовольствий, которые можно назвать положительными, в них разница совсем незаметна. Лично для себя человек с 10 тысячами дохода имеет точно такой же стол, точно такое же вино и кресло того же ряда в опере, как и человек с двадцатью тысячами. Первый называется человеком довольно богатым, и второй точно так же не считается чрезвычайным богачом — существенной разницы в их положении нет; и, однако же, каждый по рутине, принятой в обществе, будет радоваться при увеличении своих доходов с 10 на 20 тысяч, хотя фактически не будет замечать почти никакого увеличения в своих удовольствиях. Люди — вообще страшные рутинеры: стоит только всмотреться поглубже в их мысли, чтоб открыть это. Иной господин чрезвычайно озадачит вас на первый раз независимостью своего образа мыслей от общества, к которому принадлежит, покажется вам, например, космополитом, человеком без сословных предубеждений и т. п., и сам, подобно своим знакомым, воображает себя таким от чистой души. Но наблюдайте точнее за космополитом, и он окажется французом или русским со всеми особенностями понятий и привычек, принадлежащими той нации, к которой причисляется по своему паспорту, окажется помещиком или чиновником, купцом или профессором со всеми оттенками образа мыслей, принадлежащими его сословию. Я уверен, что многочисленность людей, имеющих привычку друг на друга сердиться, друг друга обвинять, зависит единственно от того, что слишком немногие занимаются наблюдениями подобного рода; а попробуйте только начать всматриваться в людей с целью проверки, действительно ли отличается чем-нибудь важным от других людей одного с ним положения тот или другой человек, кажущийся на первый раз непохожим на других, попробуйте только заняться такими наблюдениями, и этот анализ так завлечет вас, так заинтересует ваш ум, будет постоянно доставлять такие успокоительные впечатления вашему духу, что вы не отстанете от него уже никогда и очень скоро придете к выводу: «Каждый человек — как все люди, в каждом — точно то же, что и в других». И чем дальше, тем тверже *вы* станете убеждаться в этой аксиоме. Различия только потому кажутся важны, что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым, кажущимся различием скрывается совершенное тождество. Да и с какой стати в самом деле человек был бы противоречием всем законам природы? Ведь в природе кедр и иссоп питаются и цветут, слон и мышь движутся и едят, радуются и сердятся по одним и тем же законам; под внешним различием форм лежит внутреннее тождество организма обезьяны и кита, орла и курицы; стоит только

вникнуть в дело еще внимательнее, и увидим, что не только различные существа одного класса, но и различные классы существ устроены и живут по одним и тем же началам, что организмы млекопитающего, птицы и рыбы одинаковы, что и червяк дышит подобно млекопитающему, хотя нет у него ни ноздрей, ни дыхательного горла, ни легких. Не только аналогия с другими существами нарушалась бы непризнанием одинаковости основных правил и пружин в нравственной жизни каждого человека, — нарушалась бы и аналогия с его физической жизнью. Из двух здоровых людей одинаковых лет в одинаковом расположении духа у одного пульс бьется, конечно, несколько сильнее и чаще, нежели у другого; но велико ли это различие? Оно так ничтожно, что наука даже не обращает на него внимания. Другое дело, когда вы сравните людей разных лет или в разных обстоятельствах; у дитяти пульс бьется вдвое скорее, нежели у старика, у больного гораздо чаще или реже, нежели у здорового, у того, кто выпил стакан шампанского, чаще, нежели у того, кто выпил стакан воды. Но и тут понятно всякому, что разница — не в устройстве организма, а в обстоятельствах, при которых наблюдается организм. И у старика, когда он был ребенком, пульс бился так же часто, как у ребенка, с которым вы его сравниваете; и у здорового ослабел бы пульс, как у больного, если бы он занемог той же болезнью; и у Петра, если бы он выпил стакан шампанского, точно так же усилилось бы биение пульса, как у Ивана.

Вы почти достигли границ человеческой мудрости, когда утвердились в этой простой истине, что каждый человек — такой же человек, как и все другие. Не говорю уже об отрадных следствиях этого убеждения для вашего житейского счастья; вы перестанете сердиться и огорчаться, перестанете негодовать и обвинять, будете кротко смотреть на то, за что прежде готовы были браниться и драться; в самом деле, каким образом стали бы вы сердиться или жаловаться на человека за такой поступок, какой каждым был бы сделан на его месте? В вашу душу поселяется ничем не возмутимая кроткая тишина, сладостнее которой может быть только браминское созерцание кончика носа, с тихим неумолчным повторением слов «ом-мани-падмехум». Я не говорю уже об этой неоцененной душевно-практической выгоде, не говорю даже и о том, сколько денежных выгод доставит вам мудрая снисходительность к людям: вы совершенно радушно будете встречать негодяя, которого прогнали бы от себя прежде; а этот негодяй, быть может, человек с весом в обществе, и хорошими отношениями с ним поправятся ваши собственные дела. Не говорю и о том, что вы сами тогда менее будете стесняться ложными сомнениями совестливости в пользовании теми выгодами, какие будут подвергаться вам под руку: к чему будет вам стесняться излишней щекотливостью, если вы убеждены, что каждый поступил бы на вашем месте точно так же, как и вы? Всех этих выгод я не выставляю на вид, имея целью указать только чисто научную, теоретическую важность убеждения в одинаковости человеческой природы во всех людях. Если все люди существенно одинаковы, то откуда же возникает разница в их поступках? Стремясь к достижению главной истины, мы уже нашли мимоходом и тот вывод из нее, который служит ответом на этот вопрос. Для нас теперь ясно, что все зависит от общественных привычек и от обстрятьств, то есть в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств. Вы вините человека, — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его. Рассуждая о других, мы слишком склонны всякую беду считать виною, — в этом истинная беда для практической жизни, потому что вина и беда — вещи совершенно различные и требуют обращения с собою одна вовсе не такого, как другая. Вина вызывает порицание или даже наказание против лица. Беда требует помощи лицу через устранение обстоятельств более сильных, нежели его воля. Я знал одного портного, который раскаленным утюгом тыкал в зубы своим ученикам. Его, пожалуй, можно назвать виноватым, можно и наказать его; но зато не каждый портной тычет горячим утюгом в зубы, примеры такого неистовства очень редки. Но почти каждому мастеровому случается, выпивши в праздник, подрагаться — это уж не вина, а просто беда. Тут нужно не наказание отдельного лица, а изменение в

условиях быта для целого сословия. Тем грустнее вредное смешивание вины и беды, что различать эти две вещи очень легко; один признак различия мы уже видели: вина — это редкость, это исключение из правила; беда — это эпидемия. Умышленный поджог — это вина; зато из миллионов людей находится один, который решается на это дело. Есть другой признак, нужный для дополнения к первому. Беда обрушивается на том самом человеке, который исполняет условие, ведущее к беде; вина обрушивается на других, принося виноватому пользу. Этот последний признак чрезвычайно точен. Разбойник зарезал человека, чтобы ограбить его, и находит в том пользу себе, — это вина. Неосторожный охотник нечаянно ранил человека и сам первый мучится несчастьем, которое сделал, — это уж не вина, а просто беда.

Признак верен, но если принять его с некоторой проницательностью, с внимательным разбором фактов, то окажется, что вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда. Сейчас мы упомянули о разбойнике. Сладко ли ему жить? Если бы не особенные, очень тяжелые для него обстоятельства, взялся ли бы он за свое ремесло? Где вы найдете человека, которому приятнее было бы и в мороз и в непогоду прятаться в берлогах и шататься по пустыням, часто терпеть голод и постоянно дрожать за свою спину, ожидающую плети, — которому это было бы приятнее, нежели комфортабельно курить ситару в спокойных креслах или играть в ералаш в Английском клубе, как делают порядочные люди?

Нашему Ромео также было бы гораздо приятнее наслаждаться взаимными приятностями счастливой любви, нежели остаться в дураках и жестоко бранить себя за пошлую грубость с Асей. Из того, что жестокая неприятность, которой подвергается Ася, приносит ему самому не пользу или удовольствие, а стыд перед самим собой, то есть самое мучительное из всех нравственных огорчений, мы видим, что он попал не в вину, а в беду. Пошлость, которую он сделал, была бы сделана очень многими другими, так называемыми порядочными людьми или лучшими людьми нашего общества; стало быть, это не иное что, как симптом эпидемической болезни, укоренившейся в нашем обществе.

Симптом болезни не есть самая болезнь. И если бы дело состояло только в том, что некоторые или, лучше сказать, почти все «лучшие» люди обижают девушку, когда в ней больше благородства или меньше опытности, нежели в них, — это дело, признаемся, мало интересовало бы нас. Бог с ними, с эротическими вопросами, — не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили, — только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом портит все наши дела, и только нужно нам всмотреться, отчего попал в беду наш Ромео, мы увидим, чего нам всем, похожим на него, ожидать от себя и ожидать для себя и во всех других делах.

Начнем с того, что бедный молодой человек совершенно не понимает того дела, участие в котором принимает. Дело ясно, но он одержим таким тупоумием, которого не в силах образумить очевиднейшие факты. Чему уподобить такое слепое тупоумие, мы решительно не знаем. Девушка, не способная ни к какому притворству, не знающая никакой хитрости, говорит ему: «Сама не знаю, что со мной делается. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка». Кажется, ясно, какое чувство пробудилось в ней. Через две минуты она с волнением, отражающимся даже бледностью на ее лице, спрашивает, нравилась ли ему та дама, о которой, как-то шутя, упомянуто было в разговоре много дней тому назад; потом спрашивает, что ему нравится в женщине; когда он замечает, как хорошо сияющее небо, она говорит: «Да, хорошо! Если б мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели!.. Так бы и утонули в этой синеве... но мы не птицы». — «А крылья могут у нас вырасти», возразил я. — «Как так?» — «Поживете — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». — «А у вас были?» — «Как вам сказать?.., кажется, до сих пор я еще не летал». На другой день, когда он вошел, Ася покраснела; хотела было убежать из комнаты; была грустна и наконец,

припоминая вчерашний разговор, сказала ему: «Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли».

Слова эти были так ясны, что даже недогадливый Ромео, возвращаясь домой, не мог не дойти до мысли: неужели она меня любит? С этой мыслью заснул и, проснувшись на другое утро, спрашивал себя: «неужели она меня любит?»

В самом деле, трудно было не понять этого, и, однако ж, он не понял. Понимал ли он по крайней мере то, что делалось в его собственном сердце? И тут приметы были не менее ясны. После первых же двух встреч с Асей он чувствует ревность при виде ее нежного обращения с братом и от ревности не хочет верить, что Гагин — действительно брат ей. Ревность в нем так сильна, что он не может видеть Асю, но не мог бы и удержаться от того, чтобы видеть ее, потому он, будто 18-летний юноша, убегает от деревеньки, в которой живет она, несколько дней скитается по окрестным полям. Убедившись наконец, что Ася в самом деле только сестра Гагину, он счастлив, как ребенок, и, возвращаясь от них, чувствует даже, что «слезы закипают у него на глазах от восторга», чувствует вместе с тем, что этот восторг весь сосредоточивается на мысли об Асе, и, наконец, доходит до того, что не может ни о чем думать, кроме нее. Кажется, человек, любивший несколько раз, должен был бы понимать, какое чувство высказывается в нем самым этими признаками. Кажется, человек, хорошо знавший женщин, мог бы понимать, что делается в сердце Аси. Но когда она пишет ему, что любит его, эта записка совершенно изумляет его: он, видите ли, никак этого не предугадывал. Прекрасно; но как бы то ни было, предугадывал он или не предугадывал, что Ася любит его, все равно: теперь ему известно положительно: Ася любит его, он теперь видит это; ну, что же он чувствует к Асе? Решительно сам он не знает, как ему отвечать на этот вопрос. Бедняжка! на тридцатом году ему по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил бы ему, когда следует утереть носик, когда нужно ложиться почивать и сколько чашек чайку надобно ему кушать. При виде такой нелепой неспособности понимать вещи вам может казаться, что перед вами или дитя, или идиот. Ни то, ни другое. Наш Ромео человек очень умный, имеющий, как мы заметили, под тридцать лет, очень много испытанный в жизни, богатый запасом наблюдений над самим собой и другими. Откуда же его невероятная недогадливость? В ней виноваты два обстоятельства, из которых, впрочем, одно проистекает из другого, так что все сводится к одному. Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе: он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спугается все его искусство, — он будет делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать в руках. Он похож на моряка, который всю свою жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в полупресной воде; что, если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя в океане?

Боже мой! За что мы так сурово анализируем нашего героя? Чем он хуже других? Чем он хуже нас всех? Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волосы на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что мы видим перед собой мужчин, это — совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация — не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или по крайней мере не становится мужчиной благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных

делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что останется наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах. Если я стану наблюдать людей в том виде, как они представляются мне при отдалении от них участия в гражданской деятельности, какое понятие о людях и жизни образуется во мне? Когда-то любили у нас Гофмана, и была когда-то переведена его повесть о том, как по странному случаю глаза господина Перигринуса Тисса получили силу микроскопа, и о том, каковы были для его понятий о людях результаты этого качества его глаз. Красота, благородство, добродетель, любовь, дружба, все прекрасное и великое исчезло для него из мира. На кого ни взглянет он, каждый мужчина представляется ему подлым трусом или коварным интриганом, каждая женщина — кокеткою, все люди — лжецами и эгоистами, мелочными и низкими до последней степени. Эта страшная повесть могла создаваться только в голове человека, насмотревшегося на то, что называется в Германии *Kleinstadterei*⁶⁵, насмотревшегося на жизнь людей, лишенных всякого участия в общественных делах, ограниченных тесно размеренным кружком своих частных интересов, потерявших всякую мысль о чем-нибудь высшем копейного преферанса (которого, впрочем, еще не было известно во времена Гофмана). Припомните, чем становится разговор в каком бы то ни было обществе, как скоро речь перестает идти об общественных делах? Как бы ни были умны и благородны собеседники, если они не говорят о делах общественного интереса, они начинают сплетничать или пустословить; злоязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае бессмысленная пошлость — вот характер, неизбежно принимаемый беседой, удаляющейся от общественных интересов. По характеру беседы можно судить о беседующих. Если даже высшие по развитию своих понятий люди впадают в пустую и грязную пошлость, когда их мысль уклоняется от общественных интересов, то легко сообразить, каково должно быть общество, живущее в совершенном отчуждении от этих интересов. Представьте же себе человека, который воспитался жизнью в таком обществе: каковы будут выводы из его опытов? каковы результаты его наблюдений над людьми? Все пошрое и мелочное он понимает превосходно, но, кроме этого, не понимает ничего, потому что ничего не видел и не испытал. Он мог бог знает каких прекрасных вещей начитать в книгах, он может находить удовольствие в размышлениях об этих прекрасных вещах; быть может, он даже верит тому, что они существуют или должны существовать и на земле, а не в одних книгах. Но как вы хотите, чтоб он понял и угадал их, когда они вдруг встретятся его неприготовленному взгляду, опытному только в классификации вздора и пошлости? Как вы хотите, чтобы я, которому под именем шампанского подавали вино, никогда и не видавшее виноградников Шампани, но, впрочем, очень хорошее шипучее вино, как вы хотите, чтоб я, когда мне вдруг подадут действительно шампанское вино, мог сказать наверное: да, это действительно уже не подделка? Если я скажу это, я буду фат. Мой вкус чувствует только, что это вино хорошо, но мало ли я пил хорошего поддельного вина? Почему я знаю, что и на этот раз мне поднесли не поддельное вино? Нет, нет, в подделках я знаток, умею отличить хорошую от дурной; но неподдельного вина оценить я не могу.

Счастливы мы были бы, благородны мы были бы, если бы только неприготовленность взгляда, неопытность мысли мешала нам угадывать и ценить высокое и великое, когда оно попадется нам в жизни. Но нет, и наша воля участвует в этом грубом непонимании. Не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности, в суете которой я живу; этот характер перешел и в мою волю: какова широта взгляда, такова широта и решений; и, кроме того, невозможно не привыкнуть, наконец поступать так, как поступают все. Заразительность смеха, заразительность зевоты не исключительные случаи в общественной физиологии, — та

⁶⁵ Захолустье (нем.).

же заразительность принадлежит всем явлениям, обнаруживающимся в массах. Есть чья-то басня о том, как какой-то здоровый человек попал в царство хромых и кривых. Басня говорит, будто бы все на него напали, зачем у него оба глаза и обе ноги целы; басня солгала, потому что не договорила *все*: на прищельца напали только сначала, а когда он обжился на новом месте, он сам прищурил один глаз и стал прихрамывать; ему казалось уже, что так удобнее или по крайней мере приличнее смотреть и ходить, и скоро он даже забыл, что, собственно говоря, он не хром и не крив. Если вы охотник до грустных эффектов, можете прибавить, что когда, наконец, пришла нашему заезжему надобность пойти твердым шагом и зорко смотреть обоими глазами, уже не мог этого он сделать: оказалось, что закрытый глаз уже не открывался, искривленная нога уже не распрямлялась; от долгого принуждения нервы и мускулы бедных искаженных суставов утратили силу действовать правильным образом.

Прикасающийся к смоле зачернится — в наказание себе, если прикасался добровольно, на беду себе, если не добровольно. Нельзя не пропитаться пьяным запахом тому, кто живет в кабаке, хотя бы сам он не выпил ни одной рюмки; нельзя не проникнуться мелочностью воли тому, кто живет в обществе, не имеющем никаких стремлений, кроме мелких житейских расчетов. Невольно вкрадывается в сердце робость от мысли, что вот, может быть, придется мне принять высокое решение, смело сделать отважный шаг не по пробитой тропинке ежедневного моциона. Потому-то стараешься уверять себя, что нет, не пришла еще надобность ни в чем таком необыкновенном, до последней роковой минуты, нарочно убеждаешь себя, что все кажущееся выходящим из привычной мелочности не более как обольщение. Ребенок, который боится буки, зажмуривает глаза и кричит как можно громче, что буки нет, что бука вздор, — этим, видите ли, он ободряет себя. Мы так умны, что стараемся уверить себя, будто все, чего трусим мы, трусим единственно от того, что нет в нас силы ни на что высокое, — стараемся уверить себя, что все это вздор, что нас только пугают этим, как ребенка букой, а в сущности ничего такого нет и не будет.

А если будет? Ну, тогда выйдет с нами то же, что в повести г. Тургенева с нашим Ромео. Он тоже ничего не предвидел и не хотел предвидеть; он также зажмуривал себе глаза и пятился, а прошло время — пришлось ему кусать локти, да уж не достанешь.

И как непродолжительно было время, в которое решалась и его судьба, и судьба Аси, — всего только несколько минут, а от них зависела целая жизнь, и, пропустив их, уже ничем нельзя было исправить ошибку. Едва он вошел в комнату, едва успел произнести несколько необдуманных, почти бессознательных безрассудных слов, и уже все было решено: разрыв навеки, и нет возврата. Мы нимало не жалеем об Асе; тяжело было ей слышать суровые слова отказа, но, вероятно, к лучшему для нее было, что довел ее до разрыва безрассудный человек. Если б она осталась связана с ним, для него, конечно, было бы то великим счастьем; но мы не думаем, чтоб ей было хорошо жить в близких отношениях к такому господину. Кто сочувствует Асе, тот должен радоваться тяжелой, возмутительной сцене. Сочувствующий Асе совершенно прав: он избрал предметом своих симпатий существо зависимое, существо оскорбляемое. Но хотя и со стыдом, должны мы признаться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение о нем — пустая мечта, мы чувствуем, что не долго уже останется нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы

все еще желаем добра нашему герою и его собратам. Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, которой определится на веки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно, — только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные и благоразумные граждане, а сами они теперь не пригодны к роли, которая дается им; мы не хотим еще обратиться на них слова пророка: «Будут видеть они и не увидят, будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях, и оглохли их уши и закрыли они свои глаза, чтоб не видеть», — нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед, неизбежных для людей, не умеющих вовремя сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию людей, которых мы упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать сообразно здравому смыслу, но пусть по крайней мере не говорят они, что не слышали благоразумных советов, что не было им объяснено их положение.

Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим достопочтенным людям), есть довольно много людей грамотных; они знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой впереди ее ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, пока она подлетает к вам, но пропустите один миг — она пролетит, и напрасно погнались бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен счастливый миг. Не дожидаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту — вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться, и в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устраивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, — вот в чем для вас вопрос о счастии или несчастье навеки.

В чем же способы и правила для того, чтоб не упустить счастья, предлагаемого обстоятельствами? Как в чем? Разве трудно бывает сказать, чего требует благоразумие в каждом данном случае? Положим, например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом виноват. Предположим также, что мой противник, совершенно правый, так привык к несправедливостям судьбы, что с трудом уже верит в возможность дожидаться решения нашей тяжбы: она тянулась уже несколько десятков лет; много раз *спрашивал* он в суде, когда будет доклад, и много раз ему отвечали «завтра или послезавтра», и каждый раз проходили месяцы и месяцы, годы и годы, и дело все не решалось. Почему оно так тянулось, я не знаю, знаю только, что председатель суда почему-то благоприятствовал мне (он, кажется, полагал, что я предан ему всей душой). Но вот он получил приказание неотлагательно решить дело. По своей дружбе ко мне он призвал меня и сказал: «Не могу медлить решением вашего процесса; судебным порядком не может он кончиться в вашу пользу, — законы слишком ясны; вы проиграете все; потерей имущества не кончится для вас дело; приговором нашего гражданского суда обнаружатся обстоятельства, за которые вы будете подлежать ответственности по уголовным законам, а вы знаете, как они строги; каково будет решение уголовной палаты, я не знаю, но думаю, что вы отделаетесь от нее слишком легко, если будете приговорены только к лишению прав состояния, — между нами будь сказано, можно ждать вам еще гораздо худшего. Ныне суббота; в понедельник ваша тяжба будет доложена и решена; далее отлагать ее не имею я силы при всем расположении моем к вам. Знаете ли, что я посоветовал бы вам? Воспользуйтесь остающимся у вас днем:

предложите мировую вашему противнику; он еще не знает, как безотлагательна необходимость, в которую я поставлен полученным мной предписанием; он слышал, что тяжба решается в понедельник, но он слышал о близком ее решении столько раз, что изверился своим надеждам; теперь он еще согласится на любовную сделку, которая будет очень выгодна для вас и в денежном отношении, не говоря уже о том, что ею избавитесь вы от уголовного процесса, приобретете имя человека снисходительного, великодушного, который как будто бы сам почувствовал голос совести и человечности. Постарайтесь кончить тяжбу любовной сделкой. Я прошу вас об этом как друг ваш».

Что мне теперь делать, пусть скажет каждый из вас: умно ли будет мне поспешить к моему противнику для заключения мировой? Или умно будет пролежать на своем диване единственный остающийся мне день? Или умно будет накинуться с грубыми ругательствами на благоприятствующего мне судью, дружеское предупреждение которого давало мне возможность с честью и выгодой для себя покончить мою тяжбу?

Из этого примера читатель видит, как легко в данном случае решить, чего требует благоразумие.

«Старайся примириться с своим противником, пока не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи» (Матф., глава V, стих. 25 и 26).

Не начало ли перемены?

Рассказы Н. В. Успенского. Две части. Спб. 1861 г.

Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее? До сих пор он писал только такие крошечные рассказы, в которых не могло поместиться ни одно из качеств, обыкновенно составляющих репутацию хороших беллетристов. Начать с того, что ни в одной его статейке нет сказочного интереса; да и как в них быть ему, когда из 24 очерков, собранных теперь в отдельном издании, не меньше как двадцать рассказов как будто бы не имеют даже никакого сюжета? Только в четырех можно отыскать что-нибудь похожее на повесть, да и то, какую повесть? — самую незамысловатую и почти всегда недосказанную. «Старуха»; рассказывает, как попали в солдаты два ее сына; об одном, еще так себе, рассказывает она по порядку, а об другом не удалось ей поговорить, потому что уснул купец, слушавший ее, и принесла хозяйка постоялого двора бедной старушонке творожку и молочка, в ожидании которых болтала она с купцом. В другой пьесе стал мещанин рассказывать о своей покойной жене Грушке, досказал дело до женитьбы, да не случилось ему ничего сообщить, как он жил с Грушкой после свадьбы. В третьем рассказе повел речь г. Успенский о том, в какой гнусной бедности жил студент медицинской академии Брусиллов, но не довел речи ни до какой развязки: лежит Брусиллов больной в каком-то «углу» комнаты, за столом в которой извозчики считают деньги, за стеною которой пьяный сапожник бьет свое семейство, и над которой во втором этаже идет пляска, — на том и кончено; что же случилось с Брусилловым? Умер, что ли, он или как-нибудь оправился? — Ничего неизвестно. Есть еще рассказец о чуде Антошке, но и тут ничего не выжмешь, кроме того, что Антошка был мастер на нелепые проказы. Вот вам и все четыре пьески, в которых есть если не что-нибудь целое, то хоть половина чего-нибудь, что стало бы целым, если бы было dokonчено. А в остальных двадцати пьесах не спрашивайте и того: это все только маленькие отрывочки, как будто листки, вырванные из чего-нибудь, а из чего — и догадаться нельзя. Описывается, например, как извозчики рассчитывались с хозяином постоялого двора; или как проезжий с огромными усами наделал кутерьму на станции; или как шел праздничный обед у приказчика; или как народ ждал благовеста к заутрени на светлый праздник; или как проезжим юношам не удалось пошалить с смазливою бабенкою, которую посадили они на облучок; или как одна дьяконица приезжала в гости к другой, — и ни в одной из этих

отрывочных сцен ровно ничего особенного не описывается, и происшествий никаких нет. Если взглянуть на рассказы г. Успенского с другой стороны, посмотреть, не обрисованы ли в них характеры, нет ли психологических анализов, — и того не находите. Что ж, есть беллетристы, не заботящиеся ни о подборе приключений с занимательными завязками и развязками, ни об обрисовке характеров, ни о психологических тонкостях, но зато действующие на вас или яркою, жгучею тенденциею, или превосходным слогом. У г. Успенского не обнаруживается никакой тенденции, да и пишет он так себе, не заботясь как будто бы ни об остроумии, ни об изяществе. Правда, попадаются у него очень смешные фразы, иной раз случится и целая страница очень забавная; немало у него и коротеньких описаний, очень художественных, — но все это как будто написано у него случайно, а вообще рассказ его идет как попало, без всякого уважения к обязанности вознаградить хотя словом за бесцеремонность относительно содержания. Что же касается до тенденции, об ней лучше и не спрашивайте: взял человек два-три листа бумаги, набросал на них какой-нибудь разговорец или какое-нибудь описание и отдает вам лоскутки этих листов без начала и без конца, совершенно не думая о том выходит ли какой-нибудь смысл из написанного им. Конечно, у г. Успенского есть талант и большой талант: но что же это за талант, который дает нам все только лоскутки? Если уже говорить об таланте, то не следует ли только бранить его за такие незначительные и небрежные произведения?

Незначительные и небрежные, — оно бы казалось, что следует их считать такими, следует по всем возможным основаниям, во всех возможных отношениях; а на деле выходит не то. Публика считает маленькие пьесы г. Успенского заслуживающими внимания. Отчего же это?

Нам кажется, что причину тут не одна бесспорная талантливость, — мало ли есть произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас.

Давным-давно критика стала замечать, что в повестях и очерках из народного быта и характеры, и обычаи, и понятия сильно идеализируются. Стало быть, нам нечего и доказывать это, когда всем оно известно. Мы лучше поищем причин, по которым не мог отстать от идеализирования народа никто из прежних наших беллетристов, несмотря на советы критики. По нашему мнению, источник непобедимого влечения к прикрашиванию народных нравов и понятий был и похвален, и чрезвычайно печален. Замечали ли вы, какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему — говорить в ином тоне было бы вам совестно. Но совершенно другое дело, когда вы полагаете, что беда, тяготеющая над человеком, может быть отстранена, если захочет он сам и помогут ему близкие к нему по чувству. Тогда вы не распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства, от которых происходит его беда. Обыкновенно вы находите, что нужно перемениться и ему самому, чтобы изменилась его жизнь; вы замечаете, что напрасно он делал в известных случаях так, а не иначе, что ошибался он относительно многих предметов, что в характере его есть слабости, от которых надобно ему исправляться, что в привычках его есть дурное, которое должен он бросить, что в образе его мыслей есть неосновательность, которую должен он уничтожить более серьезным размышлением. Как бы ни началась ваша речь о таком человеке, незаметно для вас самих переходит она в укоризны ему. А вы, когда действительно желаете ему добра, нимало уже не конфузитесь этим: вы чувствуете, что в суровых ваших словах слышится любовь к нему и что они полезны для него, — гораздо полезнее всяких похвал.

Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича? Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба. Как пошлы, отвратительны сослуживцы Акакия Акакиевича, глумящиеся над его беспомощностью! Как преступно невнимательны его начальники, не вникающие в его бедственное положение, не заботящиеся пособить ему! Акакий Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестокосердия. Так, подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном. Но зато рассудите же, можно ли в самом деле пособить Акакию Акакиевичу. Разумеется, можно: назначить ему награду побольше обыкновенной, подарить ему шинеленку, когда старая стала слишком плоха. Это можно сделать. Но ведь это и делалось. Ведь начальник назначил ему награду больше той, на которую рассчитывал сам Акакий Акакиевич, и, без сомнения, гораздо больше той, какую в самом деле он заслужил. А сослуживцы хотели устроить подписку для покупки ему шинели. Правда, подписка не состоялась, но только по случайным обстоятельствам, в которых сослуживцы никак не были виноваты, и, может быть, на другой месяц, когда осталось бы у чиновников несколько лишних денег, действительно собрали бы они рублей пять-шесть на починку старой шинели. По крайней мере, желание у них было, и кое что они, вероятно, сделали бы. Да ведь они уж и сделали кое что: разве они не радовались покупке новой шинели? Они сделали больше: они даже пригласили Акакия Акакиевича на вечеринку. Чего же вам еще? Вы скажете, что все эти доброжелательства и милости не спасли Акакия Акакиевича ни от нищеты, ни от унижений, ни от жалкой смерти? — Разумеется, так, — но кто же в этом виноват? Разве было можно кому-нибудь в самом деле улучшить жизнь Акакия Акакиевича? Служа писцом, он получал малое жалованье; так. Что же, можно было дать ему повышение по службе, сделать, например, помощником столоначальника? Помилуйте, ведь начальник даже хотел было сделать это, но Акакий Акакиевич оказался решительно неспособен ни к чему лучшему жалкой должности писца. Он даже сам так думал. Ведь он сам стал просить, чтобы оставили его на прежнем месте. Скажите же, пожалуйста, в ком заключалась причина бедствий и унижений Акакия Акакиевича? В нем самом, только в нем самом. Сослуживцы издевались над ним. Но ведь друг над другом не издевались же они, друг с другом обращались же по-человечески. Ведь в самом деле Акакий Акакиевич был смешной идиот. Начальство давало мало жалованья Акакию Акакиевичу: ему нельзя было давать больше, он не заслуживал того, чтобы ему давали больше, едва ли заслуживал и такого жалованья, какое получал. Значительный человек прикрикнул на Акакия Акакиевича, явившегося просить об отыскании шинели, и прогнал его, но ведь Акакий Акакиевич не сумел ничего *объяснить ему* путным образом, а все только твердил: «тово... тово... тово...», и потом брякнул вздор, что секретари ненадежный народ, — глупость, совершенно не относящуюся к делу. Скажите же по совести, кто обязан слушать вздор, которого и разобрать нельзя?

Видите ли, теперь, Акакий Акакиевич имел множество недостатков, при которых так и следовало ему жить и умереть, как он жил и умер. Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный. Это видно из рассказа о нем, хотя рассказ написан не с тою целью. Зачем же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды об Акакии Акакиевиче, — на эту невыгодную для Акакия Акакиевича часть правды, выставленную нами?

Мы знаем отчего. Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно, если не может эта правда принести пользы ему, заслуживающему сострадания по своей убогости. Можно говорить об нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему. Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках.

Таково было отношение прежних наших писателей к народу. Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть, который может получать себе пользу только от нашего сострадания. И вот писали о народе точно так, как писал Гоголь об Акакии Акакиевиче. Ни одного слова жесткого или порицающего. Все недостатки прячутся,

затушевываются, замазываются. Налегается только на то, что он несчастен, несчастен, несчастен. Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича.

Прекрасно и благородно, — в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого народу? Для нас польза действительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслаждение получали мы от сострадательных впечатлений, сладко щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастью, проливать над ним слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрее и лучше, — нет, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрее и лучше, но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое получал покойный муж Коробочки от чесания пяток, или, чтобы употребить сравнение более знакомое нам, людям благовоспитанным, мы испытывали то же самое наслаждение, какое доставляет хорошая сигара. Славное было для нас время!

А теперь не то. Являются какие-то мальчишки, — по примеру «Русского вестника» и «Отечественных записок», называющих мальчишками нас, я позволяю себе назвать мальчишкою г. Успенского, который, кстати, и довольно молод в самом деле, — итак, являются мальчишки, вроде г. Успенского, которые чувствуют, — а может быть, и сознательно думают — кто их разберет, — что наши прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся; они говорят о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сентиментальную симпатию к нему. Если судить их слова по нашим прежним привычкам, то не видишь в них даже любви к народу, которой мы так гордились, по крайней мере, нет в них никакой снисходительности к нему, и не отыщешь в их рассказах ни одного похвального словечка. Взгляните, например, какие черты выставляет вам в народе г. Успенский.

Вот первый рассказ «Старуха». Один сын ее пошел в солдаты за то, что хотел взять назад свою жену от приказчика, который жил с нею. Какая идеальная история готова рисоваться перед вашею фантазиею, по привычке к прежнему прикрашиванию! Сильная привязанность жены к мужу, изверг-приказчик, насильно отнимающий красавицу-жену, вопли жены, страшные сцены ее напрасного сопротивления животному буйству и так далее, и так далее. Нет, у г. Успенского ничего такого не говорится. Сама старуха, мать пропавшего из-за жены сына, рассказывает дело таким образом:

Женили мы его; сыграли это свадьбу; глядь поглядь, примечаем: молодая, жена-то его — красивая была, бог с нею, баба — его не долюбивает и так совсем вот не льстится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гожа: оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала.

Вот как обжились они, Петруша — его звали Петрушей — начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой — все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит... дело было летом... Петр Семеныч, говорит — это приказчик, — велел нашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней. Думаем промежду себя: «зачем это?» У нас о ту пору все были дома: и она и Петруша. Старик говорит: «что ж, сходи, Петруша; за чем-нибудь понадобился: авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «ну, говорит, Варвара Борисьевна, пойдем, прогуляемся»: шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его...

«Ступай один, без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на коннике; обидно ему, стало быть, показалось: да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегда зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попада...» и побранил ее. Она не взлюбила: должно, не по нутру... накинула зипун, повязала платок писанный, — она все в писаных ходила, — и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головою — и только. «Жалко, говорит, Петрушу, смерть — жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижусь... качь, да качь... Смотрим, приходит он один уже перед вечером.

«Ну, Петрушка, зачем?» — спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково таково со мною обошелся: «я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь, как хочешь: у меня ей будет хорошо: я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы подумали... что же, говорим, отчего не так? хошь одна баба и была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногда сердце изнывает, гляючи на ее грубости. «Если ты, Петруша, — это говорит старик, — соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны». — «Отчего же, говорит, не согласиться? Я рад, что ей это по нраву: почему что, когда мы выходили от приказчика, она на меня: «живи, говорит, Петька, да не тужи», — это она-то ему — и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. «Что ж, ко мне, Варвара Борисьевна, часто будешь ходить?» — спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: «разя на деревне баб мало, окромя меня?»»

Видите, ровно никакого ни насилия, ни притеснения тут не было: Варвара пошла в работницы к приказчику с согласия мужа и его родных. Правда, через несколько времени стали они требовать, чтобы она вернулась жить с мужем, потому что стали в селе смеяться над Петром, Варвару в глаза ему называли приказчицей. Но мы были бы слишком недогадливы, если бы вздумали, что только из этих слухов и насмешек да из подсмотренной братом мужа сцены между приказчиком и Варварой муж ее и его родные узнали об отношениях Варвары к приказчику. Она была баба красивая, приказчик был человек холостой, она мужа не любила, они давно полагали, что у ней есть любовник, — с первого же слова приказчика должно было стать для них понятно, зачем он хочет поселить ее с собой. А если они еще не догадались об этом деле из слов приказчика, чего нельзя думать, то уж никак нельзя было им оставаться в неведении, когда Варвара, отпуская мужа домой, сказала, чтобы вместо нее нашел он себе другую бабу. Однако же Петр и его семейство долго не огорчались житьем Варвары у приказчика. Из всего видно, что они захотели разорвать связь Варвары с приказчиком только для прекращения сплетен и насмешек, и, если вы не оскорбитесь нашим цинизмом, мы скажем, что они в этом случае были ни на волос не больше достойны сочувствия, чем Фамусов, беспокоящийся только о том, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна». Раз отважившись на беспристрастие к этим людям, хотя они и простолюдины, и бедны, и угнетены, мы попробуем вас спросить: сочувствовали бы вы изображенному в повести чиновнику или помещику, который стал бы принуждать возвратиться к нему в дом жену, которая терпеть его не может и отдана за него без согласия? Вы человек гуманный, признаете свободу сердца, защищаете права женщины; наверное вы порицали бы мужа. Не угодно ли же вам судить мужика Петра точно так же, как судили бы вы какого-нибудь советника Владимира Андреича или уездного предводителя Бориса Петровича. Но не вздумайте говорить, что мужик Петр не читал ни статей об эмансипации, ни романов Жоржа Санда. Вы видите, что в семействе Петра были достаточно практические понятия об этих вещах, — понятия, до которых не доходила и Жорж Санд: ведь они не поперечили приказчику, когда он брал к себе Варвару. Почему не поперечили? Да едва ли не потому, что ожидали от этой полюбовной сделки выгод для себя. Не оскорбитесь

циническим предположением нашим относительно их, хотя они и мужики: ведь если бы подобная история рассказывалась вам про светских людей, вас нельзя было бы убедить, что не было тут с их стороны денежного расчета. Забудемте же, кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не позволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания.

Да, кто говорил с простолюдинами запросто, тот знает, как много между ними людей грешных с этой стороны, на которую указывают отношения Петра и его родных к связи приказчика с Варварой. Никак не меньше (мы думаем, что и не больше) между мужиками людей, грешащих такими расчетами, чем в нашем кругу. Живет муж с женою плохо; подвергается человек сравнительно с ним сильный и богатый, и муж очень спокойно уступает ему свою жену и притворяется, будто бы ничего не знает, пока слишком громкий всеобщий говор не заставит его принять вид оскорбленного и обманутого. Бывает и хуже: иной открыто отвечает насмешникам, что он доволен своим положением. Но такие бесстыжие глаза довольно редки в образованном обществе; редки и между простолюдинами. Зато нередки в образованном обществе — разумеется, нередки и между мужиками — примеры противоположного: никакими выгодами не обольстится человек на потворство. Мы вовсе не отрицаем подобных случаев в мужицком быту; мы только говорим, что и там, как в нашем кругу, чаще бывает корыстное потворство, в котором принуждены мы были изобличить Петра и его родных.

Да и с чего же вы взяли, в самом деле, что этого нет между мужиками? Или мужики обязаны быть рыцарями благородства и героями честности? Помилуйте, не такие ли же они люди, как и мы с вами? Вы знаете, что в нашем кругу нельзя не быть преобладанию пошлых, корыстолюбивых снисхождений и уступок над исключительными случаями твердого отказа. Вы знаете обстоятельства и отношения, из которых произошла у нас расчетливая безнравственность. Семейные дела запутаны, а если и довольно денег, то хочется иметь их побольше, чтобы пожить пошире; жена капризничает; муж имеет кой-какие связишки на стороне; что же тут удивительного, если человек с деньгами или с влиянием купит жену у мужа? Что же, в мужицком быту нет точно таких же обстоятельств? Мужики бедны; с женами часто живут они очень дурно; покровительство сильных людей им нужно. Что должно выходить из этого — рассудите сами.

Только, пожалуйста, отстаньте, кроме пресной лживости, усиливающейся идеализировать мужиков, еще от одного очень тупоумного приема: подводить всех мужиков под один тип, вроде того, как сливаются в наших глазах в одну фигуру все китайцы. Китайцы от нас очень далеко; поэтому простительно нам судить о них обо всех оптом: китаец, дескать, привязан к старине, любит опиум, носит длинную косу и так далее, и разницы, дескать, нет между китайцами. Ни нам, ни им, по отдаленности между нами, нет никакого убытка от этого гуртового способа суждений. Но мужики к нам близки: нам стыдно не замечать разницу между ними, мы имеем с ними дела, потому и нам, и им очень вредно, если мы будем думать и поступать по таким безразличным, гуртовым суждениям о них. Наше общество составляют люди очень различных образов мыслей и чувств. В нем есть люди пошлого взгляда и благородного взгляда, [есть консерваторы и прогрессисты,] есть люди безличные и люди самостоятельные. Все эти разницы находятся и в каждом селе, и в каждой деревне. Мы, по указаниям г. Успенского, говорим только о тех людях мужицкого звания, которые в своем кругу считаются людьми дюжинными, бесцветными, безличными. Каковы бы ни были они (как две капли воды сходные с подобными людьми наших сословий), не заключайте по ним о всем простонародье, не судите по ним о том, к чему способен наш народ, чего он хочет и чего достоин. Инициатива народной деятельности не в них, они, как подобные люди наших сословий, только плывут, куда дует ветер, и поплывут во всякую сторону, в какую подует ветер. Но их изучение все-таки важно, потому что они составляют массу простонародья, как и массу наших сословий. Инициатива не от них; но должно знать их свойства, чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них

инициатива.

А впрочем, если вы тверды в гуманном принципе, повелевающем считать человеком каждого человека, какого бы там звания ни был он, если вы способны думать о мужике не как о странном по виду и по разговору существе, с которым нет у вас ничего сходного, а просто как о человеке, у которого тоже два глаза, как и у вас, тоже по пяти пальцев на руках, если... но нет, судя по всему, что я читаю в книгах, писанных для вас, судя по всему, что я слышал от вас, — от вас ли, читатель, лично или от ваших друзей, или от людей, похожих на вас и на ваших друзей, — судя по всему этому, я полагаю, что вы рассуждаете подобно дворовой девушке Алене Герасимовне и конторщику Семену Петровичу, которые на «Гулянье» у г. Успенского ведут между собою такую беседу:

— Ну, а что у человека внутри есть, Семен Петрович?

— Внутри-с бывает различно. Это смотря по тому, кто чем питается: иной продовольствуется мякиной, так у него внутри мякина. А у одного сапожника, говорят, даже нашли при вскрытии подошву с лучиной.

— Страсти какие!.. Объясните мне, пожалуйста, что — у штатских и у военных внутри одинаково?

— Ну, насчет этого пункта, Алена Герасимовна, можно вам доложить материю. Во-первых, надобно сказать, ничего одинакового нет.

Конторщик подсел к девке и начал свое объяснение.

Извините, если вы приняли за обиду, что я усомнился в различии ваших мыслей от мнений Алены Герасимовны и Семена Петровича. Такая компания для вас унижительна. Возвращусь же к предположению, от которого готов был отказаться: положим, вы знаете, что «внутри у человека одинаково» и у штатского, и у военного, и у сапожника, и у продовольствующегося мякиной. Так если, говорю я, знаете вы это, вам не нужно много хлопотать об изучении народа, чтобы знать, чего ему нужно и чем можно на него действовать. Предположите, что ему нужно то же самое, что и вам, и вы не ошибетесь. Предположите, что на дюжинных людей в народе действуют те же расчеты и побуждения, какие действуют на дюжинных людей вашего круга, и это будет правда.

Только умеете подводить частные виды одного и того же чувства под общую их сущность, умеете, например, понимать, что стремление получить деньги — одно и то же стремление, будут ли деньги представляться в виде пачки кредитных билетов или в виде двугривенного; умеете понимать, что привычка считать крупной такую сумму денег, которая иному кажется мелка, нимало не изменяет сущности действий, внушаемых надеждою получить деньги, и опять-таки, умеете понимать, что выслушивать колкости или скучать в неприятном обществе или подставлять шею под материальные толчки кулаком — и улыбаться в надежде получения или в благодарности за получение денег — все это в сущности одно и то же. Если вы твердо знаете это, вас нимало не обескуражит сцена, которою заканчивается очерк г. Успенского «Проезжий». На станции является господин, не жалеющий своих рук на поучение станционного смотрителя, старосты и ямщиков; требуя поскорее лошадей, он разбивает множество носов, подбивает множество глаз и так далее и, совершив эти подвиги, садится пить водку. Вот лошади готовы. Посмотрите же, чем кончается вся шутка.

На крыльце стоит проезжий с полштофом в руках. За ним смотритель, старуха, денщик и мещанин. Из полуотворенного окна высматривает купец. Вокруг крыльца стоят ямщики, в том самом виде, в котором они были в предыдущей сцене, то есть с подвязанными глазами и проч.

Проезжий. Чго же, все собрались?

Ямщики *(дружно)*. Все, ваше высокородие...

Проезжий *(наливая водку)*. Ну-ко... Подходите... *(народ пьет и откланивается, утираясь полами. На дворе время от времени позвякивает колокольчик.)* А что, тройка хорошая?

Ямщики. Важная, чудесная, ваше высокородие...
Проезжий (*отдавая политоф деницику*). Ну что же, вы на меня не сердитесь?
Ямщики. За что ж, ваше высокородие!.. Много довольны.
Проезжий. А кто у вас тут запевало? (*Ямщики вытаскивают из своей толпы молодого парня с отдутой щекой.*)
Проезжий. Ты?
Парень (*скромно*). Я-с.
Проезжий. Вот вам на всех... (*Дает из кошелька монету: ямщики кланяются и говорят благодарность.*) Ну, спойте же песню!.. да хорошенько... (*Парень, придерживая щеку, как это делают вообще запевалы, начинает; все подхватывают. — Песня раздается.*)

Ночь осенняя,
Молодка моя,
Молоденькая и т. д.

Съезжает со двора тройка. Колокольчик разливается, отчего ямщики приходят в большой экстаз.

«Какое безнадежное падение народного духа и народной чести!» воскликнет человек, не умеющий приравнять своеобразные формы проявлений общего свойства в разных сферах жизни: «эти люди сейчас были безвинно перебиты человеком, не имевшим никакого права не только бить их, но и взыскивать с них; и что же? этот человек поит их водкой, дает им несколько денег на водку, и они забывают обиду, остаются довольны, даже благодарны. Такой народ совершенно утратил всякое чувство своих прав, всякое сознание человеческого достоинства; он ни к чему не способен, кроме как быть битым от всякого встречного и поперечного». Спора нет, черта, выставляемая г. Успенским, очень печальна; но выводить из нее слишком отчаянные заключения значит страдать идеализацией. Разберем дело повнимательнее. Во-первых, неужели вы думаете, что побитые ямщики в самом деле не чувствуют ни боли, ни озлобления? Что они не выражают этого чувства, даже поступают наперекор ему, ровно ничего еще не свидетельствует против силы чувства и против возможности и готовности поступить сообразно ему при первом удобном случае. Человек очень горячо выражает свое чувство только пока еще не свыкся с ним; но через несколько времени он перестает жаловаться и суетиться, если жалобы и суеты ни к чему не ведут; он получает хладнокровный вид и даже начинает поступать, как будто бы не имеет чувства, — но ведь это вовсе еще не значит, что оно исчезло в нем. Посмотрите, например, на больных: у кого случился флюс в первый раз, тот бог знает, как кричит и мечется; а когда флюс случится с ним в двадцатый раз, он уже не заговаривает сам о своей болезни, даже неохотно отвечает на ваши вопросы о ней, может уже и шутить, и хохотать, — неужели из этого вы заключите, что он не чувствует боли и не имеет желаний избавиться от нее? Полноте, такая мысль нелепа. Возьмите другой пример: к вам приехал приятель, с которым не виделись вы несколько лет. Вы с ним обнимаетесь, вы суетитесь, вы поднимаете бог знает какую суматоху в доме, — что ж, это естественно при первом свидании; но, заметьте, только при первом. На другой день вы беседуете с вашим приятелем уже очень смирно; значит ли это, что вы потеряли привязанность к нему?

Так и во всем: в первые разы, пока дело остается экстренным, чувство, порождаемое делом, обнаруживается экстренными проявлениями; а когда дело вошло в обычный ход жизни, чувство перестает нарушать обычный ход жизни в ее внешних житейских проявлениях; но еще вопрос, не усилилось ли оно от проникновения в самый корень вашей жизни, а ослабеть уже ни в каком случае не ослабевает оно, хотя и стало молчаливее. Ямщик с раздутой щекой подлежит действию совершенно одинакового психологического закона, от чего бы ни вздулась у него щека, — от флюса ли или от кулака: он был бы нелепым

психологическим уродом, если бы обычные проявления его внешней жизни нарушились от факта, принадлежащего к обычному ходу ее. Но совершенно другое дело спросить: доволен ли он разными принадлежностями этого обычного хода жизни? Могут сказать: «однако же, если отношения, производящие искусственное подобие флюса, не нравятся этим людям, зачем не предпринимают они ничего для изменения обстоятельств?» Пусть читатель вспомнит, о каком разряде людей рассказывает нам г. Успенский и рассуждаем мы по его заметкам. Это — люди дюжинные, люди бесцветные, лишенные инициативы; во всех сословиях они одинаково живут день за день, не умея сами взяться ни за что новое и ожидая внешних поводов и возбуждений для того, чтобы действовать в каком бы то ни было смысле. Г-ну Успенскому случилось выставить нам, как пример народных обстоятельств относительно искусственного флюса, дюжинных людей из сословия ямщиков. Посмотрите же, как поступают ямщики и в других делах, в которых, несомненно, нашли бы они выгоду изменить прежний порядок и с охотою изменили бы его. У нас был обычай запрягать лошадей тройкою. Не знаем, как в других местах, а по трактам от Москвы на юго-восток ямщики очень долго сохраняли, в некоторых местностях, быть может, сохраняют и теперь, стремление запрягать вам тройку, хотя бы вы платили прогоны только на пару. «Да зачем же это запрягать лишнюю лошадь, за которую я не плачу?» — спрашиваете бывало, вы. «Оно, батюшка, так лучше будет». — «Да чем же лучше?» — «Оно лошадам полегче будет». — «Да ведь я один, у меня поклажи не больше пуда, ведь перекладная телега легка». — «Оно так, батюшка, точно, что и на паре легко, а все лучше припрягу третью». Неужели вы думаете, что этот ямщик не жалеет лошадей или расположен оказывать вам большую услугу, чем обязан? Нисколько; он везет вас из рук вон плохо, гораздо тише, чем следует по положению; он жалеет лошадей. Зачем же он гоняет лишнюю лошадь совершенно даром? Просто потому, что так заведено, а дюжинные люди делают только то, что заведено, а масса людей во всяком звании — дюжинные люди. [Нужно было внешнее влияние на них, чтобы они отстали от обычая запрягать тройку вместо пары, хотя каждый из них видел, что обычай этот невыгоден для него.] Точно то же и относительно обращения ямщиков с проезжим, подвиги которого изобразил г. Успенский. Разбив и разогнав ямщиков, проезжий садится закусывать и старуха несет ему ветчину.

Старуха (*с ветчиной*). Кабы он меня... Сохрани, господи!

Ямщик (*отвернувшись в сторону*). Ты с ним не разговаривай... Может, ничего.

Новый проезжий. Аль кто тут дерется?

Ямщик. Нет, мы так... про себя. (*Проезжий идет в комнату.*)

Прежний купец (*высовывается из кухни с растрепанными волосами*).

Бабушка! как понесешь туда закуску, захвати мой узелок... Сделай милость.

Старуха (*вздыхает*). Уж и не знаю!.. (*Робко идет в комнату. Со двора у двери выглядывает толпа ямщиков с отдувшимися щеками, подвязанными глазами и проч.*)

Толпа. Где он?

Ямщик (*в сенях, держась за нос*). Уйдите от греха! Бесстрашные!!

Толпа. Мы тогда как раз по конюшням!..

Ямщик. Где ж смотритель?

Толпа. В колоде лежит... (*Народ начинает между собою разговаривать; причем кто размахивается, что-то представляя, кто просит товарища посмотреть глаз, поднимая платок, и т. д. На дворе легонько гремят бубенчики. Вскоре раздается крик. Из комнаты выбегает старуха с посудой, проезжий с мешком и мешанин, держась за щеку; раздаются голоса: «Православные! Ваше высокородие!» Толпа бросается вон из сеней, и видно, как в беспорядке бежит по двору: при этом слышится голос: «Прячьтесь!»)*

Проезжий (*высовывая голову из-за двери и ворочая белками*). Подайте мне их сюда!.. (*Народ шумит в отдалении. Поддужный колокольчик звякает, и все затихает.*)

Почему ямщики разбежались и не придержали бойкого проезжего за руки, на что имели полное право? Просто потому, что так заведено разбегаться и прятаться. Но вот они вновь собираются, подступают к дверям комнаты, в которой сидит их обидчик. Вы думаете, они хотят посчитаться с ним, связать его, представить в суд, вы думаете, они сошлись для восстановления своих незаконно нарушенных прав, для отмщения обид, — нет, это не заведено; они сошлись только по заведенному порядку, что надобно же поглазеть на всякую штуку, надобно, значит, поглазеть и на проезжего, который в первый раз путешествует по их тракту; они с тем собираются, чтобы вновь разбежаться по конюшням при первом его движении, и действительно разбегаются; не скажите, что делают они это под влиянием какого-нибудь чувства, собственно относящегося к этому случаю, не подумайте, например, что главная пружина тут страх или трусость собственно перед этим проезжим, — нет, главная сила тут — обычай, машинальная привычка, «так заведено». Тут действием ямщиков руководит та самая машинальность, по которой ямщик рассуждает с лошадьми, или всегда предпочитает объезд столбовой дороге, хотя бы по объезду дорога была и длиннее, и хуже, или почесывает у себя в затылке, хотя бы вовсе не чесалось, или ездит по весеннему льду до последней минуты, пока лед тронется. — Во всех этих случаях одинаково управляет отдельным человеком не расчет выгоды или невыгоды, надобности или ненадобности, опасности или безопасности совершаемого им действия в данных обстоятельствах, а машинальная привычка, нечто вроде той силы, которая направляет шаги лунатика. «Так заведено», вот и все.

Кто не привык смотреть на человека во всяком звании просто как на человека, кто разделяет мнение Семена Петровича, что «внутри у человека бывает различно», смотря по его званию, тот опять, пожалуй, скажет, что этою чертою действовать по заведенному порядку народ отличается от нас, образованных людей. Нет, нисколько. И в наших сословиях все дюжинные люди, то есть громаднейшее большинство, поступает точно так же. Например: кто из обычных посетителей какого-нибудь клуба или кружка не жалуется постоянно, что ему там очень скучно, и, однако же, продолжает постоянно ездить туда; почему же? «Так заведено». Спросите у каждого из нас, дюжинных людей, приносят ли ему хотя малейшее удовольствие те предметы, на которые идет большая часть его денег, приобретаемых обыкновенно или тяжелыми трудами, или неприятными унижениями; нет, удовольствия от этих расходов не получается никакого, они делаются только потому, что так заведено. Впрочем, что же мы начали подробно развивать этот взгляд как будто содержащий в себе что-нибудь новое, требующее доказательств? Ведь все фельетоны и все разговоры наши наполнены рассуждениями о безусловном господстве так называемого «приличия» или «требований приличия» в образованном обществе над всеми действительными чувствами, реальными потребностями, здравыми расчетами и всякими другими соображениями и побуждениями каждого из нас, составляющих массу образованного общества. «Приличие» ли «требование приличия» — ведь это только частное выражение общего принципа «так заведено». Если вы заметили это, читатель, нам шутя понадобится доказывать уже не то, что господство принципа «так заведено» сильнее в простонародье, чем в образованном обществе, — надобно будет доказывать то, что в образованном обществе этот принцип господствует не гораздо сильнее, чем в народе. А по нашему взгляду, что человек всякого звания ни больше, ни меньше, как человек, мы думаем, что во всех званиях принцип этот одинаково господствует над дюжинными людьми, то есть огромным большинством людей.

«Так заведено» — это еще не объяснение. Почему же «так заведено»? Входить в подобное объяснение, значит втягиваться в длинную историю. Вероятно, были когда-нибудь достаточные причины установляться такой или другой привычке; вероятно, продолжают эти причины действовать, если она еще не изменилась. Если, например, — но мы говорим это только к примеру, а не для выражения каких-нибудь действительных отношений, — если, например, один человек обижает другого, и другой этот не жалуется на обидчика, то надобно полагать, что он уверен в бесполезности жалобы или даже опасается от нее новых обид и

неприятностей себе. Точно так же, если один человек обижает других, которые сами по себе сильнее его и собственно от него могли бы защищаться, а между тем не защищаются, то надобно полагать, что в случае обороны они возбудили бы против себя другую силу [более могущественную,] что они знают об этом, и что собственно только это знание удерживает их от обороны.

[Мы предположили случаи, встречающиеся во всякие времена везде. Но если мы предположим, что в какой-нибудь стране эти случаи долго составляли сущность всех отношений, то натурально было завестись в этой стране обычаю не защищать своих прав ни собственными средствами, ни законными жалобами. Положительно можно сказать, что каков бы ни был характер чувств или мыслей народа в этой стране, обычною чертою жизни установилась бы в этой стране безответность против обид.]

Если же установился такой обычай, то неудивительно, что обиженный без зазрения совести принимает милости от обидчика с признательностью и, например, готов выражать благодарность и петь песни в удовольствие человеку, только что побившему его, когда обидчик попотчует его водкой. Ведь мы предположили, что нельзя найти правильного удовлетворения за обиду, а попытка отмстить без соблюдения формальностей повела бы только к новым, более тяжелым обидам и бедам. Следовательно, тут человек получает удары как будто бы от роковой силы, от случайных улыбок которой нельзя и отказываться, если нельзя выйти из-под ее влияния. Кто на свете может от чего бы то ни было терпеть больше обид, чем мы, жители Петербурга, получаем от своего климата? Беспреданно бьет нас он дождем и снегом, слепит туманом, и нельзя перечесть всех наглых проделок, какие он сочиняет над нами. А все-таки чуть покажет нам он хоть лоскуток чистого неба, бросит нам хоть несколько лучей ясного солнышка, мы с радостным восторгом принимаем от нашего обидчика эти милости и спешим ими пользоваться. Опять я спрашиваю вас: значит ли это, что мы довольны петербургским климатом, что мы в душе примирились или можем когда-нибудь примириться с ним? Значит ли это, что каждый из нас не ждет первой возможности выйти из-под власти этого нашего врага, уехать куда-нибудь на юг или на запад? Мы пустились в метафоры: в собственном смысле слова обид не наносит нам климат, — он только подвергает нас неприятностям, болезненным ощущениям. Вот точно так же только в метафорическом смысле называет обыкновенный язык обидами те удары, которые получили ямщики от проезжего. Удары эти даются не индивидуальной силою проезжего, а неразумною силою вещей; его руки, бьющие по зубам ямщиков, все равно, что ветви дерева, которые также очень больно хлещут вас и по лицу, и по всему, по чему попало, когда вы проезжаете мимо дерева. Обижаетесь ли вы этими ударами? Нет, они только производят боль. Унижения вам тут нет.

Впрочем, как же не быть унижению? Нет, оно есть: вы унижены тем, что не [успели справиться с этим деревом, обломать его ветвей], сующихся куда им не следует; вы несообразительны и бессильны; от этого, кроме физической боли, есть в вас и досада. Однако ж все это — тонкости, которыми не стоит заниматься: простая ли тут боль или вместе с болью есть и унижение. Об этом не стоит рассуждать. Важность только в том, что вы не делаете ничего особенно дурного, когда пользуетесь при случае тенью того же самого дерева, которое хлестнуло вас по лицу; важность еще в том, что если вы как-нибудь воспользовались его тенью, из этого не следует еще заключить, что вам не был неприятен удар его ветви и не чувствуете вы надобности [сломать ее], чтобы не повторяла она над вами такой же проделки.

Мы нашли ближайшую причину той невозможности защитить свои права, которая заставляет дюжинных людей в народе безответно переносить страдания и неприятности, не обнаруживая даже злобы на обидчиков. Но ведь если всмотреться поближе в эту частную и ближайшую причину, она сама требует объяснения. [Понятно, что безответно подчинился тяжелому и оскорбительному чеченскому порядку обращения русский пленник, уведенный в Гергебиль или Гуниб мюридами Шамиля. Он там был один против сотни, против тысячи людей. А здесь наоборот: обидчик один, обижаемых десятки. От всяких несправедливостей и

наглостей страдает масса, а полезны или приятны они только небольшому числу людей. Отчего же за малочисленными обидчиками остается сила, а бесчисленные обижаемые находят себя бессильными?] Понять это поможет нам рассказ г. Успенского «Обоз». В этом маленьком очерке нет ровно никаких особенных происшествий: среди сильной метели кое-как дотащился обоз до постоянного двора; мужики поотогрелись, и один из них позабавил товарищей на сон грядущий анекдотом о том, какие здоровенные лошади были у какого-то неизвестного извозчика; под этот рассказ усталые мужики крепко уснули. Дальше тоже не случилось ничего особенного; но если мы будем сокращать рассказ о том, что было дальше, впечатление факта ослабится и вы не поймете всего смысла его. Предлагаем же вам прочесть внимательно весь следующий довольно длинный отрывок, не перебегая глазами ни через одну строку, хотя на всех строках все одно и то же.

В избе было как во тьме кромешной, все наповал храпело: у иного в горле такие раскаты раздавались, что представлялось, что кто-нибудь во мраке ночи, подкравшись к спящему, умертвил его.

Рано утром, лишь только пропели вторые петухи, кто-то из мужиков сонным голосом крикнул:

— Эй, вставай, рассчитывать пора!

В избе зажгли ночник.

— Что, как погода-то, ребята?

— Не говори, брат!.. такая-то бушует!

— Ах ты, господи! Что делать?

— Как мне быть с своею лошадыю-то? Вряд доедет...

Извозчики разбудили хозяина и мало-помалу начали собираться вокруг стола, медленно вытаскивая из-за пазухи кошель, висевшие на шее; иные еще умывались, молились богу и старались не смотреть на садившегося за стол хозяина, потому что расчет для них был невыносим. Один мужик стоял у двери и глядел на икону, намереваясь занести руку на лоб, но хлопанье счетов и хозяйский голос смущали его.

Мещанин, разбуженный мужиками, с проклятьями переселился на нары, говоря там: чтоб вам померзнуть в дороге; ах, вы, горлодеры!

— Ты сколько с меня положил? — простуженным голосом спросил хозяина извозчик.

— Тридцать копеек.

— Ты копейку должен уступить для меня... Я тебе после сослужу за это... ей-богу...

— А кто это у вас, ребята, вчера рассказывал? — вдруг, смеясь, спросил хозяин.

— Про извозчика-то? — заговорило несколько голосов.

— Да.

— Это вот Иван.

Мужики все несколько ободрились, глядя на усмехавшегося хозяина, и были очень довольны, что он хоть на минуту отвлек их внимание от расчета. Хозяин это сделал для того, чтобы мужики не слишком забивали свою голову утомительными вычислениями, а поскорей рассчитывались.

— Важно, брат, рассказываешь, — сказал хозяин. — С тебя приходится, Егор, сорок две... Нет, у нас был один рассказчик курский... из Курска проезжал, так уморит, бывало, со смеху... Две за хлеб до сорок... сорок две...

— Евдоким! Нет ли у тебя пятака?

— Ну только, — продолжал хозяин, — с чего-то давно перестал ездить... уж и голова был! еще давай гривенник... За тобой ничего не останется.

...Однако мужики поняли, что все-таки надо соображать и следить за расчетом, хотя дворник завел речь о курском рассказчике. Вследствие этого мужики снова приняли мрачный вид, напрягая все свое внимание на вычисления.

— Егор! погляди: это двугривенный али нет?

— Ну-ко... не разберу, парень...

— Поддай-ко сюда!
— Смотри, малый!
— Это — фальшивый... У меня их много было...
— Хозяин, ты что за овес кладешь?
— Тридцать серебром. Василий! — сказал хозяин: — ты о чем хлопочешь?
Ведь ты с Кондрашкой из одного села?
— Да как же... одной державы... только вот разумом-то мы не измыслим.
— Вы так считайте: положим, щип да квас — сколько составляют? восемь
серебра. Эх, писаря! Зачем секут-то вас?
— Известно, секут зачем... Ну, начинай, Кондратий: щип да квас...
— А там овес пойдет...
— Овес после... ты ассигнацию-то вынь: по ней будем смотреть.
— Вы, ребята, ровней кошель-то держите... счет ловчей пойдет...
— Не сбивай!.. Э!.. вот тебе и работа вся: с одного конца счел, с другого
забыл.

Через час, после нескольких вразумлений мужикам, хозяин, придерживая
одной рукой деньги, другой — счеты, вышел вон из избы, оставив всех мужиков с
кошельками на шеях за столом.

— По сколько же он клал за овес?
— А кто его знает... Ты ему гляди в зубы-то: он на тебя то напорет, что
заимуешь здесь...

— Вот там!.. Чего опасаться? Ты чихверя-то знаешь? Валяй чихверями...
Пиши...

Мужики окружили пишущего.

— Это ты что поставил?
— Чихверю...
— Ну? это палка что? щип?
— Нет, квас...
— Какой там? Я пишу, что с хозяина приходится...
— Слушай *его!*.. Ты, Гаврила, про что давеча мне говорил?
— Да не помнишь, сколько ты у меня взял в Ендове?
— Постой! Я тебе давно говорил, Гаврила, ты восчувствовать должен. На
прошлой станции кто платил? Небойсь, я!
— Ну, ты погоди говорить: сколько за свой товар приказчик дал на всех?
— По гривне.
— Ну, ладно, ты разложи эти гривны здесь на лавке; пойдем сюда к *печи*...
— Что там делать? А ты мне скажи: ты пил вчера вино?
— Нет.
— Ну, третеводни?
— Нет.
— Ты бога-то, я вижу, забыл...
— Я, брат, бога помню чудесно...
— Нет, ребята, лучше валяй чихверями; мы его живо обработаем!

Нарисуй-ко сперва овес...

— Да что вы с ним толкуете; давайте лучше жеребий кинем...
— Для чего жеребий?
— Разведать; может, кто из нас плутует...
— Так и узнал!.. Тут одно спасенье в чихверях... Наука вострая!
— Андрей! сочти мне, пожалуйста.
— Давай. Ты что брал?
— Сено, да ел вчера убоину...
— Ну? а кашу?
— Нет... не ел... что ж...
— А у тебя всех денег-то сколько?..
— С меня приходилось сперва сорок три... а всех денег, что такое?.. Куда я
девал грош-то?
— Ну, ты гляди сюда; что я-то говорю: ты убоину-то ел?

— Да про что ж я говорю: жрал и убоину, пропади она!
— Ну, коли так, дешево положить нельзя.
— Что за оказия! куда же это грош девался?
— Ребята, будет вам спорить! Бросай и чихверя, и разговоры, пустим все на власть божью!

— Да нынче так пустил, завтра пустил — эдак до Москвы десять раз умрешь с голоду! По крайности башку понабьешь счетами, а то смерть! Я тебе головой отвечаю: что чихверь — первая вещь на свете!

— Ну, ребята, бросай все!
— Бросай!., провалиться ей пропадом.
— Как провалиться!.. Эко ты!
— Нет, надо считать!.. Как можно!
— Известно, считать... Ай мы богачи какие?
— Ивлий! не знаешь ли: пять да восемь — сколько?
— Пять да восемь... восемь... восемь... А ты вот что, малый, сделай, поди острыгай лучиночку и наделай клепышков, знаешь...

Мужики в беспорядке ходили по избе, обращаясь друг к другу и придерживая кошель: кто спорил, кто раскалывал лучину; иные забились в угол, высыпали деньги в подол и твердили про себя, перебирая по пальцам: «первой, другой...» Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили:

— Примерно, ты будешь двугривенный, а я — четвертак... этак, слободнее соображать.

Один будил на печи лакея, не зная, что делать с своею головою, другой будил мещанина, который закрывался шубой и крепко ругался, покрывая голоса всех мужиков.

Наконец мужики бросили все расчеты и счета и, перекрестившись, съехали со двора. Недоспавший лакей укутался на возу, ни слова не говоря ни с кем.

На улице было темно; метель была пуще, чем вечером: ветер так и силился снять с мужиков армяки. Верстах в пяти от станции, на горе, один мужик крикнул:

— Эй, Егор!.. А ведь я сейчас дознал, что хозяин-то меня обсчитал.
— И меня, парень, тоже; ты рассуди: четверик овса... да я еще в прошлую зиму на нем имел полмеры... вот и выходит...

— А ты что ужинал?
— Да хлеб, квас и щи.
— Нет, ты вот что возьми, — перебил первый мужик, и начался продолжительный спор с разными головоломными соображениями.

Вьюга выла немилосердно, от сильного мороза мужики часто закрывали свои лица полами армяков.

Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе, мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов. Когда вы прочтете эти страницы, вы вспомните, что было кое-что о том же предмете замечаемо и другими, начиная с знаменитой сцены в «Мертвых душах», когда Чичиков расспрашивает у мужика о дороге в деревню Маниловку. Но то все говорилось мимоходом, и смысл сказанного сглаживался резким выставлением других подробностей народной жизни. А г. Успенский заботливо всмотрелся в эту главную черту и дал нам вдоволь полюбоваться на нее, не отвлекая от нее нашего пристального взгляда ничем другим более разнообразным или живым. Скажите же, не наводило на вас тоску то же самое бесконечное толкование наших простолюдинов, напрасно бьющихся над соображением самым простым? Вот сколько часов бьются люди, чтобы сосчитать сумму в какие-нибудь сорок копеек, — сумму, составляющуюся из сложения всего каких-нибудь трех-четырёх статей. Господи, как ломают они голову, каких штук не придумывают, чтобы одолеть эту трудность! и просто считают, и мелом рисуют, и на счетах выкладывают, и какими-то чихверями валяют, и все-таки так-таки и отдали деньги и уехали с постоянного

двора, не сосчитав, сколько они должны заплатить и правильно ли требует с них хозяин. Целые пять верст уже проехали они в темноте по сугробам, и наверное целых два часа ехали, и все в размышлениях о неконченном расчете, — тут только, наконец, показалось одному, будто он сообразил свой расчет, но и это чуть ли не было ошибкой; по крайней мере, найденное им решение задачи вызвало новые нескончаемые толки.

Правда ли это? Так ли оно действительно бывает? Скажите же после этого, где же прославляемая сметливость русского простолюдина? Только немногие, очень горячо и небестолково любящие народ, поймут, как достало у г. Успенского решимости выставить перед нами эту черту народа без всякого смягчения. Да понимал ли он, что делает? Только в том случае, если не понимал он, и могут простить ему этот отрывок квасные патриоты, разряд которых гораздо обширнее, чем воображают разные господа, подсмеивающиеся над квасными патриотами, а сами принадлежащие к их числу. Ведь г. Успенский выставил нам русского простолюдина простофилю. Обидно, очень обидно это красноречивым панегиристам русского ума, — глубокого и быстрого народного смысла. Обидно оно, это так, а все-таки объясняет нам ход народной жизни, и, к величайшей досаде нашей, ничем другим нельзя объяснить эту жизнь, кроме тупой нескладицы в народных мыслях. Если сказано «простофиля», вся его жизнь понятна:

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименький, холодно!

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно!

Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименький, с холоду!

Я в четверту: мужик! что в кабак ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду.
С голоду, родименький, с голоду!

Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы: «Я живу холодно, холодно». — А разве не можешь ты жить тепло? Разве нельзя быть избе теплою? — «Я живу голодно, голодно». — Да разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь? — «Жену я бью, потому что рассержен холодом». — Разве жена в этом виновата? — «Я в кабак иду с голоду». — Разве тебя накормят в кабаке? Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилю. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп.

Но только вы не забудьте, что мы видим в русском мужике не особенное существо, у которого «внутри нет ничего одинакового» с другими людьми, а видим в нем просто человека, и если находим какое-нибудь качество в дюжинных людях русского мужицкого сословия, изображаемых у г. Успенского, то в этом же самом качестве мы готовы уличить и огромное большинство людей всякого сословия, — быть может, и мы с вами, читатель, не составляем исключения. Исключений мало. [Правда, в них-то и вся важность, от них-то только и пошло все немногое хорошее, что есть в нашей жизни, и от них только будет улучшаться она.] Теперь, вслед за г. Успенским, мы ведем речь не об этих исключениях, а о людях дюжинных, об огромном большинстве людей.

Русскому мужику трудно связать в голове дельным образом две дельные мысли, он бесконечно ломает голову над пустяками, которые ясны, как дважды два — четыре; его ум

слишком неповоротлив, рутина засела в его мысль так крепко, что не дает никуда двинуться, — это так; но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском — то же, английский едва ли не стоит еще ниже их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию [тем, что их тупою силою были задушены все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции]. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу. [Немецкие мужики в 1848 году почти повсеместно объявляли, что не хотят никаких перемен в нынешнем положении Германии. Английские поселяне составляют незыблемую опору торийской партии.] Но что же говорить о каких бы то ни было поселянах, ведь они невежды, им натурально играть в истории дикую роль, когда они не вышли из того исторического периода, от которого сохранились гомеровы поэмы, «Эдда» и наши богатырские песни. Посмотрите на другие сословия. В какой кружок людей ни взойдите, вы не *растолкуете* большинству их ничего превышающего круг их рутинных понятий; вы в бог знает сколько времени не научите их сочетать правильным порядком хотя эти привычные им понятия. После каждого спора спросите у кого хотите из споривших, умные ли вещи говорили его противники и понятливы ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи случаев только в одном скажет вам человек, что против его мнений говорили умно, с толком. Значит, в остальных случаях непременно одно из двух: или действительно бестолковы люди, с которыми спорил спрошенный человек, или сам он бестолков. А ведь эта дилемма захватывает всю тысячу, за исключением одного.

Но не забудьте, о чем мы говорим: мы говорим о том, хорошо ли идет жизнь и умеют ли люди скоро сообразить, отчего она идет дурно и чем можно поправить ее; скоро ли и легко ли растолкуешь им это, если сам понимаешь, или скоро ли поймешь чье-нибудь дельное толкование, если еще не понимаешь. Вот только об этом мы говорим; только тут люди оказываются чрезвычайно несообразительны, просто сказать тупоумны. А в рутинных делах — помилуйте, — почти все они очень понятливы, чуть не гениальны; быть может, не всегда рассудительны в поступках, — что ж делать, человеческая слабость, — но в мыслях чрезвычайно бойки. Интрижку ли устроить, отговорку ли какую придумать, намолоть ли три короба чепухи по какому-нибудь расчету, — на это мастер почти каждый, кто хоть сколько-нибудь пообтерся в жизни. Но ведь в этих делах и всякий мужик, в том числе и наш русский мужик, никому не уступит сообразительностью, изворотливостью, живостью и быстротой мысли. Торгуется он, например, так, что иной сиделец может ему позавидовать, — обмануть вас, он так искусно обманет, что после только подивитесь, и вы не заблуждайтесь, не сочтите за доказательство противного ту нелепую, тупоумную бессчетность, какую, обнаружили ямщики г. Успенского в расчете с хозяином постоялого двора. Это случай, в котором рутина показывает напрасность всяких усилий проверить счет хозяина. Считай, не считай, все-таки надобно отдать, сколько он требует. Вы сами бываете точно в таком же глупом положении при всяком выезде из гостиницы. Бог знает чего не напишут вам в счет, каких диких прибавок не набьют туда и каких несообразных цен не выставят. Считайте вы или не считайте, уличайте плутни или не уличайте, спорьте против них или не спорьте, все равно вы заплатите сполна по счету, фальшивость которого очевидна. После этого какая же, собственно, польза считать и проверять? Но вы все-таки делаете это — просто по рутине, говорящей людям вашего сословия, что они должны выражать неудовольствие на содержателей гостиниц, бранить их при расплате, даже делать им не совсем приличные для вас самих сцены. Умна ли эта рутина сердиться, горячиться и не предпринимать ничего для устранения плутовства? У мужиков другая рутина: у них прямо сидит в голове мысль, что хозяина постоялого двора не переспоришь, и что поэтому проверять его счет или считать самому — дело напрасное; вот только поэтому так и тупоумны мужики в расчете; они сами чувствуют, что занимаются пустяками; рутина сложилась у них в такую форму: толку в этих счетах нет и не добьешься до него. Вы видите, что они точно так и делают: начнут считать и тотчас же бросят; опять начнут и опять бросят.

Рутинная господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом

народе, как во всех других сословиях, и в простом народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.

Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или наших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично или мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа. Мы говорили, например, что французские поселяне могут быть характеризованы почти теми же чертами, как наши или всякие другие; а разве не было во французской истории эпох, когда они действовали очень энергически? То же случилось и с немецкими поселянами. Разумеется, после таких оживленных действий масса народа снова впадает в прежнюю пошлую апатию, как впадает в нее и всякий дюжинный человек после каждого чрезвычайного усилия. Но совершившийся факт все-таки производит перемену в отношениях. Например, увлекся пошлый человек, повенчался на девушке без приданого, хотя постоянно думает только о денежных выгодах; через несколько дней вспышка прошла и опять он стал по-прежнему пошл, — а дело сделано, и он видит себя женатым и вернуться к прошлой жизни уже никак ему нельзя. Заметьте, мы не говорим о том, лучше или хуже стало жить ему или кому-нибудь другому от перемены, — это как случится, — мы говорим только, что жизнь его изменилась. Точно так же и одушевление массы не всегда приводит к лучшему, это как случится; иной раз бывает удачен, иной раз — нет. Например, одушевление, которым увлеклись было немецкие поселяне в начале XVI столетия, когда вслед за Лютером явился Фома Мюнцер, не привело их ни к чему хорошему: говорят даже, будто их положение стало хуже прежнего, чему мы, впрочем, не верим, потому что хуже прежнего едва ли могло что-нибудь быть. Но бывали случаи, о которых даже и мы не сомневаемся, что они привели к худшему. Таков, например, был результат чешского движения, которым началась междоусобная война, называемая тридцатилетней. Чехам стало гораздо хуже, чем было прежде. Разумеется, этот шанс возможен только тогда, когда прежнее положение не безусловно дурно. О случаях удачи мы не говорим, во-первых, потому, что их во всеобщей истории довольно мало, а во-вторых, потому, что они и без нас памятливы каждому.

Странная вещь история. Когда совершится какой-нибудь эпизод ее, видно бывает каждому, что иначе и не мог он развиваться, как тою развязкою, какую имел. Так очевидно и просто представляется отношение, в котором находились противоположные силы в начале этого эпизода, что нельзя было, кажется, не предвидеть с самого начала, к чему приведет их столкновение, а пока дело только приближается, ничего не умеешь сказать наверное. Угадайте, например, каков будет успех приближающегося столкновения между австрийскими и венгерскими силами; угадайте, на чьей стороне тут будут кроаты, — думаешь так, думаешь этак: и то, и другое может случиться. Наверное можешь предсказывать только то, что мирным порядком не развяжется австрийско-венгерское дело. Да и в этом опять сколько есть неизвестного: когда начнется эта передряга, по какому поводу, — кто знает? Может быть, нынешнее положение протянется еще долго, — ведь тянулось же оно до сих пор, хотя почти все были уверены, что прошлой весны оно не переживет. А может быть, и не протянется оно так долго, как кажется вероятным. Ведь нельзя же было, например, в марте прошлого года ожидать, что в сентябре Сицилия или Неаполь будут уже в положении совершенно новом.

Мы обратились ко всеобщей истории затем, чтобы была хотя одна страница несколько солидного содержания в нашей статье, наполненной обыденными дрязгами. Но мы вперед соглашаемся, что сделали эту вставку совершенно некстати и что она не имеет ровно ничего

общего с рассказами г. Успенского, главным предметом которых служат совершенно вздорные вещи, вроде следующего отрывка из рассказа «Ночь под светлый день».

Часов восемь вечера, сельская улица наполнена народом. Во всех окнах светятся огни. Около слобод поповской и дворовой толпятся мужики, дворники, приказчики, лакеи. Где просят ночевать, поздравляют с праздником; где предлагают услуги, расспрашивают о здоровье и проч.

— Наше почтение Савелью Игнатьевичу. С наступающим праздником имею честь поздравить.

— Многолетнего здравия, Петр Акимович, Лукерья Филипповна! Авдотья Герасимовна!.. Что? и вы к заутрене жалуете?

— Да-с; и мы...

— Дело... Вот и я с супругой тоже. Нельзя. Вся причина — праздник обширный... смешно будет не итти.

— Не знаете ли, Савелий Игнатьич, где бы мне переночевать с семейством?

— Право-слово, не знаю. Мы с супругой у отца дьякона. Да вы попробуйте, спросите вон в кабаке: теперь там просторно...

— Как можно!..

— Ей-богу! Да что ж вы думаете? Да мы с супругой, я вам скажу, раз в конюшне ночевали...

Кто-то ведет в темноте даму.

— Ко мне, ко мне, Марья Павловна, пожалуйста. Сюда. Лужицу-то пересигните...

— Куда это?

— Прямо! Валяйте!

— Сигать?

— Сигайте.

— Темь какая, господи... У-у-ух! Ну!..

— Что, втесались?

— Втесалась.

— Да где ты, Настя? — кричит какая-то женщина.

— Я? вот...

— Иди скорей. Пойдем. Или ты не видишь, повсюду лакеи шляются? Как же можно одной?

— Он, маменька, ничего...

— Кто?

— Лакей... барский. Он только говорит: Христос воскрес!

— А ты!

— А я говорю, воистину...

— Ну и дура за это... вот тебе и сказ!

— Здравствуйте, Наум Федотыч. Куда это вы так торопитесь?

— Здравствуйте, сударыня.

— Как поживаете?

— Да что, матушка, забыл дома яйца.

В дьячковском доме при свете ночников хозяйка с засученными рукавами переваливает с боку на бок на столе тесто. Ее крошечный сынишка, весь в муке, стоит на полу и смотрит на нее, чего-то ожидая.

— Рано, голубчик, — говорит дьячиха. — Ни свет, ни заря... бог ушко отрежет.

Мальчик кладет в рот палец.

Дьячку, сидящему за церковной книгой и тихонько напевающему: «тебе на водах», дочь заплетает косу.

Или вот вроде следующих страниц из рассказа «Гулянье», которым мы уже попользовались в рассуждении вопроса, у «всех ли людей внутри одинаково».

Между толпами народа видно и конторщика, идущего бодро и важно с выпущенными из-под жилетки длинными концами шейного платка. Он поминутно охорашивается и, видимо, хочет отделаться от пьяницы садовника, который бредет за ним в двух шагах, стараясь о чем-то заговорить с ним. Конторщик спешит присоединиться к дворовым девкам.

— А что, сударыни, — раздается мягкий голос лакея в куче дворовых девок: — вы песни петь сегодня будете?

— С чего вы взяли? Вот выдумали! хи-хи-хи.

— Нисколько я не выдумал. Естество свое возьмет завсегда.

— Ведь какие горделивые! — восклицает другой лакей, идя позади девок.

— Семен Петрович, — слышится унылый голос садовника: — а я раков твоих попытаю.

— Я тебе сказал: отстань, отвяжись. Черт тебя возьми совсем с раками! Ты меня осрамил.

— О-ох!..

По мере удаления лакеев голоса их становятся слабее.

— Харлам Гаврилыч, Харлаша, — кричит один из мужиков, обнявшись с своим товарищем. — Я тебе расскажу про все. Она баба расейская. А насчет наук ты не хвались. Теперича, что поляк, что лихляндец, что швед — все едино: к примеру, вот мы с тобой идем, все ничего. Вдруг навстречу город али деревня.

— Нет, ты сам не знаешь, что говоришь. Верно, мало слышал про Лихляндию. Пономарев Сенька — лихач на эвти штуки. Скажет: стой, солнце, не шевелись, земля, хоть примерно Россия аль Лихляндия.

— Так.

Мужички удаляются.

Проходят два мещанина. Один из них говорит другому:

— То есть я, батюшка мой, простудил себя, одно слово, квасом. Квасом простудил, так простудил, — смерть. Ребята взяли наварили кулешу с ветчиной да еще на дорогу мне положили поросенка, значит, все свиное. Я и поел, сударь мой, так поел, хоть околейвай, так то ж.

— Гм... И накушались?

— И натрескался, Петр Афанасьевич.

Выступают две бабы. Они говорят о своих знакомых и родных. Одна другую уверяет, на минуту приостановившись:

— О! она тебя помнит... как не помнить... и-и-и... А уж кум-то, кум-то! Бог его знает, что за человек такой... Ей-богу... умный. А сноха-то давеча — тресть его по голове! и-их! право-слово.

Или вот следующие страницы из рассказа «На пути».

У крыльца волостного правления вокруг запыленного тарантаса стояли мужики и бабы. Они держали в руках податные книжки, подлежащие рассмотрению приехавшего с ревизией чиновника особых поручений. От нечего делать шел разговор:

— Что, война будет?

— Нет, не будет, — говорил солдат, прислонясь к стене и покуривая трубку.

— Отчего же?

— Да с кем воевать-то? Разве с черкесом? Но уж Шмеля забрали...

— А с китайцем? — спрашивал мужик.

— Китаец не пойдет... робок...

— Ну, с англичанином...

— Этот слаб, не плошь итальянца...

— А француз?

— Француз не согласится, потому наши у него дите кстили.

Мужик замолчал, придумывая, на кого бы еще указать? Солдат плюнул и добавил:

— Нет, войны не будет...

В волостном правлении за столом сидел чиновник. Пред ним стояло одетое в форменное платье сельское начальство: голова, старшина, писарь, староста, десятский, сотский, тысячный, выборный, полицейские, добросовестный и смотритель магазина.

Правление разделялось на две комнаты: в одной стояли два шкапа, называвшиеся архивами; в другой — стол, покрытый сукном, за которым сидел чиновник; окованный железом сундук с общественною суммою; станок для измерения рекрутов; стеклянная ваза с золотой надписью: «роковая урна». По стенам были развешаны объявления, наставления, табели, реестры, оклады податей и проч.

Чиновник, весь в пыли, взъерошив волосы, держал в руках печатный лист и спрашивал по нем писаря, у которого по лицу текли ручьи пота. Видно было, что ревизия продолжалась давно; все сельское начальство, переступая с ноги на ногу, тяжело дышало и бессознательно глядело на чиновника.

— Не проживают ли в вашем обществе беспаспортные, беглые, дезертиры и жида? — говорил ревизор.

— Не проживают, — машинально отвечал писарь.

— На основании каких данных и по каждому ли селению записаны посеы и урожаи?

— По каждому.

— На основании каких данных?

Писарь молчал.

Чиновник отдулся, вытер платком лицо и попросил голову объяснить писарю слово «данных». Голова раз пять кашлянул и занес такую околесицу, что чиновник приказал ему замолчать.

— Имеются ли выписки из люстрационных инвентарей или сокращенные люстрационные инвентари и копии с планов с геометрическими инвентарями имений, входящих в состав общества; в исправности ли они, и отмечаются ли в инвентарях последовавшие перемены?

— Все в порядке, — промолвил писарь.

— Отправляются ли в уездный суд дела о проступках, если по свойству проступка востребуется взыскание более трех рублей, или более семидневного срока, или более предоставленного сельским судебным уставом расправе наказания розгами шестьюдесятью ударами?

— Все исполняется, — сказал писарь.

— Вы поняли, что я спрашиваю? — обратился ревизор к начальникам, которые вдруг как будто проснулись и начали оправлять свои волосы.

— Поняли... — вполголоса отвечал писарь.

— Не разбирает ли расправа тяжб поселян об имуществе, на которое право основано на крепостных и других актах, или когда спорное имущество стоимостью более пятнадцати рублей, а спорящие не согласятся тяжбу свою кончить примирением, а также если подлежащие суду живут в других местах и городах или происходят от других сословий, и отправляются ли расправою поступившие к ней дела подобного рода в уездный суд?

Писарь молчал.

— Ты понял, что я говорю?

Писарь блуждал глазами по комнате, наконец, сказал:

— Поняли...

Чиновник перевел дух и спросил лошадей. Сельское начальство бросилось вон из правления. Чиновник набил себе трубку и стал перелистывать дела, говоря: «вот тут и твори волю пославшего...» Вскоре он стоял на крыльце и пересматривал податные книжки. Наконец он спрашивал мужиков:

— Довольны ли вы своим начальством?

— Довольны, — сказал один голос.

— Да вы, ребята, скорей отвечайте: мне еще ревизовать десять волостных правлений. Ходите ли в церковь?

— Ходим.

— Любите ли друг друга?
— Любим.
— Прививаете ли оспу детям?
Сделавши еще несколько вопросов, чиновник заключил:
— Вообще, миряне, если вы чем недовольны, скажите; я жалоб не разбираю, но могу донести палате...
Народ молчал.
Чиновник сел в тарантас и отправился.
Сельское начальство и мужики с бабами пошли домой.

Зачем привели мы эти выписки, совершенно не идущие к делу? Просто потому, что увидели, что статья подходит к концу, а выписок из разбираемой книги сделано еще мало. Вот мы и отметили несколько страниц из нее. Нужды нет, что они не имеют связи ни с предыдущим, ни с последующим, — пусть себе стоят, куда случилось им попасть. Сделав этот дивертисмент, займемся прежним рассуждением.

Мы остановились на том, что в жизни каждого дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не может же навек хватить ему силы холодно держаться в непонятном положении. Это все равно, что смиренная лошадь (если позволите такое сравнение). Ездит, ездит лошадь смиренно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами. Разумеется, эта экстренная деятельность смиренной лошади протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-таки без нескольких таких выходок не обойдется смиренная деятельность самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою рукой, лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы на такое пространство мерным тихим шагом. Но если не будет сообщено надлежащее направление порыву, результатом его останутся только переломанные оглобли и усталость самой лошади. Чтобы не заблудились мы относительно приложений, какие мы имеем в виду, укажем достолавный пример из отечественной истории, именно незабвенный 1812 год, когда были такие удивительные морозы.

Мы читаем у нелицеприятного г. Устрялова и правдивого покойного Михайловского-Данилевского, что в этом году весь русский народ одушевился необыкновенным патриотическим энтузиазмом. Мудрыми руководителями, по свидетельству тех же историков, было дано этому энтузиазму самое приятное и прекрасное удовлетворение: были сделаны наборы в солдаты и в милицию, так что каждый горевший охотою защищать отечество, находил себе готовое место в стройных рядах войска. Благодаря этому Россия достигла великих военных успехов, русские вошли в Париж или, по поэтическому перечню нашего барда Жуковского, произошли следующие события:

Бой московский, взрыв кремлевский
И в Париже русский штык.

От этого Россия возвысилась до такого грозного могущества, о котором никто не мог и мечтать прежде. Вот пример великости прекрасных результатов, совершаемых народным одушевлением при надлежащем его направлении. Представим же себе противоположный случай: вообразим, что в 1812 году русский народ был действительно проникнут воинственным энтузиазмом, как утверждают наши почтенные вышеупомянутые историки, но что войны не произошло, и надлежащего выхода энтузиазму не нашлось, что едва

Наполеон перешел Неман, как ему предложили мир на каких ему было угодно условиях. Что было бы в этом случае? Поднялся бы ропот и произошли бы взаимные неприятности между самими русскими, потому что возбужденное чувство, не имея возможности устремиться к правильной цели, выразилось бы горячими действиями для достижения целей неправильных.

Читатель замечает, что мы рассуждаем по прежнему нашему правилу в гипотетическом духе. Мы не утверждаем, что было одушевление; мы только говорим, каков должен был оказываться результат его в том или другом случае, если оно действительно было; но опять-таки читатель не заключит из этого, что мы отрицаем существование в ту эпоху того одушевления, по предположению которого рассуждали. Мы не историки, мы сами не можем решить этого, но как нам не верить свидетельству таких историков, как г. Устрялов и г. Михайловский-Данилевский?

Пусть другие, более нас ученые люди оценивают по достоинству их заслуги исторической истине; мы же выразим здесь нашу признательность им за то, что их красноречивые труды указали нам в жизни русского народа эпоху одушевления.

Следовательно, невозможного ничего нет, или, по выражению старинного поэта:

Ничто не ново под луною:
Что было, есть и будет впрямь.

Если же будущее есть только повторение прошедшего, то прошедшие обстоятельства могут повторяться в будущем. Мы хотим сказать, что если полчища дванадцати язык, влекомые кичливыми галлами, снова устремятся на Москву, то явится через несколько лет после того новый г. Ф. Глинка, который воспевает:

Ты, как мученик, горела,
Белокаменная,
И река в тебе кипела
Бурнопламенная.

Но едва ли мы не слишком уже заговорились, одушевившись поэтическими воспоминаниями, и едва ли не облеклась в слишком поэтическую ахинею та прозаическая мысль, которую начали было мы развивать и которая состояла лишь в том, что минуты одушевления возможны в жизни массы, обыкновенно занятой самыми мелкими и пошлыми обыденными дрязгами, как возможны они в жизни самого дюжинного человека. Нужды нет, что вы видите вокруг себя только пошлость и мелочность, апатию и трусость, нужды нет, что только это видите вы ныне: день на день не приходится. Однако же мы напичкали в середину своей статьи столько разной поэзии, что с трудом вспомнит теперь читатель, о чем говорилось в начале статьи. Будем припоминать по порядку.

Однако же не лучше ли будет нам остановиться на этом и для заключения статьи припомнить кое-какие из мыслей, внушенные нам книгою г. Успенского. Мы заметили радикальную разницу между характером рассказов о простонародном быте у г. Успенского и у его предшественников. Те идеализировали мужицкий быт, изображали нам простолюдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпеливыми и энергическими, что оставалось только умиляться над описаниями их интересных достоинств и проливать нежные слезы о неприятностях, которым подвергались иногда такие милые существа, и подвергались всегда без всякой вины или даже причины в самих себе. Нам вспоминается анекдот, слышанный от одного из даровитейших наших беллетристов, знаменитого мастерством рассказывать анекдоты. Мы надеемся, он не посетует на нас за то, что мы воспользуемся этою его разговорною собственностью. Анекдот начинается с того, что в будуар жены входит муж, человек, занимающий очень почетное положение в обществе и знаменитый своею любовью к народу, — любовью, которую умел он перелить и в нежное сердце своей прекрасной супруги. Он застаёт пышную красавицу в

горьких слезах над развернутою книжкою русского журнала. «Душенька, о чем ты так расплакалась?» — «А, боже мой...» — голос жены прерывается от рыданий. «Душенька, да что же такое, скажи ради бога?» — «Боже мой! какие несчастные...» — и опять голос прерывается от рыданий. «Ангел мой! успокойся... что такое?» — «Несчастные мужики, ах какие несчастные! Здесь написано, что они не пьют кофе!..» Нам представляется, что сострадательная дама читала одну из тех прекрасных повестей, в которых так интересно изображался простонародный быт.

Книгу г. Успенского наверное отбросила бы она с негодованием на автора, рассказывающего о наших мужичках такие грязные пошлости. Очерки г. Успенского производят тяжелое впечатление на того, кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука избличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отпадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отпадного.

Заканчивая этим отзывом разбор книги г. Успенского, мы предадимся теперь отвлеченным психологическим размышлениям, которые, конечно, будут иметь очень мало связи с рассказами г. Успенского, а с жизнью русского народа не будут уже иметь никакой связи.

Если мы будем наблюдать причины перемен, происходящих в образе мыслей и поступков у дюжинных людей, лишенных внутренней инициативы, мы найдем, что эти причины подводятся под два главные разряда.

К первому разряду относятся бессознательные и, можно сказать, бесцельные побуждения, проистекающие из ограниченности человеческого терпения, которое, подобно всем другим свойствам человеческой природы, никак не может считаться бесконечным. Замечательнейший психологический факт этого рода представляют машинальные действия человека, погруженного в глубокий сон. С каждым из нас часто бывает, что, заснув на правом боку, он просыпается лежащим уже на левом боку, или наоборот. Какие причины заставили его повернуться с одного бока на другой, он не знает; не знал и того, что повертывается, когда повертывался, и заметил это уже гораздо позднее, когда проснулся. А между тем он все-таки повернулся. Отчего это сделалось с ним? Конечно, оттого, что стало ему, наконец, неудобно лежать на прежнем боку, и развила в нем потребность изменить свое положение. Мы уже замечали, что сознательным образом он не чувствовал появления этой потребности; а нечего уже и говорить о том, что он не обнаруживал ее никакими словами, он спал крепко и молчал. Но все-таки эта бессознательность и молчаливость не помешала совершиться факту. Можно наблюдать очень много подобных действий, совершаемых во время глубокого сна. Например, спящий сгоняет с лица муху, все равно как сигнал бы ее бодрствующий. Разумеется, разница между действиями сонного и бодрствующего всегда бывает и притом очень большая. Во-первых, сонный человек далеко не так скоро шевелит рукою для прогнания мухи, как бодрствующий: этот последний обмахивается от мухи, лишь только она сядет ему на нос или на лоб, а у сонного она разгуливает по лицу довольно долго, прежде чем совершит он машинальное движение, чтобы согнать ее. Во-вторых, это машинальное действие вообще не имеет той верности и успешности, какая бывает в движениях бодрствующего: рука сонного человека иногда опускается, не поднявшись до тревожимого мухою места, иногда направляется не совсем на то место, где сидит муха. От этой разности происходит и третья разница: муха, прогнанная бодрствующим, обыкновенно бывает так напугана верностью и быстротой его движений, что

улетает вовсе прочь; а муха, вяло прогнанная сонным, в одну секунду замечает, что снова может опуститься на него, и в самом деле опять садится на место, с которого только что слетела. — Вообще, психологические наблюдения над сном представляют большой научный интерес, и общий вывод из них тот, что в сонном человеке происходят все те явления, как и в бодрствующем, только происходят они несколько медленнее и слабее.

Но сон имеет свой конец, как все в человеческой жизни, и точно так же имеют большой психологический интерес факты, наблюдаемые при пробуждении. Если сон кончается сам собою, а не от внешних раздражений, пробуждение бывает очень спокойно; напротив, когда человек не сам просыпается, а бывает пробуждаем слишком резкими впечатлениями, он вприсонках обнаруживает тревожную и очень резкую деятельность: вскрикивает, мечется, вскакивает и бывает похож на сумасшедшего. Это машинальное напряжение нерв и мускулов довольно скоро успокаивается, так что не стоит обращать на него особенное внимание; но вообще надобно сказать, что психология находит довольно опасною вещь неосторожное обращение с сонным. Мы указали на наблюдения над сонными людьми в свидетельстве того, что могут происходить действия решительно без всякого предшествующего сознания надобности этих действий, даже без сознания о неудобстве положения, к изменению которого клонится действие. Наука находит очень много свидетельствующих о том фактов и во всяких других проявлениях жизни. Возьмем в пример немецкий обычай кушать бутерброды. Почтенные немцы, придумавшие эту вкусную вещь, решительно не знают, почему надобно им кушать хлеб со сливочным маслом, — они дошли до этой выдумки совершенно машинально. Но в недавнее время наука открыла, что хлеб сам по себе переваривается желудком не очень легко, а сливочное масло даже очень трудно; когда же два эти питательные вещества смешиваются, то вместе перевариваются они желудком гораздо [легче], чем каждое из них в отдельности. Таким образом, сознательная причина для делания бутербродов открыта очень недавно, а немцы кушают бутерброды с незапамятных времен, и до недавнего времени почти никто из них не умел, да и теперь еще почти никто не умеет отдать себе отчет в том, почему ему понравилось кушать бутерброды; но это, повторяем, никому из них не мешало и не мешает любить бутерброды.

Мы приводили примеры мелочные; но для науки мелочные факты приобретают иногда очень важное значение, служа ключом к разъяснению важных явлений исторической жизни. Так, например, Бокль сделал замечательную попытку разъяснить характер индийских учреждений и истории качествами риса, служащего обыкновенною пищею индусов. Почему же нам не заниматься размышлениями о бутербродах и мухах, и назовет ли читатель опрометчивым самохвальством, если мы скажем что из этих наблюдений извлекаются два вывода, важные для исторической психологии:

Во-первых, летаргическое состояние умственной жизни не мешает физическим действиям для удовлетворения физиологических нужд; во-вторых, можно получить склонность к предмету, не имея отчетливого сознания о нем.

На основании этих выводов мы скажем, что, если, например, масса русских простолюдинов невежественна и апатична, это еще не дает нам права отрицать в них способность проникнуться склонностью к какому-нибудь другому порядку жизни, хотя бы он и не был хорошенько известен ей, и даже энергически устремиться к приобретению этого лучшего неведомого ей состояния.

Читатель понимает, о каких улучшениях в жизни народа мы говорим. Мы разумеем здесь грамотность, без которой ничего хорошего быть не может, как доказывают почти все приверженцы народных школ, — люди, пользующиеся полным нашим сочувствием. Быть может, напрасно, шли мы таким длинным путем извилистых рассуждений, чтобы убедить читателя в истине, которую, вероятно, был бы он готов признать с первого же слова: нужды нет, что народ наш не знает грамоте; он все-таки может любить эту грамоту, которой еще не знает; и нет нужды, что он апатичен; он все-таки может в очень непродолжительное время проникнуться усердием к изучению грамоты. Откуда возьмется у него такое усердие? Да просто оттого, что слишком долго оставался он безграмотен; самая продолжительность

безграмотного состояния может истощить его апатическое терпение, и он вдруг суетливо устремится вознаградить потерянное время.

Но мы говорили, что не одна только ограниченность терпения служит причиной перемен в жизни дюжинных людей. Если не ошибаемся, мы уже замечали, что в простом народе, как и во всех других сословиях, кроме большинства, состоящего из людей лишенных инициативы, встречаются люди энергического ума и характера, способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание обстоятельств, сознавать свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и действовать самостоятельно. Г. Успенский не находил до сих пор частью своей задачи изображение подобных лиц в простом народе. Это, конечно, потому, что он поставил себе целью знакомить нас с господствующим тоном народной жизни, а в нем до сих пор исключительно преобладала рутинная дюжинных людей и нисколько не обнаруживалось влияние людей, имеющих в себе силу инициативы. Но нельзя сомневаться в существовании таких людей. Совершенно ненатурально и неправдоподобно было бы предположить их несуществование. Нет сословия, в котором не было бы хромых, кривых, горбчатых и, с другой стороны, не было бы людей, очень стройных, очень красивых и очень здоровых. Точно так же в каждом сословии непременно должны быть, с одной стороны, люди, стоящие гораздо ниже, а с другой стороны, люди, стоящие гораздо выше общего уровня по уму и характеру. Но это отвлеченное доказательство невозможности отсутствия в простолюдинах способных к инициативе совершенно не нужно ни для кого, имевшего случай познакомиться с простолюдинами. Кто сблизился с ними, наверное встречал между ними людей, поражающих его силою ума и характера. Является теперь вопрос: почему же не имели они до сих пор влияния на жизнь массы, и способна ли она подчиниться ему? Почему не имели, на это можно отвечать знаменитыми стихами Пушкина о людях совершенно другого рода:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон и т. д.

В самом деле, почему поэт не всегда пишет стихи, почему живописец не вечно рисует картины, почему иной человек, очень любящий играть на бильярде, очень долго не берет в руки кия, почему Колумб очень долго не ехал открывать Америку, и так далее? Всякий знает почему: каждый человек занимается любимым делом или действует сообразно своей натуре только тогда, когда это возможно, когда обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность. Не забудем, о каких людях мы теперь говорим, о людях умных и сильного характера. Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них ввязываться, он держится в стороне и молчит, если достает у него твердости характера на выжидающую роль. (А ведь мы говорим о людях, способных к инициативе, для которой непременно нужно, кроме ума, и твердость характера.) Очень хорошо уловлена Шиллером эта черта исторической жизни в первых сценах «Вильгельма Телля». Стоят и толкуют между собою люди о своих делах. Но делать им еще нечего, и Вильгельма Телля нет между ними. Кто он и где он, мы не знаем; он, кажется, нянчит ребенка, болтает с женой, охотится за сернами, — словом сказать, бездельничает или погружен в свои личные дела, и не слышен его голос в разговорах толпы о делах Швейцарии. Но вот надобно сделать дело; не решается никто из почтенных патриотов, рассуждавших о благе отечества. Тут бог знает откуда появляется Вильгельм Телль, спрашивает, где лодка, и спасает человека, который через минуту погиб бы, если бы не увез его Телль.

Но к чему возвышенное сравнение? Лучше взять пример из нашей обыденной жизни. Пока не предвидится вакансии, нет и кандидатов на должность. Но не было еще примера, чтобы порядочная должность оставалась не занятою по недостатку кандидата. К этому случаю прилагаются наши поговорки: «Был бы хлеб, а зубы будут» и «свято место не живет пусто».

Нельзя найти в истории ни одного случая, в котором не явились бы на первый план люди, соответствующие характеру обстоятельств. Если в обстоятельствах происходила быстрая перемена, требовавшая людей иного характера, чем прежние деятели, выступали на первые места люди, о которых до той поры не было ни слуху, ни духу. Неужели вы полагаете, что Нельсон был знаменитым адмиралом, когда Англия еще не начинала войн, потребовавших адмирала вроде Нельсона. Руссо успел стать пожилым человеком и не был никому известен, пока не потребовались обстоятельствами сочинения в том роде, в каком способен был писать Руссо. Неужели запрягают волов в плуг раньше, чем приходит пора пахать?

Тяжела обязанность журналиста. Едва он увлечется какими-нибудь приятными ему психологическими изысканиями, едва он придет в такое расположение духа, чтобы служить отвлеченной науке, как вдруг припоминается ему журнальное отношение, надобность угождать желанию писателя, сотрудничеством которого дорожит журнал. Вот и нас останавливает среди многотрудных и полезных исследований мысль: как понравится наша статья г. Успенскому? Она решительно не понравится ему, если станет продолжаться и окончится в том роде, как шла вторая половина ее. Он найдет, что статья о его книге слишком мало занимается его книгою. Нечего делать, надобно угодить г. Успенскому и начать речь собственно о нем и о его книге.

Особенность таланта г. Успенского состоит в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, о которых можно говорить откровенно все, что замечаешь о них. Он нимало не стесняется в их обществе. Мы уверены, читая его книгу, думаешь, что когда он сидит на постоялом дворе или за обедом у мужика или бродит между народом на гулянье, его сиволлапы собеседники не делают о нем такого отзыва, что вот, дескать, какой добрый и ласковый барин, а говорят о нем запросто как о своем брате, что, дескать, это парень хороший и можно водить с ним компанство. Десять лет тому назад не было из нас, образованных людей, такого человека, который производил бы на крестьян подобное впечатление. Теперь оно производится нередко. Если вы одеты не бог знает как богато, если вы человек простой по характеру и если вы действительно любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку от своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе людей, принадлежащих по своим интересам к народу, есть уже такие, которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила решение задачи, которая своею мнимою трудностью так обескураживает славянофилов и других идеалистов, вслед за славянофилами толкующих о надобности делать какие-то фантастические фокус-покусы для сближения с народом. Никаких особенных штук для этого не требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — любит не на словах, а в душе.

Приложение

Воспоминания о Некрасове

Мы приехали в Петербург в мае 1853 [г.], Оленька и я. Денег у нас было мало. Я должен был искать работы. Довольно скоро я был рекомендован А. А. Краевскому одним из второстепенных тогдашних литераторов, моим не близким, но давним знакомым. Краевский стал давать мне работу в «Отечественных записках», сколько мог, не отнимая работы у своих постоянных сотрудников. Это было очень мало. Я должен был искать работы и в другом из двух тогдашних хороших журналов, в «Современнике». Редактором его был, как печаталось на заглавных листах, Панаев. Я думал, что это и на деле так. Несколько месяцев прошло прежде чем я нашел случай попросить работы у Панаева, которого видел у одного из людей,

знавших меня по университетским моим занятиям. Панаев сказал, чтобы я пришел к нему, он даст мне какую-нибудь маленькую работу для пробы, гожусь ли я в сотрудники «Современнику». Пусть я приду завтра утром. Я пришел. Он сказал, что приготовил обещанную работу, дал мне две или три книги для разбора и пригласил меня не уходить тотчас же, посидеть, поговорить. Книги были неважные, не стоившие длинных статей. Я принес Панаеву мои рецензии скоро; если не ошибаюсь, на другое же утро. Он сказал, что к утру завтра он прочтет их; пусть я приду завтра утром, он скажет мне, гожусь ли я работать в «Современнике», и опять пригласил посидеть, поговорить. На следующее утро я пришел. Он сказал, что я гожусь работать и он будет давать мне работу; опять пригласил меня посидеть, поговорить.

Через несколько времени, — через полчаса, быть может, — вошел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом, поклонившись мне в ответ на мой поклон, и оставляя после того меня без внимания, подошел к Панаеву и начал: «Панаев, я пришел»... спросить о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли ее Панаев или что-то подобное, деловое; лишь послышались первые звуки его голоса: «Панаев...» я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый шепот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. — Переговорив о деле, по которому зашел к Панаеву — это была минута или две — он повернул, — не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начиная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; что-то вроде того, видел ли вчера вечером Панаев этого человека и если видел, то о чем они потолковали; не слышал ли Панаев от этого знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал отдаляться от кресла Панаева. Панаев отвечал на его вопрос: «Да. Но вот, прежде познакомься: это» — он назвал мою фамилию. Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повернулся лицом ко мне, не останавливаясь; сказал своим шепотом «здравствуйте» и продолжал идти. Панаев начал рассказывать ему то, о чем был спрошен. Он ходил по комнате. Временами предлагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, когда приближался к его креслу, и продолжал ходить по комнате. После впечатлений, произведенных на меня его хилым видом и слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом, как дряхлый старик. — Это длилось четверть часа, быть может. В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив и дослушав обо всем, о чем хотел слышать, он, когда Панаев кончил последний ответ, молча пошел к двери, не подходя к ней, сделал шага два к той стороне — дальше двери, — где сидели Панаев и я, и приблизившись к моему креслу (против кресла Панаева) настолько, чтоб я мог ясно расслышать его шепот, сказал: «Пойдем ко мне». Я встал, пошел за ним. Прошедши дверь, он остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поровнялся с ним; и поровнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: «Садитесь». Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: «Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редактируется журнал мною, а не им?» — «Да, я не знал». — «Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мною, — Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще, о том, что относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого». — «Да, я такой». — «Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уж несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике»; Вы, должно

быть, не умеете устраивать свои дела?» — «Не умею». — «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад ***». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. — «Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько будете успевать. — Пойдем ходить по комнате». — Я встал, и мы пошли ходить по комнате.

Этому началу первого моего разговора с Некрасовым теперь двадцать девять лет. Разумеется, я не могу ручаться, что помню слово в слово то, что говорил он в эти две, три первые, навсегда установившие мои отношения к нему, минуты, пока я сидел; а он оставался стоять. Но смысл и тон был тот самый, это прошу считать достоверным.

Мы стали ходить по комнате. Он говорил мне о денежном положении «Современника»; само собою разумеется, чистейшую правду, безо всякой утрировки. (Я в довольно скором времени стал сам знать денежные дела журнала и тогда мог судить, верное ли понятие давал мне о них Некрасов в этом разговоре.) Существенные черты тогдашнего положения «Современника» были: он обременен большими долгами за прежние годы издания. (Не умею теперь с точностью припомнить, какой цифры достигали они тогда, около конца осени 1853 [г.]; быть может, не очень ошибаюсь думая, будто мне помнится, что сумма долгов за прежние годы была около 25 000.) Расходы по изданию едва покрываются с году на год подпискою; да и то лишь при помощи кредита: те из расходов, которые имеют коммерческий характер, производятся в долг, с уплатою из подписки следующего года; главный кредитор — Прац (хозяин типографии, в которой печатался тогда «Современник»). Он человек с хорошим состоянием, много денег лежит у него в запасе, вне оборотов; потому он охотно терпит отсрочку уплаты долгов за прежние годы с году на год и отсрочку уплат за каждый текущий год до новой подписки. И он не алчный человек, не ростовщик; проценты берет не грабительские. Но цены работ в его типографии много выше, чем в других; это очень убыточно. Он берет дороже других типографщиков не понапрасну: работа у него исправнее и изящнее. Но эти преимущества работы важны лишь для печатания изящных, роскошных изданий, например, книг с хорошими рисунками и на дорогой бумаге. А в журнале, печатающемся торопливо, на обыкновенной бумаге, разница мало заметна и не важна для публики. Потому печатание журнала у Праца имеет результатом совершенно лишний расход в несколько тысяч рублей. (Если не ошибаюсь, тысячи 4 рублей в год.) Следовало бы перенести печатание журнала в другую, менее дорогую типографию. Но до сих пор не было возможности сделать этого, потому что журнал связан с типографиею Праца долгами ее хозяину. — И так далее, и так далее, с этою же точностью вел Некрасов подробный рассказ и обо всех других сторонах денежного положения журнала. Вполне ознакомив меня с денежными делами «Современника», он перешел к рассказу о своих денежных отношениях к журналу. Хозяин и по совету и по деловому расчету не он один; Панаев имеет на журнал равные с ним денежные права. А Панаеву нечем жить, кроме получения денег из кассы «Современника». Он легкомысленный ветреник, любит сорить деньгами. — «Я держу его в руках; много растратить нельзя ему: я смотрю за ним строго. Но за всякою мелочью не усмотришь; кое-что он успевает захватывать из кассы без моего позволения; это он таскает из кассы на свои легкомысленные удовольствия. А надобно же нам с ним и жить прилично: беллетристы любят хорошие обеды; любят, чтобы вообще было им приволье и комфорт в квартире редактора. Без того они отстанут от сотрудничества. Поддерживать приятельство с ними стоит очень дорого, потому что для этого надо жить довольно широко; но это расход, необходимый для поддержания журнала», — и так далее обо всем, относящемся к личным расходам Панаева и его самого, и обо всем, тому подобном. — «Сам я не в тягость кассе

журнала. Когда у меня нет своих денег, я беру деньги из нее или занимаю, делая заем иногда, как заем журнала у книгопродавцев, в магазинах которых его конторы; в особенности у Базунова» (контора «Современника» и в Москве была тогда при магазине Базунова); «вообще, я расходую и деньги подписки и займы журнала, как хочу, на свои надобности. Но у меня бывают временами свои деньги; я из них употребляю на расходы журнала, сколько считаю возможным, а свои заимствования из его кассы уплачиваю всегда все. Не скажу вам, что вовсе не беру никакой доли из его доходов в вознаграждение себе за редакторский труд. Но думаю, что это меньше, чем те деньги, которые расходую на журнальные надобности из моих собственных денег. Видите ли, я играю в карты; веду большую игру. В коммерческие игры я играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги. В это время я и употребляю много на надобности журнала. Но не могу долго выдержать рассудительности в игре; следовало бы играть постоянно только в коммерческие игры; и у меня теперь были б уж очень порядочные деньги. Но как наберется у меня столько, чтоб можно было начать играть в банк, не могу удержаться: бросаю коммерческие игры и начинаю играть в банк. Это несколько раз в год. Каждый раз проигрываю все, с чем начал игру. Остаюсь ни с чем и принужден брать деньги из кассы журнала или у его кредиторов, чтоб опять поправиться»⁶⁶. Он продолжал говорить, объясняя мне, какие расчеты и надежды можно иметь в денежном отношении на «Современник» и на него, и заключил свое всестороннее, точное объяснение всего выводом совета мне:

«Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи; и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время становится год от году тяжелее для литературы, и подписка на журнал не может расти при таком состоянии литературы. А без увеличения подписки «Современник» не может долго удержаться; наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кончится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только мною. А вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго? Панаев говорил, вы уж работаете для Краевского. Он враг нам, т. е. мне. Панаева он понимает правильно и потому не имеет вражды к нему. Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном отношении надежный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор, как найдете лучшим для вас. А пока я буду — я уж говорил — до новой подписки буду давать вам на каждый месяц столько работы, сколько будет у меня денег дать вам. Начнется подписка, вы будете писать для меня столько, сколько будете успевать писать». — После этого он повел разговор о том, какой состав будет иметь книжка «Современника» на следующий месяц, и [стал] соображать, какую работу и сколько работы для этой книжки даст он мне.

Таково было начало моего знакомства с Некрасовым, и таков был первый его разговор со мною⁶⁷.

⁶⁶ После, когда возобновлял он разговор о том, что как начнет играть в банк, непременно проигрывается, я стал объяснять ему, почему это неизбежно должно всегда бывать так: он иногда понтировал; а по условиям игры в банк понтер, в общей сложности длинного ряда ставок, необходимо проигрывает. Он не подозревал, что это так по самым условиям игры, воображал, подобно почти всем игрокам, что произвольность определения величины ставок дает понтеру преимущества, более чем уравновешивающие те шансы выгоды, которые в пользу банкира. Он только дивился, что он, понтер, всегда остается проигравшимся, и лишь смутно мечтал, что хорошо бы ему приобрести возможность держать банк, потому что банкир, по какому-то странному ходу оборотов игры, вообще, должно быть, больше выигрывает, чем проигрывает.

⁶⁷ Продолжение пришло через несколько дней.

Мне казалось, что человек, говорящий так просто и прямодушно, заслуживает полного доверия. Само собою разумеется, что это оказалось справедливым. Я постоянно видел, что Некрасов держит себя относительно меня совершенно так, как обещал.

Когда Краевский увидел, что Некрасов считает меня полезным сотрудником, стал и сам считать меня таким. Это предсказание Некрасова сбылось; и дело пошло дальше тем самым ходом, как он предсказывал. Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать для «Современника» и что я посоветуюсь с Некрасовым. Рассказал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он в ответ повторил мне прежние свои замечания о скудности кассы и шаткости дел «Современника», о денежной надежности Краевского, прибавляя, что ему хотелось бы, чтоб я предпочел его Краевскому, но что советовать этого он не может; мне будет вернее держаться Краевского. Я не умел разобрать, как мне следует поступить. Было ясно, что Краевский поставит вопрос так, как предвидел Некрасов: «Если хотите оставаться моим сотрудником, откажитесь от сотрудничества у Некрасова». При безденежье и шаткости положения «Современника» благоразумие требовало последовать совету Некрасова. Но мне не хотелось этого. Я чувствовал привязанность к Некрасову и старался убедить себя, что не будет неблагоразумно смотреть на вопрос не с той точки зрения, на которую становится Некрасов, советуя мне предпочесть Краевского ему. У него иной раз мало, иной раз вовсе нет денег. Но он все-таки не допустит меня слишком нуждаться: как при безденежьи берет у Базунова или у какого-нибудь другого книгопродавца деньги для своих безотлагательных надобностей, так будет находить деньги и для моих. Он полагает, что ему не долго остается жить на свете. Это, вероятно, так. Но это лишь вероятность. А пока он жив, он не допустит меня нуждаться, это не вероятность, а достоверность. Потому, не будет ли мне благоразумнее, наперекор его совету, держаться его? — Краевский несколько раз возобновлял разговор о своем желании, чтоб я работал исключительно для него, и с каждым разом говорил настойчивее. Я по-прежнему отвечал ему, что посоветуюсь об этом с Некрасовым; говорил с Некрасовым снова и снова, и слышал от него все прежний совет: «благоразумнее будет вам держаться Краевского». Наконец, Краевский сказал мне то, чего, как предсказывал Некрасов, да и сам я теперь понимал, следовало ожидать: «Вам нельзя участвовать вместе и в «Отечественных записках» и в «Современнике». Вам надобно выбрать между много и Некрасовым». — Я отвечал: «Почему ж мне нельзя участвовать вместе в обоих журналах? Участвуют же в них обоих очень многие другие». — «Это совсем не то, — сказал Краевский: — другие, на которых вы ссылаетесь, кто они, чем участвуют они в журналах моем и Некрасова? Это поэты, беллетристы. Написал стихи или роман, отдал редактору, и только всего. Участия в редакционной работе они не принимают. Я не говорю с ними о делах моего журнала; Некрасов не говорит с ними о делах своего. Они посторонние журналам люди, и отношения между журналами не касаются их. Ваше положение не то. Вы пишете статьи в тех отделах журналов, которые составляют редакционную часть их; вы участвуете в редакционной работе. Я говорю с вами о делах моего журнала, Некрасов о делах своего. Вы по необходимости вмешаны в отношения между нами и нашими журналами. А эти отношения враждебны. Помогать вместе и мне и Некрасову — это неудобно. Ваше участие в редакционной работе и у меня и у Некрасова растет, и отношения, бывшие прежде только неудобными, становятся неудобными до невозможности. Нельзя долее откладывать решение. Чтобы быть сотрудником «Отечественных записок», вы должны отказаться от сотрудничества в «Современнике». Откажитесь». — Я отвечал, что посоветуюсь с Некрасовым. Он, выслушав, чем мотивировал свое требование Краевский, сказал: «Теперь, когда вы услышали это от него, я скажу вам, что он прав. Ваше положение сотрудника в двух враждебных один другому журналах неловко и подает повод к невыгодным для вас предположениям. Вы живете вне литературного круга и не знаете, что говорят о вас. Говорят, что вы пишете в «Современнике» против «Отечественных записок», в «Отечественных записках» против «Современника». Говорят, вы передаете мне

редакционные тайны «Отечественных записок», а Краевскому редакционные тайны «Современника». Так это или нет, известно лишь мне относительно слуха, что вы предатель тайн Краевского, и ему относительно слуха, что вы предатель моих тайн ему. Ему известна правда об одной половине слуха, но о другой неизвестна. И мне тоже. Выдаете ль вы мне Краевского или нет, я знаю. Но выдаете ль вы Краевскому меня или нет, как могу я знать это? И он, почему может знать, что вы не выдаете его мне? Вы скажете, что я не опасюсь предательства от вас. Хорошо; но я и вообще не боюсь Краевского. А он боится меня; потому несправедливо было бы требовать, чтоб он пренебрегал слухом о том, что вы предатель. Он совершенно в праве находить невозможным, чтобы вы, участвуя в его журнале, оставались сотрудником моего». — Я понял, что действительно хочу невозможного, желая убедить Краевского отказаться от его требования, и сказал Некрасову, что, убедившись теперь в необходимости сделать выбор между ним и Краевским, я откажусь от сотрудничества Краевскому. Он отвечал: «не пришлось бы вам раскаиваться. Подумайте хорошенько». — Я отправился к Краевскому и сказал, что, убедившись в основательности его требования, благодарю его за расположение, которое он всегда оказывал мне, и прошу его принять без гнева мой отказ от сотрудничества ему. Он ждал противоположного и сказал это без утайки; не стал скрывать и того, что не может не осуждать моего решения, кажущегося ему неблагоприятным; но прибавил, что, бывши в самом деле расположен ко мне, остается, несмотря на досаду, которую я сделал ему своим неблагоприятным выбором, человеком, искренно желающим мне добра. Словом, он держал себя при прощании со мною, как прилично человеку хорошего тона и, в сущности, не дурной души. — Кстати замечу, что во все продолжение моего сотрудничества он был неизменно ласков и искренно доброжелателен ко мне, так что я не могу сказать о его отношениях ко мне ничего кроме хорошего; и насколько я знаю его, а я мог в то время узнать его довольно близко, — я знаю его за человека недурного. — Когда я пришел к Некрасову и сказал, что остался при своем решении и отказался от сотрудничества Краевскому, он отвечал: — «Ну, когда дело сделано, то я скажу вам, что, быть может, вы и не будете иметь причины раскаиваться. Действительно, денежное положение мое плохо, но все-таки я думаю, что иметь дело со мною лучше, нежели с Краевским».

И, разумеется, я не имел причины раскаиваться. Об этом нечего и говорить; потому что, если б я не был доволен своими отношениями к Некрасову, что ж помешало бы мне, сделавшемуся через несколько времени человеком, пользующимся расположением публики, возвратиться к Краевскому? Он не отказал бы мне в хороших условиях сотрудничества. Нуждается ли эта моя уверенность в доказательствах? Вероятно, нет. Но если бы нуждалась, достаточно припомнить один из многих фактов, отнимающих возможность сомнения. Когда я начал писать для «Современника», самым важным и самым деятельным сотрудником его, собственно журнального отдела его, был Дружинин. Этот бойкий журнальный работник любил мальтретировать тех, нападать на кого приходила ему охота; а охота полемизировать была у него чрезвычайно сильная. Главною целью своих нападений он избрал Краевского и восхищался тем, что постоянно раздражает его своими насмешками. Когда Некрасов говорил с людьми, близкими и ему и Краевскому, что вражда между «Современником» и «Отечественными записками» дело напрасное и что лучше бросить ее, Краевский возражал, что он не может примириться с «Современником», пока в этом журнале пишет Дружинин; если Некрасов перестанет позволять Дружинину нападать на него, этим он не может удовлетвориться; в наказание за обиды ему Дружинин должен быть выгнан из «Современника»; он не может допустить, чтобы такой дрянной забияка оставался терпим в литературе. — Когда я стал писать исключительно для «Современника», я вытеснил из него Дружинина: я писал так много, что для Дружинина, писавшего быстро и много, не оставалось достаточно места; притом его литературные понятия были слишком различны от моих; и при моем возрастающем влиянии на общий тон журнальных отделов «Современника» Дружинин оказался непригодным для него по образу мыслей. Как только [он] увидел, что ему надобно вовсе удалиться из «Современника», Дружинин предложил

свое сотрудничество Краевскому и был принят им с распростертыми объятиями. Предположим — хоть и мудро предположить, — что прежде я не знал, рад ли будет Краевский моему предложению вернуться к нему. После приема, сделанного им Дружинину, не могло не стать ясно для меня, что он будет очень рад мне. Ни в одной из статей «Современника», о которых возможно было ему думать, что они писаны мною, не было ничего обидного лично ему, ничего подобного нападениям на него, насмешкам над ним, которыми непрерывно раздражал его Дружинин. И вытеснивший Дружинина из «Современника» журналист несомненно должен был казаться сотрудником, приобрести которого для «Отечественных записок» будет гораздо важнее, чем было для них приобрести сотрудника, забракованного «Современником». Что ж мешало бы мне возвратиться к Краевскому, если б я не был доволен отношениями Некрасова ко мне?

Нахожу надобным говорить об этом потому, что людям, не знавшим денежных расчетов между Некрасовым и мною, могло казаться совершенно противное тому, что было на деле. Меня знали, как человека, не умеющего отстаивать свои денежные интересы; о Некрасове некоторые думали, что он способен охранять свои выгоды до нарушения справедливости. Разница между нами в этом отношении была не совсем та, какую можно было предполагать людям, не знавшим фактов. Во все продолжение моих деловых отношений к Некрасову не было ни одного денежного вопроса между нами, в котором он не согласился бы принять мое решение. И, кроме одного случая, он принимал мое решение без малейшего противоречия. Этот единственный случай денежного спора между нами был таков, что я сам считал себя неправым в своем требовании. Я и не возражал на доводы Некрасова; я только говорил, что остаюсь при своем требовании. И он, после длившегося часа три тяжелого для нас обоих разговора, вполне принял мое решение. Дело в том, что я придумал это решение из желания успокоить болезненную мнительность Добролюбова (бывшего тогда за границею). Я жертвовал интересами Некрасова и Панаева, чтоб избавить Добролюбова от фантастических сомнений. За свои интересы Некрасов не стоял; он хотел только охранить интересы Панаева. И был совершенно прав, доказывая, что я требую нарушения их. Но я, ничего не возражая, не принимал никаких резонов, и, скрепя сердце, Некрасов пожертвовал мне интересами — не своими: свои он с первого слова отдал на мой произвол — но интересами постороннего спору, беззащитного при покинутости Некрасовым, беспомощного и безответного Панаева. — Если доведу рассказ до того времени, к которому относится этот спор, изложу его с подробною точностью.

Поправка к одной из строк страниц[ы] начала. В том месте, где я говорю о степени точности, с какою передаю первые слова Некрасова мне, я выражаюсь: «этому разговору теперь двадцать девять лет»; не двадцать девять, а тридцать; разговор был не в 1854, а в 1853 году. Причина ошибки — арифметический недосмотр. Прошу исправить.

[Заметки о Некрасове]

Заметки при чтении «Биографических сведений» о Некрасове, помещенных в I томе «Посмертного издания» его «Стихотворений», СПб, 1879

Стран. XVIII и XIX.

На стран. XVIII и XIX приведена выписка из воспоминаний Достоевского о Некрасове. Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться. Для примера тому, как вздорны рассуждения Достоевского о Некрасове, возьму из выписки полторы строки. Однажды Некрасов стал рассказывать Достоевскому о своем детстве, и в этом рассказе «обрисовался» перед Достоевским «этот загадочный человек самой затаенной стороной своего духа»; а самая затаенная сторона его духа была — то, что его детство оставило в нем грустные воспоминания. — Каким образом это могло быть «затаенною», даже «самой затаенной» стороною духа «загадочного» человека, когда он в стольких лирических пьесах и стольких эпизодах поэм передавал всей русской публике тяжелые впечатления своего

детства? — а и чего было бы таить в них? — как любил он передавать их публике, точно так же любил и пересказывать их в разговорах. — После этого натурален вопрос: был ли «загадочен» человек, который так таил «самую затаенную сторону своего духа», который столько раз говорил о ней публике и любил подробно рассказывать о ней каждому знакомому, желающему слушать? — Ровно ничего «загадочного» в Некрасове не было. Он был хороший человек с некоторыми слабостями, очень обыкновенными; при своей обыкновенности эти слабости не были нисколько загадочными сами по себе; не было ничего загадочного и в том, почему они развились в нем: общеизвестные факты его жизни очень отчетливо объясняют это. — А если кому-нибудь из его знакомых не ясно было, почему он поступил так, а не иначе в каком-нибудь случае, то надобно было только спросить у него, почему он поступил так, и он отвечал прямо, ясно; я не помню ни одного случая, когда бы уклонился от прямодушного объяснения своих мотивов, — ни одного такого случая не было, не то что лишь в разговорах его со мною, но и во всех тех разговорах с другими, какие происходили при мне. Он был человек очень прямодушный.

Стран. XXVII.

Кем была внушена Некрасову мысль поступить в университет? — По рассказу его мне, матерью.

Дело было, по его рассказу мне, так:

Мать хотела, чтоб он был образованным человеком, и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образованность приобретает в университете, а не в специальных школах. Но отец не хотел и слышать об этом; он соглашался отпустить Некрасова не иначе, как только для поступления в кадетский корпус. Спорить было бесполезно, мать замолчала. Отец послал Некрасова в Петербург для поступления в кадетский корпус; в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге у отца был человек, который мог быть полезен успеху просьбы о принятии в корпус (Полозов). Некрасов поехал в Петербург, посланный отцом в кадетский корпус, с письмом об этом Полозову. Но он ехал с намерением поступить не в кадетский корпус, а в университет. Письмо отца к Полозову он не мог не отдать. И пошел отдать. Полозов, прочитав письмо, без всяких расспросов сказал Некрасову, что представит его Ростовцеву, Отказаться было невозможно. Некрасов побоялся и начать разговор о намерении поступить в университет: что сказал бы на это Полозов? — «Мечта, друг, не выдержишь экзамена», — и что мог бы отвечать Некрасов? Он действительно был не подготовлен к экзамену для поступления в университет. Он рассудил, что должен молчать перед Полозовым об университете, пока будет в состоянии сказать, что надеется выдержать экзамен. Промолчав об университете, не имел возможности отказаться от представления Ростовцеву и был представлен. Когда несколько подготовился к экзамену, сказал Полозову о своем намерении.

Итак, употребленное в «Биографич. сведениях» выражение, что «случайная встреча с Глушицким перерешила всю судьбу» Некрасова, и все соответствующее этому выражению в изложении дела о поездке Некрасова в Петербург — ошибочные слова. Если в тех разговорах, по которым написан рассказ «Биограф. сведений», попадались выражения, заставлявшие полагать, что мысль о поступлении в университет внушена была Некрасову Глушицким, это были выражения не достаточно полные; но вероятнее, что мысль о перемене намерения Некрасова вследствие встречи с Глушицким только догадка, порожденная горячим чувством признательности, с каким говорил Некрасов о заботливости Глушицкого доставить ему возможность приготовиться к экзамену. Вероятно, это были разговоры собственно о петербургской жизни Некрасова; потому и попадали в них только отношения к Глушицкому, не попадали воспоминания о разговорах с матерью перед отъездом в Петербург.

Стран. LXVII и LXVIII.

По перечислении мотивов, из которых могла происходить «мягкость» — то есть

снисходительность, доброжелательность — тона рецензий Некрасова, говорится, что кроме этих соображений «мягкость некрасовской критики могла обуславливаться и благодушными чертами его характера»; без сомнения, собственно ими она и «обуславливалась», другие причины если были, то были только очень второстепенными мотивами; главное дело было в том, что Некрасов был человек очень добрый.

Стран. LXX.

В характеристике начинающегося 1856 годом «второго периода журнальной деятельности» Некрасова говорится, между прочим, что «умственный и нравственный горизонт поэта значительно раздвинулся под влиянием того сильного движения, какое началось в обществе, и тех новых людей, которые окружили его». — Дело было не в расширении «умственного и нравственного горизонта поэта», а в том, что цензурные рамки несколько «раздвинулись» и «поэт» получил возможность писать кое о чем из того, о чем прежде нельзя было ему писать. — Когда дошло и до крайнего своего предела расширение цензурных рамок, Некрасов постоянно говорил, что пишет меньше, нежели хочется ему; слагается в мыслях пьеса, но является соображение, что напечатать ее будет нельзя, и он подавляет мысли о ней; это тяжело, это требует времени; а пока они не подавлены, не возникают мысли о других пьесах; и когда они подавлены, чувствуется усталость, отвращение от деятельности, слишком узкой. — Я говорил ему: «если б у меня был поэтический талант, я делал бы не так, я писал бы и без возможности напечатать теперь ли, или хоть через десять лет; писал бы и оставлял бы у себя до поры, когда будет можно напечатать; хотя бы думал, что и не доживу до той поры, все равно: когда жнибудь, хоть после моей смерти, было бы напечатано». — Он отвечал, что его характер не таков, и потому он не может делать так; о чем он думает, что этого невозможно напечатать скоро, над тем он не может работать. — Причина невозможности всегда была — цензурная.

Он был одушевляем на работу желанием быть полезен русскому обществу; потому и нужна ему была для работы надежда, что произведение будет скоро напечатано; если бы он заботился о своей славе, то мог бы работать и с мыслью, что произведение будет напечатано лишь через двадцать, тридцать лет; право на славу заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, все равно; даже выгоднее для славы, если оно будет предъявлено через десятки лет: посмертные находки ценятся дороже даваемого поэтом при жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу, вопросы жизни которого уж не те, какие разьясняются посмертною находкою.

Итак, писать без надежды скоро увидеть произведение напечатанным Некрасов не имел влечения. Потому содержание его поэтических произведений сжималось или расширялось соответственно изменениям цензурных условий. Из того, что оно после Крымской войны стало шире прежнего, нимало не следует, что за три, за четыре года до начала ее «умственный и нравственный горизонт» его был менее широк.

Имела ли большое влияние на образ его мыслей перемена в настроении массы образованного общества, произведенная Крымской войною? (по выражению «Биогр. сведений», «горизонт» его «раздвинулся» отчасти под влиянием этой перемены). Припомним, в чем состояла перемена. Было признано массою общества, что надобно отменить крепостное право, улучшить судопроизводство и провинциальную администрацию, дать некоторый простор печатному слову. Только. Что нового для Некрасова могло быть в этих мыслях, новых для массы образованного общества? — Задолго до Крымской войны они были ясными и твердыми мыслями — только ли того литературного передового круга, в котором жил Некрасов с 1846, если не с 1845 года? — Нет, не этому только кругу они были уж привычны в 1846 году и раньше того; около 1845 они были уже вполне усвоены большинством той части образованного общества, мнения которой рано или поздно приобретают владычество над мыслями другой, более многочисленной части его; вполне усвоены большинством тех людей, которые сами чувствовали разницу таланта между Пушкиным и Бенедиктовым, Шекспиром и Коцебу и т. д., — которые чувствовали эту разницу

сами и с голоса которых научились говорить о ней менее развитые образованные люди. — Перемена, произведенная Крымской войною в настроении русского общества, нимало не была переменою в мыслях той части русской публики, которая до Крымской войны любила Жоржа Санда и Диккенса, она состояла лишь в том, что другая, более многочисленная часть образованного общества, — та, которая любила Александра Дюма, — примкнула к более развитой части по вопросам о русском быте; это и дало возможность развитым людям заговорить громко о надобности преобразований, издавна составлявших предмет их затаенных желаний; поддерживаемые новыми своими многочисленными союзниками, они доставили некоторый простор печати, — и Некрасов, подобно другим передовым деятелям печатного слова, получил возможность расширить содержание своей деятельности; вот этим он действительно обязан «тому сильному движению, которое началось в обществе», — обязан точно так же, как и все талантливые ли, не особенно ли даровитые поэты, беллетристы, драматурги, его сверстники или старшие его, имевшие прогрессивный образ мыслей: всем им можно стало писать кое о чем из того, о чем желали [но] не могли они писать прежде.

Итак, перемена в настроении большинства многочисленнейшей части образованного общества не «раздвинула умственный и нравственный горизонт» Некрасова, потому что он гораздо раньше этой перемены имел понятия более широкие, нежели какие могли быть внесены в его мысли овладевшими тогда этою частью общества желаниями, не очень широкими, или, вернее сказать, очень узкими; но все-таки это «сильное движение», начавшееся в обществе, имело большое влияние на его поэтическую деятельность: нимало не «раздвигая» его «умственный и нравственный горизонт», оно раздвинуло внешние ограничения, сжимавшие прежде деятельность его, дало ему возможность писать о том, о чем не дозволялось писать до той поры; это влияние перемены в настроении общества действительно обнаруживалось в содержании поэтических произведений Некрасова. Но — имели ли на его поэзию какое-нибудь влияние «новые люди, которые окружили его»?

Кто были эти «новые люди»? — Обыкновенно, когда употреблялось это выражение в характеристиках журнала, фактическим (не формальным; по названию редактор был Панаев; но фактическим) редактором которого был Некрасов, то подразумевались я и Добролюбов; только мы двое; в этом смысле, по всей вероятности, должно понимать выражение «новые люди» и здесь.

Хорошо; разберу вопрос о том, имел ли влияние на «умственный и нравственный горизонт» Некрасова я; потом выскажу свое мнение о том, в чем могло состоять влияние сближения с Добролюбовым на мысли Некрасова.

Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно ошибочно. Правда, у меня было по некоторым отделам знания больше сведений, нежели у него; и по многим вопросам у меня были мысли более определенные, нежели у него. Но если он раньше знакомства со мною не приобрел сведений и не дошел до решений, какие мог бы получить от меня, то лишь потому, что для него, как для поэта, они были не нужны; это были сведения и решения более специальные, нежели какие нужны для поэта и удобны для передачи в поэтических произведениях. Поэзия не допускает технических подробностей, чуждается и такой определенности решений, которая дается техническими подробностями; та точность решений, которая нужна в статьях политического или экономического содержания, противна духу поэзии; слишком узки для поэзии эти точные решения. В поэзии не годится давать градусы и минуты широты и долготы Петербурга; поэзия говорит только, что он лежит на очень далеком севере и что он лежит близ западной границы России. И число жителей Петербурга она не может определить с точностью хотя бы только до десятков тысяч; в поэзии неловко даже сказать «город с населением в 900 000 человек»; это слишком узкая точность; поэзия говорит или «город с населением многих сот тысяч людей» или «с миллионным населением».

Те сведения, которые мог бы получать от меня Некрасов, были непригодны для поэзии. А он был поэт, и мила ему была только поэтическая часть его литературной деятельности.

То, что нужно было знать ему. как поэту, он знал до знакомства со мною, отчасти не хуже, отчасти лучше меня.

Но в числе тех мыслей, которые мог он слышать от меня и которых не имел до знакомства со мною, находились и широкие, способные или быть предметами поэтической разработки, или по крайней мере давать окраску поэтическим произведениям? — Были. Воспринял ли их от меня Некрасов? — Покажу это на двух примерах.

Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их друзья). Я и теперь полагаю, что Мегмет-Али не был полезен для Египта. Не считаю полезной для Турции деятельность Махмуда II. В те времена я не судил о них мягче, нежели теперь. — Некрасов сохранил о Петре то мнение, какое воспринял в кругу Белинского и Герцена. Имей я хоть маленькое влияние на его образ мыслей, он не мог бы писать о Петре то, что он писал; имей я сколько-нибудь большое влияние, он писал бы о Петре тоном прямо противоположным тому, каким писал.

Я имел о ходе дела по уничтожению крепостного права мнение, существенно различное от мнения большинства людей, искренно желавших освобождения крестьян. Я усердно писал о крестьянском вопросе в те интервалы этого дела, в которые цензура допускала высказывание того мнения, какое имел я. Само собою понятно, что в разговорах я имел возможность высказывать мое мнение полнее, нежели в печати. Случалось ли мне высказывать его Некрасову? Без сомнения, случалось нередко.

Итак, Некрасову должно было быть задолго до печатного объявления о решении крестьянского дела известно, как я думаю об этом подготовлявшемся решении, основные черты которого с яркою очевидностью определились с самого же начала дела?

Мне следовало полагать: да, мое мнение об этом деле известно Некрасову.

Прекрасно. И вот факт.

В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу утром в спальную Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. — Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встrepенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». — «Нет, этого я не ожидал», отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения.

Итак, ни мои статьи, ни мои разговоры не только не имели влияния на его мнение о ходе крестьянского дела, но и не помнились ему. Я был тогда несколько удивлен, увидев, что решение, полученное крестьянским делом, произвело на него впечатление неожиданности. Но я дивился совершенно напрасно. То, что казалось мне важно в готовившемся решении дела, не интересовало его: это были технические подробности, подвергавшиеся обработке одна за другою; каждая из них, как особый предмет молвы могла представляться не очень важною частью целого; а он думал лишь о целом и не обращал внимания на мои мысли об этих специальных, по-видимому мелочных подробностях; они исчезали для него в общем представлении «освобождения крестьян с землею». Мои статьи, мои разговоры скользили мимо его мыслей, и когда оказалось наконец, что такое сложилось из этих технических подробностей, результат вышел для него неожиданностью.

Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей. Имел ли какое-нибудь Добролюбов? Как мог иметь он, когда не имел я? Его сближение с Некрасовым началось только по возвращении Некрасова из-за границы, в 1857 году; гораздо позднее моего

сближения (тремя с половиною или почти четырьмя годами); все, что мог бы узнать Некрасов от Добролюбова, он более трех лет слышал от меня; все, потому что если была какая-нибудь разница в мыслях между мною и Добролюбовым, она была ничтожна с той точки зрения, с какой смотрел на вопросы Некрасов.

Любовь к Добролюбову могла освежать сердце Некрасова; и я полагаю, освежала. Но это совсем иное дело, не расширение «умственного и нравственного горизонта», а чувство отрады. Чувство отрады благотворно. Оно укрепляет душевные силы. За десять лет до знакомства с Добролюбовым подобное благотворное влияние имело на Некрасова знакомство с тою женщиною, которая была предметом многих его лирических пьес.

Перехожу к следующим строкам характеристики «второго периода» деятельности Некрасова.

В чем же состояло расширение «умственного и нравственного горизонта поэта»? — В том, поясняют «Биографические сведения», что «прежние идеалы» его «оттеснились» «новыми». Как Белинский не любил, чтоб ему напоминали о его статьях в роде «Бородинской годовщины» или «Менцеля», так и Некрасов «неохотно потом вспоминал о грехах своей молодости в роде «Трех стран света», — говорится в «Биограф. сведениях». Действительно ли он «неохотно вспоминал» о «Трех странах света?» — Это замечание произошло вероятно из недоразумения. Некрасов был не охотник говорить о своих произведениях. Вероятно, ему случилось устранить вопрос о «Трех странах света» выражением недостатка охоты говорить об этом романе; человеку, не знавшему, что он не любит рассуждать ни о каких своих произведениях, могло показаться, что он не любит говорить собственно об этом романе.

Главною причиною его неохоты говорить о своих произведениях была скромность. Он был очень скромный человек. Другая — второстепенная — причина состояла в том, что он слишком хорошо знал по опыту, как скучна и смешна для слушателя слабость большинства беллетристов и поэтов разглагольствовать о своих произведениях. Человек с сильной волей, он легко удерживался от этой слабости.

«Три страны света» и другие прежние слабые произведения Некрасова («грехи его молодости» по выражению «Биограф. сведений») вовсе не находятся в таком отношении к последующим его произведениям, как статьи Белинского о «Бородинской годовщине» и «Менцеле» к позднейшим статьям. Белинский выражал в тех прежних статьях мысли, которые после стали казаться ему ошибочны, дурны, ненавистны. В «Трех странах света» нет ничего такого, что казалось бы впоследствии Некрасову дурным с нравственной или общественной точки зрения. И, сколько мне помнится, там и не было ничего такого. В анализе этого романа, даваемом «Биограф. сведениями», проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о «гнусности буржуазии» и обо всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения, хоть и внушаемые «любовью к народу», вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хотя и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолюдинов с интересами всей остальной массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа.

«Биографич. сведения» продолжают: прежде (до 1856 года) у Некрасова был только «горячий, но крайне неопределенный протест против рабства и угнетения» — если протест был неопределенным, то [по] недостатку ль определенности в мыслях Некрасова или по цензурной невозможности писать определеннее? — припомним тогдашние цензурные условия, и не будет ровно никакой надобности пускаться в предположения о расширении умственного и нравственного горизонта Некрасова для объяснения тому обстоятельству, что как только несколько пораздвинулись цензурные рамки, он стал писать то, чего не дозволялось писать прежде, и стал «певцом народного горя», — певцом которого был он и

прежде, насколько то было возможно.

Он и прежде писал произведения одинаковые по мысли с теми, за которые «Биограф. сведения» называют его «певцом народного горя». Приведу заглавия некоторых из пьес этого содержания, написанных раньше (до начала и движения в обществе и сближения со мною).

1846. Тройка.

1848. Вино.

1850. Проводы. (Вторая пьеса в ряду соединенных общим заглавием «На улице».)

1853. В деревне.

1853. Отрывки из путевых заметок графа Гаранского.

Пьесы «В деревне» и «Отрывки из записок Гаранского» написаны Некрасовым тоже не только до начала «сильного движения в обществе», но и до сближения со мною, которое началось только с 1854 года; я стал бывать у Некрасова несколько раньше, во второй половине 1853 года; но сближение началось лишь в 1854 году.

Стран. XXVIII.

В начале выписки из рассказа доктора Белоголового о болезни Некрасова находится выражение: «При всей скрытности своего характера и необыкновенном умении владеть собою» (Некрасов не мог не выражать, что проявления симпатии общества к нему трогают его). — Очень большое умение владеть собою действительно было у Некрасова. Но «скрытен» он не был. Он только не был охотник говорить о себе, отчасти по скромности (это главное), отчасти потому, что знал из собственного опыта, как скучно и утомительно и смешно слушать охотников много толковать о себе; он не хотел быть скучным и смешным. Но когда видел, что человек желает слушать, то говорил с полной откровенностью, лишь бы человек, желающий слушать, казался ему заслуживающим его откровенность.

Заметки при просмотре «Примечаний» (к стихотворениям Некрасова), помещенных в IV томе «Посмертного издания» его стихотворений, СПб, 1879.

Стран. XXXV, XXXVI.

По поводу «Отрывков из путевых записок графа Гаранского» «Примечания» говорят; «Несмотря на примечание автора» (цитирующего заглавие французской книги графа Гаранского), «едва ли можно сомневаться в том, что это — оригинальная пьеса, а не перевод». Еще бы, сомневаться в этом. Но для полного убеждения охотников до подобных выражений, «едва ли можно» и т. д., когда и толковать тут было бы не о чем, если бы не было употреблено кем-нибудь такое выражение, скажу, что перевод заглавия книги Гаранского на французский язык Некрасов поручил сделать мне; у него оно было написано по-русски; я сделал, но сказал, что я не умею писать по-французски, потому надобно показать мой перевод знающему хорошо французский язык; вероятно будет надобно поправить что-нибудь; через несколько времени вошел Тургенев, мы показали, он поправил.

Стран. XLVI. Примечание к пьесе:

«Тяжелый крест достался ей на долю».

«Содержание, по-видимому, имеет ближайшее отношение к поэме «Мать». — Ровно никакого; дело идет о совершенно иной женщине, о той, любовь к которой была темой стольких лирических пьес Некрасова.

Вообще по поводу «Примечаний» должно пожалеть о претензии составителя их поправлять стихи Некрасова, кажущиеся ему неправильными. Напрасно он испортил текст своими поправками. — Обыкновенный повод к поправкам подает ему «неправильность размера»; а на самом деле размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трехсложными стопами; когда это делается так, как делает Некрасов, то не составляет неправильности.

Приведу один пример. В «Песне странника» (в «Коробейниках») Некрасов написал:

«Уж я в третью: мужик! Что ты бабу бьешь?»

В «Посмертном издании» стих поправлен

...Что ты бабу-то бьешь?

Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною; это дает особенную силу выражению. — Поправка портит стих.

Так и в других случаях.

Автор «Примечаний» делает две-три заметки о неверности выражений (например, о том, что нельзя сказать «женщина входила на Афонские высоты», потому что женщинам воспрещен вход в афонские монастыри). В этих двух-трех случаях он быть может прав; но следовало ограничиться заметкой о неправильности выражения, а не поправлять стих. — Впрочем, что касается «Афонских высот», то надобно было бы справиться, нет ли на перешейке Афонского мыса за стеною, отделяющею монастырь от северной части полуострова, каких-нибудь монастырей, церквей или вообще мест поклонения, доступных женщинам.

Заметка к «Своду статей о Некрасове», помещенному в том же (IV) томе

На стр. CLXXV говорится, что помещенное в «Современнике» за 1856 год, в томе LXX, на страницах 1-12 (по нумерации библиографического отдела) «Краткое известие о выходе собрания стихотворений» (Некрасова) с выпиской некоторых пьес — «статья самого Некрасова»; нет, эта статья написана мною, и пьесы, приведенные в ней, выбраны для помещения в ней мною.

Это дело моей неопытности и несообразительности имело чрезвычайно тяжелое влияние и на «Современник» и на судьбу «Стихотворений Некрасова».

Перед отъездом за границу Некрасов приготовил собрание своих стихотворений к изданию; но книга вышла уж по его отъезде. Я уж заведывал тогда библиографическим отделом «Современника» и рассудил, извещая о выходе издания стихотворений, взять и перепечатать три стихотворения; это были:

Поэт и гражданин;

Отрывки из записок графа Гаранского, и — какое было третье, я не умею припомнить сам; но в «Примечаниях» (стран. XLV) говорится, что «Забытая деревня» была перепечатана в той статье; итак, третьим из перепечатанных там стихотворений была, как вижу, эта пьеса.

Вслед за выходом книжки «Современника» с этою безрассудною перепечаткою поднялась буря и против журнала и против книги «Стихотворений Некрасова». Она была поднята собственно перепечаткою «Поэта и гражданина» и двух других пьес в «Современнике»; и в особенности перепечаткою «Поэта и гражданина». Я старался убедить себя, что она поднялась бы и без того, что она произведена не перепечаткою, которую сделал я, а самою книгою «Стихотворений». Но принужден был отбросить из мыслей это вздорное оправдание своему поступку. Дело произошло исключительно по поводу появления в «Современнике» перепечатанных мною пьес. Книга «Стихотворений» не попала бы в руки тех любителей и любительниц сплетен, которые подняли шум и заставили официальный круг удовлетворить их требованию. Это были какие-то — я не помню теперь имен — пожилые великосветские люди, совершенно посторонние цензурному ведомству и полицейским учреждениям, контролировавшим цензурное ведомство. Они выписывали журналы, в том числе «Современник», но русских книг не покупали. Книга «Стихотворений Некрасова» если бы попала когда-нибудь в их руки, то очень не скоро, и цензура могла бы отвечать на их шум, что он неоснователен, что книга уж давно в обращении, и вредных следствий от того никаких не произошло; и контролирующее цензуру ведомство имело бы возможность подтвердить, что это так. Оно подтвердило бы, потому что, подобно всякому другому ведомству, не любило принимать назиданий от людей, не имеющих формального права делать ему выговоры. Но оно не могло дать отпора им, потому что не было

единственного возможного отпора: «Это уж давно в руках публики, и время оправдало нашу мысль, что от этого не будет вреда». — Итак, причиною бури было исключительно то, что я перепечатал в «Современнике» те три пьесы, и в частности перепечатка пьесы «Поэт и гражданин».

Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник», — года три, это наименьшее; а вернее будет думать, что вся дальнейшая судьба «Современника» шла под возбужденным моею перепечаткою впечатлением необходимости цензурного давления на него. — Мое сотрудничество принесло много пользы «Современнику», в том нет спора; но я не знаю, уравновесился ли этою пользою тот вред, который нанес я ему безрассудною перепечаткою «Поэта и гражданина».

О том, какой вред нанес я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать: известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить второе издание его «Стихотворений»; оставалась бы лишена и дольше, если бы по счастью не принял на себя заботу о разрешении цензуре этого дозволения граф Адлерберг, граф А. В. А., о котором говорится на стран. LXXII «Биограф. сведений».

Когда я написал Некрасову (бывшему за границу) о буре, постигшей «Современник», в ответ я получил только выражение, что это очень жаль, но — никакого упрека мне.

Как назвать это, если не великодушием?

Когда он возвратился из-за границы, я при первой встрече стал говорить о том, что моя ошибка очень много повредила «Современнику»; он сказал добродушно, без малейшей досады: «Да, конечно, это была ошибка; вы не догадались подумать, что если я не поместил «Поэта и гражданина» в «Современнике», то значит находил это неудобным» — и, сказав это, он стал говорить о другом, а после того ни разу не напоминал мне ошибку, сделанную мною тогда; ни разу.

Случалось мне и после делать ошибки, наносившие тяжелый вред «Современнику»; никогда не слышал я от Некрасова никакого упрека ни за одну из них. — Наконец, издание «Современника» было приостановлено. Из-за кого? — Исключительно из-за меня. Я не услышал от Некрасова ничего подобного упреку и после этого удара, полученного журналом из-за меня.

Он был великодушный человек сильного характера.

Прибавлю к прежним заметкам еще две.

1) Для всех очевидно, что в пьесе «На Волге (Детство Валежникова)» есть личные воспоминания Некрасова о его детстве. — Однажды, рассказывая мне о своем детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им, ребенком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которые хочет написать. — Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностью, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха; они нимало не изменяют смысла речи и даже часто с грамматической и лексикальной стороны немногочисленны и не важны. Вместо «а кабы умереть к утру, так было б еще лучше», — в пьесе сказано —

А кабы к утру умереть.

Так лучше было бы еще;

только такими пятью, шестью переменами отличается передача разговора в пьесе от воспоминания об этом разговоре, рассказанного Некрасовым мне. Когда я читал пьесу в первый раз, у меня в памяти еще были совершенно тверды слова, слышанные мною.

2) О пьесе

«Размышления у парадного подъезда»

могут сказать, что картина

«Созерцающая, как солнце пурпурное

Погружается в море лазурное» и т. д.

— живое воспоминание о том, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» Южной Италии (не Сицилии). Фамилия этого старика — граф Чернышев.

Вторая заметка: в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

«Иль, судеб повинуюсь закону», —

этот напечатанный стих лишь замена другому, который когда-нибудь услышишь от меня, мой милый друг, если он не попал до сих пор в печать.

«Предисловие» издательницы должно быть перепечатываемо при всех будущих изданиях стихотворений Некрасова. Оно достойно того. И оно незаменимо никаким другим.

На заглавном листе не выставлено имя издательницы. И под предисловием нет ее имени. В предисловии неизбежно было ей упомянуть о себе, кто же она. И она сказала о себе, что она «сестра покойного»; только.

Ясно, каков был характер Анны Алексеевны Буткевич. Действительно, она была женщина чрезвычайно скромная. Можно было десятки раз вести при ней разговоры о литературных делах с Николаем Алексеевичем и не услышать от нее ни одного слова, относящегося к содержанию этих разговоров; до такой степени была она чужда желанию выказывать свой ум и свою начитанность.

Предисловие свое начинает она тем, что приводит слова, которыми Некрасов мотивировал и высказывал желание, чтобы по его смерти не были вносимы в собрания его стихотворений те пьесы или части пьес, которые, по его желанию, не должны быть вносимы.

Желание было разумно. И Анна Алексеевна заслуживает безусловно похвалы за то, что «сочла своею обязанностью свято исполнить» эту «волю» своего брата.

«Незадолго до своей смерти он, по-видимому, был занят мыслью приготовить текст нового издания», — продолжает она: — «После него сохранился экземпляр, который [он] перечитывал, исправлял». Действительно, нельзя сомневаться: то было приготовление нового издания.

Комментарии

Сочинения Пушкина

Впервые опубликовано в «Современнике», 1855, No№ 2, 3, 7, 8.

В связи с выходом второго посмертного издания сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова (СПб, 1855), значительно пополненного по сравнению с предыдущим собранием сочинений поэта, Н. Г. Чернышевский написал цикл статей, положивших начало широкой дискуссии о так называемых «пушкинском» и «гоголевском» направлениях в русской литературе. Помимо этих статей и биографического очерка для юношества, критик касается творчества Пушкина и в ряде других своих сочинений («Очерки гоголевского периода русской литературы», рецензия на «Поэтику» Аристотеля). Ставя большие теоретические вопросы, критик отстаивает материалистические представления о смысле и природе художественного творчества, революционно-просветительские взгляды на искусство и литературу.

Отношение Чернышевского к Пушкину было противоречиво, сложно, что объясняется конкретной ситуацией, которая сложилась в русской литературной критике середины 50 — начала 60-х годов. Противники революционно-демократической идеологии, теоретики «чистого искусства» из лагеря либералов, по существу фальсифицируя наследие поэта, основоположника реализма в новой русской литературе, пытались воспользоваться именем Пушкина, его авторитетом для утверждения своих классово корыстных целей.

Выступая против демократической литературы 50-60-х годов, которая развивала традиции Гоголя, такие критики, как Дружинин, Дудышкин, Боткин, объявляли Пушкина «чистым художником», отрешенным от общественных интересов.

В ходе ожесточенной полемики Чернышевский и его соратники не всегда были достаточно историчными. Иные их оценки отличались односторонностью. Надо принимать в учет и то обстоятельство, что в те времена еще не были известны многие факты биографии великого поэта-гражданина, в том числе подлинные обстоятельства трагической гибели Пушкина. Исходя из своего понимания задач искусства, Чернышевский вслед за Белинским отдавал предпочтение Гоголю, чье творчество, обнажающее социальные противоречия, более удовлетворяло идейно-эстетическим потребностям эпохи революционного подъема. Что касается Пушкина, то он, по мысли критика, великое свое дело — ввести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, — совершил вполне. Узнав поэзию, как форму, русское общество могло идти уже далее и искать в этой форме содержания. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтов и Гоголь.

Марксистская критика внесла серьезные коррективы в эту отличающуюся известной однолинейностью концепцию историко-литературного процесса. Об односторонности характеристики поэзии Пушкина писал Плеханов в работах о Чернышевском (см. Г. В. Плеханов. Искусство и литература, М., 1948). Вместе с тем очевидно, что, несмотря на односторонность, усугубленную полемическим заданием, Чернышевскому и Добролюбову удалось во многом трезво и проникновенно разобраться в наследии великого поэта, в его национальном и мировом значении.

Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения

Впервые напечатано отдельным изданием без имени автора в Петербурге в 1856 году.

Очерк был рассчитан на молодых читателей и явился откликом на вышедшее в 1855 году новое собрание сочинений Пушкина, осуществленное П. В. Анненковым. Очерк написан главным образом на основании документальных материалов, собранных Анненковым, одним из первых биографов поэта.

Цензурные условия не позволили Чернышевскому осветить некоторые важнейшие обстоятельства жизни и творчества поэта, проанализировать его политическую лирику, рассказать о близости к декабристам, раскрыть весь трагизм положения свободолюбивого поэта-гуманиста, преследуемого самодержавием, травимого так называемым «светским обществом». Многие документы, проливающие свет на гражданскую биографию и мировоззрение Пушкина, в те годы еще не были обнародованы. Тем не менее автор очерка вопреки господствовавшим в современной либеральной критике толкованиям сумел в основном определить — в духе Белинского — историческое значение наследия А. С. Пушкина, великого национального поэта.

Стр. 124. *...приложен портрет Пушкина.* — В отдельном издании очерка 1856 года между портретом Пушкина и титульным листом был лист, на котором стояло: «Чтение для юношества. А. С. Пушкин, его жизнь и сочинения».

Стр. 129. *Басни Крылова... не имели большого влияния на литературу...* — Это утверждение неосновательно. Пушкин высоко оценивал творчество Крылова-баснописца, отмечая как национальную особенность его «...какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться...» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 7, М., 1958, стр. 32). Белинский указывал на народность басен Крылова. Говорил о силе и богатстве языка его басен (см. В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 8, М., 1955, стр. 574, 575 и др.).

Очерки гоголевского периода русской литературы

Впервые опубликованы в «Современнике»: статья первая в № 12 за 1855 год, вторая — девятая статьи в №№ 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 и 12 за 1856 год. В настоящее издание вошли статья первая, содержащая характеристику творчества Гоголя, статьи седьмая, восьмая и девятая,

посвященные в основном литературно-критической деятельности Белинского. В пропущенных статьях (второй, третьей, четвертой, пятой и шестой) речь идет о критиках 30-40-х годов (Н. А. Полевом, О. И. Сенковском, С. П. Шевыреве, Н. И. Надеждине и др.), главным образом об их отношении к творчеству Гоголя.

«Очерки» были задуманы как часть обширного труда по истории русской общественной мысли и литературы. Выход нового собрания сочинений Гоголя в 1855 году Н. Г. Чернышевский использовал как повод для развернутого обзора критики 1820–1840 годов. Названию цикла соответствует, собственно говоря, только первая статья, содержащая общую характеристику «гоголевского периода» в развитии русского реализма. До 1856 года имя Белинского находилось под строгим цензурным запретом. Автор «Очерков» с большим искусством, которое в нем высоко ценил В. И. Ленин, обходит цензурные препоны, анонимно цитирует «неистового Виссариона» (только в пятой статье цикла Чернышевский впервые смог открыто назвать его фамилию). «Очерки гоголевского периода...» воскрешали революционно-демократические традиции критики Белинского.

Говоря об идейно-философской эволюции Белинского, о кружке Герцена и Огарева (Герцен фигурирует здесь под условным обозначением «друзья г-на Огарева»), Чернышевский утверждал, что важнейшее значение для развития передовой русской общественной мысли, литературы и критики имело освобождение от авторитета идеалистической философии, овладение основами материалистического мировоззрения. Указывая на живой постоянный интерес лучших русских умов к достижениям западной науки, он подчеркивал их умение критически переработать и творчески самостоятельно развить мировой опыт.

Полемиическая направленность «Очерков», их боевой характер очевидны: Чернышевский с позиций революционной разночинной демократии подвергает бескомпромиссной критике идеологов русского либерализма. В преддверии революционного подъема 60-х годов борьба за так называемое «гоголевское» направление, социально-критическое, против направления «артистического» приобретала острозлободневное политическое значение. Логическим продолжением этой борьбы явились, в сущности, все последующие литературно-критические выступления Чернышевского.

Стр. 161. «*Сельское кладбище*» (1802) В. А. Жуковского (1783–1852) — перевод элегии английского поэта Томаса Грея (1716–1771); «*Светлана*» Жуковского напечатана в 1813 году; гоголевские «*Вечера на хуторе близ Диканьки*» — в 1831–1832 годах, «*Ревизор*» — в 1836 году.

Стр. 165. «*Телеграф*» — «*Московский телеграф*» (1825–1834), журнал Н. А. Полевого (1796–1846). В критических статьях журнала пропагандировалась романтическая литература. ...явилась так называемая критика 1840-х годов... — Речь идет о Белинском.

Стр. 170. ...в предостережениях со стороны людей, прямо смотрящих на вещи — имеется в виду Белинский.

Стр. 172. ...разбор этого романа, помещенный в «*Литературной газете*» — рецензия в «*Литературной газете*» (1830) была написана Пушкиным.

Стр. 173. *Романы Лажечникова*. — В 1830-х годах появились исторические романы И. И. Лажечникова «*Последний Новик*» и «*Ледяной дом*».

В. Т. *Нарежный* (1780–1825) — автор романов и повестей: «*Российский Жильблаз*» (1814), «*Бурсак*» (1824), «*Два Ивана, или страсть к тяжбам*» (1825).

«*Ягуб Скупалов*» (1830) — нравственно-сатирический роман П. П. Свиньина (1787–1839).

Стр. 182. «...незлобивый поэт», «...питая грудь ненавистью» и др. — Слова из стихотворения Некрасова «*Блажен незлобивый поэт...*» (1852).

Стр. 183. «*Статьи о Пушкине*». — Имеется в виду цикл статей Белинского «*Сочинения Александра Пушкина*».

Стр. 185. ...сделался бы противником лучших и вернейших своих учеников. — Чернышевский лучшими и вернейшими учениками Гегеля считал левых гегельянцев и

главным образом Л. Фейербаха.

Стр. 191...в брошюре «*Николай Алексеевич Полевой*». — Брошюра о Полевом В. Г. Белинского была напечатана в 1846 году.

Стр. 193. «*Смерть велит умолкнуть злобе*». — Строка из баллады Шиллера (1759–1805) «Торжество победителей» (1803).

Стр. 195. «*Слагай, к чему тебя влечет...*» — Строки из «Эпистолы о стихотворстве» (1747) А. П. Сумарокова (1718–1777).

...автор проиграл свою тяжбу. — Речь идет о критических и исторических статьях в «Арабесках» Гоголя.

Стр. 199. ...романы новейшей французской словесности. — Речь идет о французских романистах 1830-х годов — Бальзаке, Жюле Жанене. Эжене Сю, разоблачавших пороки буржуазного строя.

«*Елисей, или раздраженный Вах*» (1771) В. Майкова и «*Энеида, вывороченная наизнанку*» (1791–1796; 1802–1808) Н. Осипова и А. Котельницкого — шуточно-пародийные поэмы.

Стр. 214. *Тоггенбург* — герой баллады Шиллера, переведенной В. А. Жуковским в 1818 году.

Стр. 215. *Калибан* — персонаж в драме Шекспира «Буря», фантастический урод.

Стр. 220. «*Брынский лес*» (1845) М. Н. Загоскина (1789–1852) и «*Симеон Кирдяпа*» (1843) Н. А. Полевого — исторические романы.

Стр. 221. ...эти мнения были такого рода... — Чернышевский собрал воедино «мнения» разных противников Белинского — Сенковского, Булгарина, Шевырева, Полевого и др.

Стр. 312. «*В мои лета не должно сметь...*» — цитируется «Горе от ума» Грибоедова.

Стихотворения Кольцова

Впервые опубликовано в «Современнике», 1856, № 5, как отклик на вышедший в том же году в Москве сборник стихов народного поэта «с портретом автора, его факсимиле и статьей о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским».

Рецензия, по сути дела, пересказывает основные положения статьи В. Г. Белинского. Судя по всему, Чернышевскому важнее всего было обратить внимание читателей именно на статью «неистового Виссариона», как на одну из первых новых публикаций Белинского после длительного запрета, наложенного николаевской цензурой на имя и сочинения революционного демократа.

Стихотворения Н. Огарева

Впервые опубликовано в «Современнике», 1856, № 9.

Чернышевский воспользовался выходом поэтического сборника Н. П. Огарева (1813–1877) не только для того, чтобы по достоинству оценить его литературное творчество: в условиях суровых цензурных запретов критик сумел определить общественно-историческое значение деятельности Огарева, выразить свое отношение к великому другу Огарева — Герцену, который находился в эмиграции и имя которого называть в печати было запрещено.

В этом отношении примечателен комментарий к целиком цитируемому стихотворению «*Старый дом*» — вдохновенному рассказу поэта о дружбе с Герценом. Как и в «Очерках гоголевского периода русской литературы», где Герцен имеется в виду под словами «друзья г-на Огарева», Чернышевский от имени нового поколения деятелей русского народно-освободительного движения признает историческую заслугу своих предшественников, деятелей 1840-х годов, отдает им должное и призывает их скорее избавиться от либеральных иллюзий, безоговорочно стать на сторону русской демократии.

Последний абзац статьи принадлежит И. И. Панаеву (1812–1862), беллетристу и журналисту, издателю — с 1847 года — совместно с Некрасовым журнала «Современник».

Детство и отрочество. Военные рассказы

Впервые опубликовано в «Современнике», 1856, № 12.

«Детство», «Отрочество», «Записки маркера», «Два гусара», «Военные рассказы» Л. Н. Толстого появились первоначально в «Современнике» в 1852–1856 годах.

Анализ прозы молодого Толстого, его художественного метода, содержащийся в статье Чернышевского, — образец глубокого проникновения критика в самую суть творческого процесса. На основе ранних произведений писателя автор определил отличительные особенности дарования Толстого-художника и направление, в котором будет развиваться его талант. Вкладом в эстетическую мысль явилось выдвинутое критиком и раскрытое им на основе анализа толстовского творчества понятие «диалектики души».

Чернышевский решительно отвергал мнение адептов «чистого искусства», объявлявших молодого Толстого одним из «бессознательных представителей «теории» свободного творчества». Напротив, по убеждению критика — революционного демократа, сила и своеобразие этого писателя, выходца из аристократов, в его удивительной способности воспроизводить на языке искусства «понятия русских крестьян». Другими словами, Чернышевский говорит о той тенденции, которая в зрелый период творчества великого писателя-реалиста определила его критический пафос. Это имел в виду В. И. Ленин, назвавший Толстого «зеркалом русской революции», выразителем протеста многомиллионного патриархального крестьянства против антинародного социального и политического строя самодержавной России, против гнета помещиков и буржуазии.

Стр. 333. «*Андрей Колосов*» (1844) — ранняя повесть И. С. Тургенева; рассказ «*Хорь и Калиныч*» (1847) положил начало циклу рассказов, впоследствии составивших «Записки охотника» (первое отдельное издание вышло в 1852 году).

«*Юность*» была напечатана в «Современнике» (1857, № 1) спустя месяц после появления настоящей статьи Чернышевского.

...*талант графа Толстого обнаружит перед нами новые качества.* — Мысль о быстром развитии таланта Толстого и расширении круга его жизненных наблюдений критик повторил в «Заметках о журналах» в связи с «Юностью» и «Утром помещика» (декабрь 1856 года).

Севастопольские рассказы Толстой пересылал в редакцию «Современника» из Крыма, где он находился в рядах защитников Севастополя. Свои первые впечатления о войне Толстой передал в рассказе «Севастополь в декабре» (в декабре 1854 года, через месяц после начала осады). Последний севастопольский рассказ был дописан в Петербурге, куда Толстой приехал в конце 1855 года уже прославленным писателем.

Стр. 335. «*Я часто себя спрашиваю...*» — цитата из «Героя нашего времени», часть II, «Княжна Мери».

«*Только что Праскухин...*» — цитируется отрывок из десятой главы рассказа-очерка «Севастополь в мае» (1855), озаглавленный в «Современнике» «Ночь весною 1855 года в Севастополе».

Стр. 338. ...*диалоги Фауста с Мефистофелем* — в «Фаусте» Гете; *споры маркиза Позы с Дон-Карлосом* — в драме Шиллера «Дон-Карлос».

Стр. 341–342. *Корделия, Офелия и Дездемона* — действующие лица трагедий Шекспира «Король Лир», «Гамлет», «Отелло».

Стр. 342. «*Своим крылом меня одень...*» — Чернышевский не совсем точно цитирует строфу из стихотворения Ф. И. Тютчева «День вечереет, ночь близка...», впервые напечатанного в «Современнике» в 1854 году. Приведена Тургеневым в повести «Фауст».

Стр. 343. *Индиана* — героиня одноименного романа Жорж Санд, волевая и свободолюбивая женщина, восставшая против лживой буржуазной морали.

Макбет — герой одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 344. «*Простясь с матерью, Лиза...*» — цитируется отрывок из рассказа Л. Н. Толстого «Два гусара», глава XIV.

Губернские очерки

Впервые опубликовано в «Современнике», 1857, № 6.

Статья Чернышевского — отклик на первое отдельное издание «Губернских очерков» (1857). Громадный успех сатирических очерков Щедрина, высоко оцененных Чернышевским за то, что «в них очень много правды — правды очень живой и очень нужно», имел, по мысли и критика, и свою оборотную сторону. «Губернские очерки» породили много подражателей, эпигонов. На страницах либеральных периодических изданий даже стало «модным» печатать сочинения, изобличающие казнокрадов и взяточников. Чернышевский решительно развенчивает эту псевдообличительную литературу. Ее смелость в отличие от щедринской была мнимой, ее критика была безобидной, так как не затрагивала самих основ самодержавно-полицейского строя. Не прослеживалась связь между преступными деяниями нечистых на руку чиновников с господствовавшей общественной атмосферой, со всей крепостнической системой. Поэтому Чернышевский свою статью о высоко оцениваемых им «Губернских очерках» направил в первую очередь против социально-политических условий, порождавших и поощрявших антинародные преступления. В подцензурной печати критик эту свою мысль выражал на специфическом эзоповом языке.

Анализ произведения Щедрина подчинен выяснению причин, толкающих его персонажей на служебные злоупотребления. Иносказательно критик утверждает, что только коренное, революционное преобразование существующего общественного строя покончит с паразитирующими классами и их прислужниками. Революционер-просветитель Чернышевский оптимистически смотрел в будущее: люди не рождаются казнокрадами, взяточниками — надо изменить «пагубные обстоятельства», и тогда характер человека улучшится.

Стр. 348...несколько *молодых людей, писавших в «Телескопе»*. — Имеются в виду Белинский и его друзья.

...*тот журнал, который с восторгом встретил «Мертвые души»*, — «Отечественные записки» 1840-х годов.

Рассказы «*Бурмистр*» и «*Контора*». И. С. Тургенев напечатал в 1847 году, «*Бирюк*» — в 1848 году. Они пользовались большим успехом. Антикрепостнический пафос тургеневских рассказов, вошедших в цикл «Записки охотника», вызвал яростное недовольство реакционной печати, гнев правящих кругов. Лишь в 1859 году, то есть спустя два года после публикации настоящей статьи, был снят запрет на переиздание «Записок охотника».

«*Деревня*» Д. В. Григоровича была напечатана в 1846 году, «*Рыбаки*» — в 1833 году, «*Переселенцы*» — в 1856 году. Как и Тургенев, Григорович в 40-50-е годы доказал жизнеспособность и перспективность «натуральной школы», традиций реалистического «гоголевского направления». Положительно о «Переселенцах» отозвался Чернышевский в рецензии, напечатанной в «Современнике» (1856, № 9). Позднее, во время сложившейся революционной ситуации в России, критик в статье «Не начало ли перемены?» (см.) противопоставит им рассказы из деревенской жизни Н. Успенского, укажет на сентиментальность, благодушие и другие недостатки, присущие произведениям Григоровича, смотревшего на жизнь народа не изнутри, а, по мнению Чернышевского, как бы со стороны.

Стр. 349. *Порфириев Петровичей, Иванов Петровичей, Фейеров, Пересечкиных, Ижбурдиных* и т. д. — имена действующих лиц «Губернских очерков».

Стр. 359. ...*из рассказов Маколея*, — — Рассказы из «Истории Англии» Т. Б. Маколея (1800–1859) были напечатаны в «Современнике», 1856, № 10.

Стр. 369. ...в последней ею комедии. — Имеется в виду комедия Островского «Доходное место» (1856).

Стр. 388. *Городской претор* — выборная судебная должность в древнем Риме.

Стр. 389. *Сестерций* — мелкая разменная монета в древнем Риме.

Медимн — древнегреческая мера сыпучих тел.

Стр. 397. «Северная пчела» (1825–1864) — реакционная газета, основанная Ф. В. Булгариным, травившая Пушкина и Гоголя.

Русский человек на rendez-vous

Впервые опубликовано в журнале «Атеней», 1858, № 18.

Статья написана как отклик на тургеневскую повесть «Ася», которая была напечатана в «Современнике» в том же году (№ 1).

В. И. Ленин, говоря о том, что Чернышевский и подцензурными статьями воспитывал настоящих революционеров, имел в виду, в частности, этот блестящий политический памфлет. Характеризуя трусливое и предательское поведение российского либерала во время первой русской революции, Ленин в 1907 году вспоминал пылкого тургеневского героя, сбежавшего от Аси, «героя», про которого Чернышевский писал: «Русский человек на rendez-vous».

Рассматривая главного персонажа повести точно под сильным микроскопом, критик обнаруживает в нем общность с другими литературными героями русской литературы, с так называемыми «лишними людьми». Отношение Чернышевского к «лишним людям» не было однозначным. Примерно до 1858 года, когда разночинцы-демократы еще не потеряли окончательно веры в либеральное дворянство, критик брал под защиту «лишних людей» от нападков реакционно-охранительной печати, противопоставлял их косным и самодовольным «существователям». Однако прогрессивное значение «лишних людей» было ограничено, оно исчерпало себя задолго до начала революционной ситуации 60-х годов. В новых исторических условиях обнаружились органические недостатки этого типа людей как в жизни, так и в литературе.

Россия в канун отмены крепостного права бурлила. Требовались действенные решения. А «лишние люди», унаследовав от своих предшественников 30-40-х годов склонность бесконечно анализировать свои внутренние переживания, оказались неспособными перейти от слов к делу, оставались «все в той же позиции». Этим объясняется резкость тона и язвительность выступления Чернышевского против традиционной идеализации мнимых «героев». И в этом историческое значение его размышлений о «нашем Ромео», герое повести «Ася», который «не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык... он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск...». Между тем ведь этот «недогадливый» человек умен, он много испытал в жизни, богат запасом наблюдений над самим собою и другими.

Критик-публицист в статье «Русский человек на rendez-vous» обращается к дворянской либеральной интеллигенции с серьезным предупреждением: кто не посчитается с требованиями крестьянства, не пойдет навстречу революционной демократии, отстаивающей жизненные права трудового народа, тот в конечном счете будет сметен ходом истории. Заявлено это в иносказательной форме, но достаточно определенно. К такому выводу подводил читателя тончайший анализ, содержащийся в статье Чернышевского, поведения «нашего Ромео», испугавшегося самоотверженной любви девушки и отказавшегося от нее.

Стр. 398. *Рассказами в деловом... роде* критик иронически называет произведения так называемой «обличительной литературы» (см. примечания к «Губернским очеркам»).

Стр. 401. ...нечто... *похожее... на один из романов Жоржа Санда*. — Имеются в виду романы «Индиана», «Жак», «Консуэло» и др. французской писательницы Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804–1876).

Макс Пикколомини — герой драм Шиллера «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна», благородный мечтатель-романтик.

«*Фауст*». — Здесь имеется в виду рассказ в девяти письмах И. С. Тургенева, опубликованный первоначально в журнале «Современник» (1856, № 10).

Стр. 403. *Бельтов* — герой романа А. И. Герцена «Кто виноват?» (1846) жертвует своей любовью для того, чтобы не принести страдания мужу любимой женщины.

Стр. 412. *Сказка о Лорелее* — Легенда о прекрасной рейнской русалке Лорелее, заманивавшей своим пением рыбаков и корабельщиков к опасным скалам, написана немецким поэтом-романтиком Brentano (1778–1842); этот мотив неоднократно использовался в немецкой поэзии. Самое известное стихотворение на этот сюжет написал Генрих Гейне (1797–1836).

Стр. 415. *Когда-то любили у нас Гофмана*. — Речь идет о немецком писателе-романтике Э. Т. А. Гофмане (1776–1822) и об его романе «Повелитель блох».

Стр. 418. ...его семья презирала всех нам близких. — Чернышевский иносказательно указывает на антагонизм между дворянской и разночинно-демократической интеллигенцией. Пафос статьи в утверждении мысли о размежевании сил, происходящем в ходе исторического процесса: на смену «людям сороковых годов» приходило поколение революционеров-шестидесятников, возглавивших народно-освободительное движение.

Стр. 421. Конец статьи — развернутое иносказание. Чернышевский был вынужден прибегнуть к аллегориям, говорить о «тяжбе», обратиться к евангельскому сюжету, чтобы провести идею о непримиримости классовых интересов русского крестьянства и помещиков-крепостников.

Не начало ли перемены?

Впервые опубликовано в «Современнике», 1861, кн. XI.

Статья явилась своего рода прокламацией, содержащей призыв к крестьянской революции. В этом смысле многозначительным было уже само название статьи. По убеждению критика, лидера русской революционной демократии 60-х годов, все зависит от готовности народа «изменить свою судьбу». Следя за рождением нового в жизни и в литературе, Чернышевский приветствовал появление рассказов Николая Успенского, в которых жизнь народных масс не идеализировалась, не приукрашивалась. Суровая правда этих рассказов-очерков, высокая требовательность писателя-демократа к своим персонажам из простонародья, его стремление пробудить в трудящемся человеке чувство протеста, волю к борьбе — все это импонировало Чернышевскому. Более того, критик, еще в первой статье «Очерков гоголевского периода русской литературы» (1855) отстаивавший идею о смене эпох литературного развития, в рецензии на рассказы Н. Успенского утверждает закономерность рождения качественно новой демократической литературы. Продолжая отстаивать прогрессивные традиции «гоголевского направления», Чернышевский говорит о необходимости коренных изменений в искусстве, продиктованных новой исторической ситуацией.

Стр. 446. «*Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь...*» — Критик включил в текст статьи «Песню убогого странника» из «Коробейников» Некрасова, напечатанных незадолго до этого (в № 10 «Современника» за 1861 год).

Воспоминания о Некрасове

Впервые опубликовано полностью в журнале «Литература и марксизм», 1928, кн. 4.

Воспоминания написаны Чернышевским по просьбе литературоведа А. Н. Пыпина (1833–1904) по возвращении из Сибири. Это ценнейший документ о начале журналистской деятельности критика и сближении его с Некрасовым.

Чернышевский не оставил статей или рецензий, посвященных творчеству Некрасова,

своего ближайшего соратника по революционно-демократическому движению. Как критик, он не считал удобным выступить на страницах «Современника» с разбором стихотворных произведений редактора этого журнала. Тем не менее сохранились документальные свидетельства о том, что Чернышевский, как никто иной, понимал специфику некрасовской поэзии. Он говорил о значении деятельности Некрасова для всего развития русской реалистической литературы. В письмах к поэту, относящихся к поре усилившейся травли певца народного горя и гнева реакционной и либерально-дворянской критикой, Чернышевский предсказывал новый взлет таланта Некрасова. И, как известно, не ошибся: многие выдающиеся произведения, лирические и эпические, были созданы поэтом в последние годы его жизни, в том числе истинно народная поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Стр. 466. *...стал давать мне работу в «Отечественных записках».* — В «Отечественных записках» Чернышевский напечатал несколько рецензий и биографических заметок.

...как печаталось на заглавных листах. — На титуле «Современника» сообщалось: «Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым».

Стр. 475...отказался от сотрудничества. — Последняя рецензия Чернышевского в «Отечественных записках» была напечатана в № 3 за 1855 год.

Стр. 476. Критик *А. В. Дружинин* (1824–1864) был одним из ближайших сотрудников «Современника» после смерти Белинского. Проповедник «чистого искусства», убежденный противник материалистической эстетики, Дружинин пользовался поддержкой литераторов-либералов. В 1855–1856 годах внутри редакции «Современника» шла борьба за определение позиций журнала в общественно-политической и литературной жизни. Некрасов встал на сторону революционного демократа и материалиста Чернышевского. А. В. Дружинин перешел в журнал «Библиотека для чтения» и в условиях революционной ситуации в стране ожесточенно полемизировал с Чернышевским и Добролюбовым.

[Заметки о Некрасове]

Частично три первых заметки опубликованы А. Н. Пыпиным в кн. «А. Н. Некрасов», СПб, 1905. Полностью в «Литературном наследии» Чернышевского, т. 3.

«Заметки» написаны при чтении «Стихотворений» Н. А. Некрасова (посмертное издание, в четырех томах, СПб, 1879). Первая часть заметок относится к вступительной статье «Н. А. Некрасов. Биографические сведения», написанной литературоведом и критиком А. М. Скабичевским, остальные заметки относятся к примечаниям, помещенным в четвертом томе этого издания.

Стр. 478. *Воспоминания Достоевского о Некрасове* были напечатаны впервые в «Дневнике писателя» № 12 за 1877 год.

Стр. 480. *«мягкость некрасовской критики...»* — Смягчать тон своих рецензий Некрасова вынуждали требования цензуры, весьма пристально следившей за «Современником».

Стр. 484. *Мнение... будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова... ошибочно.* — В действительности приход Чернышевского в «Современник» оказал большое влияние на идейно-философскую эволюцию поэта.

Стр. 485. *Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное...* — Отношение Чернышевского к деятельности Петра I было сложным и эволюционировало. Так, в статье IV «Очерков гоголевского периода» (1856) критик, как и Некрасов в поэме «Несчастные», обнародованной тогда же, высоко оценил значение петровских преобразований. Впоследствии Чернышевский, говоря о реформах Петра, подчеркивал, что они совершались за счет народа и в корне не отразились на положении трудящегося большинства.

Стр. 490. *...дело идет о совершенно иной женщине...* — Очевидно, имеется в виду А.

Я. Панаева (Головачева) (1819–1893), писательница, автор нескольких повестей и романов о «женской доле» и знаменитых «Воспоминаний» (1889), содержащих ценный материал для изучения литературной атмосферы 40-60-х годов XIX века. Некоторые произведения Панаевой написаны в соавторстве с Н. А. Некрасовым.

У. Гуральник

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)